

**РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ**

**ТРУДЫ
ПО
РОССИЕВЕДЕНИЮ**

Выпуск 1

Москва 2009

ББК 63.3(2)
Т 78

Центр россиеведения

Редакционная коллегия:

И.И. Глебова – д-р полит. наук, главный редактор, *А. Берелович* – проф. (Франция), *В.П. Булдаков* – д-р ист. наук, *Ю.И. Игрицкий* – канд. ист. наук, *В.Н. Листовская* – отв. секр., *Е.И. Пивовар* – чл.-корр. РАН, *Ю.С. Пивоваров* – акад. РАН, *Д. Свак* – проф. (Венгрия)

Ответственный за выпуск – *М.А. Арманд*

Труды по россиеведению: Сб. научн. тр. / РАН. ИНИОН.
Т 78 Центр россиеведения; Гл. ред. И.И. Глебова. – М., 2009. – Вып. 1. – 426 с.
ISBN 978-5-248-00510-9

Тема выпуска – революция как ключевая проблема отечественной истории. Наряду с работами современных исследователей в научный оборот вводится неизвестное произведение выдающегося русского мыслителя А.С. Изгоева, посвященное анализу революции и послереволюционной советской действительности. В издание также включены материалы семинара, проведенного Центром россиеведения ИНИОН РАН в 2008 г.

Для специалистов-обществоведов и гуманитариев, аспирантов и студентов гуманитарных вузов.

ББК 63.3(2)

Содержание

К вопросу о россиеведении	5
От редактора	16

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАКУРС

Ю.С. Пивоваров О русских революциях: Послесловие	21
В.П. Булдаков Революция как миф и проблема российской истории	68

МЕНТАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР

И.И. Глебова Павшая власть – падшая власть (О судьбе монархии в революциях 1917 г. и сакрально-символическом значении верховной власти в России)	117
Б.С. Орлов Февральский процесс 1917 года	171
О.Ю. Малинова Первая мировая война и переопределение «Запада»	205

ФАКТОГРАФИЯ ВОЙНЫ И РЕВОЛЮЦИИ

А.С. Сенин Железнодорожное хозяйство России в годы Первой мировой войны: К вопросу о «расстройстве транспорта»	237
Т.И. Хорхордина Российские архивы и общество в революциях начала XX века	270

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

В.М. Шевырин Революции 1917 года: Переосмысление в зарубежной историо- графии. (Обзор)	309
---	-----

НАСЛЕДИЕ – НАСЛЕДНИКАМ

Александр Изгоев о русской революции	341
А.С. Изгоев Рожденное в революционной смуте (1917–1932)	344

МАТЕРИАЛЫ СЕМИНАРА ЦЕНТРА РОССИЕВЕДЕНИЯ

Семинар

Революция как проблема российской истории371

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ: ПУБЛИЦИСТИЧЕСКАЯ МОЗАИКА

А. Ципко

О причинах живучести коммунизма в России405

И. Чубайс

По пути «русского Нюрнберга»412

А. Бессмертный

Записка постороннего419

Сведения об авторах425

К ВОПРОСУ О РОССИЕВЕДЕНИИ

(О задачах Центра россиеведения ИНИОН РАН)

Россиеведение как исследовательское пространство

В 2008 г. в ИНИОН РАН создан Центр россиеведения. Эта организационная мера была продиктована необходимостью изучения России как особого социально-исторического феномена. Это, конечно, сверхзадача. Наш Центр мыслится как один из инструментов ее решения, одна из дискуссионных площадок, на которой предлагаются и обсуждаются, приобретаемая публичный статус, адекватные этой задаче подходы, идеи, концепции.

Россиеведение понимается как некое исследовательское пространство, но не идеология (точнее, не инструмент ее формирования). В основе россиеведения лежит метод, который в самом общем виде можно охарактеризовать как «нормативность фактического». Это предполагает изучение России с позиции сущего, а не должного (что, подчеркнем, совершенно не означает морального релятивизма). Речь идет о выработке адекватного предмету исследования подхода.

Россиеведение – это попытка, не отказываясь от традиционной классификации наук, исследовать Россию целостно и преодолеть узость, ограниченность отраслевых подходов (иначе говоря, выйти за рамки историко-, экономо-, политико- и любой другой центричности). Мы видим нашу задачу не в том, чтобы механически свести воедино разные области знания, прикрываясь «легендой» междисциплинарности. Нам представляется, что, работая в рамках определенного «раздела» социальной науки, следует иметь в виду Россию как целое в качестве обязательного «фона» и соотносить различные темы (природу и географию, экономику и политику, право и культуру, в том числе бытовую, семейную и т.д.) с этим целым. *Только тогда россиеведение и сможет стать единым исследовательским пространством, в рамках которого Россия предстанет системным объектом.* Специализированными компонентами этого пространства являются различные социальные науки, исследующие Россию. Особое же место в

этом пространстве занимает историческая наука: «Россия–система» в различные моменты ее существования не может быть понята без изучения исторической динамики. То есть основой россиеведения должен служить исторический подход; история является тем раствором, которым скрепляется его фундамент. При этом россиеведение вовсе не сводится к истории. Напротив, история интегрируется в полидисциплинарную среду россиеведения.

Кстати, мы вовсе не убеждены, что возможна некая целостная наука о России. Да, существует востоковедение, которое является попыткой западной науки понять специфику незападного общества. И с этой целью на передний план при изучении Востока выдвигаются дисциплины, которые при изучении Запада таких позиций не имеют: культурная антропология, например. Но какой-то новой целостной науки о Востоке так и не было создано. Это связано, кстати, и с тем, что никакого единого Востока не существует, а значит, нет единого предмета науки. Имеется, так сказать, много Востоков. Единственное, что их объединяет, – они не Запад. Иными словами, остается изучать Восток как Не-Запад. Но это, безусловно, и содержательно, и методологически неадекватно. Правда, существуют американистика, франковедение, германистика и т.д. Однако для самих западных исследователей эти направления, как правило, связаны с филологическими науками. В российской же традиции – это прежде всего изучение *данной, конкретной* страны, а не какой-либо другой. Принципиально новой науки для этого не требуется.

Эти соображения и рождают некоторые сомнения относительно возможностей создания россиеведения как синтетической научной дисциплины. Сомнения усиливаются еще и потому, что под прикрытием понятия «россиеведение» предпринимаются попытки «прочтения» России с позиций либо черносотенных, либо псевдонаучных (зачастую эти позиции представлены в смешанном виде). Они несут в себе безответственные, но легко заражающие мифы. В этом смысле россиеведение может стать социально опасным начинанием.

Вместе с тем, повторим, сегодня уже невозможно отрицать недостаточность традиционных подходов к изучению России. Эта недостаточность проявляется прежде всего в том, что подавляющее большинство диагнозов и прогнозов, сделанных в рамках этих подходов, себя не оправдывают. И дело, по всей видимости, не в ошибках или недальновидности конкретных исследователей, а в неподходящем для понимания России инструментарии анализа.

Принимая во внимание все эти «за» и «против», мы говорим о россиеведении в определенном смысле.

Россиеведение предполагает наличие особого объекта изучения – России. В науке существует достаточно авторитетное мнение: Россия не является самостоятельной цивилизацией. Отсюда – попытки ее изучения в рамках Запада или Востока. Нам, однако, кажется очевидным: исторически та социально-государственная форма, которая называлась Московским царством – Российской империей – СССР – Россией (и имела преемственные связи с Киевской и княжеско-удельной Русью, а также Золотой Ордой), демонстрирует культурную общность и особость. Кроме того, эта целостность локализована в очень определенной (не схожей ни с какой иной) природно-географической среде. В исторической ретроспективе мы имеем дело с чередой России – разных, но и чрезвычайно схожих. Речь при таком подходе не идет о выявлении российской исключительности (или – «экзотичности»). *Особое, особость* в таком значении – *это суть, основа исторического бытия данной культуры*.

Как назвать, конкретизировать эту особость? Распространенное в науке понятие «локальной цивилизации» (А. Тойнби) представляется излишне метафоричным. Предпочтительнее было бы говорить об особом культурно-историческом типе (Н.Я. Данилевский). Этот тип, во-первых, напрямую, т.е. без посредников, встроен в мировой процесс, входит в мировое целое (а это один из признаков цивилизации, по С. Хантингтону; цивилизация – самый высокий уровень самоидентификации людей, за которой непосредственно следует человечество, мировое сообщество). Во-вторых, как целое этот тип не вписывается ни в одну из субмировых общностей (Европу–Запад, Азию–Восток), ни в регион (Восточноевропейский, Тихоокеанский и др.).

Создание россиеведения как самостоятельного исследовательского направления представляет собой попытку выработать такой методологический инструментарий, который позволил бы нам увидеть то, что ускользало при прежних («локалистских» или универалистских) подходах. Это *«то»* есть некое совершенно специфическое, сугубое естество, генетическая ... нет, не программа, скорее – предрасположенность. Она обнаруживает себя по-разному. В качестве примера укажем на феномен практически ничем не ограниченной, самодержавной власти. В определенном смысле имеется лишь два идеальных типа организации власти – «монархия» и «полиархия»: власть, сосредоточенная в одном «лице» (оргane), или власть рассредоточенная, разделенная в различных институтах. В нашей стране, несмотря на трехкратную за последнее столетие трансформацию социально-государственной системы, сохраняется монархическая власть (в идеaltипическом смысле). Или другой пример: в постсоветские времена у нас появился совершенно иной, чем на Западе и на Востоке, тип партийного строительства. Или: мы можем наблюдать в России – в различные эпохи – один и тот же феномен «властесобственности». Можно

указать и на «загадку» конституционного развития: сменяя общественные формы, Россия почти 200 лет живет практически с одним и тем же конституционным текстом. Подобные примеры можно множить.

Представление о целом, т.е. о России как об особом культурно-историческом типе, могло бы сложиться (и складывается) в рамках теоретических моделей, выходящих за пределы «узких» традиционных подходов. Эти модели ориентируют на поиск природы данной социальности, дают возможность нащупать и «просчитать» вероятные возможности ее развития. В самом общем смысле они составили бы *научную традицию «понимающего» познания России* – в духе понимающей психологии В. Дильтея, понимающей социологии М. Вебера, философской герменевтики Х.-Г. Гадамера и П. Рикера.

Следует подчеркнуть: мы особенно не держимся за термин «россиеведение». Более того, не убеждены в том, что «россиеведение» – лучшее название. Но мы пользуемся им так же, как термином «востоковедение», подчеркивая тем самым, что для изучения Востока недостаточно только традиционных научных дисциплин; в Востоке есть нечто, что в них не укладывается. Кроме того, термин «россиеведение» активно применялся в образовательной системе России конца XIX – начала XX в. Одним из первых в постреволюционные времена его употребил в 1920-е годы Петр Савицкий – лидер евразийства, крупнейший специалист по политической, экономической географии, геополитике и т.д. В то же время (в 1920–1930-е годы) в немецкой науке появилось понятие «*Russlandskunde*» («россиеведение»), обозначающее целостный подход к изучению России. Позже в послевоенной англоязычной науке возникло направление «*russian studies*» («русские исследования»). Мы же избрали «россиеведение», поскольку полагаем этот термин содержательно нейтральным и не имеющим каких-то «опасных» коннотаций. Важно и то, что аналоги «россиеведения» есть в языках, обеспечивающих современные межкультурные коммуникации.

Смысловые ракурсы россиеведения: антикоммунизм

Безусловно, россиеведение необходимо для познания специфической отечественной истории. Очевидно: нужны новые понятия и концепции для того, чтобы уяснить то особенное, что отличает нашу социальность, выделяя ее среди других. Ведь и по сей день не выполнен завет выдающегося русского историка Р.Ю. Виппера: «Произошло все как раз наоборот предвидению теории – мы притягивали историю для объяснения того, как выросло Русское государство и чем оно держится. Теперь факт падения России, наукой весьма плохо предусмотренный, заставляет... проверить свои суждения. Он властно требует объяснения, надо найти его

предвестия, его глубокие причины, надо неизбежно изменить толкования... науки»¹. Виппер, конечно, имел в виду революцию Семнадцатого года. Перед современными исследователями стоит задача понять истоки и смысл событий конца XX в. Но все это, если угодно, нормальные научные заботы, весьма почтенные и полезные.

При этом российский исследователь столкнулся сейчас и с «глобальной» задачей – с нашей точки зрения, единственной и главной: *преодоление коммунизма* во всех его формах и проявлениях. Коммунизма ленинского и сталинского, хрущевского и брежневского, интернационального и национал-коммунизма, а также посткоммунизма начала XXI в. (Вы спросите: что это? – Это мы.) *Преодоление*, разумеется, *предполагает понимание*. Так вот, эта глобальная исследовательская задача придает особый смысл россиеведению.

Нам возражат: что вы рветесь в открытые двери? Все уже изучено и описано, существует множество убедительных и авторитетных концепций. В конце концов, имела же на Западе советология, которая профессионально занималась исследованием советского коммунизма. Может быть, осталась работа в архивах, но не более того. Нет, скажем мы твердо. Во-первых, многое еще не понято. Что касается советологов, то, хотя они и достигли определенных успехов в изучении тех процессов, которые происходили в нашей стране в XX в., в целом они оставались бойцами идеологического фронта войны с коммунизмом. А это вне зависимости от их личных намерений во многом превращало цель анализа в цель, по которой ведется огонь. Во-вторых, из всего изученного и описанного пока не сделаны социальные выводы.

В XX в. Россия осуществила над собой и некоторыми сопредельными ей странами невиданный в истории человечества эксперимент – коммунистический. И как это ни парадоксально, по сегодняшний день ни сами русские, ни вообще человечество не выработали адекватного понимания того, что произошло. И дело не в том, что существуют различные мнения и оценки, а в том, что *мы не обладаем* пока точным, насколько это вообще возможно в науке, *знанием об истоках, генезисе, природе и причинах гибели этого феномена*. В качестве примера отметим: по сей день нет даже определенной ясности в том, есть ли коммунизм «домашнее», внутреннее дело русской истории или Россия была им инфицирована. Ведь если верно последнее, то коммунизм принадлежит всему человечеству или хотя бы какой-то другой, нерусской его части. А, может, советский коммунизм явился комбинацией различных, внешне противоположных причин? Или вообще прав А. Зиновьев, видевший в истории человечества два

¹ Виппер Р.Ю. Кризис исторической науки. – Казань, 1921. – С. 3.

основных социальных потоков: коммунально-коммунистический, олицетворяющий, так сказать, примитивное бытование на минимальном уровне, по линии наименьшего сопротивления, и «цивилизационный», связанный с поступательным развитием цивилизации и постепенным «очеловечиванием» человека как природно-биологического вида.

И, наконец, самое главное. Все убедительные и авторитетные концепции коммунизма создавались либо еще в период его существования, либо сразу после видимой кончины. Подчеркнем: именно *видимой*. Первое десятилетие этого века показало: русский коммунизм во многих своих сущностях сумел выжить в ходе «Великой Преображенской» (А.И. Солженицын) = «Великой криминальной» (С.С. Говорухин) = «Великой демократической» (демократы) = «Великой антикоммунистической» (антикоммунисты) = «Великой национал-освободительной» (национальные освободители) и т.д. революций. Он пожертвовал, кажется, всем – историческим государством, хозяйственным укладом, территорией, идеологией и т.д. Но выжил¹.

Возникает вопрос: мы что, клоним к тому, что современный социально-политический порядок является каким-то новым, невиданным изданием коммунизма? – Нет, это не так. Мы имеем в виду совсем другое. Коммунизм существует в нас, в наших мозгах и крови, в наших поступках, он разлит в воздухе, которым мы дышим. То есть он оторвался от видимых материальных субстанций, превратившись в нечто квантоподобное. И в этом смысле он действительно призрак, который бродит по России. Но влияние этого призрака на нас не меньше, чем когда-то влияние всяких ЧК–ЦК–ГБ.

Необходимо отметить, что коммунизм – вовсе не таинственное нечто, которое и «умом не понять». Его облик вполне отчетлив. Определяющими для советского коммунизма являются следующие качества: насилие и упрощенчество в решении любых социальных вопросов, элементаризация восприятия действительности и природы человека, отсутствие толерантности, жизнь по принципу «или–или», забвение всяких правовых процедур, постоянные ложь и фальсификации, которые выдаются за борьбу с фальсификациями, непреодоленная (более того, социально одобряемая) тяга не к производству и творчеству, а к переделу наличной вещественной субстанции (в развитых обществах именуемой национальным богатством) и перераспределению ее в свою (индивидуальную и групповую) пользу, воинствующие антисолидаризм и антииндивидуализм, «чудобесие» и национальный «нарциссизм», «беспочвенность», агрессивное отрицание традиции как культуры и т.п. То, что все это воспроизвелось в «по-

¹ В том же самом смысле, как выжил один из главнейших персонажей русского коммунизма – Сталин. «Кремлевский горещ», по словам Эдгара Морена, не ушел в прошлое, а растворился в будущем.

сткоммунистической» России (и не в качестве периферийных явлений, «пережитков», а тотально, победно, реваншистски), придает задаче преодоления коммунизма совершенно иные, чем прежде – при коммунизме (когда были надежды, что он рухнет) и в момент его падения (когда появилась надежда на новое, лучшее), – смысловые ракурсы.

Следовательно, *наша попытка должна состоять в том, чтобы продвинуться в понимании коммунизма, т.е. в ключевом для нас, русских, вопросе нашего самопознания.* При этом коммунизм «привлекает» нас не только в строго научном, но и в моральном смысле. Мы исходим из предпосылки (при этом, повторим, еще точно не зная природу и пр. коммунизма), что коммунизм явился крупнейшей антропной и антропологической катастрофой последних столетий. А поскольку эта катастрофа разразилась в нашей стране, то именно на нас лежит ответственность за его понимание, а значит, и противостояние эксцессам этой чудовищной болезни.

Иными словами, мы не скрываем своих позиций и готовы – в определенном смысле – согласиться с главным человеком коммунизма, В.И. Лениным, в том, что не бывает беспартийной науки. Безусловно, *наше россиеведение партийно.* И эту партийность мы бы сформулировали так: противостояние коммунизму через его понимание. Подчеркнем: понимание изнутри – в научном отношении и в том смысле, что мы сами были участниками этого эксперимента. А значит, что бы там ни было, несем за него ответственность.

При этом необходимо отметить, что концентрация на теме коммунизма обязательно предполагает обращение и к русской, и к мировой истории, а также, не скажем ко всем, но к совершенно различным областям социальной эволюции. Это также не означает, что всем иным вопросам русской истории и русского настоящего будет уделяться второстепенное внимание. Насколько хватит наших исследовательских возможностей, настолько острым и упорным, критическим и равнодушным будет интерес ко всем значимым темам русской жизни. Вот только смотреть на них мы будем исходя из того, что в XX столетии в России был коммунизм.

Разумеется, это наше «исходя» мы постараемся не превращать в карикатуру: к примеру, в работе о русской иконе XV в. не станем пытаться понять природу коммунистической эстетики или этики. Просто коммунизм будет находиться в центре нашего внимания.

Пока не мы сокрушили коммунизм, а он восторжествовал над нами, приняв новые – погромно-патриотические, национал-черносотенные, первобытно-передельные – формы. Он навязал нам старый, привычный с советских времен алгоритм существования: каждый – против всех и все – против каждого, но в то же время кто не с нами – тот против нас и в этом – залог нашего единства. По нашему глубокому убеждению, призрачно-

невидимое коммунистическое естество уйдет из нашей жизни (и тем самым перестанет ее определять) только тогда, когда: а) мы придем к адекватному пониманию коммунизма; б) когда это понимание будет разделять большинство нашего народа.

Мы должны сказать полную правду о коммунизме и донести ее до общества. Что это за правда? Не надо далеко ходить: спросим у наших братьев-немцев, которые на протяжении уже шестидесяти лет говорят ее. И правда эта включает в себя следующее: 1) научное изучение теории и практики национал-социализма (в нашем случае – русского коммунизма); 2) безоговорочное моральное осуждение этих теорий и практики; 3) последовательное, длящееся десятилетиями обучение населения ценностям и практике либеральной демократии и гуманизма. Такую правду говорят, когда уже не хотят быть такими, как прежде, и для того, чтобы изменить-ся, преодолевая преступное в себе.

От какого наследия мы отказываемся

Как известно, в советские времена изучение российской социальности не выделилось в самостоятельное исследовательское направление. Им в равной мере занимались историки, экономисты, юристы, когда стало можно – социологи, демографы и т.д. Карикатурной попыткой преодоления ситуации «разделенности» (дискретности) этого исследовательского пространства был междисциплинарный «комплекс» научный коммунизм, возникший в 1960-е годы. В рамках научно-коммунистического обществоведения пытались синтезировать разные области исследования, дав им общую методологию. Это, в общем, удалось; научный комплекс/комбинат (своего рода аналог комбината питания или бытовых услуг) произвел единый, обязательный для всех – наук и людей – методологический минимум. Качество этой «пищи для ума» было аналогично качеству продуктов советского общепита. Тем не менее ели все; обязательное усвоение «марксистско-ленинского минимума» (в школе–вузе–на производстве, в ходе непрерывного жизненного цикла) вошло в социализирующий набор, усредняя и объединяя всех в сообщество «советских людей».

Методология советской науки не просто не ориентировала на познание, критический анализ своей (ранне-классическо-позднесоветской) социальности. Она блокировала возможности такого познания, призывая (мобилизуя) науку на решение совсем других задач. Фактически советская наука была нацелена на конструирование новой (социалистической) реальности, которую и требовалось исследовать научными средствами. Изучив же, следовало изготовить научный инструментарий по подгонке советской действительности (того, что и было нашей жизнью), отягощенной множеством «пережитков», «недостатков», дефицитов и прочих «времен-

ных явлений», к единственно подлинной, выверенной с помощью научной методологии реальности. «Учение Маркса–Энгельса–Ленина» (и т.д.) «всесильно, потому что оно верно»; конструкт и есть реальность, потому что он верен. *Социальные науки в СССР не были отягощены проблемой познания, – они уже обладали знанием.* Им нужно было только донести это знание до общества, инфიცировать им массовое сознание, перестроить его в соответствии с научной картиной мира. Поэтому они так тесно сплелись с системой пропаганды–агитации.

Советская наука занималась подменой реальности и делала это со всей серьезностью. Ее монополюный «метод» – соцреализм; ее цель – воспитание нового человека и созидание идеального мира. Может ли быть более высокая цель у науки? Поэтому ее социальные оправданность, востребованность и статус недостижимы. До тех высот никогда не подняться науке, занятой «скромным» делом самопознания наличной действительности и действующего в ней – против всех научных схем, принципов, веры и идеалов – человека.

Результаты функционирования советской науки поистине грандиозны. За время ее «триумфального шествия» мы не только не обрели новые «инструменты» (в широком смысле слова) познания своей (подчеркнем, *своей* – для изучения других режим был помягче) социальности, но и забыли старые, обнаруженные до эпохи торжества соцреализма. *Мы утратили навыки, опыт, а главное – мотивацию критического самопознания (и адекватного самоопределения).* Никто (и прежде всего страта изучающих) не знал, кто мы, на что способны, чем больны. Андроповское «мы не знаем страны, в которой живем», – точная оценка положения сословием управляющих. Но вменять это незнание в вину «верным ученикам» вождей–партии, трудившихся на научной ниве и надрывавшихся в перманентной «битве за урожай», было несправедливо: ведь именно вожди–партия поставили советскую социальную науку на «здоровый» методологический фундамент. Они же дали ей необходимые (чтобы выжить) ориентировки: легитимировать власть и сформировать идентификационный проект для советской страны.

За эти достижения советской науке должны быть признательны и нынешние вожди и партии, сменившие на посту (точнее, на вахте, потому что они уже не охраняют, а добывают) героев былых времен. Социальная наука в СССР сконструировала-таки нового человека, живущего фикциями, подменами, фантазмами и отрицающего неподходящую (неудобную, сложную, травмирующую – одним словом, «кошмарящую» его) реальность. Она дала ему средства борьбы с такой реальностью – единственно верное учение (потому битва социальных управляющих за народные симпатии – это и борьба за то, из чьих рук народ получит такое учение). И неважно, каким оно будет – марксистско-ленинским, православно-

христианским, державно-государственным, гламуриющим и развлекающим или всем этим вместе. Главное, чтобы миф, который оно в себе несет, возвышал и утешал человека, отвлекая от тягостной реальности. Этот социальный запрос блокирует процесс самопознания и превращение «научно-методологического комплекса» в науку столь же надежно, сколь это делала советская власть со своим контрольно-воспитательным и репрессивным аппаратом. Но зато очень облегчает социальное управление.

«Методологически верные» «научные» формулы пережили советский мир, перевоплотились в стереотипы массового сознания и по-прежнему определяют нашу жизнь. Мы привычно воспроизводим (чаще инстинктивно, на уровне чувств и рефлексов) затверженное с детства или усвоенное «с молоком матери»: о добром дедушке Ленине и гении Сталина; «всем известно, что земля начинается с Кремля»; ядерный щит надежно защитит от происков врага; «все мы простые советские люди»; коммунизм – это когда у тебя все есть и «от каждого – по способностям, а каждому – по потребностям»; международный капитал – враг трудящихся всего мира; не только в области балета мы впереди планеты всей. У самых молодых советские жизнеутверждающие клише переработались в постсоветские – и тоже жизнеутверждающие: «Эх, хорошо <было> в Стране Советской жить»; «жить стало лучше, – жить стало веселее»; «Россия – великая наша держава», она встала с колен; мы – не такие, как все, и этим всем еще покажем; в стране развивающегося капитализма «хорошо, все будет хорошо». Почти всеобщий «задвиг» на всем этом лишний раз показывает, как неразрывна родовая связь постсоветского общества с советским.

И советская социальная наука много сделала для сбережения этой связи. Несмотря на то что жизнь, вроде бы, на каждом шагу ее опровергла, а сама она все больше превращалась в догму, растрчивая витальность и ветшая. И несмотря на то что люди науки пытались перестать, наконец, конструировать (точнее, улучшать и адаптировать к современности конструкции «классиков»), вырваться за ограничительные рамки «единственно верной» методологии к познанию, к сопряженным с ним свободному поиску, открытым дискуссиям, ошибкам и прорывам в самопонимании.

Наследие советской социальной науки оказалось непреодолимым; и в наши относительно свободные времена оно работает против – по привычке тяготеющего к нему – человека. В 1990-е годы мы попытались выскочить из этой ловушки за счет приобщения к западной социальной науке. Но и ее восприняли – опять же по привычке – как единственно верное учение. Осознание того, что оно не срабатывает при столкновении с нашей реальностью, вызвало шок, от которого наша наука еще не оправилась. Продолжая искать здесь «последние» ответы на «последние» вопросы, мы так и не поняли, что западный опыт дает нам шанс откатиться от советского наследия: как пример нормального существования нормальной

науки в нормальном (т.е. не направленном против человека, личности, индивидуальности) обществе. Школа приобщения к западному опыту также показала: нам не удастся *переложить на кого-то* задачу понимания того, что происходило и происходит в *нашей* стране. Поиск адекватной методологии и адекватных ответов – это, если выразиться высокопарно, *национальная* задача.

Вот на этой социокультурной площадке, в этом историческом контексте, имея перед собой эти цели и задачи, мы и будем продолжать дело, которое полагаем важнейшим для нашей страны, – *самопознание*.

И.И. Глебова

ОТ РЕДАКТОРА

Центр россиеведения ИНИОН РАН начинает издание ежегодника «Труды по россиеведению». Первый выпуск посвящен революциям 1917 г. – именно их исход во многом определил русский XX век. Революции мы полагаем одним из главных россиеведческих сюжетов, а их осмысление – открытой, все еще не разрешенной нашей наукой проблемой. Недавние юбилеи революций 1905 и 1917 гг. показали, что российское общество далеко от их понимания: не до конца ясны причины, ход, смысл и последствия; из «работы памяти» вокруг них и по их поводу не извлечен опыт. Мы – научное сообщество и граждане страны – оказались неспособными сознательно принять это прошлое, превратить его в учебную площадку и инструмент нашей свободы. Поэтому публичные дебаты о революциях начала XX в. не могут быть прерваны, – они необходимы для адекватного понимания не только прошлого, но и настоящего России.

Конечно, мы не намереваемся в одном выпуске трудов или усилиями одного научного центра сделать все это. Мы ищем новые подходы к проблеме, пытаемся формулировать новые вопросы к тем событиям, переопределять их методологически и контекстуально. Нам хотелось бы расширить исторический подход к революции как сложному объекту исследований за счет интерпретационных возможностей политологии, культурологии, этнологии, коммуникационных дисциплин и др.

Логика такого поиска определяет ведущие материалы выпуска, задающие ему тон, – теоретические статьи Ю.С. Пивоварова и В.П. Булдакова. Содержательно к этим работам примыкает и написанная в начале 1930-х годов в эмиграции брошюра выдающегося российского мыслителя А.С. Изгоева (переиздание, первое в постсоветское время, подготовил Ю.С. Пивоваров). И по своему подходу, и по своим выводам она абсолютно современна и продуктивна. Видение революции сегодняшним российским и зарубежным научными сообществами представлено в материалах семинара Центра россиеведения и аналитическом обзоре В.М. Шевырина

(хотя он уже публиковался в изданиях ИНИОН РАН, мы сочли необходимым включить его в «революционный» выпуск).

Сюжетным, методологическим и стилистическим разнообразием отличаются другие материалы сборника, так или иначе тяготеющие к теме революции 1917 г. Все они «работают» в одном направлении, помогая понять революцию 1917 г. путем углубления и расширения (а не примитивизации и схематизации) наших представлений. Проблематика политической культуры революционной эпохи – в центре внимания И.И. Глебовой и Б.С. Орлова. К мировоззренческим, культурным проблемам обращается О.Ю. Малинова, показывая, как в ответ на военный вызов трансформировался дискурс об отношении России к Западу. Связь мировой войны с революционным взрывом акцентирует А.С. Сенин: приведенный в его статье фактический материал позволяет иначе, чем это принято в советско-постсоветской историографии, взглянуть на вопрос о «расстройстве» транспорта. Работа Т.И. Хорхординой посвящена сюжету, незаслуженно сдвинутому к периферии исследований, – судьбе исторического наследия в революциях, отношении к нему власти и народа, профессиональной и гражданской позиции его хранителей.

В разделе «Современная Россия: Публицистическая мозаика» собраны некоторые тексты, вышедшие в 2009 г. в массовой печати. Их выбор не так произволен, как может показаться на первый взгляд: они принадлежат к наиболее ярким и убедительным публичным выступлениям, в которых дан анализ современной ситуации в России. Их дополняет текст, извлеченный – с согласия корреспондентов – из частной переписки. Публикацию таких работ, равно как и материалов семинаров, Центр намеревается продолжить в следующих выпусках «Трудов по россиеведению».

И.И. Глебова

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ
РАКУРС**

Ю.С. ПИВОВАРОВ

О РУССКИХ РЕВОЛЮЦИЯХ: ПОСЛЕСЛОВИЕ

«Я не убежден в своей правоте, я убежден,
что это требует осмысления».

Ж. Деррида

«Сегодня время определенности».

Н.С. Михалков

(в передаче «Постскриптум» 26.01.2008
(21 час. 54 мин.)

Понять Россию, или «О самом личном»

Двадцать первый век постепенно разворачивается, раздуливается. И в общем некоторые важные вопросы его «повестки дня» уже проясняются. Но мы не будем их обсуждать, пусть это делают другие. Мы же последуем совету Элиаса Канетти: «Говори о самом личном, говори об этом, одно только это и нужно, не стыдись, об общественном говорится в газете»¹. – Так вот, о «самом личном».

А поскольку профессия, как утверждал наш учитель Макс Вебер, это – призвание (calling, Beruf), т.е. «самое личное», то речь пойдет о России (в начале XXI в.). Ведь мой Beruf – ограниченная жизненными сроками и неограниченная по претензии попытка «понять Россию». До основания, до корней, до сердцевины. Конечно, это невозможно. И мы помним завет другого учителя, Карла Яспера: исследователь должен исходить из презумпции наличия «тайны истории» и благоговейно перед ней останавливаться (вот, кстати, где фундаментальный порок марксизма; не будем с самого начала отвлекаться от еще не заявленной темы, но не удержимся: «тайна истории» у Яспера – это не пошлая «мистика», это – адекватная

¹ Цит. по изд.: Канетти Э. Масса и власть. – М., 1997.

антропология; «тайна истории» есть тайна человека, связанная со свободой выбора; и эту тайну никакая наука постичь в принципе не может. Добавлю: не ее это дело). – И все же понять Россию. Сегодняшнюю Россию.

Кстати, момент для очередной попытки «understanding Russia» (так, напомним, почти так называется книга известного историка Марка Раева¹) вполне подходящий. Еще совсем недавно национальный лидер, верховный правитель страны (и она вместе с ним) триумфально закончил свою восьмилетку. Мы вслед за ним шли от одной победы к другой (бурный подъем экономики, социальная стабильность, рост доходов населения, возвращенная субъектность в международных отношениях и возвращенный в Атлантику флот, выигрыш права на проведение зимней Олимпиады для Сочи, что, помимо прочего, должно способствовать скорому расцвету Юга России..., а еще вот-вот нанотехнологический бум, улучшение – какое-никакое – демографической ситуации и многое-многое другое, чему все мы являлись радостными свидетелями). Конечно, проблемы были. Но нам показали и доказали: они решаемы. И при этом все-таки конституционные два срока завершились. Был назначен наследник, будущий президент (выбор, надо сказать, прекрасный; молод, учён, опытен, долго работал с Самим – значит перенял необходимое для управления-властвования; к тому же, говорят, либерален, неконфликтен, не – силовик, которых все-таки хоть и обожают у нас, но и чуть-чуть побаиваются).

Дмитрия Анатольевича Медведева, после того как В.В. Путин избрал его для нас, сразу же полюбили. Тем не менее каковой будет Россия при нем никто не знал... Но вдруг разразился кризис. И наши успехи, наши достижения не то чтобы кончились, однако были подвержены серьезному секвестированию. Давайте же на этом рубеже попробуем вновь заняться бесплодным русским занятием: **понять Россию**.

Но перед этим еще раз о «самом личном». – Карл Барт в своем знаменитом «Очерке догматики» говорит: «Субъектом науки может быть лишь тот, для кого существует соответствующий предмет и сфера деятельности и кто причастен им» (4, с. 11). Для Барта и «его» науки догматики субъектом была церковь и те, кто находился в ее «пространстве» (Raum). – Вот и мы погружаемся в русское пространство: культурное, историческое и пр. При этом полностью разделяем бартовское понимание природы субъекта науки. «Тому, кто хотел бы иметь дело с догматикой и сознательно поместил бы себя при этом вне церкви, придется считаться с тем, что предмет догматики останется для него чем-то чуждым, и не следует удивляться, что он уже с первых шагов утратит ориентацию и будет

¹ Полное название «Understanding the imperial Russia». Но «имперская» (или – до-революционная), как это в русском переводе в данном случае для нас не основное. Основное – «Russia» (Raef M. Understanding the imperial Russia. – L.: Overseas publications interchange ltd., 1990. – 304 p.).

действовать разрушительным образом. И в догматике необходимо быть причастным предмету, а это означает как раз причастность жизни церкви. Отсюда не вытекает, однако, что в догматике следует провозглашать то, что в давние или новые времена утверждалось церковными авторитетами, и лишь повторять предписанное ими... Когда мы называем церковь субъектом догматики, то имеем при том в виду лишь то, что занимающийся этой наукой как исследователь... должен ответственно поместить себя на почву христианской церкви и ее деяний. Это *conditio sine qua non*» (там же, с. 12).

Вслед за Бартом и мы – методологически – утверждаем условием «*understanding Russia*» причастность «*Russia*», ответственность за и перед «*Russia*», признание «*Russia*» экзистенциальной «почвой» и отказ от рабского следования «предписанному ее авторитетами» (но – учет и знание этого).

Девяносто лет тому назад...

Итак, в 2008 г. в России появился новый президент. И это, конечно, зная наши традиции, ярчайшее и важнейшее, «рубежное», так сказать, событие. Но, помимо прочего, мы пережили еще два события – даты, которые по-своему тоже весьма значимы. Первое. Исполнилось девяносто лет со дня разгона Учредительного собрания. Именно **разгона**. Ведь ему не удалось состояться. С моей точки зрения, это и есть конец той России, которая была хоть как-то приемлемой. И начало России неприемлемой. То, что русские **позволили** удушить свой Земский Учредительный Собор, пожалуй, похлеще, чем февральско-мартовское свержение монархии. Конечно, и то, что произошло в начале Семнадцатого, **ошеломляет**. Скажем, по прочтении стенограммы заседаний Государственной думы ноября-декабря 1916 г., выступлений т. Керенского и г. Миллюкова (и других господтоварищей), напрашиваются два альтернативных вывода: они сошли с ума (не метафорически, клинически) или они преступные провокаторы, которых власть была обязана немедленно арестовать. То есть в сумасшедший дом или тюрьму. – Если проанализировать поведение верхушки бюрократии, генералитета, царского окружения (и императора, увы, тоже), общественников и т.д. в эти месяцы, хочется кричать от негодования, непонимания, отчаяния... Но есть смягчающее обстоятельство. Ни у кого не было исторического опыта жизни **после** монархии, в иных условиях. Эдакая наивность и невинность. Малопростительные, безусловно. Однако все-таки понятные.

Но то, что последовало за 2 марта 1917 г., что в конечном счете вылилось в развал страны и самозванничество уголовников-большевиков (почему «уголовников» скажу ниже, но, дабы сразу избежать дискуссий на

эту тему, напомню, что **это** в ноябре 2007 г. признал Верховный суд РФ; итак, об этом ниже), **должно** было отрезать, открыть глаза, сердца, уши (что еще?) **нормальных** людей. Их-то всегда большинство. И за годик научиться можно, догадаться, что к чему. А первых два месяца диктатуры этой банды? Они что, прошли даром?

Разумеется, задним умом крепки все. Легко через почти сто лет снисходительно указывать на адекватный «распорядок действий». Но в том-то все и дело, что не «легко», что потом наступил социальный ад и наш адрес, к несчастью, «Советский Союз» (пусть внешне его уже нет, но, подобно своему демиургу Ленину, он и после смерти «живее всех живых»; «мы все еще там» – прокричу я соотечественникам). – И они, **нормальные** русские люди (офицеры, активисты-общественники, священники, монахи, бюрократы, капиталисты, рабочие, ремесленники), **должны** были защищать **свой** Земский Собор. Он не был для них «своим»? – Однако на выборы пришла вся Россия. Это ли не «свой»?! Победили эсеры, которые до революции пускали кровь, а в Семнадцатом неожиданно показали себя политиками весьма жалкими (и в Советах, и в правительстве) и столь же неожиданно срачковитыми (люблю это украинское слово)? – Да. Но в тех условиях сохранение Учредительного собрания было последним, единственным шансом для всех нормальных (не-уголовников).

Не в Новочеркасск из Петрограда и Москвы, с развалившегося фронта должны были бежать боевые офицеры, а в столицу. Все эти чк еще не раскрутились, все эти петерсы-дзержинские еще в полной мере не оперились, еще не смели верить в свою неслыханную, немислимую удачу все эти (в скором будущем) кремлевские мечтатели, пламенные наркомвоенморы и милые, симпатичные убийцы-«бухарчики». **Еще можно** было им противостоять. **И было что** защищать. И люди, прошедшие фронт, умели воевать (через несколько месяцев и в течение нескольких лет они покажут и докажут это в совершенно **неправной** по силам схватке с красными; для меня это повод к гордости и оптимизму). Однако тогда, в январе Восемнадцатого, их всех в Петрограде, видимо, не было. Или они (из тех, кто был) еще ими не были...

И вот сегодня Россия **должна** это осознать, хотя бы для начала вспомнить... Молчание. Полная утрата исторической памяти и чувства исторического самосохранения. – Да, состав Учредительного собрания не вызывает особо положительных эмоций, да, само его «происхождение» из нарушавшего Основные законы отречения Николая II и полностью незаконного Михаила Александровича весьма печально, досадно, да, еще неизвестно куда бы это Собрание привело страну. Но это, в который раз скажу, был единственный **наличный** шанс России, чтобы не свалиться в бездну. Свалились. И всё забыли.

Второе дата-событие: девяносто лет со дня убийства царской семьи. Конечно, это во многом следствие первого (разгона). Что же сегодняшняя Россия? Что сказала она относительно этой традиции? Вот статья из газеты «Коммерсантъ»:

**«Верховный суд принизил полномочия совдепа
Царской семье отказано в реабилитации»**

Верховный суд РФ вчера отказался признать императора Николая II и членов его семьи жертвами политических репрессий. Суд согласился с доводами Генпрокуратуры, что расстрел царской семьи – уголовное, а не политическое преступление. Наследники Николая II назвали это решение “реабилитацией большевизма”.

Вчера коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ решила, что последний российский император и члены его семьи не подлежат реабилитации. Тем самым суд поддержал позицию Генпрокуратуры, которая уже дважды отказалась признавать членов царской семьи жертвами политрепрессий.

«Официального решения о расстреле царской семьи не принималось», – заявила вчера в суде представитель Генпрокуратуры Инесса Ковалевская. По ее словам, отсутствие уголовного дела и решения судебных и внесудебных органов власти не дают права реабилитировать Романовых. «Романовы были лишены жизни не как осужденные государственные преступники, а расстреляны представителями исполнительной власти, превысившими свои должностные полномочия», – уточнила она.

«В отношении членов царской семьи решения принимали органы, наделенные судебными функциями – ВЦИК, СНК, Уральский совдеп», – возразил адвокат российского императорского дома Герман Лукьянов. «Известно, что 18 июля 1918 года состоялось заседание президиума ВЦИКа, который признал расстрел Николая II правильным», – настаивал господин Лукьянов.

Выслушав обе стороны, суд вынес решение «признать Романова Николая Александровича, Романову Александру Федоровну, Романова Алексея Николаевича, Романову Ольгу Николаевну, Романову Татьяну Николаевну, Романову Марию Николаевну и Романову Анастасию Николаевну не подлежащими реабилитации».

«Я удовлетворена этим решением, – заявила «Ъ» госпожа Ковалевская после заседания суда. – Все сделано по закону». Ее поддержали представители КПРФ. «У него (Николая II. – «Ъ») самого руки в крови, вспомните Кровавое воскресенье, бездарное руководство армией в первую мировую, – говорит зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин. – Он виновен в той ситуации, которая сложилась в стране к 1917 году».

Представители великой княгини Марии Владимировны назвали решение суда «реабилитацией коммунистического строя». «Суд показал, что большевики действовали правильно по отношению к царской семье», – заявил «Ъ» адвокат Герман Лукьянов. «Безусловно, это не правовое, а политическое решение, за которым стоят силы, стремящиеся возродить элементы тоталитаризма, что противоречит интересам современного российского государства», – заявил «Ъ» директор канцелярии главы императорского дома Александр Закатов.

Мотивировочная часть судебного решения будет обнародована через десять дней, после чего адвокаты намерены обжаловать его в президиуме Верховного суда. Господин Закатов пообещал, что если не удастся добиться реабилитации от российских властей, то представители императорского дома обратятся в Страсбургский суд по правам человека.

Павел Ъ-Коробов¹

Не скрою, поначалу я был совершенно раздавлен. Как же так?

Россия, которая нашла в себе силы совершить Великую антикоммунистическую революцию (об этом еще поговорим), отказывается **по сути** признать страшный свой грех. Но вскорости понял: **другого** решения **эта** Россия, **неприемлемая**, принять и не могла. Более того, Верховный Суд РФ юридически закрепил за коммунистическим Бегемотом (наряду с Левиафаном библейский зверь; его именем большой немецкий ученый Франц Нойман назвал родственник большевистскому национал-социалистический режим) статус **уголовного**. Пережив в начале июля Восемнадцатого острый кризис, выйдя из него и начиная новую (для себя и всех) жизнь, юный Бегемот в порядке своеобразной людоедской инициации **замочил** (в отличие от украинского слова его люблю не я один) недавних еще персонификаторов исторической власти. И детишек пострелял. Конечно, это не политическое преступление, а уголовное. Никакой политики при коммунистах никогда не было. Только убийства, кровавые разборки, запугивание и т.д. Действительно, «представители исполнительной власти превысили свои полномочия». Ну, просто превысили. Чуть-чуть. И чтоб выстрелы были не слышны, стреляли через подушки. При чем здесь «реабилитация» и какие же они «жертвы политического террора»? – Они жертвы уголовного террора, развязанного в (**моей, приемлемой**) стране уголовниками. Никаких судебных в нормальном смысле слова органов там не было. Как не было нормального разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную. Все это были, согласно уголовным понятиям, кликухи различных уголовных банд. И «исполнительной властью» одну из этих банд можно назвать лишь в том смысле,

¹ Коммерсантъ. – М., 2007. – 09.11. – № 206 (3782).

что она «исполняла». Когда под подушки, когда под «Интернационал» (по рассказам моей бабушки, в центре Москвы в 19-м, чтобы не мешать ответработникам ответработать и по ночам), когда под кипяще-ледяную тишину вечного небытия...

Итак, еще раз, что следует из решения Верховного суда РФ. Представитель Генпрокуратуры Инесса Ковалевская (не правда ли, исторически значимые для русских имя и фамилия) заявила: «Все сделано по закону». Таким образом, Российская Федерация **законно** отказала членам царской семьи в реабилитации. Это прямое подтверждение правопреемства РФ от СССР (летом 1918 – РСФСР). А теперь представьте себе: нынешняя Германия заявляет, что бессудные убийства евреев «исполнительной властью» нацистского режима были «превышением ее должностных полномочий». Но это невозможно. Послевоенная (Западная) Германия принципиально отказалась от преемства с гитлеровским режимом. А послесоветская Россия, напротив, своими законами фактически оправдывает палачей и отказывается от солидарности (в том числе и правовой) с Россией доуголовной, приемлемой. Что ж, наверное, выбор был сделан. – Скажут: юридически решение Верховного суда РФ совершенно релевантно. Так вот, именно поэтому союзники и демократическая, **приемлемая** Германия отказались судить нацистских преступников по **их** законам. Ведь правовая техника в принципе позволяет «замотать» любое дело. Да и нацистские законы принимались с целью **прикрытия** коричневого террора. Недаром в науке законодательство Третьего рейха квалифицируется как «внеправовое». Эссенция права, дух права не содержались в законах тевтонских людоедов.

«Качественно» дальше нацистов пошли большевики. С самого начала они просто-напросто отказались от «буржуазного права», т.е. права вообще. Другого же не было и нет (притом, что в рамках «буржуазного» существуют различные правовые системы). И если гитлеровский строй был узаконенным бесправием, то ленинско-сталинский – незаконным бесправием. То, что у большевиков именовалось «законом», на деле являлось техническими нормами, с помощью которых они волюнтаристски и насильнически осуществляли свой курс. Правом здесь и не пахло.

Заявив себя правопреемницей коммунистического СССР, нынешняя Россия, хотела она того или нет, стала наследницей, продолжательницей красной «правовой системы», духа красного законодательства. В этом смысле решение Верховного суда РФ было абсолютно логично. И нельзя не согласиться с мнением представителя великой княгини Марии Владимировны: это – «реабилитация коммунистического строя». Реабилитация убийц, а не жертв, добавим. Нельзя не оценить и радости коммунистов: «Справедливо гад получил, сам – кровавый и страной управлять не мог. За это в расход, вместе со своими гаденышами». Правда, доктор сельско-

хозяйственных наук, депутат Госдумы и зампред ЦК КПРФ тов. Владимир Иванович Кашин (замечу в скобках – не мое это, беспартийного, дело вмешиваться в дела партийцев), не желая, видимо, того, занимает не вполне ленинскую позицию. То, что Николай II «бездарно руководил армией», «виновен» в создании революционной ситуации в 1917 г. и «допустил» Кровавое воскресенье, это ж и дало большевикам шанс на власть. Как же **им** обижаться на царя. Был бы он поуспешнее, их бы не было...

Впрочем, через некоторое время наше начальство все же одумалось. Переменило точку зрения. И Верховному суду РФ, видимо («видимо», потому что точно не знаю, как это произошло, однако – произошло), было поручено императора и царскую семью реабилитировать, признать жертвами политических репрессий. Говорю об этом кратко, скороговоркой, поскольку совершенно очевидно: «пересмотр дела» был, так сказать, демонстрацией политкорректности. Умные люди в Кремле, кажется, поняли: чего из такой безделицы, давно уже потерявшего всякое практическое значение события раздражать какую-то, пусть и невлиятельную, небольшую часть общества.

Но в сознании большинства русских людей и русской верхушки ничего по сути не изменилось. Мы так и остались «законными» преемниками СССР.

Хотя в какой-то момент – и это, кстати, было связано с девяностолетием со дня убийства Николая II и его семьи – мне показалось, что ситуация отчасти меняется. Летом 2008 г. телевидение показало несколько очень неплохих и сострадающих передач, посвященных этому событию. Появились статьи, написанные умно и честно. И вроде бы это обсуждалось в обществе. С пониманием и горечью...

Однако дальнейший ход событий полностью развенчал мою наивность и доверчивость. Позор в позорном телевыборе «Имя России», позор с Комиссией по фальсификациям, позор все это допускающего общества.

Да, странная мы все-таки страна... Ничему не хотим учиться. Даже не боимся, что исторические преступления, в которых мы не раскаялись и которые не были осознаны нами именно как преступления, настигнут нас же и поглотят вовсе... И вот здесь, если можно так выразиться, в нижней точке морального самоощущения, я хочу перейти к моей главной теме – «понять Россию» и «говорить о самом личном». Для меня это – судьба русских революций. Начала века (1905, 1917) и его конца (1991, 1993). Их происхождение, содержание, последствия.

«Жалкое морализирование»

«Нет ничего более жалкого, как морализирование по поводу великих социальных катастроф», – писал Лев Троцкий в своей «Истории русской

революции» (24, с. 25). Вот именно этим – «жалким» – я и призываю заняться вместе со мной. Сто (примерно) лет отделяет нас от того, что называется «первой русской революцией», и девяносто – от Февральской и Октябрьской. Дистанция вполне достаточная для того, чтобы уразуметь не только «истоки и смысл» (причины и содержание), но и последствия (ближние и дальние) всех этих крутопереломных событий. То есть теперь мы видим и знаем, *во что все это вылилось*. И должны признать: Русская Революция является главным событием русской истории.

Замечу: в этом моем утверждении таится ревизия классической позиции В.О. Ключевского. Известно, что великий историк главным событием отечественной истории полагал отмену крепостных порядков в 1861 г. Но думаю: доживи Василий Осипович до «окаянных дней», он согласился бы с нами. – А уж в мировом контексте Русская Революция куда более значимый феномен, нежели эмансипация крестьян. Правда, как мы хорошо знаем, реформа Александра II и революция тесно связаны между собой. Или, по чеканной формуле В.И. Ленина, «реформа... породила революцию» (10, с. 177).

Однако мы забегаем вперед. Вернемся к жалкому морализированию по поводу великих социальных катаклизмов. В современном русском интеллектуальном обиходе постепенно складывается (вот-вот сложится) господствующее убеждение: пора, подобно другим народам, пережившим свои революции, становиться цивилизованными. Пора найти революции определенное место в истории, отказаться от «черно-белого» взгляда на нее, помирить жертв и палачей, победителей и побежденных. Ведь сделали же это англичане, установив друг напротив друга памятники Карлу I и Кромвелю, а французы, поселив равноправно в своей памяти Бурбонов, Робеспьера и Наполеона, «старый порядок» и Революцию (а любимый везде и всюду Токвиль, подобно нашему все менее любимому Ленину, прямо выводил Революцию из «ancien régime»).

Если мы не сделаем того же, говорят идеологи исторического примирения, исторического синтеза (они же одновременно представители идеологического мейнстрима), у нас никогда не закончится гражданская война, Россия не выздоровеет и цивилизованным народом мы не станем. Да разве не правы они? Вот и социальная практика движется в этом же направлении. Воссоединились церкви (РПЦ и РПЦЗ), потомки коммунистов и эмигрантов находят общий язык, на Родину возвращается прах белых вождей (Деникина, Каппеля, Ильина и др.), под гимн бывшего СССР, ныне – РФ, под флагом дореволюционной России (белых, власовцев), ныне – РФ, патриарх (это еще Алексей II, ныне покойный) открывает памятник одному из самых чтимых русских святых – Савве Сторожевскому. И караул офицеров и солдат, с двуглавыми орлами и красными звездочками (тоже примирение!) на фуражках, салютуют: памятнику св. Савве, пат-

риарху и клиру, местному начальству. И даже то, что все это странно похоже на телевизионную картинку тридцатилетней давности – открытие памятника какому-нибудь советскому герою (да, без священства и русского флага, однако, как ни странно, общий тон не изменился). Но ведь и в этом же желанный большинству синтез докоммунистического и коммунистического. Тот самый синтез, воплощением которого и должна, думают многие, стать новая демократическая Россия¹.

На этом историческом фоне жалкое морализирование по поводу великих социальных катаклизмов кажется совершенно irrelevantным. Действительно, жалким и неуместным, каким-то уж очень запоздалым и ничемным. – Недавняя же «пря» вокруг учебников по истории (с участием августейшей особы Владимира Владимировича) и нынешняя – вокруг фальсификации истории показали: пора оставить ненужные споры, Россия вновь сосредоточивается и сосредоточивает эпохи, когда-то противоборствовавшие силы, мифы, идеологии и пр.

И все же я призываю заняться жалким морализированием. И не следовать совету Троцкого. И не идти в фарватере победительной идеологической эскадры. Но сделаем это все же по рецепту Льва Давидовича: «...Искусство познания есть искусство обнажения» (24, с. 26). Давайте обнажим «структуры» революции, проведем ее структурный анализ. А так посмотрим: что с чем можно примирить? И почему автор этой работы так настаивает на жалком морализировании по поводу Русской Революции.

«Истоки и смысл» Русской Революции

Понятно, что это название заимствовано у Н.А. Бердяева (знаменитые «Истоки и смысл русского коммунизма»). Но Русская Революция – явление гораздо более глубокое, широкое, сложное, чем русский коммунизм. Последний, при всем его, как говорили раньше, всемирно-историческом значении, «лишь» одна из нескольких составляющих Русской Революции.

Русская Революция – это не 1917 г. с его двумя революциями: Февральской и Октябрьской. Это и не 1905–1907 гг. плюс 1917 г. То есть это даже не совокупность трех революций. Хотя все они – важнейшие ее события. Русская Революция – это историческая эпоха между примерно 1860

¹ На своем, как всегда ёрническо-антипатриотическом, немейнстримовском языке все это подтверждает и автор провидческой «Москвы 2042»: «Сегодня усердно мы Господа славим / И Ленину вечную славу поем. / Держинского скоро на место поставим, – Тогда уж совсем хорошо заживем» (В.Н. Войнович). – До Держинского, наверное, все-таки не дойдет. А вот Андропову, не исключено, памятник поставят. И Владимир Владимирович его любит, и певец «Дворянского гнезда» спел ему киногогимн (А.С. Михалков-Кончаловский). Да, и по проспекту Андропова, как и по проспекту Сахарова, справно плетутся в пробках «дорогие мои москвичи»...

и 1930 гг. Это – семьдесят лет, жизнь человека, жизнь поколения. Она началась реформами Александра II и закончилась победой Сталина и сталинцев во внутрипартийной борьбе, сворачиванием НЭПа и коллективизацией. **Русская Революция – это период русской истории между отменой Крепостного Порядка (права) и установлением Второго Крепостного Порядка (права) большевиков (ВКП(б)).**

Имея в виду грандиозные изменения, которые происходили в России в 60–80-е годы XIX в., Ф. Энгельс в 1893 г. говорил: «Освобождение крестьян в 1861 г. и связанное с ним – отчасти как причина, а отчасти как следствие – развитие крупной промышленности ввергли эту самую неподвижную из всех стран, этот европейский Китай, в **экономическую и социальную революцию**» (выделено мною. – *Ю.П.*)» (15, с. 406). Добавлю: это было также революцией в социальной психологии и массовой ментальности. В начале XX столетия революция обрела политическое измерение. Таким образом, она носила универсальный (для русского общества) характер. (Не упустим и ее правового среза.)

Содержанием и целью Русской Революции была эмансипация общества и индивида. К весне 1917 г. эта цель была достигнута (какой ценой – и это вопрос принципиальный – скажем позже). После этой победы движение повернулось вспять, в сторону восстановления рабства. Говоря красиво, Семнадцатый был пиком – русская история взлетела к свободе и, не удержавшись, рухнула вниз.

И все-таки поговорим о русских революциях в Русской Революции. Иначе мы не сможем уяснить, **чем был Октябрь-17**, – а это-то интересует меня больше всего на свете (с тех пор, как помню себя).

Одно из больших исторических заблуждений (как современников, так и нас, потомков) заключается в том, что революция 1905–1907 гг. квалифицируется как «неудачная», «незаконченная»; рассматривается как «репетиция», «прелюдия» к 1917 г., т.е. настоящей революции. С моей же точки зрения, эта революция, во-первых, была успешной (насколько вообще революция может быть успешной; ведь это всегда трагедия). Во-вторых, нормальной, вполне сопоставимой с некоторыми европейскими революциями. Скажем – 1848–1849 гг. Причем, сопоставимой и по характеру, и по интенсивности протекания, и по результатам.

Главная удача революции 1905–1907 гг. состояла в том, что она завершилась компромиссом между властью и обществом. Но не победой одной из этих двух сил. Результатом этого компромисса стала Конституция 23 апреля 1906 г., широкая политическая реформа и столыпинское преобразование страны.

При этом все составляющие успешного результата революции не были случайными. За каждой из них была своя история, своя «подготовка». Конституция стала итогом более чем столетнего – когда осмысленно-

го, когда «инстинктивного» – продвижения России от Самовластия к конституционной и ограниченной монархии. В. Леонтович писал: «...Конституция от 23 апреля 1906 года представляла собой правовые рамки, в которых... можно было достичь политической цели, так долго остававшейся недостижимой и состоявшей в том, что монархия принимала либерализм как свою программу, а общественность сотрудничала с традиционными силами монархии при проведении в жизнь этой программы и даже находила какое-то внутреннее единство с этими силами» (11, с. 465). О том же раньше говорил и В. Маклаков: «В России были тогда две силы. Была историческая власть с большим запасом знаний и опыта, но которая уже не могла править одна. Было общество, много правильно понимавшее, полное хороших намерений, но не умевшее управлять ничем, даже собой. Спасение России было в примирении и союзе этих двух сил, в их совместной и согласованной работе. Конституция 1906 года – и в этом ее основная идея – не только давала возможность такой работы, но делала ее обязательной. Идти вперед, менять можно было только при обоюдном согласии. Соглашение между двумя политическими силами сделано было необходимым условием государственной жизни» (13, с. 145).

Иными словами, Конституция 23.04.1906 г. создала самые благоприятные условия для продвижения России к более совершенному состоянию. Это был в высшей степени взаимовыгодный компромисс власти и общества.

Широкая политическая реформа означала признание за большей частью подданных империи политических прав и допуск их к управлению (и здесь было продолжено более чем вековое дело). Столыпинский же план предполагал фундаментальное изменение социальных, экономических и правовых условий жизни русского народа. То есть этот план не сводился только к решению крестьянского вопроса (хотя это и было сердцевиной), но затрагивал страну в целом, во всех ее измерениях.

6 марта 1907 г. П.А. Столыпин выступил с большой речью в Думе. В ней он сформулировал программу коренных преобразований русского социума. Она «представляла собой одно из самых решительных наступлений либерализма во всей русской истории» (11, с. 518). Эта программа стала основой правительственной политики вплоть до начала войны (после убийства Петра Аркадьевича ее продолжил В.Н. Коковцев). Вот ее основные положения: 1) **религиозная терпимость и свобода совести** – были разработаны процедуры перехода из одного вероисповедания в другое, а также создания новых религиозных общин; устранялись все правовые ограничения, связанные с вероисповеданием; 2) **неприкосновенность личности** – арест, обыск и цензура корреспонденции могли иметь место только на основании судебного постановления; в случае полицейского ареста законность его должна быть проверена судом в течение 24 часов; предварительное расследование по политическим преступлениям прово-

дят не жандармские офицеры, а судебные следователи; адвокат допускается к подзащитному уже во время предварительного следствия; предполагалось существенно изменить уголовно-процессуальный порядок, привести его в соответствие с «европейским стандартом»; 3) **совершенствование системы самоуправления** – создание нецензовых земств в волостях, расширение права голоса при земских выборах, придание земствам новых функций, ограничение надзора административных органов за деятельностью органов самоуправления; 4) **административная реформа** – создание целостной системы гражданской администрации; организация административных судов; 5) **аграрная реформа**; 6) **трудовое законодательство** – введение различных видов страхования, узаконение экономических забастовок; 7) **народное просвещение**.

В этот день П.А. Столыпин говорил в Думе: «В основу всех правительственных законопроектов... положена... общая руководящая мысль, которую правительство будет проводить и во всей своей последующей деятельности. Мысль эта – создать те материальные нормы, в которые должны воплотиться новые правоотношения, вытекающие из всех реформ последнего царствования. Преобразованное... отечество наше должно превратиться в государство правовое... Правовые нормы должны покоиться на точном, ясно выраженном законе еще и потому, что иначе жизнь будет постоянно порождать столкновения между новыми основаниями общественности, государственности и... старыми установлениями и законами, находящимися с ними в противоречии» (20, с. 37). Таким образом, им подчеркивалось: возникающие как результат реформ правоотношения будут иметь в соответствующих законах защиту от любой попытки их нарушения, в том числе и со стороны власти. Кроме того, П.А. Столыпин имел в виду следующее: новое законодательство необходимо для того, чтобы отменить старые установления и законы, противоречащие конституционному строю, к которому перешла Россия. Иначе говоря, им ставилась задача согласования всего правопорядка страны с Основными законами в редакции 23.04.1906 г.

Да, эта революция была удачной! Кстати, еще и потому, что ни власть, ни общество не «взорвали» народ. Народный мир, пережив волнения и повышенное напряжение, все-таки устоял, сохранил равновесие.

Зачем Февраль?

Что касается Февральской революции, то она могла быть и могла не быть. В отличие от революции 1905–1907 гг. она не была исторически «запрограммирована». Более того, даже состоявшись, имела возможности развиваться иначе. В этом ее отличие от Октябрьской революции.

Почему же произошла Февральская революция? Ставя этот вопрос, я имею в виду не влияние войны (а оно было; и было одной из причин революции), неэффективные, а порой безответственные действия властей (включая Николая II), не «заговор» военных, не недалновидность и (тоже) безответственность «общественников», не стечение обстоятельств (снежная зима, затруднения в подвозе к Петрограду хлеба, очень холодная погода с внезапным к концу февраля–началу марта потеплением, когда жители города, «засидевшись» дома, высыпали на улицу и т.д.) и т.д. Это все причины важные, но, так сказать, важностью второй очереди.

По большому счету Февральская революция произошла потому, что, к сожалению, ни общество, ни власть не поняли: революция **уже** (в 1905–1907 гг. **была**). И максимум того, что общество могло тогда «переварить», – получило. И максимум того самоограничения, на которое тогда могла пойти власть, был достигнут. Таким образом, всем следовало оставаться в этих рамках, рамках исторического компромисса власти и общества и в рамках Конституции, не выходить за них, искать там соглашения и решения вопросов. Может быть, после войны эти рамки и расширились бы. Виновны обе стороны: царь и бюрократия (не вся, конечно) стремились к сужению этих рамок, общество стремилось их раздвинуть. И те и другие хотели выйти из этого исторического «договора».

Зимой 1917 г. общественникам померещилось: час настал. Власть **можно** взять в свои руки. За годы войны их влияние, практическая сноровка и самооценка резко выросли. Власть же, напротив, казалось, не знала, **что** делать. Суетилась, куда-то пропали адекватные люди. Все получилось очень легко. Дунул теплый мартовский ветер, и императорскую Россию сдуло. Сто лет отчаянной, смертной борьбы с царским режимом, а финал схватки – почти оперетта. Почему? Вот главный вопрос к Февральской революции.

«Две разные России» – две русские революции

А потому, что русское государство, русская институциональная система, даже русская полиция – при всех их грозности, громадности, при всех страхах, которые они наводили (наводят – это сохранилось) на ближних и дальних, – чрезвычайно неустойчивы, неэластичны, неэффективны, но: хрупки и ненадежны. И чуть что, разлетаются вдребезги, в щепки, в ничто. (События 1991 г. подтверждают это.) Вот и тогда, в начале Семнадцатого, легкий мартовский ветер снес Россию как Институт. А власть царь сдал добровольно (и противозаконно: нарушил и Конституцию, и закон прапрадеда Павла о престолонаследии). Общественники взяли у него власть в самом прямом смысле: как мы у кого-нибудь берем ключ и поселяемся в комнате, квартире, гостиничном номере. Все. Спор

был закончен. Либералы (всех оттенков, включая консервативных) и социалисты (всех оттенков, включая радикальных) получили страну в свои руки.

Но вот уже почти 90 лет историки задаются вопросом: куда «слиняло» общество летом–осенью (особенно осенью) 1917 г.? А ведь оно имело за плечами весьма приличный политический опыт, умение самоорганизоваться, разветвленную по всей России сеть различных союзов, партий и т.д., деньги, наконец. К примеру, современный российский исследователь В.М. Шевырин убедительно рассказывает нам о громадной по своему размаху деятельности Всероссийского союза городов, Земского союза и Центрального военно-промышленного комитета в годы мировой войны. Это были подлинно всероссийские организации. Скажем, в Союз городов входило 630 городов, а в Земский союз – 7728 учреждений. Они организовывали госпитали, пункты питания, стирку белья, бани, помогали беженцам. Были активны в тылу, на фронте, на путях следования войск, раненых и беженцев (27, с. 46–54).

Еще раз скажу: между 1914 и 1917 гг. «общественники» очень выросли и организационно, и политически. Почему же их противостояние тенденциям, которые вели к Октябрю, оказалось крайне неэффективным?

Ответ на этот вопрос связан с ответом на главный вопрос русской революции: что такое Октябрь 1917 г.? – Его мы не поймем, если не скажем еще об одной Революции, которая развивалась параллельно и синхронно Русской Революции. И тоже в России. Это была Революция крестьянства, т.е. Революция более 100 млн. человек, подавляющего большинства населения страны.

Следовательно, для того чтобы уяснить, что происходило в России между примерно 1860 и 1930 гг., надо исходить из факта двух одновременных, «пересекающихся», «диффузирующих» друг в друга, однако самостоятельных революций. Каждая из них имела свое собственное содержание и смысл, характер и цели (если позволительно говорить о целях исторического процесса).

Но почему две революции? Это следствие фундаментального раскола России на две субкультуры в результате преобразований Петра I. Об этом в свое время точно сказал В.О. Ключевский: «...Из древней (допетровской. – Ю.П.) и новой России вышли не два смежных периода нашей истории, а два враждебных склада и направления нашей жизни, разделившие силы русского общества и обратившие их на борьбу друг с другом вместо того, чтобы заставить их дружно бороться с трудностями своего положения» (9, с. 363). А до него А.И. Герцен: «Две России с начала XVIII столетия стали враждебно друг против друга. С одной стороны, была Россия правительственная, императорская, дворянская, богатая деньгами... С другой стороны – Русь черного народа, бедная, хлебопашенная,

общинная, демократическая, безоружная, взятая врасплох, побежденная... Что же тут удивительного, что императоры отдали на разграбление своей России, придворной, военной, одетой по-немецки, образованной снаружи, Русь мужицкую, бородатую, неспособную оценить привозное образование и заморские нравы, к которым она питала глубокое отвращение» (6, с. 267). И он же: «...Две разных России... община и дворянство, более ста лет противостоящие друг другу и друг друга не понимавшие. Одна Россия – утонченная, придворная, военная, тяготеющая к центру – окружает трон, презируя и эксплуатируя другую. Другая – земледельческая, разобщенная, деревенская, крестьянская, находится вне закона» (8, с. 208).

Итак, возникли две России – не понимающие друг друга, различающиеся по всем базовым цивилизационным и культурным характеристикам. Обе они зажили собственными жизнями. Правда, одна находилась у другой в рабстве. – Здесь необходимо подчеркнуть: будущие фигуранты Русской Революции – власть и общество – принадлежали к одной субкультуре. Верхней, европеизированной, созданной Петром Великим.

Этот раскол России во многих отношениях определял ее историческое развитие в XVIII–XIX столетиях.

Таким образом, каждая из двух субкультур переживала свою собственную революцию. Но этого тогда никто не знал и не понимал...

Крестьянская уравнилельно-передельная-захватная Революция

Теперь о крестьянской Революции. У нее было несколько измерений. Одно из них – знаменитый «аграрный кризис». Его диспозиция такова: демографический взрыв второй половины XIX – начала XX в. привел к перенаселению в деревне; к этому времени были распаханы все доступные тогда целинные земли, экстенсивный же характер земледелия сохранился; в общине началось имущественное расслоение на богатых, средних и бедных. Ситуация становилась потенциально взрывоопасной.

Сначала ведомое С.Ю. Витте «Особое совещание по сельскохозяйственным нуждам» (1902–1905) пыталось теоретически разобраться с этой проблемой, затем П.А. Столыпин и его последователи (1907–1914) решить ее – известным способом – практически. Однако спровоцированная Февралем общинная революция покончила со столыпинской реформой, почти полностью похвалив ее результаты. А 28 июня 1917 г. Временное правительство (инициатива министра-эсера Виктора Чернова) принимает решение, запрещавшее столыпинское разверствование земли и фактически частную собственность на землю.

Иными словами, общественники сдаются перед разворачивающейся крестьянской Революцией. И дело здесь не в том, что в их рядах возобладали эсеровская линия, а линия Витте–Столыпина–кадетов оборвалась.

Эсеровщина и стала последним словом общественников – говоря выспренно – на суде истории, потому что столыпинщина обломала зубы о хребет передельной общины.

Так где же корни крестьянской русской Революции? К концу XVIII столетия – ходом событий, властью, помещиками (во многом как реакция на пугачевщину) – была создана передельная община. Ввели «тягло» – справедливую, равную систему распределения платежей и рабочей (трудовой) повинности. Цель была одна: поддержание равенства – нет бедных, нет богатых, нет пугачевых, нет бунта. А в основе всего – перманентное перераспределение, передел земли и уравнивание всех. Таким образом, социальная энергия миллионов русских мужиков канализируется вовнутрь. Купируется возможность социального взрыва, выброса излишка энергии. Но перманентно-передельный тип социальности (уточним: передельная община рождается не только и, может быть, не столько в результате определенных действий определенных людей) – во многом следствие многовековой адаптации населения к природной русской бедности, к «запрограммированной» в этих северных широтах скудости вещественной субстанции. Что, кстати, «предполагает» низкий уровень потребления.

Самодержавно-помещичья социальная гармония закончилась, когда разразился «аграрный кризис». Экстенсивно-передельный инстинкт Всероссийской Общины выразился во все возрастающем стремлении к захвату помещичьих, государственных и пр. земель. Столыпинская земельная реформа вроде бы указала нормальный (в смысле: не кровавый) путь выхода из этой крайне опасной для всех ситуации. Действительно, ее успехов, особенно если принять во внимание, что на все–про все история «выделила» лишь семь лет, недооценивать нельзя. Однако пришел 1917 год, и в результате известных причин вновь поднялся уравнильно-передельно-захватный общинный вал.

Дуван, большевики, передельная община и «касса истории»

Вот здесь-то большевики и оказались у «кассы истории». И взяли ее. Непопулярный в научных кругах Р. Пайпс пишет: «Есть в русском языке слово “дуван”, заимствованное казаками из турецкого. Означает оно дележ добычи, которым обычно занимались казаки южных областей России после набегов на турецкие и персидские поселения. Осенью и зимой 1917–18 годов вся Россия превратилась в предмет такого “дувана”. Главным объектом дележа была сельскохозяйственная собственность, которую Декрет о земле от 26 октября (1917 г. – Ю.П.) отдал для перераспределения крестьянским общинам. Именно этим переделом добычи между крестьянскими дворами в соответствии с нормами, которые свободно уста-

навливала каждая община, и занимались крестьяне до весны 1918 года. На это время они потеряли всякий интерес к политике» (17, с. 121).

Молодцы большевики! Нашли дело для русского народа. А сами быстрехонько укрепляли свой режим. В январе 1918 г. провели еще одну революцию – разогнали Учредительное собрание и самоучредились в Советскую республику.

Большевики вправду нашли дело для всего русского народа. «Дуван» проходил и в промышленности (фабзавкомы и «рабочий контроль» свелись к разделу доходов, имущества, оборудования предприятий), и в армии (прежде чем отправиться домой, солдаты грабили арсеналы, склады и т.д.), и в государственной сфере. Да-да, государство тоже стало «предметом» передела. Об этом – тот же Р. Пайпс: «... Зимой 1917–18 годов население России занималось дележом не только материальных ценностей. Оно растаскивало русское государство, существовавшее в продолжении шести столетий: государственная власть тоже сделалась объектом “дувана”. К весне 1918 года вторая по величине Империя мира распалась на бесчисленные политические образования...» (там же, с. 123).

Таким образом, большевистская революция во многом была именно переделом власти государства. Нельзя сказать, что ленинцы все это придумали. Тем не менее «официальный лозунг «Вся власть Советам» облегчал этот процесс, позволяя региональным советам различных уровней – краевым, губернским, уездным и даже волостным и сельским – требовать независимой власти на подчиненной им территории. Результатом стал полный хаос» (там же).

Еще раз: передел земли, фабрик и заводов, армейского имущества и – как высшая форма передела – власти-государства. Конечной же «монадой», на которую передел власти не покушался, была волость. Здесь властный передел остановился. Внутри волости шел передел земельный. На границах волости – и это не случайно – встретились два главных русских передела. – Напомню всем хорошо известное: слово «власть» происходит от слова «волость». То есть, видимо, волость является первичной ячейкой русской власти. **Кроме того, именно на волостных рубежах от энергий двух этих переделов (власти и земли) рождается ключевой феномен истории России – властесобственность.** Фундаментальность волости хорошо понимал крупнейший российский государствовед, юрист и историк Н.Н. Алексеев (1876–1964): «Известное количество сельских советов объединяются в некоторое высшее целое, именуемое волостью. Эту административную единицу советский строй унаследовал от старой России – и не только петербургской, но и древней, московской... Волость осталась в качестве органа местного крестьянского самоуправления после реформ императора Александра Второго. Большевики связали старую волость с советской системой...» (3, с. 329).

Но все далеко не так просто с этой русской передельной общиной, учинившей революцию, которая смела все результаты деятельности послепетровской европеизированной субкультуры (хотя и сама она была не незаконным, не побочным «ребенком» этой субкультуры). Исследования общины давно уже показали: ее экзистенция строится на двух противоречащих друг другу тенденциях (обычаях-институтах) – к становлению нормальной частной собственности на землю и необходимости постоянно поддерживать принцип «равных для всех оснований» (перманентный передел). Общим местом этих исследований стало утверждение, согласно которому антагонистические отношения этих тенденций несли в себе зерно разрушения общины. В конечном счете должен был, полагали аналитики, победить один из двух принципов. Но они ошибались.

Эволюция общины после завершения общинной революции 1917–1922 гг. и до начала коллективизации 1929 г. показала: обе эти тенденции суть обязательные условия ее существования. Саморазвитие общины шло не в двух противоположных направлениях. Как бы это парадоксально ни звучало, но эти тенденции были лишь разными проявлениями одной «субстанции».

В скобках замечу: субстанция общины тоже менялась. Община становилась более открытой миру, более гибкой, принимавшей теперь и определенное неравенство, и новые формы организации – кооперацию, в первую очередь. То есть не исключено, что община трансформировалась в нечто социально устойчивое, эффективное, адекватное русской Современности. В нечто в духе Чайнова–Кондратьева... Однако, как мы знаем, общине сломали хребет в 1929 г.

Так что же, большевики пришли к власти на волне общинной, крестьянской революции? На волне общенационального «дувана», место для которого было расчищено затуханием революции европеизированной субкультуры, подъемом той же общинной, войной, развалом государства? Да, без этого большевики не победили бы.

В 1917 г. «столкнулись» две Революции. Столкнулись как поезда. И подобно железнодорожной катастрофе, произошла историческая катастрофа. Оба поезда сошли со своих путей.

К весне-лету 1917 г. Революция европеизированной субкультуры достигла всех своих целей. Здесь бы ей остановиться, передохнуть, «подумать» и начать строить. Но именно в этот момент в нее врзалась Революция традиционалистской, крестьянской субкультуры. Ее мощь лишь начинала разворачиваться. **Большевики сумели сыграть на этом столкновении.** На «временном» угасании одной Революции и подъеме другой. Развал государства и армии дал еще одну волну мощного разрушительного свойства.

И чтобы ни говорили о вторичности Октября по сравнению с Февралем (мы еще вернемся к этой теме), к сожалению, «моментом истинны» тех социальных процессов, которые тогда разворачивались в России, стала именно **Большевистская революция**. Она радикализировала общинно-передельно-уравнительную революцию, способствовала «дувану» в общероссийском масштабе... Впоследствии коммунистам пришлось наложить лапу на этот передел. Умыть всех кровью и подморозить-заморозить «Россию, кровью умытую». С оттепели 50–60-х пошла разморозка.

О природе Октября и об исторических аналогиях

И все-таки неужели Октябрьская революция была «лишь» производным двух, о которых кратко было уже сказано, революций и следствием войны, развала и т.д.? – Нет. Она имела свою собственную природу. Какую? – Отвечу на это не прямо.

Сначала приведу два гениальных пророчества относительно Русской Революции. Они принадлежат Льву Толстому и Карлу Марксу. И сделаны они примерно в одно и то же время: примерно за полстолетия до 1917 г. Графу Толстому приснился сон и он записал это в дневник: «Всемирно-народная задача России состоит в том, чтобы внести в мир идею общественного устройства без поземельной собственности (т.е. частной собственности на землю. – Ю.П.). «Собственность – кража» останется большей истиной, чем истина английской конституции, до тех пор, пока будет существовать род людской. Это истина абсолютная, но есть и вытекающие из нее истины относительные... Первая из этих истин есть воззрение русского народа на собственность. Русский народ отрицает собственность самую прочную, самую независимую от труда (т.е. частную собственность вообще, как институт. – Ю.П.), и собственность поземельную (повторим: частную на землю. – Ю.П.). Это истина не есть мечта – она факт, выразившийся в общинах крестьян, в общинах казаков. Эту истину понимает одинаково ученый русский и мужик... Эта идея имеет будущность. Русская революция только на ней может быть основана. Русская революция не будет против царя и деспотизма, а против поземельной собственности... Самодержавие не мешает, а способствует этому порядку вещей» (23, с. 259–260).

Заметим, когда самодержавие стало мешать этому порядку, его убрали. Когда царь перестал быть деспотом, его расстреляли. А Россия эту свою идею «внесла в мир». То есть выполнила «всемирную задачу». Как и французская революция, которая окончательно («Code civil») утвердила идею и практику частной собственности. В этом смысле русская революция оказалась прямо противоположной французской.

Что касается Маркса, то его прогноз, думаю, не во всем пришелся «по душе» его победившим последователям: «Настанет русский 1793 год; господство террора этих полуазиатских крепостных будет невиданным в истории, но оно явится вторым поворотным пунктом в истории России, и в конце концов на место мнимой цивилизации (выделено мною. – Ю.П.), введенной Петром Великим, поставит подлинную и всеобщую» (14, с. 701).

Ну, относительно «подлинной и всеобщей» Маркс ошибался, а вот предсказание «невиданного в истории террора» и гибели петровской «мнимой цивилизации» оказалось стопроцентно точным.

Теперь же укажем на историческую аналогию Октябрьской революции (так, окружными путями, осторожно мы и будем приближаться к главному ...).

В конце XVII столетия Русь была расколота на два «лагеря» (еще не субкультуры). Одна, говоря условно, смотрела на Запад и в будущее. Другая – на собственно-русское прошлое. Церковный раскол четко зафиксировал это. У «западников-прогрессистов» была программа реформ по модернизации страны (активная внешняя политика, предполагавшая борьбу за выход к Балтийскому и Черному морям, создание регулярной армии, оптимизация налоговой политики, развитие системы образования и т.д.). Важнейшим пунктом этой программы (ее главный выразитель кн. В.В. Голицын – «первый министр» царевны Софьи и влиятельнейший сановник при Федоре Алексеевиче) было освобождение крестьян с землей. То есть у этой программы было существеннейшее эмансипационное изменение.

Кроме того, эта программа «предполагала» мягкую, осторожную вестернизацию и опору на традиционно-русско-православный фундамент. Разрыв с традиционной идентичностью, ментальностью, органикой ни в коем случае не входил в планы реформаторов.

Противостояние этих двух «лагерей», как мы знаем, было в высшей степени жестким. Один из наиболее символических эпизодов этого противостояния зафиксирован русским изобразительным искусством – прения о вере в Грановитой палате летом 1682 г. (диспут между патриархом Иоакимом и вождем староверов Никитой Пустосвятом в присутствии царевны Софьи). Какая во всем этом экспрессия! Столкнулись два мощнейших энергетических потока!

А через двадцать лет ничего от всего этого не осталось. Ни тех, ни этих. Пришли другие люди, другие лица, другие темы «прения». Пришел Петр и реализовал программу реформаторов. Только вместо освобождения крестьян он еще больше закрепостил их и все остальное население страны. То есть вместо реформ и свободы мы получили реформы и рабство. Вместо осторожно-деликатного внедрения «западнизма» и безусловного ува-

жения к себе и своему прошлому – варварская вестернизация и нигилизм по отношению к почвенной культуре. (Разумеется, это все «идеальные типы», «модели»; в реальной истории все было сложнее, противоречивее.)

Причем если у реформаторов Петр «наследовал» программу, то у традиционалистов-староверов – страстную энергию, железную волю, «сектантскую» нетерпимость, узость и проч. Революция Петра, которую он обрушил на Россию, вышла из противостояния двух этих «лагерей». Он воспользовался ими, их ограниченностью, «частностью» и «частичностью». Он противопоставил им свою революцию, которая началась «уничтожением» обоих лагерей и создала новую Россию.

Типологически схожей была большевистская революция. Она началась в апреле 1917 г. с приезда Ленина в Петроград (так же как петровская после его возвращения из «великого посольства») – **Революция большевиков покончила с двумя субкультурами императорского периода русской истории, поставив на их место новую Россию. Коммунисты занялись модернизацией страны, заковав ее в рабство. Они поварварски взялись за дело, которое цивилизованно делали Витте и Столыпин.**

Февраль и Октябрь

Но и это, конечно, далеко не все, что мы должны знать об Октябре. Одна из важнейших тем здесь, т.е. в деле понимания Революции, это – соотношение Февраля и Октября. Сколько же об этом написано! Какие интеллектуальные силы участвовали в решении этой задачи! И что же? В общем и целом имеются две позиции. Первую занимают либералы, которые убеждены: Февраль – это хорошо, Октябрь – плохо. Общего у них нет. Более того, Октябрь есть отказ и отрицание Февраля. Вторая позиция занята всеми остальными. Когда-то в свойственной для него манере (я бы назвал ее нагло-самоуверенным экспрессионизмом, или – отвратительно-талантливым журнализмом) Л.Д. Троцкий описал ее следующим образом: «Февральская революция была только оболочкой, в которой скрывалось ядро Октябрьской революции. История Февральской революции есть история того, как Октябрьское ядро освобождалось от своих соглашательских покровов» (24, с. 24). Февраль и Октябрь, говорил он, связаны между собой так же, как зерно, породившее колос (там же).

Если отбросить характерные для вождя большевиков «соглашательские покровы», если отбросить соответствующие (для троцких) коннотации, то так думает подавляющее большинство думающих о Революции. А разве позиция А.И. Солженицына, эксперта № 1 по всем этим революционным темам, иная? – Вот, например: «Если в Феврале было мало крови и насилия и массы еще не раскатились, – то все это ждало впереди: и вся

кровь, и все насилие, и захват народных масс, и сотрясение народной жизни... Наша революция раздувалась от месяца к месяцу Семнадцатого года – вполне уже стихийно, и потом Гражданской войной, и миллионным же чекистским террором, и вполне стихийными крестьянскими восстаниями, и искусственными большевицкими голодами по 30, по 40 губерний – и, может быть, закончилось лишь искоренением крестьянства в 1930–1932 и перетряхом всего уклада в первой пятилетке. Так вот и катилась революция – 15 лет» (19, с. 78). Мастерски выстраивает Александр Исаевич существенную хронологию Русской Революции, как из одного «раздувается» другое. Как от исходной точки – Февраля – приходим к чекистскому террору. А изучая протоколы работы Временного правительства, он видит: «...накатывается... продовольственная реформа... через которую мы начинаем уже с мурашками угадывать большевицкие продотряды» (там же, с. 74).

Какая же из этих позиций адекватная или хотя бы ближе к истине? – Обе и одновременно не та и не другая. Разумеется, правы либералы, защищающие свой Февраль. Какой террор, какая гражданская война, голод, истребление крестьянства? – **Сто лет послепетровская европеизированная субкультура шла к самозмансипации и змансипации русского общества.** С 60-х годов XIX столетия, о чем мы уже говорили, в стране начались революционные изменения. Наконец, к Февралю 1917 все цели были достигнуты. И содержательно эта революция себя исчерпала. Да, она не сумела построить новую, демократическую Россию. Но ведь это уже задача пореволюционная...

Однако правы и сторонники второй позиции (вот парадокс: трудно найти менее схожие исторические фигуры, чем Троцкий и Солженицын, а в этом – ключевом для русских – вопросе по сути дела стоят на одной точке зрения). Конечно, Февраль развязал руки Октябрю. Событийно, конкретно-исторически одно перетекло в другое. И главные действующие лица как-то очень плавно и убедительно сменяют друг друга. Сначала царская бюрократия и либерально-социалистическая общественность, затем либералы и социалисты, социалисты и большевики и, наконец, только БОЛЬШЕВИКИ.

Тогда в чем же ошибочность обеих позиций? – И та и другая – поверхностны. Они не идут в глубь социальных процессов, развертывавшихся столетиями. Нужен принципиально иной взгляд на Русскую Революцию, иной подход к ней.

Структура Русской Революции

Первое. Русская Революция (1860–1930) была двойной комбинацией трех революций. С одной стороны, это 1905 г., Февраль и Октябрь 1917 г. (как нас учили в школе). С другой, это была – Эмансипационная револю-

ция послепетровской европеизированной субкультуры, предвестниками которой выступили декабристы и которая победила весной 1917 г. Победела и почилла в бозе. Свои задачи она выполнила, а строить новое ей было не по силам, не по плечу. Далее. Общинная революция второй послепетровской субкультуры – традиционалистской, почвенной, старомосковской. Она началась весной 1917 г. и, по мнению специалистов, закончилась к 1922 г. Ее результат: все пахотные земли России наконец-то принадлежали Общине, стольпинская же реформа – последнее, что могла предложить ей европеизированная субкультура, была похоронена.

Второе. Ничего общего – содержательно – между двумя этими революциями не было. Это – следствие послепетровского раскола на две субкультуры. Но, разумеется, и мы отмечали это, дело происходило в одной стране, и потому эти революции «пересекались», сталкивались, «вмешивались», диффузировали друг в друга. Эмансипационная революция лезла в деревню, проводила там реформы, провоцировала и т.д. Процессы, происходившие в общине, безусловно, затрагивали город (разными способами и путями, сейчас об этом говорить не будем) и всю европеизированную субкультуру в целом. Тем более, что барьеры между ними постепенно рушились. Вместе с тем имплицитно общинная революция была направлена против «русских европейцев», европеизации и модернизации России. Против всего этого «восставали» те ценности, традиции, модели социальной психологии и социального поведения, которые в своей известной работе о русской революции (1906) Макс Вебер квалифицировал как «первобытный коммунизм».

Особо следует подчеркнуть: все три русские революции – Эмансипационная, Общинная и Большевиcтская – показали, увы, невысокий моральный квалитет русского народа. Но что особенно обидно – это низкие моральные стандарты общинников. Ведь это и есть великий, святой и униженно-оскорбленный русский народ, во имя которого и для которого жили, творили и умирали лучшие наши сердца и умы! – В одной из своих прежних работ я уже обращался к замечательной статье двух казанских авторов В.М. Бухараева и Д.И. Люкшина «Крестьяне России в 1917 г.. Пиррова победа общинной революции» (5). В ней на примере вполне благополучной (по меркам того времени) Казанской губернии показывается, что и как начали делать русские крестьяне зимой 1916–1917 гг.

«... Казанская губерния продолжала относиться к числу районов, в которых наблюдался некоторый избыток производства хлеба над потреблением. Усилиями только государственного аппарата в ней заготавливалось продовольствие для Нижегородской, Ярославской, Владимирской и Тверской губерний. Нормы отпуска продовольствия в губернии превышали аналогичные показатели Нижегородской губернии в 8–10 раз. К тому же, несмотря на введение твердых цен на хлеб осенью 1916 г., крестьяне про-

должали на свой страх и риск спекулировать хлебом. За счет разрушения в годы войны хлеботоргового аппарата в хозяйствах накапливались запасы продовольствия, так что основная масса крестьянства едва ли имела основания для недовольства» (там же, с. 131–142).

Итак, перед нами сытый и в минимальной степени затронутый мировой войной уголок стомиллионной русской крестьянской вселенной. «Конечно, – замечают авторы, – говорить о процветании мелких сельскохозяйственных производителей тоже нельзя: уменьшилась площадь посевов, резко сократилось число самих пахарей (45% трудоспособного мужского сельского населения было призвано в армию. – Ю.П.), из-за развала (иллегализации) внутреннего хлебного рынка у ряда хозяйств возникли проблемы с уплатой налогов...» (там же, с. 132–133).

Тем не менее в 1917–1918 гг. в Казанской губернии, как, впрочем, и во всей России (и в относительно благополучных, и в неблагоприятных регионах), произошли события, которые в современной науке принято называть «общинной революцией». В чем же дело? Где подлинные причины этой революции?

В.М. Бухарев и Д.И. Люкшин дают следующий ответ: «Основная проблема хозяев-общинников в этот период состояла в наметившемся и все более углублявшемся разрыве между положением крестьянских хозяйств с позиций этики выживания и их финансово-экономическим положением. С одной стороны, еды было достаточно и угроза голода не возникла, с другой – накапливалась задолженность по налогам, сужались возможности погашения банковского кредита... Перед общинным самоуправлением вставала задача выравнивания стандартов: организационно-хозяйственного и экономического. Решить ее можно было двумя способами: либо, задействовав компенсаторные механизмы общинной этики выживания, обеспечить экономическую дееспособность захиревших хозяйств, либо... понизить уровень организации всей национальной экономики до стандарта этики выживания. При условии сохранения государственного строя – о втором пути не приходилось даже мечтать, однако именно он гарантировал выживание общины как социального института. На практике это означало стремление общины переложить свои тяготы на плечи не вмонтированных в систему “моральной экономики” хозяйственных субъектов, включая промышленный город, что она и постаралась сделать после того, как общинные структуры “чудесным” образом оказались обремененными властью. Однако решающим условием победы общинного “мятежа” явился захват общинниками пахотных земель и изгнание прежних владельцев. Проведенная явочным порядком “социализация” на некоторое время сделала крестьянские миры единственными властителями на земле бывшей Российской империи» (там же, с. 133).

Надеюсь, что эта обширная цитата выписана нами не зря. Однако проясним в ней некоторые места (определенная небрежность стиля, к сожалению, несколько затемняет смысл). Община, столкнувшись с трудностями (об их природе еще будет сказано), могла пойти двумя путями. Первый: преодолевать их экономически эффективно и в этическом плане действовать на высоте. Второй: хозяйственные и этические стандарты свести до минимума, выходить из кризиса (не такого уж и острого, как выясняется) за счет иных, некрестьянских социальных субъектов (города, в первую очередь). Что и произошло. Возможным это стало по причине развала государства. Община сама – впервые в своей истории – стала властью. Единственной реальной властью в стране. И тут же «позволила» себе захватить все необщинные пахотные земли, изгнать их прежних владельцев, «послать» город куда подальше, опустить уровень экономики (сельской сначала и, как результат всего этого, общенациональной) до мыслимого (вообще-то, немислимого) предела.

Но было еще одно крайне важное обстоятельство, позволявшее общине (всероссийской) действовать именно так. «Временное правительство, уничтожив корпус жандармов, департамент полиции и институты полицейского сыска, фактически расправилось с государственным аппаратом, поскольку именно эти структуры обеспечивали связь между отдельными частями и общее функционирование... эстатистской машинерии Российской империи. Все остальные институты немедленно автономизировались под влиянием внутренних ведомственных интересов. Кроме того, жандармско-полицейский аппарат был едва ли не единственным государственным органом, проникавшим на волостной уровень, что в стране, где сельское население составляло порядка 80%, имело решающее значение. Утратив это “государево око”, правительство как бы враз ослепло, лишившись не только контроля над деревней, но и просто информации с мест» (там же).

Заметим: полиция (в широком смысле слова) признается главным властным инструментом России. Именно она обеспечивала единство всего механизма управления и контроль над основной массой населения страны. И стоило «отменить» полицию, как империя рассыпалась в пух и прах.

Как уже отмечалось, безусловно, одной из важнейших причин русского Семнадцатого года был знаменитый аграрный кризис. Низкая культура сельскохозяйственного производства и быстрый рост населения привели к земельному голоду и, соответственно, взрывоопасной социальной ситуации. Война несколько сняла напряжение. Но когда летом 1917 г. мужчины стали возвращаться в родные места, все вернулось на круги своя. И «демография» сыграла здесь роковую роль. Именно солдаты-фронтовики «выступили застрельщиками первых крестьянских беспорядков. Акции эти носили аффективно-спонтанный характер и напоминали

хулиганские выходы. Направлены они были прежде всего против разбогатевших односельчан, хуторян. Нападавших интересовали продовольственные запасы, самогон, вещи. Поскольку государство было неспособно остановить погромщиков, все большее число крестьян присоединилось к беспорядкам, которые порой охватывали целые волости. Если учесть, что в рамках морально-экономического мироощущения, присущего крестьянам-общинникам, акция, не повлекшая за собой наказание, считается справедливой, то очевидно, что отсутствие конных стражников побуждало общинников к новым социальным экспериментам» (там же, с. 133–134).

В скобках скажу: по сути, то же самое мы наблюдали в 90-е годы. Только уже не в деревне, а по всей стране (впрочем, и в деревне, но не она одна к концу столетия определяла русскую жизнь). Видимо, общинное морально-экономическое мироощущение сохранилось у нас и в нас, несмотря на все перемены XX в. Как только «начальство ушло» и уже никто не мог дать по рукам, большая часть популяции бросилась к новому переделу (кстати, и значительная доля «начальников» ушла как раз на воровское дело). Однако оставим сейчас наши «окаянные дни», послушаем еще о тех.

«Большинство крестьянovedов квалифицируют социальные стратегии крестьянства как оборонительные. Крестьяне не проявляют социальной агрессивности, однако возмущение по поводу поправных прав проявляется у них на «тактическом уровне в виде насильственных актов (потрава, порубка, пьяный дебош и т.п.). Поскольку «возмущение» – состояние субъективное, постольку претензии крестьянства не ограничиваются решением конкретных вопросов. Они, так сказать, безбрежны, удовлетворить их в принципе невозможно. На протяжении тысячелетий агродееспотии для ограничения претензий общинников прибегали к аргументам военно-полицейского порядка. Когда общинникам казалось, что у них урывали слишком много, происходили беспорядки. «Дискуссионное поле» ограничивалось, с одной стороны, частоколом штыков, с другой – заревом горящих усадеб. И когда разошедшийся крестьянин чувствовал у своей груди штык, он понимал – дальше нельзя. Приступая к беспорядкам, общинники рассчитывали на появление, рано или поздно, полицейской стражи. Но ни весной, ни летом 1917 г. они так и не дождались представителей силовых структур. А раз нет стражников, значит, государство не считает поступки крестьян несправедливыми и можно расширить набор претензий» (там же, с. 135).

Конечно, картина, написанная В.М. Бухараевым и Д.И. Люкшиным, не очень-то и симпатична. Но – справедлива и честна, исторически достоверна. Здесь вновь хочу напомнить современникам: а что мы с вами делали в 90-е, да и сейчас продолжаем делать? Разве не то же самое, что общинники в семнадцатом–восемнадцатом?

Третье. Большеви́стская революция пришла на историческую «площадку», которую ей расчистила (от государства) Эмансипационная революция. Причем пришла в тот момент, когда «эмансипаторы» полностью выдохлись. Это было весной-летом 1917 г. И уже вовсю полыхала Общественная революция, которая не только не мешала, но в высшей степени им способствовала и была ими использована (мы уже говорили об этом).

В чем эссенция большевизма?

Но какова же была субстанция самой большевистской революции? Как ни странно, при всей культурной элементарности большевизма ответить на этот вопрос сложно. В нем, безотносительно к тому, что думали его идеологи и вожди, было намешано много всего. В этом, кстати, характерная черта большевизма: смесь элементарности со сложным содержанием. Более того, будучи, с одной стороны, безусловной идеократией, с другой – являясь идеологически беспринципным, всеядным. Впитывал в себя множество разнообразных идей, настроений, энергий. В этом отношении большевистская революция была более сложным историческим явлением, чем Эмансипационная и Общественная революции.

Однако что же все-таки лежало в самой-самой ее сердцевине? **Насилие и упрощенчество** (не случайно Г.В. Плеханов назвал Ленина гением упрощенчества). Причем упрощенчество и насилие **как универсальные и единственные способы решения всех вопросов. Ставка делается на низменное, на слабости человека или социоисторической общности, на больное и наболевшее. Эксплуатация всего этого и есть ленинизм–троцкизм–сталинизм (большевизм).** Кроме того, большевикам удалось соединить парохильную (в смысле «parochial political culture» Г. Алмонда)¹ волостную передельную энергию, общероссийский «дуван» 1917–1918 гг. и универсалистский и современный (в смысле Modernity) дух европеизированной субкультуры. Что значит «удалось»? Они были порождением всего этого.

Это означает: большевистская революция была русской народной революцией? Да, народной. Только совсем не в том смысле, какой мы привыкли вкладывать в это слово. Народность Октября и того, что за ним последовало, в том, что это стало судьбой всех русских, определило жизнь нескольких поколений (говорю здесь только о нас, о всемирно-историческом измерении пусть скажут другие), воплотило ряд коренных исторических черт, психологических комплексов, утопий и пр. русского человека (и «простого», и «непростого»).

¹ Американский политолог Г. Алмонд ввел в науку концепцию политической культуры. «Political culture» он дифференцировал по типам. «Парохильный» – характерен для примитивных, локалистских, деревенских обществ.

Каких? – Сошлюсь на мнение П.Б. Струве, одного из первых, кто понял нашу Революцию, раз и навсегда. В ноябре 1919 г. в Ростове–на–Дону им была прочитана публичная лекция. В ней этот «крестоносец русской свободы» (как назвал его при отпевании о. С. Булгаков) зафиксировал: «**Бытовой основой** (выделено мною. – *Ю.П.*) большевизма, так ярко проявившейся в русской революции, является комбинация **двух могущественных массовых тенденций** (выделено мною. – *Ю.П.*): 1) стремление каждого отдельного индивида из трудящихся масс работать возможно меньше и получать возможно больше и 2) стремление к массовым коллективным действиям, не останавливающимся ни перед какими средствами, осуществить этот результат и в то же время избавить индивида от пагубных последствий такого поведения. Именно комбинация этих двух тенденций есть явление современное, ибо стремление работать меньше и получать возможно больше существовало всегда, но всегда оно подавлялось непосредственным наступлением пагубных последствий для индивида от такого поведения. Эту комбинацию двух тенденций можно назвать **стихийным экономическим или бытовым большевизмом** (выделено мною. – *Ю.П.*)... Но большевизм, как он обнаружился в России, есть не только это, а целое политическое и социально-политическое движение, опирающееся на указанные... тенденции и стремящееся, опираясь на них, организовать социалистический строй при помощи захвата государственной власти. Большевизм есть комбинация массового стремления осуществить то, что... Кафарг назвал “правом на лень”, с диктатурой пролетариата. Эта комбинация именно осуществилась в России, и в осуществлении ее состояло торжество большевизма...» (22, с. 11–12).

Обидно? Но разве это не так? А весь этот дуван-грабёж в городе и деревне, постыдное разложение армии*, падкость на очевидно-демагогические, обманные обещания и призывы невесть откуда взявшихся агитаторов? – Все это Струве точно подметил. И точно определил: в соединении с диктатурой (он говорил: «пролетариата», мы скажем: всероссийско-интернациональной черни) это и есть большевизм, торжествующий и победный.

Вообще пора перестать жалеть так называемый народ. Народом, напомуно, на Руси полагали малообразованное и малокультурное большинство. Когда пытаются понять, почему все так дурно сложилось в ходе Рус-

* Да, по количеству пленных в мировой войне рекордсмены (2,4 млн. человек); это притом, что потери по убитым и раненым вполне сопоставимы с французами (1 млн. 385 тыс. и 3 млн. 44 тыс. человек), англичанами (947 тыс. и 2 млн. 122 тыс. человек), немцами (1 млн. 808 тыс. и 4 млн. 247 тыс. человек), у нас – 1 млн. 650 тыс. и 3 млн. 850 тыс.; а ведь в плен сдавались не только из-за плохих командиров и плохой военной готовности, в плен сдавались из-за трусости, малодушия и т.п.; у англичан всего 192 тыс. человек пленных, французов – 446 тыс., немцев – 618 тыс. человек (18, с. 585–586).

ской Революции, счета предъявляются интеллигенции, бюрократии, царю, буржуазии, Церкви и т.д. Но никогда – народу. Попробуй тронь, руки оторвут. А ни будь этот народ таковым, каким он был, никакие ленины-зиновьевы и трюшки-сталины здесь не победили бы. Мы можем успокоиться: это относится и ко всем другим народам. К примеру, немецкому. Там все дело было не во «взбесившемся и неотесанном плебее» (Т. Манн о Гитлере) и его банде, а в великом, гениальном, музыкальном, просвещенном, трудолюбивом немецком народе. Как справедливо указал Григорий Мелихов своей подруге Аксинье Астаховой, если сучка не захочет, кобель не вскочит («Тихий Дон»). А русский и немецкий народы в XX в. «захотели».

Да, вот о том же народе снова П.Б. Струве в январе 1940 г. писал известной Е.Д. Кусковой: «“Народ”, то есть большинство “простонародья”, во время гражданской войны было в стороне от обоих лагерей (когда Добровольческая Армия покидала в конце декабря 1919 г. Ростов, простонародье злорадствовало, а когда Кутепов через несколько недель снова занял временно тот же Ростов, то же простонародье ликовало самым подлинным образом и приветствовало его как освободителя). Гражданская война была составлением двух меньшинств, при политическом безразличии “народа”, т.е. большинства простонародья, “настроения” которого колебались так же, как колеблется погода» (16, с. 205). – И в этом смысле Большевицкая революция была народной.

Большевизм делал ставку и на это. Он принял во внимание природу «простонародья»: себялюбие и глубокое (можно сказать: онтологическое) безразличие ко всему, что не касается лично каждого конкретного человека. А еще для «простонародья» было характерно фундаментальное презрение к культуре, «высокой культуре» («Hochkultur», говорят немцы уже два столетия). Здесь большевизм и «простонародье» нашли друг друга. П.Б. Струве еще в эпоху революции 1905–1907 гг. назвал большевизм и некоторые фракции неонародников (эсеров) «черносотенным социализмом». Это – точное определение; черносотенство (в трактовке Петра Бернгардовича), безусловно, относится к «святым святым» большевизма. При этом Струве тонко подметил: большевизм – это «азиатский марксизм», законченная форма народничества, аккумулировавшая в себе все антикультурные и антиевропейские энергии и комплексы последнего.

Он писал: «Наш народнический социализм (повторю: это в основном о большевиках и тех, кого позднее будут именовать “левыми эсерами”); правые эсеры – при всех их изъянах, другое. – Ю.П.) перекрещивается с черносотенством, образуя с ним некоторое внутреннее духовное единство. Сущность и **белого** (“традиционного”. – Ю.П.) и **красного черносотенства** (выделено мною. – Ю.П.) заключается в том, что образованное (культурное) меньшинство народа противопоставляется народу, как враждебная сила, которая была, есть и должна быть культурно чужда ему.

Подобно тому, как марксизм есть учение о классовой борьбе в обществах – черносотенство... есть своего рода учение о борьбе культурной» (21, с. 16).

Опираясь на эту мысль П.Б. Струве, скажем: большевизм был «черносотенным марксизмом». Он соединил в себе классовую борьбу и борьбу культурную. Причем в этой последней борьбе большевизм пил яд ненависти эксплуатируемой традиционалистской субкультуры к субкультуре европеизированной. Пропитавшись, он залил этим ядовитым напитком всю страну. Только одно замечание: для всех эту ядовитую жидкость перерегнали в аппарате, сделанном инженерами европеизированной субкультуры и по рецептам спецов этой субкультуры. Другая метафора: большевизм – это черносотенец, стоящий у любимого Лениным конвейера Форда.

Большевистская революция продолжается

В этой статье (по сути своей тезисной, имплицитное содержание которой еще следует раскрывать и раскрывать) я совсем не собирался сказать «всю правду» о нашей революции (безусловно, это невозможно вообще, в принципе). Я хотел поговорить о **структурах**, структурном измерении этой грандиозной исторической драмы. То есть ставил перед собой задачи исключительно исследовательские. Но я всегда понимал: здесь не обойтись без жалкого морализирования по поводу великих социальных катастроф (помните наказ Троцкого?). И как бы стилистически ни пытался скрыть этой своей слабости, повторю: это и есть главное в моем рассуждении о революции.

Главное же в жалком морализировании заключается в том, что Россия напрочь проиграла XX век. Первым об этом вслух сказал А.И. Солженицын (если на Петра Россия ответила Пушкиным (по Герцену), то на Ленина – Солженицыным; нам пора понять современниками **кого** мы являемся; со времени протопопы Аввакума **такого** человека у нас не было, с эпохи Достоевского – Толстого – **такого** учителя–мыслителя–писателя). – Но русский двадцатый век стал результатом напрочь проигранной Революции. Поражение потерпели все: народ, интеллигенция, священство, элиты и пр. К сожалению, русское общество не хочет этого понимать. Оно закрывается от этого исторического дефолта «победой в войне», «космосом», «индустриализацией», «второй великой державой» и тому подобным. Я не хочу вступать в дискуссию с этими «победителями», но – более античеловеческого, немилосердного и губительного для собственного народа социального порядка в новой истории припомнить не могу. В России в ушедшем столетии произошла **антропологическая катастрофа**. И это делает все эти «космосы» ничем.

Два немца после национал-социалистических «побед» сказали: «Прошлое будет проработано лишь тогда, когда удастся преодолеть сами

причины событий прошлого. Лишь потому, что эти причины продолжают действовать, чары прошлого до сих пор не развенчаны» (1, с. 45). «Где подлинное сознание вины колет как жало, там само сознание поневоле преобразуется» (28, с. 83). Эти слова было впору поставить эпиграфом к статье. Поскольку **это** и есть важнейшее, что нам необходимо наматывать на ус. Если А.И. Солженицыну было горько от «нашей сегодняшней тревожной неустойчивости» (19, с. 6), то мне и горько, и страшно от того, что «причины продолжают действовать», «чары прошлого не развенчаны, а «сознание вины не колет как жало». Это означает: **большевистская революция продолжается.**

О разрывах в русской истории и революции конца XX века

А теперь немного поисторисофствуем. Традиционная хронология русской истории выглядит примерно так. Киевская Русь, ордынско-удельный период, Московское царство, петербургский период, Эсээрия и постсоветская Россия. Ничего против подобной квалификации не имею. Но, разумеется, всегда интересны переходы из одной эпохи в другую. Не станем опускаться в древность, посмотрим на два последних, случившихся в XX в.

Вне всякого сомнения, первый переход (революция, Гражданская война, 20-е) был разрывом. И хотя в Сталинской России «прочитывались» (проглядывали) какие-то черты нашего традиционного деспотизма, совсем другое было здесь системообразующим, определяющим. Второй же переход (начало 90-х) разрывом не стал. Не стал – по сути, по преимуществу. Мой тезис заключается в следующем (он, конечно, далеко не только «мой»), об этом писали разные люди – и я тоже; сейчас хочу выделить определенные, нужные для **этой** темы, измерения): «постсоветская» Россия есть «законное» (не в юридическом смысле – генетическом) продолжение советской. А вот советская, повторю, не была законной наследницей царской.

Внешне разрыв был и во втором случае. Однако **этот** разрыв явился формой, способом окончательного становления того, что складывалось в стране в хрущевско-брежневский период. Вспомним, чему учили нас в школе: в недрах феодализма зарождаются капиталистические формы и посредством революционных родовых схваток утверждаются в этом мире. Следующая (нам говорили: более прогрессивная) формация приходит на смену предыдущей. – Примерно по этой схеме и произошел переход начала 90-х. Сталинский строй, завершив героическую фазу своего развития, окончательно победив всех и вся, полностью сформировавшись и полностью преобразовав «данную» ему историческую материю, перешел в новую, спокойную, «равновесную», компромиссную, зрелую фазу.

Около трех послесталинских десятилетий страна живет **нормальной** советской жизнью. Именно в этот период она приобретает те внешние и внутренние черты, которые определяют ее и поныне. Внешние – это города, дома, улицы и т.п., которые своей большей частью построены и устроены именно в те годы. Это – новая урбанистическая Россия, страна, разместившаяся по преимуществу не в деревне, как это было тысячу лет, но в городах и поселениях городского типа. Впервые русские в своем большинстве перестали работать на земле и оказались вырваны из традиционного природного ритма. Таким образом, Россия перешла к Современности (Modernity). Не природа, а социальные условия города начали детерминировать судьбу и поведение человека. Иначе говоря, русские вышли из круга органической, естественной обусловленности и зависимости и вошли в круг других обусловленностей и зависимостей – разных, но главное – неприродных, неорганических.

В этом новом кругу и формируется русский массовый современный индивид и русское массовое современное общество. Поражение либерализирующейся, эмансипирующейся, плюралистической России в 1917–1920 гг. и было связано и с отсутствием такого массового индивида, и, соответственно, такого массового общества. Несмотря на мощный социально-экономический подъем и громадные ментальные перемены в пореформенной России, к мировой войне все это еще не поспело. И в годину испытания не удержалось, не устояло. **Этим** Русская Революция принципиально отличалась от хронологически предшествовавших ей европейских. Там **уже** существовало – пусть и в незрелых формах – современное массовое (и городское) общество.

Но русский современный социум и русский современный человек были (есть) в высшей степени специфическими. Воспитанные не в рамках религии, в условиях запрета на предпринимательство (в различных его облициях), обязанные к «исповеданию» низкокачественной и злобно-воинствующей идеологии (грубой смеси наивного натурализма-материализма, элементов поверхностного гуманизма, провинциального социал-дарвинизма и фальшиво-оптимистического, низкопробного исторического телеологизма), оторванные от мейнстрима мировой культуры и социальной эволюции, они представляли (представляют) собой очень странный – наукой в общем-то, несмотря на все старания зиновьевых, левад, иностранцев, – малопонятный тип социальности. Его мы не встретим ни на Западе, ни на Востоке.

Это **абсолютно** советские люди, это – продукт коммунизма, «made in USSR». В них мало русского в смысле традиции, корней и причастности к русской культуре. Если использовать мою терминологию, то они выросли в неприемлемой стране. Но – являются единственным массовым современным человеком в русской истории. Этого человека можно было встре-

тить и в рядах партийной номенклатуры, и крупных и мелких хозяйственников, в райкомах ВЛКСМ, вузах, НИИ, офицеров армии и ГБ, МИДе и МВТ, КМО и ЧМО... То есть повсюду, даже и в многочисленной прослойке творческой интеллигенции. – Этот человек энергичен, оптимистичен, смышлен, внеэвристичен, циничен и т.п. Он и построил современную постсталинскую Россию. Он и захотел ею **пользоваться**.

Более того, этот человек совершил невозможное. Властная верхушка этой современной массы похоронила коммунизм – господствовавший социальный строй, но сохранилась сама и – в новых условиях – сохранила свою власть. Иными словами, системообразующий элемент пожертвовал Системой ради спасения себя самого. Систему выбросили за борт как ненужный и опасный балласт. Об этом в свое время точно сказал Г.А. Явлинский: «Ключевой вопрос 1992 года заключался в том, какой путь избрать: освободить старые советские монополии или освободить общество от старых советских монополий? Надо ли полностью освободить коммунистическую номенклатуру от всякого контроля, сказать директорам-коммунистам и коммунистической номенклатуре: вы свободны, делайте, что хотите?» (цит. по: 26, с. 82). Разумеется, Г.А. Явлинский подчеркивает экономический аспект этого невероятного социального кульбита, нас же интересуют все аспекты!

Здесь хочу напомнить то, о чем писал несколько лет назад. Мое (и предыдущие советские) поколение выросло, выучивая ленинский «основной закон» революции. Который «состоит вот в чем: для революции недостаточно, чтобы эксплуатируемые и угнетенные массы осознали невозможность жить по-старому и потребовали изменения; для революции необходимо, чтобы эксплуататоры не могли жить и управлять по-старому. Лишь тогда, когда “низы” не хотят старого и когда “верхи” не могут по-старому, лишь тогда революция может победить».

Позволю себе слегка подправить коммунистического теоретика. В России революции происходят тогда, когда действительно верхи «не могут по-старому». А побеждают: когда верхи начинают мочь по-новому. В ходе революций верхи обновляются – от почти полного набора «свежих» игроков до незначительных замен. Но смысл революции заключается в поиске новой технологии «быть сверху». Что касается низов, то верхи в своем перерождении, переформатировании используют энергию низов, направленную против старых методов их эксплуатации. А также рекрутируют из этих самых низов наиболее социально, морально и психологически «отвязанных».

То есть нормальная и нормативная русская революция – это восстание верхов и низов против старых, традиционных методов эксплуатации. Но не против нее как таковой...

Что же такое революция конца 80-х – начала 90-х годов? – Это борьба за освобождение номенклатуры от оков коммунистической системы. Господствовавший слой бессобственников-управленцев, управленцев-пролетариев восстал против порядка, лишившего его права владеть и распоряжаться. Это была первая в мире победившая революция пролетариата. Попутно замечу: чуть раньше на Западе прошла когда-то очень громкая (сейчас ее подзабыли) «революция управляющих» (менеджеров). Помню, как на уроках политэкономии нам рассказывали о борьбе капитала-функции (управленцы) с капиталом-собственностью (правообладатели капитала). Верх взяли функционеры; собственникам пришлось делиться.

Но у нас другая история. У нас собственников вообще не было. И наши менеджеры (номенклатура) сумели перейти в совершенно новое качество, сбросив с себя пролетарские оковы, – принципиально бессобственническую Систему. Кроме того, пролетарии-номенклатурщики захватили не просто собственность, «просто» в России не бывает. Они овладели **властесобственностью**, т.е. и государством, и экономикой. Вообще-то они пользовались всем этим и до революции 1989–1993 гг. Но именно «пользовались», а не владели и не могли передать в наследство своим детям. Ныне – **могут**.

И еще о нашей **Великой пролетарско-номенклатурной революции**. Стронники старой советской Системы ругательски ругают М.С. Горбачева и его приспешников: они-де оказались слабаками, предателями, неадекватными, неумехами и т.п. «Ничего подобного», – с возмущением прокричу я. Напротив, М.С. Горбачев и ведомое им руководство КПСС возглавили великий номенклатурный поход, номенклатурный транзит из страны (Системы) временно-условного обладания в страну (Систему) полновесно-правового владения и распоряжения. Когда-то К.Н. Леонтьев, с ужасом чувствуя приближение гибели **его** России, бредил: вдруг в обозримом будущем «какой-нибудь русский царь... станет во главе социалистического движения» (цит. по: 2, с. 95). Не случилось. И не могло случиться по всем историческим причинам. У Николая II была совершенно иная траектория трансформации. За которую и убили (я писал об этом в книжке «Русская политика в ее историческом и культурном отношении»). А вот Михаил Сергеевич «стал во главе капиталистического движения». Правда, он не очень-то это понимал. Но это – исторически – не важно. История «угадала» с ним, с **его** ускорением и перестройкой.

Так вот, те сторонники старой советской Системы, которые вкочнут о русской неудаче, о том, что у китайцев – Дэн Сяопин – спаситель, а у нас Михаил Горбачев – разрушитель, ничего не понимают в «матери-истории» (выражение Владимира Владимировича). Дэн Сяопин во имя тамошней конфуцианско-коммунистической Системы заставил всех, включая ихнюю «номенклатуру», модернизироваться. Горбачев оказался во главе истори-

ческого движения, смысл которого заключался в разрушении обветшалой Системы во имя спасения и окончательного вызревания системообразующего элемента – позднесоветской номенклатуры. Кутузов сдал Москву, но сохранил армию; и это было исторически важнее. Горбачев сдал Систему, и номенклатура сохранилась.

Результат – пока не совсем ясен... Но не будем сейчас касаться этой темы (мы еще вернемся к ней). – Порассуждаем о недавней революции. Неужели все ее содержание сводится к апофеозу номенклатуры, которому предшествовали долгие годы труда, терпения, борьбы. Нет, конечно. Подобно основной Русской Революции и эта была комбинацией трех революций. Во-первых, удалась антиимперская революция (де-факто антирусская). Ленинская национальная политика взрастила новые нации, и они выступили против русского Центра. «Национальным окраинам» (выражение XIX в. России удалось то, что задавили в ходе Гражданской войны 1918–1920 гг. Во-вторых, случилась криминальная революция – революция «теневиков», бандитов, асоциалов, всякого прочего «мелкого люда» (и не только «мелкого»), которой Система не давала «стояться» в полный рост. И, наконец, революция демократическая. Под ее покровом и пошла в бой номенклатура. Права человека, правовое государство, политический плюрализм и толерантность, рыночная экономика и частная собственность, причастность к европейской цивилизации, высшие моральные (религиозные) ценности – вот что было написано на знаменах освободительного, антисоветского и антикоммунистического демократического движения. У этого движения было два главных отряда – свободолобивая интеллигенция (ядро – диссиденты-инокомыслящие) и прогрессивная номенклатура (от «партийных либералов» до современного покроя хозяйственников). Оба отряда в целом сформировались в 60–80-е годы. Один был ориентирован на политико-правовую и этико-эстетическую эмансипацию, другой – на экономическую и юридическую.

«...И тех же эр сопоставлень»

Вернемся, однако, к любимому русскому занятию – историософствованию (любимому, конечно, наряду с морализированием). И хотя оно, вроде, полностью разоблачено строгой и трезвой наукой XX столетия и для современного ума относится скорее к алхимии, чем химии (вспоминается: Эрнст Юнгер, блистательный и безответственный немецкий гений, пронзительно заметил, что, чем крупнее химик, тем больше его тянет в алхимию), мне кажется, что еще не все его резервы исчерпаны. Для – «*understanding Russia*». Уж больно странная и загадочная, необъяснимая (привычным рациональным знанием) и противоречивая (не в смысле традици-

онной диалектики) судьба нашего племени (иронизируй над тютчевским приговором, не иронизируй...).

К примеру, ведь согласны же мы (профессиональные исследователи) с основополагающим выводом социальной науки: история не повторяется, история не ходит по кругу, история – это развитие. А посмотришь на русскую и ахнешь от недоумения...

Поразительным образом история Советской России повторила – типологически, ритмически – историю России дореволюционной. Московско-Петербургской – от начала XVI в. до начала XX в. – Как родилась Россия на рубеже XV–XVI столетий? Путем освобождения от двух зависимостей: белого монгольского царя и константинопольской патриархии (здесь, в этом контексте, несколько десятилетий несовпадения не очень-то и важны). Так же родилась и Советская Русь (возможно, «Русь» для обозначения страны после 1917 г. и до конца 80-х подходит больше, чем «Россия»): путем эмансипации от белого немецкого царя (это, кстати, не игра в слова; в международном обиходе правящая династия именовалась «Голштейн-Готторп-Романовы»; причем двойная немецкая составляющая была впереди русской), а также двух «духовных» зависимостей – петербургско-протестантского Синода и мирового интеллектуального мейнстрима (включая марксистский).

Как созидались Московия и Петербургская империя? Для решения своих задач власть формирует сословно-профессиональные группы и по очередности формирования закрепощает их. Эта очередность была следующая: дворянство, крестьянство, посадские люди; по сути было закрепощено и духовное сословие. Такой порядок нашел свое полное и законченное выражение (оформление) в Конституции 1649 г. Фактически эта Конституция действовала до эпохи реформ Александра II. Петр (и т.д.) и Сперанский, независимо от их личных стремлений-побуждений, лишь несколько модернизировали ее. Правда, существенным изъятием из первой романовской Конституции был указ Петра III, того самого Голштейн-Готторпа, о вольности дворянства 18.02.1762. (Видимо, в порядке благодарности эти самые дворяне и прикончили его через несколько месяцев. Так сказать, провели обряд инициации. Это типологически похоже на то, что Русская История сделала с лишними людьми: каталог прав, за которые они боролись и которые полностью обрели к марту Семнадцатого, был зафиксирован в советской Конституции 1918 г. как список законодательно закрепленных поражений в правах.)

Теперь от Московии–Петербургии перейдем к Совдепии–Московии. Группа Ленина, в той или иной степени контролируя Петроград, Москву, ряд губернских городов и индустриальных центров, подпитываясь энергией разложения традиционных институтов и воюющей армии, заявив о своих глобальных претензиях, начала созидать РКП (б)–ВКП (б) и его дочер-

ние предприятия за рубежом (Коминтерн). Подчеркну: не РСДРП (б) и не КПСС, а именно РКП (б)–ВКП (б). И это новое верхнее сословие новая власть закрепощает первым. Они обязывались служить всю свою жизнь и только служба давала им привилегии. Причем главной привилегией было распоряжение жизнью других. Взамен власть брала на себя распоряжение их жизнью. Было создано принципиально новое в мировой истории правящее массовое меньшинство, которое получило важнейшее из всех на земле прав, тут же, естественно, ставшее обязанностью, – распоряжение над человеческой биологией. Имею право (обязан) съесть тебя, а могу (пока) и не есть. Большевики густо взбили свою биолого-политэкономократократическую сметану. В этом смысле нацисты – близкие им люди. Но большевики последовательнее и шире. Ведь арийские головорезы загодя заявили, кого будут есть. Большевики же оставили этот вопрос открытым: съесть могут всех. Вот это право-обязанность «съесть» и было дано взамен обладания собственностью. Первое в русской истории верхнее сословие бессобственников стало также первым сословием людоедов. Бартер, так сказать. Исторический компромисс, как учили Ленин и итальянские еврокоммунисты.

После кончины тов. Сталина его наследники отказались от права (обязанности) распоряжения над жизнью правящего крепостного сословия и, разумеется, лишили и его этой правообязанности. Мыкита отменил крепостное право номенклатуры и она отблагодарила его традиционным способом (политически, слава Богу политически, а не как Петра III физически) – убила его. И тут же власть и верховное сословие перешли от преимущественно внеэкономического управления (потребления, распоряжения) страной к экономическому. Причем готовились и власть, и верхние к этому давно. Еще хозяин жив был, а они уже – в предвкушении – переименовали себя в КПСС. И, кстати, реализовали впоследствии предвидение своих классиков о двух фазах социализма-коммунизма. В постсталинский, хрущевско-брежневский период они осуществили «низовой» принцип – «от каждого по способностям, каждому по труду». То есть они (не «мы», «нас» здесь вообще не стояло), каждый как мог, отдавали себя Системе и получали от нее по тому, как она это оценивала. Иначе говоря, Власть-Система различными способами регулировала меру потребления (разграбления, воровства). Второй период – это коммунизм номенклатуры; он наступил в результате и в ходе горбачевско-ельцинской перетряски. Был наконец осуществлен великий принцип – «от каждого по способностям, каждому по потребностям». Экс-номенклатура в союзе с комсомольско-бандитской молодежью получила (получает) по потребностям. Последние, как известно, границ не имеют. При этом опять же в соответствии с надеждой их классиков произошло отмирание государства. Коммунизм же! И уже никто (Власть-Система) не регулирует меру потребления

(разграбления, воровства). Могут мне возразить: так было при пьющем Борисе Николаевиче, но при трезвом Владимире Владимировиче Власть-Система вернула себе субъектность. Пожалуй, соглашусь. Субъектность нынешней Власть-Системы напоминает мне субъектность ГАИ в идеально отлаженном автомобильном движении российских крупных городов. И не только субъектность, но и эффективность, мотивированность и авторитет.

...А то, что коммунистический принцип осуществился для немногих, не должно нас деприми́ровать¹. Ведь и Запад в середине века отказался от руссоистского понимания демократии как прав и возможностей для всех. На смену пришла элитистская демократия². Она трактует всякие там разборки и сотрудничество «элит». Нас же с вами объявляет «аполитичной глиной» (Р. Даль, американский классик элитистской теории).

Но вернемся к верхнему советскому слою. Большевики поняли (скорее не умом, а инстинктом) недостаток прежнего московско-петербургского устройства. Он заключался в разделенности функций управления и духовного окормления, в разделенности дворянства и церкви (и даже некоторой их антагонистичности). РКП (б)–ВКП (б) явилась своеобразным «снятием» этого противоречия. Новое сословие получило в полное владение тела, умы и души наличного населения.

Соответственно традиции после создания РКП (б)–ВКП (б) последовало – закрепощение крестьянства (1929–1933). Народ все понял правильно, когда расшифровал ВКП (б) – Второе Крепостное Право (большевиков). За колхозниками пошли горожане (ранее – посадские). Режим обязательной прописки и обязательного проживания по адресу прописки был дополнен в предвоенный период рядом нормативных актов, закрепощавших жителей города предприятиям, на которых они работали, и лишавших их права перехода на другие (не правда ли, узнаваемый исторический «ди-зайн»?)

Римейком же Конституции 1649 г. была Конституция 1936 г. У этих «основных законов» один и тот же внутренний стержень и *esprit* (или, по крайней мере, близкий). С одной стороны, Уложение 1649 г. всех закрепощает, а с другой – делает равными. Все равны, но не перед законом, как это со временем устроилось в Европе, – перед властью. И равны в своем бесправии. Когда-то С.Ф. Платонов, крупнейший русский историк начала XX столетия, припечатал петровский режим – «равенство всеобщего бесправия». Это же в полной мере относится и к тому, что сотворил папа Петра, Алексей Михайлович. И вот на основе этого эгалитарного бесправия власть дает гарантии – обратим на это внимание – неравного жизненного минимума. Не в прямую, конечно. Однако подразумевалось: соблюдение установленных наверху правил обеспечит какое-никакое выживание

¹ От нем. – *deprimieren*; я бы вольно перевел этот глагол так: «опускать».

² Шумпетер И. Капитализм, социализм и демократия. – Лондон, 1942.

ние. Нарушение их смертельно опасно. В этом была слабость московско-петербургской системы: равенство в бесправии, но неравенство в потреблении. Здесь надо подчеркнуть: «равенство в бесправии» перед властью, а не в отношениях между сословиями; там равенства, понятно, не было. Это важная, однако иная тема. Мы еще коснемся ее. – Эта слабость исторически простительна (русской власти). Она отражала всеобщую бедность. Ресурсов на всех не хватало. Потом власть всегда думала так, как говорит ее поздний спикер Виктор Степанович: «Кто сказал, что давать надо всем»¹.

Большевизм стал попыткой преодоления этих самых недостатков, противоречий, слабостей московско-петербургской системы. Во второй раз (не сомневаюсь, в последний) русский народ решил устроить свою судьбу на тех же, но идеально выправленных, основаниях. Это – **сознательный** отказ от движения в сторону свободы и права, т.е. отказ от исторической субъектности, и **сознательный** выбор рабства в обмен на более или менее равный минимум потребления (за это последнее соглашались даже – в принципе – жертвовать жизнью; лучше, конечно, чужой, но обернулось для миллионов своей). Да, это было во многом обусловлено бедностью природных условий (не устану повторять это; все разговоры о нашем **потенциальном** богатстве – сплошной разврат; русская история проходит в суровых климатических и т.п. данностях).

Итак, повторим, РКП (б)–ВКП (б) играла роль дворянства и церкви. То есть реализовывала две важнейшие социальные функции – управленческую и сотереологическую (разумеется, в секулярном варианте). Колхозное крестьянство по сути вновь прошло путь своих предков – крепостных общинников. Иными оказались судьба, роль и функции горожан. Хотя возникновение и предназначение городов и в московско-петербургской, и в советской системах было очень похожим. В первом случае города строились как военные форпосты, крепости, а также инструменты и опорные пункты колонизации завоевываемых пространств. Во втором – как военно-индустриальные центры и опорные пункты уже завоеванного пространства.

Разница же заключалась в том, что советская система, независимо от того, хотели этого ее творцы или нет, оказалась для России способом перехода от крестьянской цивилизации к урбанистической. И потому роль горожан (городского «сословия») была здесь гораздо важнее, чем в предшествующей системе.

¹ 24 августа 2009 г. слышал по телевизору ответ русского народа В.С. Черномырдину. Он прозвучал из уст какого-то хитроватого зауряд-чиновника (разбойного, впрочем, вида): «У нас нет не дающих, у нас есть плохо просящие». И это тоже «правда-матка» русской истории. Разумеется, она не «отменяет» общей бедности, нехватки ресурсов. Просто надо уметь попросить и – дадут. Ведь наша власть (и мы с ней) не только папа и Лютер в одном лице (по известному выражению), она (и мы с ней), как говаривал по другому «поводу» любимый герой русского народа И.В. Сталин, «полумонашенка-полублудница».

Что касается Конституции–36, то в ней большевики действительно преодолели противоречие Конституции–49: было достигнуто полное (насколько это вообще возможно) равенство в бесправии. Хотелось бы обратить внимание на то, что это равенство в бесправии носило как положительный, так и отрицательный характер. Например, для всех не существовало права выбора (речь, конечно, идет не об институте сталинских выборов, а о выборе как основе свободной социальной жизни). Но для некоторых групп населения это равенство носило и положительный характер. Так, была ликвидирована категория «лишенцев» – одна из важнейших составляющих советского общества первых двух десятилетий. Представители бывших «эксплуататорских классов» уравнивались в правах (в бесправии) с представителями новых советских «классов». Или, говоря политологически, «опущенных» (бывших) подняли до «честных фраеров» (новых).

И одновременно законодательно декларировалось равенство в потреблении. Конечно, это равенство носило зачаточный характер – принцип «каждому по труду», но объявлялось переходным к ситуации полного равенства – «по потребностям».

Подобно московско-петербургской системе, советская, достигнув высшей точки крепостничества и бесправного равенства, разворачивается в другую сторону. В тот момент, когда РКП (б)–ВКП (б) переименовывает себя в КПСС, начинается эмансипация этого сословия. И в этом смысле Маленкова можно сравнить с Петром III, а Хрущева – с Екатериной II. Кратковременные правители запускают этот процесс, а их «долгоиграющие» сменщики реализуют его содержание. В эпоху между Петром III и Николаем I (1762–1825) происходит становление дворянского сословия как особого культурно-исторического типа. И одновременно социально-культурной основы для будущих эмансипационных процессов. В хрущевско-брежневский период (1953–1982) формируется номенклатурное сословие так же, как особый культурно-исторический тип, в недрах которого начнутся новые эмансипационные процессы.

Схожим образом решались и крестьянские вопросы. В 1861 г. крестьян освободили, но оставили в рамках общины; в целом они так и не обрели правосубъектности; выход из общины был существенно затруднен. После первой русской революции и в ходе столыпинских реформ крестьяне получили и право на выход, и правосубъектность, и паспорта с фамилиями. Маленковская реформа 1953–1954 гг. освободила крестьян от крепостничества, но оставила в колхозах; фактически отсутствовало право выхода, была ограничена правосубъектность, не было паспортов. Брежневско-косыгинские реформы середины 60-х годов принесли крестьянам право выхода, полную правосубъектность, паспорта.

Совершенно другая участь ждала советских посадских. В хрущевско-брежневский период это была количественно превалирующая соци-

альная группа, и от ее судьбы зависела судьба всей Системы. Точнее, ее будущее или то, что будет после этой Системы. Поскольку именно те процессы, которые шли в этой среде: а) сгубили эту Систему, б) не дали возможности восстановить ее. Следовательно, эволюция сословия советских посадских является ключом к пониманию того, что случилось в России в последние десятилетия XX в.

Поначалу все было не так уж плохо (для Системы). Пришедшие в город миллионные массы (что-то схожее с овладением Рима варварами; кто только не упражнялся на эту тему, а для А. Тойнби – она одна из важнейших; и тем не менее еще раз скажем: варвары вошли в Рим; «скифский праздник на берегах Невы» – припечатал революцию сразу все понявший О. Мандельштам) принесли с собой традиции и стереотипы поведения первичной для них передельно-общинной формы существования. Но и сверху, «хозяева», «РКП (б)–ВКП (б)», так же во многом представители этого жизненного уклада, начали обустривать новое городское существование по привычным лекалам. Жизнь в многолюдных коммуналках и бараках (о них почему-то вспоминают меньше ностальгирующие по всему этому пожилые индивиды; а ведь бараки стояли повсюду, даже в центре Москвы; у меня был дядя, участник войны, израненный и измученный к сорока своим годам, который с семьей (двое детей) вольготничал в восьмиметровой комнате вместе с семьей сестры жены (тоже двое детей); от коридора их комната отделялась тончайшей стенкой, каждый шорох был отлично слышен, во дворе колонка с водой и удобства деревенского типа; барак находился в двухсот метрах от только что выстроенной гостиницы «Украина»; большая часть людей, проживавших в бараке, были из одной деревни и работали на фабрике «Сакко и Ванцетти»; далеко за околофабричные окрестности, как правило, они не выходили; Москву не знали совсем, к городской жизни по сути отношения не имели; их локальный крестьянский мир был перенесен в Москву и лишь их дети, рожденные в 50-х в каком-то смысле стали горожанами), работа в многолюдных, «массовидных», как сказал бы Ильич, коллективах (заводы, фабрики etc.), обязательное участие в массовых акциях (демонстрации, митинги, физкультура, детсадовско-пионер-комсомольское начало) – сформировали нового человека русской истории, основу «советского народа – новой исторической общности» (Леонид Ильич, а скорее кто-то из его либерал-коммунистических холуев – по англ. «спичрайтеров»): **парохиально-массового человека**. Который пришел на смену парохиально-локальному человеку.

«Массовый» означает принадлежность к «массовому обществу», урбанистическому типу социума XX столетия. Большое или массовое общество, Gesellschaft, пришло на смену локальному, Gemeinschaft, общине.

Массовый человек Запада имеет подданнически-активистский характер¹, «наш» сумел сохранить парохияльный. Еще раз: «мы» в результате советских преобразований получили массово-парохияльного человека. И если бы этот тип не эволюционировал, не менялся бы, стоял бы и стоял СССР в веках. Никакие бы внешние (США, НАТО, жидомасоны) и внутренние (диссиденты, стилиги, жидомасоны) враги ничего бы с ним не поделали...

Все начало ломаться в прекрасных (после 1953-го) пятидесятых. А в шестидесятых–семидесятых пошло-поехало. Массовое жилищное строительство с отдельными квартирами, довольно широкая возможность получить за городом клочок земли и построить незамысловатую дачу, чуть позже индивидуальный («диким путем», образом, как тогда говорили) отдых, включая туризм в маленьких, своих, тесных компаниях, постоянно – не смотря ни на что – увеличивающаяся покупка личных автомобилей и пр., пр. привели к своеобразному советскому ривасу. Возник новый личностно-приватный мир, включающий в себя элементы выбора, свободы, повышенных стандартов потребления (причем не только материального характера). Появление миллионов и миллионов подобных людей означало смертельный приговор Русской Системе в ее коммунистическом изводе.

Демографический взрыв в русской деревне во второй половине XIX – начала XX в. снес царский режим. Не успели, не сумели справиться с его негативными влияниями и последствиями. Хотя усилия предпринимались героические и весьма эффективные. Коммунизм снесли «демографический взрыв» в городе (здесь взрыв был в основном обеспечен, повторим, переселением из деревни) и формирование массового частного русского в новых русских городах. И на этот раз власть пыталась остановить, купировать опасные для нее тенденции, но оказалась вновь неспособной.

К счастью для русской истории, массовый городской частный человек на руинах коммунистического порядка начал не «войну всех против всех», а довольно рутинную новую жизнь, скорее похожую на элементарное социобиологическое выживание, чем на бессмысленный и беспощадный бунт. **В этом главный наш шанс** (профессиональных патриотов прошу не обижаться; шанс, и весьма неплохой, у нас есть)...

Вдогонку поговорим немного о сходстве верхних сословий в московско-петербургской и советской системах. Ю.М. Лотман писал: «Дворянство Московской Руси представляло собой “служилый класс”, то есть состояло из профессиональных слуг государства. Их... труд оплачивался тем, что за службу их “помещали” на землю, иначе – “верстали” деревнями и крестьянами. Но ни то, ни другое не было их личной и наследственной собственностью. Переставая служить, дворянин должен был вернуть

¹ Это термин Г. Алмонда. «Подданнический» (от англ. subject) – значит принадлежность к авторитарному обществу (и политической культуре); «активистский» – к современному либеральному, «открытому» обществу.

пожалованные ему земли в казну» (12, с. 18). – Разве это не схоже с судьбой номенклатуры? Разве не условно было все их обладание привилегиями, которые также не были их «личной и наследственной» собственностью. «Переставая служить», и номенклатура теряла львиную долю «пожалованного» ей на время.

И так же как в определенный исторический момент дворянство получило земли и крестьян в наследственное владение, так и номенклатура в свой час обрела себе в собственность то, чем она ранее лишь временно пользовалась и распоряжалась. Для московско-петербургской системы это была эпоха Петра III – Екатерины II, для советской – эпоха самого конца и начала постсоветской. То есть если в первом случае пришлось пожертвовать всеобщей гармонией службы, что было *raison d'être* системы, и тем самым обрекло ее на эволюцию-эмансипацию с параллельными усилениями по консервации, то во втором – пришлось пожертвовать самой Системой.

И еще одно соображение Ю.М. Лотмана. «Культурный парадокс сложившейся в России ситуации состоял в том, что права господствующего сословия формулировались именно в тех терминах, которыми философы Просвещения описывали идеал прав человека» (там же, с. 40). Но и горбачевско-ельцинская номенклатурная революция шла под лозунгами прав человека, правового государства, права частной собственности и т.д. И в том, и в другом случае верхние слои эгоистически узурпировали права всех и права для всех.

А вот умные и глубокие наблюдения Шейлы Фицпатрик. «Главное свое значение в советском обществе классы имели для государственной системы классификации, определяющей права и обязанности различных групп граждан. Вот еще один парадокс: всячески подчеркивая идею классовой принадлежности, новый строй умудрился *de facto* вернуться к прежней, столь презируемой сословной системе, при которой твои права и привилегии зависят от того, кем ты официально считаешься – дворянином, купцом, представителем духовенства или крестьянином. В советских условиях “класс” (социальное положение) является атрибутом, определяющим отношение человека к государству...» (25, с. 20). – Действительно, все по сути совпадает в Московско-Петербургии и Московско-Совдепии.

Американская исследовательница точно отмечает и то, что «отношения между классами в сталинском обществе имели сравнительно небольшое значение. Главными были отношения с государством...» (25, с. 21). Да, и в первом, и во втором случае сословия ориентировались на власть, а не друг на друга. Сословия различались по взаимодействию с властью, но не между собой. Далее Ш. Фицпатрик объясняет, почему отношения с государством были для сословий главными. Поскольку именно оно являлось «распорядителем товаров в системе экономики хронического

дефицита. Согласно марксистской теории, главная классовая черта – это отношение к средствам производства... В СССР собственность на средства производства принадлежала государству. В зависимости от интерпретации это могло означать либо то, что все стали собственниками, либо то, что все превратились в пролетариат, эксплуатируемый собственником-государством. Но, так или иначе, производство больше не служило базисом классовой структуры в советском... обществе. В действительности значимые социальные иерархии в СССР... основывались не на производстве, а на потреблении. «Классовый» статус в реальной жизни был связан с большим или меньшим доступом к жизненным благам, что, в свою очередь, зависело от степени обладания привилегиями, даруемыми государством» (25, с. 22).

В этом пассаже крайне важна мысль, что – либо все собственники, либо все пролетариат. Как будто есть основания для прямо противоположных выводов. Но это вполне соответствует идее властепопуляции: все – власть, все – никто. То есть все и собственники, и пролетарии. Все вверху и внизу. Так по-русски «снимаются» краугольные социальные противоречия и решаются фундаментальные социальные вопросы. Что же касается темы потребления (доступа к ним, привилегиям), то это, естественно, центральная тема для общества передельного типа. Бесконечная и высочайшая активность по поводу потребления и есть советская форма передельного социума.

Послесловие к «Послесловию». Буквально два тезиса

1. Наивные люди, даже такие опытные и знающие, как, скажем, Марк Раев¹, полагают, что ancien régime погибает, поскольку что-то «исчерпали» в себе (все), что-то не смогли решить и т.п. В том-то и дело, что нет. Режимы гибнут на взлете. Когда «сладкая жизнь» откармливает крепких и эффективных протестантов. И еще есть одна весьма неприятная закономерность: французская, русская и немецкая (1933) революции случились на фоне (наверное, и в результате) демографического взрыва (об этом в своей известной книге убедительно и ярко говорит В.П. Булдаков, но на русском только материале). Здесь, видимо, порядок не выдерживает избыточных энергий, которые до поры до времени «гуляют сами по себе». А затем нечто канализирует их (эти энергии) на разрушение.

2. Когда в гору пошел парламентаризм и вообще принцип представительства? В Англии в XVIII в., т.е. после революции. Во Франции в XIX в., т.е. после революции. А.И. Герцен писал: «Европа догадалась..., что пред-

¹ Raeff M. Understanding the imperial Russia. – L.: Overseas publications interchange Ltd., 1990. – 304 p.

ставительная система – хитро придуманное средство перегонять в слова и бесконечные споры, и общественные потребности, и энергичскую готовность действовать» (7, с. 69).

Правильно, именно – перегонять в слова, парламент – говорильня. Но ведь был и опыт всяких там генеральных штатов, рейхстагов, парламентов; традиция, уходящая в века. А до этого – церковные соборы и «съезды», где в «слова перегонялись» вопросы веры, т.е. центральные тогда. Оказалось, что это путь свободы и права.

Типологически схожие вопросы решала Русская Система. На путях рабства и бесправия. Причем всегда.

Говоря языком Гегеля, они предпочли *Aufhebung*, мы – *Verneinung*.

...Революция *per se*, безусловно, способ снятия проблем, связанных с усложнением социальной ткани. То есть всякая революция есть упрощение. Самое «развитое», плюральное, социально богатое общество – интенционально предреволюционное. Если, образно говоря, революция заканчивается парламентом, сложность восстанавливается, если диктатурой, то – нет.

Какие еще послесловия о революциях в контексте «*understanding Russia*» возможны? Результатом Русской Революции (1860–1930) стала полная историческая аннигиляция приемлемой страны. Результат революции конца XX столетия – сохранение неприемлемой постоктябрьской России (несмотря на отказ от коммунистической системы) и политико-экономическая победа социального авангарда (номенклатуры, ее исторических союзников и попутчиков) русского массового современного человека. И очередное поражение русского либерализма. Поражение русской надежды. В очередной раз, говоря языком героев Достоевского, «русский бог спасовал перед дешевкой». Тем не менее, как никогда, велики шансы вновь стать приемлемым народом. Есть и опыт, и люди; не сомневаюсь, Россия вновь попробует это сделать.

Список литературы

1. Адорно Т. Что означает «проработка прошлого» // Неприкосновенный запас. – М., 2005. – № 2/3 (40/41). – С. 36–45.
2. Александров А. Памяти К.Н. Леонтьева. – Сергиев Посад: Тип. Св. Тр. Сергиевой лавры, 1915. – 199 с.
3. Алексеев Н.Н. Русский народ и государство. – М.: Аграф, 1998. – 635 с.
4. Барт К. Очерк догматики. – СПб.: Алитейя, 1997. – 272 с.
5. Бухараев В.М., Люкшин Д.И. Крестьяне России в 1917 году: Пиррова победа общинной революции // Октябрьская революция: От новых источников к новому осмыслению. – М., 1998. – С. 131–142.
6. Герцен А.И. Избранные философские произведения: В 2-х т. – М.: Политическая литература, 1948. – Т. 1. – 372 с.

7. Герцен А.И. Избранные философские произведения: В 2-х т. – М.: Политическая литература, 1948. – Т. 2. – 366 с.
8. Герцен А.И. Письма издалика: Избранные лит.-крит. ст. и заметки. – М.: Современник, 1984. – 463 с.
9. Ключевский В.О. Неопубликованные произведения. – М.: Наука, 1983. – 415 с.
10. Ленин В.И. Полное собрание сочинений: В 55 т. – Изд. 5-е. – М.: Политиздат, 1974. – Т. 20. – 583 с.
11. Леонтович В.В. История либерализма в России, 1762–1914. – Париж: УМСА Press, 1980. – 549 с.
12. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства, (XVIII – начало XIX века). – СПб.: Искусство, 1994. – 399 с.
13. Маклаков В. Власть и общественность на закате старой России: (Воспоминания современника). – Рига, [Б.г.]. – 155 с.
14. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – Изд. 2-е. – М.: Политиздат, 1958. – Т. 12. – 879 с.
15. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – Изд. 2-е. – М.: Политиздат, 1962. – Т. 22. – 804 с.
16. Мосты: Сборник статей к 50-летию русской революции. – Мюнхен: Товарищество зарубежных писателей, 1967. – 231 с.
17. Пайпс Р. Создание однопартийного государства в Советской России, (1917–1918) // Минувшее: Исторический альманах. – М.: Прогресс: Феникс, 1991. – Т. 4. – С. 95–139.
18. Пушкирев С.Т. Россия, 1801–1917: Власть и общество. – М.: Посев, 2001. – 672 с.
19. Солженицын А.И. Размышления над Февральской революцией. – М.: ИИК «Российская газета», 2007. – 96 с.
20. Столыпин П.А. Речи, 1906–1911. – Нью-Йорк: Телекс, 1990. – 383 с.
21. Струве П.Б. *Patriotica*: Политика, культура, религия, социализм. Сборник статей за пять лет, (1905–1910). – СПб.: Жуковский, 1911. – 619 с.
22. Струве П.Б. Размышления о русской революции. – София, 1921. – 87 с.
23. Толстой Л.Н. Собрание сочинений: В 22-х т. – М.: Худ. лит-ра, 1985. – Т. 21. – 575 с.
24. Троцкий Л.Д. История русской революции: В 2-х т. – М.: ТЕРРА; Республика, 1997. – Т. 1. – 464 с.
25. Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история советской России в 30-е годы: Город. – М.: РОССПЭН, 2001. – 336 с.
26. Хлебников П. Крестный отец Кремля Борис Березовский или История разграбления России. – М.: Детектив-Пресс, 2002. – 304 с.
27. Шевырин В.М. Власть и общественные организации в России, (1914–1917). – М.: ИНИОН РАН, 2003. – 152 с.
28. Яспере К. Вопрос о виновности: О политической ответственности Германии. – М.: Прогресс, 1999. – 146 с.

В.П.БУЛДАКОВ

**РЕВОЛЮЦИЯ КАК МИФ
И ПРОБЛЕМА РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ**

Последние восемь-девять десятилетий истории РСФСР–СССР–РФ можно представить как время поглощенности мифической круговертью – начиная с агрессивного утверждения мифа о «Великой Октябрьской социалистической революции», кончая его не менее яростным отторжением. И этот процесс далек от завершения. Во всяком случае, и историческая память, и общественное сознание вряд ли смогут освободиться от него в ближайшем будущем (11).

Знаменитый экс-революционер Лев Тихомиров сетовал, что на Россию то и дело налетают эпидемии – то революционные, то «национально-устроительные» (53, с. 625–626). Если так, то исследователю, не умеющему стряхнуть с себя наваждение этих «эпидемий», останется лишь безнадежно вглядываться в меняющиеся лица мифов, их порождающих и ими же порожденных. О людях неискушенных и говорить не приходится.

Революции вырастают из утопий, чтобы превратиться в образы, в которые, как в бездонные бочки, вливаются *очередные* страхи и надежды. Весьма проникательный автор М. Веллер как-то написал, что «выстрел “Авроры” в историческую ночь 25 октября 1917 года относится к тем мифическим явлениям, физическая сущность которых уточнению не поддается». Увы, ирония не спасает от наивных поступков. Этот же писатель, ехидно заявив, что «история – это свиток тайн, пересказанных глупцом по испорченному телефону», тут же ринулся открывать глаза на прошлое в компании с профессиональным мистификатором (12, с.4).

Прошлое не может не переписываться, ибо внутри любого связанного с ним понятия таится исторически востребованная метафора, сообщающая ему эмоционально *подвижную* коннотацию (29, с. 239). Поэтому течение времени словно *играет образами* прошлого. Совсем недавно представление о революции было перегружено героизированными «концептами», которые выдавались за инструментарий ее «познания». Доста-

точно было исчезнуть закреплявшим это состояние конвенциональным метафорам, как прежняя эпистемологическая структура рухнула.

Известно, что мифы возникают в условиях шока перед резко изменившимся настоящим – этому, в частности, может противостоять благость воображаемого прошлого (70, с. 576). Люди не только не научились отделять реалии от мифа, но и не спешат это делать. Для носителей традиционного сознания мифы – естественная среда социального обитания. Просвещенные индивиды, напротив, склонны заигрывать с ними, исходя из справедливого, но когнитивно расслабляющего убеждения, что мифы *сами* создают реальность.

Революции раскалывают историческое время, их образы – историческую память. Отсюда ожесточенные дискуссии о бестелесном, казалось бы, прошлом. 90-летие Октябрьской революции обнаружило не только поразительный разрыв в восприятии этого события, но и удивительную беспомощность профессиональных обществоведов, не способных соотнести его с ходом российской и мировой истории (37). Исследовательское поле революции превратилось в зримую арену когнитивной уязвимости современной историософии. Непонимание революции парализует постижение хода и смысла истории России в целом. Казалось, не нужно доказывать, что сегодня особенно необходимо знать, *что может «неожиданно» разрушить сложноорганизованную систему, что способствует этому изнутри и извне ее*. Тем не менее историческое сознание предпочитает «осовременивать» прошлое (см.: 44) вместо того, чтобы бесстрастно взглянуть в него ради понимания настоящего и будущего.

Мнемоническая девственность далеко не безобидна. Со времен Наполеона политики особенно активно использовали «энергию воспоминаний» в своих целях (14, с. 66–67). В России дурной потенциал покоренной исторической памяти (точнее непреходящий испуг перед пугающим прошлым) в полном смысле слова парализует способность ориентации в пространстве и времени. И это вновь используется политиками.

С другой стороны, непонимание природы революций в России связано с тем, что они изучались исключительно в «прогрессивистской» (формационно-поступательной) парадигме. Идея циклического движения во времени лишалась права на существование, хотя, казалось бы, и Смута XVII в., и 1917 год, и недавняя «эпоха реформ» требовали переосмысления всей истории России именно под таким углом зрения. Большинство авторов не задумывается о том, что системные кризисы в России в минимальной степени связаны с феодализмом и(или) капитализмом, что социализм играл в массовом сознании роль утопии, а не реальной социально-экономической доктрины, что, наконец, люди *сами* выбирают свою историческую судьбу в силу исторически врожденных слабостей. Поражает размытость граней между реальным, воображаемым и символичным – от-

сюда редкостное недоумение: почему «славное» прошлое всякий раз перечеркивается «неведомыми» силами.

Беспристрастное осмысление *кризисности* российского «развития» еще более тормозится в условиях нынешнего идентификационного коллапса¹. Сегодня целый ряд (или совокупность) идеологических воздействий создает ложную картину утраты российской системой своих имманентных качеств и даже «цивилизационной матрицы». Обычному человеку вновь навязывается роль пассивного подданного непогрешимого жреца, полководца и мудреца в лице *самодержца* (как бы он ни назывался); более того, его убеждают, что воплощенная в нем власть способна «прислушаться» к нему. Забывается, что именно *такая* российская система в результате психоэмоциональной утраты своего «патерналистско-соборного» равновесия не раз превращалась в некое ригидное сооружение – своего рода тухлявый памятник самой себе.

Несмотря на появление отдельных работ, так или иначе показывающих, что кризисность является «нормой» российской истории (2; 6; 7; 8; 10; 48; 49; 50), «научная» мысль пугливо уходит от всякой новой постановки вопроса о причинах революции, довольствуясь устарелыми теориями (см.: 57), или наивно подменяет их очередными мистификациями, демонизациями и эстетизациями российских смут². Люди попросту не знают, как им быть с феноменом революции (отсюда крайняя произвольность связанных с ним словоупотреблений). Поэтому в сложившейся ситуации надежнее всего исходить из того, что проблема революции (системного кризиса, «смуты») – это проблема истоков не-стабильности развития России.

В связи с этим на передний план выдвигается вопрос: где притаились бактерии революционаризма, способные взорвать систему в неведомый «день X»? Вероятно, следует исходить из того, что в сложнорганизованном (имперском) социальном пространстве первостепенное значение приобретает контроль над основными информационными и силовыми потоками, непредсказуемо рождаемыми «необузданной» средой обитания. Проблема революции в России может быть сведена к вопросу о распозна-

¹ Наиболее яркий пример – медийный проект, посвященный выявлению «имени России» из кандидатов, причудливо всплывших из массового сознания. Телевидение с помощью собственных шоуменов пытается нащупать и навязать обществу наиболее приемлемый образ *современного* правителя. Налицо далеко не безобидное стремление окончательно умертвить социальную инновационность, внушая, что все исторические достижения России связаны с властью. Среди 12 «экспертов» (преобладают политики) «для убедительности» присутствует единственный профессиональный историк. Голос его практически не слышен, зато создается впечатление, что он постоянно «поддакивает».

² Порой для этого используется диковинное сочетание вульгарной социологии («смуты периодически сметают деспотии») и «метансторических» фантазий («способность России принять в себя весь мрак человеческой природы, чтобы найти вселенское противоядие») (см.: 34, с. 41, 42, 48). Понятно, что это совсем не «анатомия» смуты, а нечто прямо противоположное.

нии тех геосоциальных особенностей ее государственной конструкции, которые составляют слабые (в управленческом смысле) места системы. Это, с другой стороны, проблема улавливания истоков хаоса, способного вызвать неконтролируемый рост так называемых малых возмущений, порождающих великую Смуту.

Пространство застоя или мутагенная зона?

Люди всегда мистифицировали власть, ибо «не замечали» пространства, в котором живут.

Сила и устойчивость (соответственно и конфигурация) любой имперской власти связаны не с интенсивностью исходящего от нее насилия и тем более не с его театральными суррогатами, а со степенью (тотальностью) овладения пространством (26). Имеется в виду не столько собственно пространство (территория), сколько пространство населения (социализованная популяция). Только при организации их в *информационно-временную* целостность (иерархию социальных энергий, ценностей и смыслов) возникает поддающееся устойчивому управлению **конвенциональное пространство власти**. В противном случае ситуационные сбои в функционировании системы чреваты разрастанием революционного *пространства хаоса*.

Вопреки досужим рассуждениям о врожденной «самости» Россия никогда не была устоявшей данностью – она существовала в режиме (причем аритмичном) пространственной энтропии (В.О. Ключевский). И дело не просто в том, что юго-восточные границы империи не были точно установлены ни в начале XX в., ни даже в его конце. Россия складывалась скорее как *расплывчатый* этнопространственный образ, а не «сухопутная» империя, размеренно подчиняющая своему культурному диктату окружающее «дикое» поле». Византийский опыт правления вряд ли имел здесь серьезное значение. Призвание варягов («наставляющий» миф) отражает потребность во **внешнем управлении** – не иначе, как по причине ненадежности автохтонных саморегулятивных механизмов. Последнее могло быть связано с ощущением непредсказуемости **внешних** сил, будь то природные катаклизмы (голод, неурожай и т.п.) или войны и набеги (угрозы со стороны Степи). Разумеется, можно интерпретировать «призвание» как обычное завоевание (аналогичное европейским победам норманнов), однако за этим просматривается и проблема *вынужденного* выбора: признание господства одних захватчиков ради избавления от других. Так или иначе, власть в России изначально оказалась **внешней** силой, призванной восполнить слабости *внутренней* саморегуляции и смикшировать ощущение опасности *извне*.

Казалось бы, «призванный» правитель наиболее предсказуем в управленческом смысле – это своего рода кризисный менеджер, наделенный строго ограниченными полномочиями. Но стоит обратить внимание на характерную деталь: всякий временщик начинал судорожно цепляться за власть, «вращать» в социальное пространство, используя любые средства, включая иноземных наемников. Во времена Новгородской и Псковской республик такого «кандидата в цари» обычно изгоняли, несмотря на все его заслуги. Но со времен террористических походов Ивана Грозного самодержавную парадигму властвования стало определять преставление о «наследном» правителе, ведущем свою родословную от Цезаря.

В том же управленческом (а не просто завоевательном) контексте уместно оценивать и пресловутое монгольское «игу». Кочевники убивали и разрушали, но они же в конечном счете поставили преграду натиску с Запада и укрепили систему *внешнего* управления, которое со временем получило новый – имперски-консолидационный – смысл. Как ни парадоксально, действительное собиранье «русских» земель началось с утверждения системы наместничества, опирающегося на баскаков. Помимо прочего, это был новый шаг по пути формирования служилого сословия в России.

Конструктивный фактор монгольского начала российской государственности, по-видимому, еще долго останется неоцененным – мешает привычно негативная оценка 240-летнего «чужеродного» господства (хотя известны слова Владимира Соловьева о русском государстве, «зачатом варягами и оплодотворенном татарами» (51, с. 298–299)). Между тем вряд ли подлежит сомнению, что без создания «русского улуса» вся восточно-европейская равнина осталась бы балканизированным (а отнюдь не централизованным) этногосударственным пространством. И дело не только в чисто силовом начале, которое вслед за норманнами в «вьялое» российское этнокультурное пространство привнесли монголы. Для древнерусской государственности сложнейшую проблему составлял сбор дани (полюдь было крайне ненадежным государственным институтом при всех фискальных достоинствах «странствующей» государственной машины (33, с. 557)) – решить ее смогли, как ни парадоксально, «дикие» завоеватели-кочевники, научившие русских князей обирать своих подданных более оперативно и эффективно. Со временем именно на «монгольской» основе сформировался институт кормлений – архаичная форма управления, «подправить» которую, в свою очередь, попыталась имперская бюрократия. Последнее так и не удалось: с XV в. власть разрывалась между желанием пресечь коррупцию и злоупотребления на местах и невозможностью отказаться от кормлений.

Восточноевропейская равнина представляла собой настолько слабо заселенное пространство, что всякая государственность приобретала здесь номинальный характер без необходимого транспортно-информационного

обеспечения. Монголы временно решили и эту проблему, создав ямскую службу – технологически революционную для своего времени. Так была заложена основа *маршрутного* овладения пространством, оказавшего, в свою очередь, решающее влияние на «приказной» характер и стиль управления. В этих условиях всякое заимствование внешних (не только западных) технологий давало «обратный» социальный эффект: под покровом инновационности интенсивно реанимировались архаичные формы эксплуатации. Наиболее яркий пример – так называемые реформы Петра I, в результате которых произошло чисто пародийное «преображение» России (20)¹.

Можно сказать, что византийско-православная государственность обрела неадекватную ей монгольско-кочевническую систему управления. Со временем место баскака занял немец-бюрократ. Перепуганная власть (в детстве Петр I пережил не меньшие страхи, чем Иван IV) вновь обратилась к наемникам.

Существовал еще один малозаметный парадокс. В силу необъятности пространств Россия на протяжении многих веков располагала минимальным объемом совокупного прибавочного продукта (даже будучи произведенным, он не мог превратиться в общенародное достояние в силу недостаточности коммуникаций) – и это вопреки тому, что государственности необъятной державы полагалось располагать очень значительными «свободными» средствами. А между тем неосвоенное пространство порождает устойчивое представление о богоданности *неустойчивого обилия* – природный достаток смешивался с необъятными возможностями якобы владеющей им власти. На деле власть не успевала осваивать даже то, что лежало под носом (до использования природного обилия россиянин додумывался только в критических обстоятельствах – за основательное изучение природных богатств взялись благодаря В.И. Вернадскому только в годы Первой мировой войны).

Усмирение пространств – отнюдь не благодатный процесс. Поскольку обычные природно-демографические катаклизмы и аграрные миграции (весьма характерный хозяйственный реликт) в России то и дело приобретали системно-угрожающий характер, власть постаралась *совместить* пространство территории с пространством населения (то, что повсюду происходило более естественно) с помощью института крепостничества. И это был далеко не тот процесс, какой имел место на Западе с его «классическим» феодализмом или на Востоке с его азиатским способом произ-

¹ Несмотря на исследовательскую изобретательность автора, его поиски сакральных смыслов Всепянейшего собора и прочих неординарных деяний Петра I вызывают основательные сомнения. Феномен власти в России тем и примечателен, что любому ее деянию – как террористическому, так и эпатирующему – изначально приписывался некий сокровенный смысл. К тому же современный исследователь всегда рискует власть в искус рационального истолкования даже откровенного инфантилизма этой власти – особенно тогда, когда за ее безобразиями и корыстью пытается разглядеть сакральное начало.

водства. В России суть проблемы состояла прежде всего в *эффективности управления неподатливым пространством*, а не пресловутыми «формационными» подвижками.

Попросту говоря, пространства создавали свой (природный) ритм размеренного (но не ламинарного) течения. Напротив, государство навязывало ему свою, одному ему понятную форму застоя. Очевидно, это порождало непредсказуемые формы социальной турбулентности.

Итак, отношения власти–подчинения в России строились не столько по принципу верхи–низы, сколько в форме сословно-территориального овладения пространством. Символично, что присоединение Сибири начали «сухопутные пираты» – казаки, имевшие обыкновение, награвивши, прибегать под царскую длань. Оно началось *вопреки* приказам Ивана IV, понимавшего, что пространство державы следовало *ограничить*, дабы не подвергать ее угрозе нестабильности – не случайно царь был также против присоединения южных земель (27, с. 223–224). Получалось, что разбойный и гуляющий люд – естественный враг государственности – невольно способствовал сомнительному приумножению богатств короны. С другой стороны, именно охлократия, приобретая сословно-служилое качество, становилась фактором геополитики. При этом, в отличие от «модернизирующей» колонизации американского Дикого Запада, «освоение» Сибири оборачивалось *примитивизацией* жизненного уклада мигрантов. В целом архаичность власти в России сохранялась под воздействием импульсов *снизу*.

Любые демографические подвижки создавали поистине неразрешимые проблемы для системы управления. Совершенно не случайно революционный процесс начала XX в. оказался связан с демографическим скачком второй половины 60–90-х годов предыдущего столетия – власть оказалась неспособной адекватно отреагировать на резкое «омоложение» населения. Бюрократический патернализм (реальная формула власти опереждалась именно таким противоестественным сочетанием) в принципе не способен обеспечить *индивидуальное* дисциплинирование населения формальным законом. Система, выстроенная на столь архаичных основаниях, рано или поздно рискует предстать набором полуразложившихся реликтов, мешающих державе занять достойное место в динамичном мире в силу непризнания личности субъектом прогресса.

То пространство, которое могло бы существовать «само по себе», генерируя одному ему понятные смыслы, оказалось во владении «авто-субъектного» существа – православного государства. Естественно, пространства по-своему отвечали на этот вызов. Строго говоря, нечто подобное было везде и всегда. В России уникальными оказались лишь масштабы – как пространств, так и заблуждений.

Обилие неосвоенных пространств при низкой плотности населения породило еще одну особенность российской психоментальности. «Наши пространства... хранят в своих недрах богатейшие сокровища, откажутся от стражи которых равносильно исторической измене; они включают в свои пределы важнейшие политико-стратегические позиции, требующие серьезной военной силы, хотя бы для того, чтобы не быть втянутыми в войну...», – считал видный военный теоретик начала XX в. А.А. Свечин. – Первый шаг к победе должен лежать в сознании того, что наша грудь открыта для удара, что враг не спит...» (45, с. 100). Перманентное ощущение опасности для своих пространств, несомненно, порождало нервное отношение не только к внешнему миру, но и к собственной власти как единственно различимому гаранту стабильности. А любой революции всегда предшествует *психопатологическое* состояние общества.

В чем твоя вера?

Строго говоря, существуют только два реальных субъекта исторического бытия – информационное пространство, соединяющее людей с силами метаистории, и плотская энергетика, заставляющая их бесконечно и безнадежно враждовать друг с другом. По большому счету примирить эти два начала может свободное творчество, но на практике обуздать их способна только вера. Рядом с мифом о призвании варягов совершенно не случайно стоит сказание о крещении Руси. Считается, что отсюда ведет начало «святая Русь», что, разумеется, является еще одним мифом.

В отличие от Запада с его «избыточным» социально-энергетическим наполнением в России власть вынуждена была иметь дело с «неуловимой» людской энергетикой, наполняющей «необъятные» и «неопознанные» пространства. Теоретически допустимо несколько вариантов его конфессионального насыщения и, соответственно, упорядочения: пантеистский хаос; мозаика изолированных верований; иерархия гетерогенных культов; утверждение единобожия с помощью центральной власти. Идеологи российской системы искали выход в идее так называемой соборности, фактически представлявшей собой эстетизированный анахронизм. В реальной жизни это оборачивалось навязыванием приказного «согласия» наличной социальной иерархии. Симптоматично, что у мифа соборности по-прежнему остаются поклонники.

При этом с «единой» верой в России все обстояло не столь просто, как привыкли излагать православные теологи. Во всяком случае, кивать на наследие Византии следует с большой осторожностью. Не стоит также связывать российскую революционность с христианской эсхатологией и мессианством. Исследователи отмечают необычайную живучесть языческого менталитета в России; многократно замечено, что в русском крестьянстве

янине поселился христианин, но сохранился и язычник (68). Синкретизм крестьянского мировосприятия вовсе не исключал своего рода духовного бунтарства (см.: 63, 66) – некоторые авторы находят в этом непреходящую форму раскола (2). Российскую веру в действительности не заимствовали и не возвращали на огородах собственных душ. Вера в России – это, скорее, бродильное суело сакральных поверий, вольно или невольно направляемое в государственное русло.

Безграничные пространства порождали представление, что единственно верный путь может быть указан только сверху, а поэтому вера в «абсолютную» власть легко стала психоментальной константой синкретичных мировосприятий. Если Россию представить «страной пути», то ей будет соответствовать и особая «кочевническая» вера. Утопия будет сопровождать ее как неперменный, до поры до времени ненавязчивый спутник власти. Опасность возникнет тогда, когда власть вздумает представить самое себя в виде мессии. Наиболее яркий пример – попытка Хрущева «оседлать» утопию, установив сроки ее пришествия. Результат известен: за разрушением веры последовала такая коррозия власти, спасти которую смогло лишь подобие новой «религии».

Необъятные пространства столь же нуждаются в духовном наполнении, как в коммуникациях. Империя – это культура, историческая судьба которой сопряжена с устойчивостью веры. Обычно империя начинается с агрессии «порядка» во внешний мир, а кончается «цивилизацией потребления». В любом случае ее жизнеспособность зависит от способности к ретрансляции энергии этнического ядра империи – этого праистока имперства – с помощью веры. Как только этот процесс истощится, варвары (включая «внутренних») воспользуются ее достижениями во имя строительства своих квазиимперий (на иное они не способны). При этом их деяния, формально выпадающие из контекста прежней веры, играют роль допинга *веры в новую власть*, ее «метаисторическую» оправданность и вседозволенность. И это может повторяться до бесконечности – разумеется, во внешне обновленных формах. Дух имперства переживает империи, ибо коренится в имманентных слабостях человеческой природы.

При этом реликтовое ядро имперской власти остается примитивным, как дубина троглодита. Если Иван IV охотно принимал в опричники иностранцев, а Петр I видел в членах Всеянейшего собора (редуцированное подобие тайного мужского сообщества) аналог рыцарского ордена, то надо ли удивляться, что Сталин представлял номенклатуру «орденом меченосцев» – слоем, «который по своей сути являлся бы зависимым, наемным работником, не обремененным собственностью...» (38, с. 279). И тому, и другому, и третьему на официальную ортодоксию было, по большому счету, наплевать – в первую очередь требовались преданные исполнители

любых приказов. Не случайно некоторые авторы пишут о трех «революциях служилого класса» в России (см.: 67).

Несомненно, российская власть подгоняла веру *под себя*. Овладение новыми пространствами требовало подновления веры, что и произошло в царствование «тишайшего» богомольца Алексея Михайловича. Но тут же последовал «консервативно-революционный» ответ – самосожжения староверов, потомков которых, кстати сказать, упорно пытались взбунтовать «атеистичные» революционеры. Стоит отметить и то, что исторические коллизии веры способны вызвать в современной России настоящие пароксизмы околоисторических суеверий¹.

Вместе с тем любая вера сопряжена с определенными представлениями о свободе человеческого выбора. Конечно, то и другое в рамках различных культур понимается по-разному, но только вера в государственность не оставляет выбора – разумеется, помимо *психозов безверия*. Россиянину не нужна была *свобода для* – уже в силу особенностей своего хозяйствования он не понимал такого смысла свободы. Он мог понять только *свободу от* необходимости, давление которой было весьма велико в силу вынужденного природно-общинного существования.

Цикличная «свернутость» времени в пространственном беспределе вызывает к особым онтологическим ориентирам. Если бесконечность и вечность представляются естественными «координатами» державы, последняя *сама* становится верой (21, с. 19–20). Конечно, бытующие представления о Святой Руси – утопическая попытка выдать желаемое за действительное. Все куда проще: народное сознание органично принимает образ Господа небесного потому, что он и только он способен властвовать и над обычаем, и над традицией, и над пространством. В условиях, когда популяция «размазана» по необъятной территории, такое бытийственное представление жизненно необходимо. Строго говоря, в этом нет ничего дурного или противоестественного, однако именно из этого рождается убогая вера в *сверхпатерналистскую власть*, ибо именно она наиболее комфортна для людей, основательно запутавшихся в паутине ими же созданных (или заимствованных) символов. В России такая вера способна подчинить себе зло и добро, примирить насилие со смирением, уравновесить в человеческих душах отчаяние и надежду. Но ее оборотной стороной остается сомнение, доходящее до нигилистского глумления и над Богом, и над дарованной им властью. Вероятно, именно поэтому богохульство считалось страшнейшим преступлением в дореволюционной России (в советские времена его аналогом выступили анекдоты про Ленина).

¹ Так, некоторые авторы берутся доказывать, что русская революция была своеобразным реваншем старообрядчества по отношению к «никонианам-Романовым» (55, с. 72, 79, 89), другими сообщается о «старообрядческом менталитете» русского крестьянства, который не случайно бросился громить православные храмы (41, с. 156, 158, 159).

Принято считать, что революция – это социальное производное от утопии, порожденной ослаблением официальной веры. В России положение сложнее, поскольку саму официальную веру сопровождал целый спектр утопий. В то время как утопии образованных верхов обычно связаны с «рациональным» преодолением прошлого, утопии служилых классов – с поддержанием существующего порядка путем его ужесточения, утопии традиционных слоев, напротив, ориентированы на ушедший «золотой век». Налицо темпоральный разрыв гетерогенных социальных ориентиров. Из этого следует, что каждый социальный слой в формажорных обстоятельствах будет рассчитывать на особую скорость воплощения собственных воцелений за счет других. Столкновение утопий обычно усугубляется тем, что к этому времени основная масса населения остается без достойных официальных идеологов (см.: 30). Этим, конечно, создается не революция как таковая, а скорее разрастающаяся зона психоментального хаоса, составлявшего суть российских смут.

Ф. Достоевский в «Дневнике писателя» как-то заметил, что никто никогда так не отрывался от родной почвы, как русский человек, никто никогда не поворачивал так круто в другую сторону вслед за своим убеждением. Сию декларацию стоило бы заземлить: отрываться от «родной» почвы (а равно заниматься ее поиском) склонен тот, кто никогда не ощущал себя ее хозяином, кого удерживают на этой земле насильно. И в этом простому человеку помогут образованные слои, настроенные на экспорт теорий, рожденных в иной социальной среде. Всякая смута начинается с безответственно умствующего отщепенца (интеллигента).

Строго говоря, русская интеллигенция обладала «еретическим» сознанием средневекового образца. Недовольство существующим порядком, прежде всего властью, порождало в нем целый спектр «оппозиций», начиная с этатизированных образов «добра» и «зла», кончая примитивными антитезами вроде «самодержавие/деспотия – демократия/народовластие». Конструктивного начала такие представления в себе не несли, зато в российской истории возникала перспектива «переключки» умозрительных максимумов с народными утопиями. Рано или поздно они могли резонировать.

Ленин писал, что Россия «выстрадала марксизм». В действительности невозможно установить, был он органически чужд России или это была исторически востребованная «вера пути». В любом случае трудно поверить, что религия «освобождения от страдания» может стать *направляющей* верой. Но для революционной власти марксизм стал символом веры, с помощью которой социальному насилью можно было придать сакральное качество, а его плодам – облик «великого свершения».

Власть и временщики

Несомненно, российская власть строилась по народному стереотипу (будучи на деле далека от его идеала). Но эта традиционалистская («домашняя») модель отнюдь не предполагала тотальной поднадзорности социального пространства. Власть бралась контролировать только ту его часть, которая лежала за пределами саморегуляционных возможностей населения. Но правители всегда боязливо путали безопасность социумов и социальной среды в целом с собственной неуязвимостью. Со своей стороны низы полагали, что российская власть *не может быть дурной* по определению – она скорее окажется *ложной*, т.е. не соответствующей своему естественному предназначению по причинам *субъективного* характера. Возможно, такова примордиалистская составляющая любой власти – по остроумному замечанию С. Московичи, «власть, которую оспаривают и противоречиво интерпретируют, уже не есть власть» (35, с. 287). А потому народ периодически бунтует не против власти как таковой (или устарелости ее типа), а против *искажения* ее «чуждыми» и «инородными» элементами, а равно и любых покушений на ее изначальное естество. Духом такого протеста проникнута, кстати сказать, книга В.И. Ленина «Государство и революция» – величайший разрушитель государства «подбирал» оптимальную форму государственности для России (таково излюбленное занятие русской интеллигенции).

Несомненно, отношение к власти в России в значительной степени связано с представлениями о катастрофичности (точнее эсхатологичности) земного бытия. Хотя риск таких природных бедствий, как наводнения, землетрясения, эпидемии, в России относительно невелик, однако пожары, засухи, неурожай – то, что более всего угрожает непосредственным результатам труда, – были весьма распространены. Ощущение «неустойчивости» бытия порождало ожидания устойчивости власти. Между тем по мере развития государственных структур, государственного хозяйства и «государственной машины» правители разрывались между задачей оптимизации объема совокупного прибавочного продукта и оборонительной функцией власти (33, с. 565).

В таких условиях спазматичность насилия сверху порождала в низах бытовую уверенность в естественность череды «добрых» и «жесточких» правителей, а не прагматичное признание оправданности культурно дисциплинирующего насилия. Положение усугублялось тем, что *общества* как такового *не было* – существовали лишь закрепощаемые сословия, не способные найти общий язык между собой *без* посредничества власти. Именно поэтому власть казалась либо *истинной*, либо *ложной* – всякий намек на ее «подмену» провоцировал самозванцев (фигура Гришки Отрепьева символична). В конечном итоге власть периодически становилась

заложницей негодного управления – тогда вместо ореола сакральности у нее замечали дьявольский хвост (история другого Гришки – Распутина – не менее многозначительна).

Столь же не случайно, что российских правителей до сих пор имплицитно разделяют на «умных» и «дураков», связывая с ними свое «счастье» и «несчастье». На деле, достаточно независимо от личных способностей, под влиянием одних лишь преходящих обстоятельств российским правителям приходилось и приходится прибегать к непривычной для низов «мимике власти» и силиться совершить столь же непонятные «догоняющие» рывки. Правитель в России – заложник не только «большого пространства», но и большого исторического времени, не говоря уже о текущей геополитике. С основной массой подданных он находится не только в разных культурно-темпоральных, но и телеологических измерениях.

Короля играет окружение, которому надлежит иметь к этому призвание и потребность. Традиционная российская политическая культура предполагала, что всякий государственный деятель должен быть *царедворцем* – только это качество гарантирует ему успех независимо от направленности и результатов его деятельности. Попросту говоря, ему важно было увлечь своими идеями царскую чету и при этом не потревожить придворных. Кстати сказать, хорошо понимавший это С.Ю. Витте удержаться у власти не смог: во-первых, он не был выходцем из сановной среды, во-вторых, просто не нашел времени, чтобы поладить с камарильей. Между тем для упрочения положения при последнем самодержце, как ни парадоксально, важнее всего было добиться не столько расположения его лично или императрицы, но и *двора*. Эта задача была столь непростой, что могла поглотить все силы наиболее активных сановников. П.А. Столыпин, по злой иронии судьбы считавшийся при дворе либералом, а в «обществе» – реакционером, был заведомо обречен.

Возможности власти, привыкшей прикрывать свои оперативно-управленческие слабости щитом сакральности, на деле крайне ограничены. В этом смысле судьба последнего российского императора – словно наследовавшего дух покорности судьбе от басилевсов – символична. Трудно представить себе государство, которое попыталось бы выиграть войну без поддержки народа, однако в годы Первой мировой войны самодержавие попыталось свернуть им же инициированную патриотическую самодеятельность. Результат известен: так называемые общественные организации взломали бюрократическую государственность, причем сделали это преимущественно на казенные деньги (56)¹.

¹ Стоит специально отметить, что помимо собственно общественных организаций в годы Первой мировой войны куда большее число каритативных начинаний было инициировано сверху. Система благотворительности строилась по стандартной схеме: в столице центральный комитет возглавлял член царствующей фамилии, в губернских центрах – гу-

Российский властитель (в отличие от *власти*) – это, как ни парадоксально, временщик *sui generis* (отсюда сложность престолонаследия) и одновременно несменяемый «помазанник Божий». Такое противоречивое состояние закрепилось в ходе длительного репрессивного «совершенствования» российской власти – прежде всего с помощью монгольского опыта. Похоже, именно благодаря последнему истовая православно-патерналистская религиозность, как показывает пример Ивана IV, смогла обернуться беспредельной убежденностью властителя в своем праве «казнить и милловать» во имя одному ему открывшихся целей (см.: 39)¹. Феодализм и соответствующие нравы не имеют к этому никакого отношения – состояние производительных сил равным счетом ничего не решало². Российский капитализм также не мыслил своего существования без государственной поддержки. Такое положение развращало и элиты, и народ, и саму власть – особенно в связи с тем, что по мере своего бюрократического усложнения она меняла «доверительный» характер взаимоотношений с подданными на безличностный. Это становилось тем более опасным, что коррумпированное и продажное чиновничество ухитрялось в соответствии с архаичным стереотипом разыгрывать роль благодетеля-кормильца (25, с. 68–69). Ситуацию обострил своего рода технократический (характерный не только для новейшего времени) соблазн. В известные времена идеология, словно растворяясь в технике, начинает продуцировать технократический взгляд на весь мир, прежде всего на управляемых (60, с. 14–15). Примечательно, что в свое время родоначальник большевистского «социального инженеризма» А.К. Гастев вдохновлялся тем, что, в отличие от Запада, Россия «ленива, или элементарно импульсивна, ее население, в общем, дает мало упорства, трудового упрямства» (13, с. 81). Иначе и быть не могло: не только затянувшееся крепостничество, но также и появление между властью и народом «бездушного» чиновничьего «средостения», парализующего инициативу низов, порождало именно такое состояние системы.

В известном смысле сама природа властвования «революционна». В доисторические времена «негодного» (не спасшего народ от стихийного бедствия или просто состарившегося) правителя убивали (заодно могли и сожрать). Появление «общества» вызвало к жизни идею гражданского

бегун (обычно обладатель придворного звания). Естественно, этот «почин» не мог не подхватить уездный городской голова, к которому присоединялись состоятельные горожане. Даже такие начинания выливались в акты ритуального подобоострастия.

¹ Несомненно, что логически Грозный переиграл Курбского. Но из их неоконченной переписки встает вопрос: что будет со страной, глава которой не обладает должной убежденностью и решительностью.

² Известно, что большая часть средств к феодалу поступала через *государственные* каналы, крестьянин смотрел на него как на господина, насильственно завладевшего землей, а не как на хозяина, а потому инстинктивно чурался любых исходящих от него новаций (см.: 33, с. 558–559).

подвига: «герой» убивал деспота, демонстративно ожидая своего «оправдания» (если не формального, то нравственно-символического). В известном смысле современные демократические выборы – это редуцированная форма «убийства» одряхлевшей власти.

В идеале власть должна гипнотизировать массу – таков социобиологический закон ее вневременной устойчивости. Именно такой архетип властвования и провоцирует, среди прочего, нынешние грезы «суверенной демократии». Последняя – кстати, вовсе не сомнительное изобретение кремлевских политтехнологов, но эвфемизм, скрывающий деспотическую изнанку реанимирующейся «советской демократии». Нынешний курс на «суверенизацию» власти отражает безвольный и бездумный откат в «естественное» для системы прошлое.

Обычно имперски-патерналистские структуры (какой бы политической вывеской они ни прикрывались) со временем начинают дегуманизироваться. Это закономерно: если единственно субъектной в них остается личность повелителя, который неуклонно теряет возможность говорить с народом на понятном языке (ситуация Николая II – характерный тому пример), то он бывает вынужден *интуитивно* действовать *от имени* народа. Такое удается все меньше – особенно в экстремальных обстоятельствах, из которых для власти и народа в России нет *общего выхода*. «Трепещущая» от неуверенности в настоящем и сознания неясности будущего власть оказывается не в состоянии перевести на «общенародный» язык неизбежность тягот, связанных с текущими и, особенно, долговременными общегосударственными интересами, – ей приходится выбирать между принесением подданных в жертву обстоятельствам и самопожертвованием.

Любая власть вовсе не безгранична и отнюдь не абсолютна – над ней довлеет вера. С другой стороны, всякий диктатор понимает, насколько он зависим от своего окружения – даже над крайним деспотом висит дамоклов меч тираномахии, всякого Цезаря поджидает свой Брут. Любая патерналистская система чревата деспотией, а последняя провоцирует не столько верхушечные заговоры, сколько веру в то, что они оправданы. Наиболее характерный пример действия советской (максимально «суверенной») демократии связан с именем Хрущева. Этот правитель-самодур, раздаривавший территории и задним числом менявший законы, был устранен вполне *нелегитимно*, но зато *при всеобщем* одобрении. Одна из причин случившегося – в том, что вместо *зрелища власти* народ стал очевидцем *персональной клоунады*, что совершенно не соответствовало традиции властвования. Примечательно, что вопреки распространенной версии то был вовсе не заговор – Хрущев прекрасно знал, что его сместят. На почве «советской демократии» была воссоздана «безоговорочная» власть, которая могла «развиваться» лишь до достижения точки абсурда.

В России как действие по букве закона, так и игнорирование последнего для массы подданных не имеет никакого *правового* значения – различается лишь *правое* (справедливое) или *неправое* наполнение деяния. Народ допускает возможность подзаконной импровизации со стороны правителя, соратники, со своей стороны, оставляют за ним известную свободу рук. Выходки Хрущева те и другие терпели бы до бесконечности, приносили бы приемлемые результаты. Однако его действия демонстрировали нелепости фигуры правителя, превратив зрелище власти в нелепый балаган. Поэтому можно сказать, что Хрущев был устранен «мнением народа» – ему перестали верить, а потому его окружению пришлось сыграть роль отнюдь не заговорщиков, а «революционеров поневоле».

В своих «суверенных» деяниях правитель оказывается заложником собственных управленцев. Пресловутое закрепощение сословий было лишь элементом процесса создания мощного *служилого* слоя: сверху насаждалось даже «самоуправление» – это была скорее обязанность, «служба» (нерадивых «самоуправленцев» наказывала власть), нежели право. Отсюда парадоксальный результат: исторической власти в России помогали выжить своего рода революции служилых классов. В принципе, их можно считать столь же обычным явлением, как, к примеру, дворцовые перевороты в Китае, осуществляемые внуками.

Слабеющему самодержцу суждено войти в противоречие даже с доверенными людьми. Дело в том, что власть всегда лишь *владела* Россией, *правили* же варяги, баскаки, опричники, думные дяки, бюрократы-масоны, номенклатурщики... (теперь – *госолигархи* и *бюрокоррупционеры*). Характерно, что со времени «призвания варягов» управленцы представлялись этнически чуждым элементом – бироновщина и последующие волны «немецкого засилья» не были случайностью, как неслучайны были периодические бунты против «чужаков». Власть постоянно использовала своего рода наемников, ибо естественной спайки с населением применительно к задачам управления не находилось. Бюрократия способна была создавать лишь виртуальную реальность – история тыняновского поручика Кижэ архетипична. Кстати сказать, в предреволюционной России взаимоотношения между крупным бизнесом и государством носили знакомый по нашим дням «порученческий» характер – правда, до раздачи губернаторских постов дело не доходило. Как бы то ни было, «единая» государственность была разделена на *власть-театр* и *власть-аппарат*. В прошлом их нестыковки порождали «революции управляющих», призванных более эффективно обслуживать все то же «вотчинно-гарнизонное» государство. Ю.С. Пивоваров считает, что будущие фигуранты русской революции – власть и общество – принадлежали к единой субкультуре европеизированных Петром I верхов (40, с. 41). Это справедливо лишь наполовину: само

«общество» существовало лишь постольку, поскольку ему было дозволено существовать в качестве элемента декоративной европеизации¹.

Если в пореформенное время стало формироваться некое реальное подобие общества, то в советские (и нынешние) времена видимость общества имитировалась «общественниками», назначаемыми властью из «полезных» государству и «популярных» у населения людей (будь это мать-героиня или эстрадный певец). Коммунистическую власть отличала особая идеократичность, нынешняя уникальна своей виртуальностью, но та и другая являются властью *без* общества. Существование настоящего общества для традиционной российской системы, с одной стороны, немыслимо, с другой – противопоказано *sui generis*. Действительно, в свое время сельское «общество» походило на собственно общество, как амеба на бабочку; городские сословия управлялись сверху, а не свободно взаимодействовали; дворянин никак не соглашался называться гражданином, тем более обывателем (выхоленный эквивалент гражданина); существовавший в годы Первой мировой войны на казенные деньги Земгор разрушил систему хозяйственных связей, а затем подвел самодержавие к последней черте (см.: 19; 56). Государство не терпело настоящего общества (граждан) даже тогда, когда без него не могло обойтись. Поэтому последняя по времени попытка общественной самостоятельности нашла свое логическое завершение на тюремных нарах.

Впрочем, с собственно политикой в России также получалось нескладно. Напомним, что этимологически сей феномен восходит к греческому полису, функционально он связан с городскими сословиями; в России, напротив, вся политическая, с позволения сказать, культура задавалась государством. Характерно, что и нынешняя власть требует от политических партий только поддержки, а для того, чтобы она носила (хотя бы внешне) не чисто холуйский характер, пытается идеологизироваться и даже указывать на аксиологические ориентиры. Этим выстраивается не просто декорация – таково одно из традиционных условий существования российской власти.

Собственно проблему революции можно свести к соотношению общества и власти: там, где государство выросло из общества, *свергать* бывает некого. Да и зачем свергать, если легко сместить? Если же сместить нельзя, а свергнуть не получается, то несчастный подданный, именуемый, словно в издевку, гражданином, отправляется в длительное путешествие в страну грез и фантазий – куда ему деваться, где применить лучшие качества ума и души? И тогда же он становится беззащитен перед демагогами.

Накануне своего падения власть в России всегда «слепла», совершая неверные шаги якобы в направлении «слияния с народом». Это один из

¹ В этом лишний раз убеждает книга Эрнста Зицера (см.: 20).

самых тягостных моментов российского зрелища власти. Достаточно вспомнить путешествия по России Николая II и(или) «спонтанные» выходы к гражданам М. Горбачева, и станет очевидно, что власть в очередной раз «повисала в воздухе». Самое иронично-многозначительное – в том, что всякий раз толпа подданных искренне желала благоденствия правителю, который, разумеется, тут же переставал думать о том, что, по всем объективным показателям, дни его могут быть сочтены.

В России правители не столько правят, как «цепляются» за власть. А если власть представляется самоценной величиной, то может ли она продуцировать большие смыслы, лежащие за ее пределами? Она может лишь «подыгрывать» людской наивности, легковерию и невежеству. Сегодня возможности «государства спектакля» многократно возросли.

По мнению Ю.М. Лотмана, система, подобная российской, провоцировала к воплощению в жизнь заведомо неосуществимого идеала, что привлекало максималистские слои общества поэзией построения «новой земли и нового неба» (31, с. 258). На деле все становилось намного прозаичнее, когда «идеал» начинал свое коловращение в плоскости политики. Увы, в России, несмотря на внешнюю видимость, политика – это точка жизни, наиболее удаленная от вечности и потому наиболее приближенная к непредсказуемой в непосредственности своих чувств массе. Расчет на массу, а не на граждан вызывал к жизни неподвластных демонов истории, способных перевернуть действительность.

Имперские подданные «идеальной» власти

Несомненно, что российская система не могла сохранять запас прочности не только без домашних мифотворцев, но и без людей, восторженно внимающих им. В адрес творения одного из первых – Н.М. Карамзина – было весьма тонко замечено, что он с изяществом и простотой, а главное, «без всякого пристрастия» доказал «необходимость самовластья и прелести кнута». Действительно, необходимость царской «строгости» хорошо понимали даже бунтовщики.

В прошлом россияне теоретически могли прокормиться без власти, основываясь на принципах производственно-потребительского баланса. Тем не менее идея «абсолютной» власти упорно произрастала снизу – как гарант от превратностей природных и прочих катаклизмов. Настроенность крестьян на поддержание «естественного» хозяйственного баланса, заведомая неэффективность товарообмена в силу необъятности пространств – все это привело к тому, что русские оказались невосприимчивы к западной модели меркантилизма, расширенного воспроизводства, хозяйственной эффективности и т.д. Сыграла свою роль и патерналистско-пространственная онтология – потребность «царя в голове». С другой стороны, сказыва-

лась встречная склонность государства к поддержанию внешне- и внутриимперской стабильности. На этом фоне не могла не вырасти особая форма сакрализации власти, включавшая в себя спонтанные (демонстративно-бунтарские) поведенческие реакции низов на неудачные действия правителей. Российские социальные просторы застойны, но отнюдь не стабильны.

С другой стороны, моральная экономика, поднятая на высоту государственно-имперского существования, превращала державу в вечно догоняющего аутсайдера, послушного только кнуту периодически появляющегося тирана. Одно лишь поддержание достойного места в мире для державы, базирующейся на подобных основаниях, было сопряжено с периодически повторяющимися социально-стрессовыми состояниями.

В Древней Руси ограниченный размер совокупного прибавочного продукта общества делал нереальным создание сколько-нибудь сложной многоступенчатой феодальной иерархии в качестве ассоциации, направленной на интенсивную эксплуатацию производящего класса. Историческим эквивалентом классическому феодализму стал путь консолидации верхов посредством *обслуживания* центральной власти. Поэтому возможность возникновения системно конструктивной оппозиции в России всегда была под вопросом. Кстати сказать, и создание гражданского общества возможно лишь постольку, поскольку распределительная функция государства станет ненужной вследствие рыночной насыщенности жизненно необходимыми товарами, прежде всего – продовольствием.

Но крепостное право не просто навязывалось сверху. «В условиях суровой природы с коротким земледельческим сезоном работ (вдвое меньше, чем в Западной Европе) весь быт, весь уклад жизни великорусского населения Европейской России носил четко выраженный “мобилизационно-кризисный” характер». Поэтому крепостничество сыграло важную роль в коррекции ментальных последствий влияния природно-климатического фактора, который требовал громадных нервно-психологических затрат, порождавших не только «экстенсивный» и «импульсивный» тип трудолюбия, но и особого рода качества. Так, считается, что отсутствие четкой взаимосвязи между мерой трудовых затрат и получаемого урожая не могло не выработать в массе населения чувства своего рода быгийственного скепсиса и «покорности судьбе» (33, с. 209, 379, 430). Последняя, естественно, трансформировалась в покорность государству и социальную пассивность в целом. Российское население попросту не ведало о таких понятиях средневековой европейской морали, как честь и достоинство – этих необходимых компонентов *гражданского* самосознания. Но не знало оно и европейской формы конформизма, связанного с привычкой различать плохих и худших правителей.

Но овладеть пространством вполне наивных и вроде бы покорных людских душ было не просто. Механизмы защиты крестьянской общины

от внешнего мира оставались столь сильны, что подчинить ее – реально, а не номинально – государству удалось только с помощью крепостного права. По сути дела, именно историческая устойчивость существования общины и вызвала к жизни наиболее жестокие и грубые механизмы изъятия прибавочного продукта в максимально возможном объеме. На этой модели и формировалась архаичная система «закрепощения сословий», призванных *обслуживать государство*.

Разумеется, такое было возможно только при тотальной убежденности подданных в том, государство скорее «кормит», нежели обирает. Все это наложило поистине роковую печать не только на социокультурный облик населения, но и на систему «особых» российских ценностей. И надо сказать откровенно, слабые ростки российского общества вынуждены были *противостоять* «русской самобытности» ради элементарного выживания. Вполне символично и то, что неизвестный «буревестник революции» (он же поклонник индивидуалистической вольницы) М. Горький люто ненавидел крестьянское «невежество».

Некоторые авторы считают, что успех модернизации России был связан с насаждением института земства. Увы, эта перспектива была достаточно призрачной: земство считалось крестьянами «помещичьим» институтом (что в известной мере соответствовало действительности). В начале XX в. земские начальники воспринимались крестьянами как крепостники, командовавшие всей жизнью деревни (см.: 46, с. 86). Ощущение того, что мир делится на «господ» и «трудяг», устойчиво сохраняется в российской психоментальности вопреки видимой условности такого деления.

Говоря об отношении российских подданных к власти, хотелось бы обратить внимание на этимологический аспект проблемы. Кажется, только в русском языке возможно словосочетание «жить в государстве» – не в обществе, не в стране, не в империи. Казалось, в государстве, т.е. внутри аппарата, механизма, машины, невозможно жить даже чиновнику. Однако россияне ухитряются «жить в государстве», поскольку общества, в котором полагается жить, они попросту не знали. Происхождение революционной смуты в связи с этим может быть представлено как резкое психологическое отторжение от государства, в котором уже невозможно разглядеть образ «своего». Конечно, в такое происхождение поколения «революционеров» трудно поверить, поскольку на позитивистском уровне оно не улавливается, но нельзя забывать об изначальной амбивалентности восприятия патерналистской власти.

Понимание особенностей восприятия той или иной государственно-сти невозможно без осознания той роли, которую играют во всех цивилизациях людские страхи. Человек обречен бояться всего «чужого», а потому как существо, генетически лишенное инстинктивной программы поведения, он непременно будет создавать тот или иной онтологический обра-

зец, используя подручные средства – начиная с табу и тотема и кончая «истинной» верой. В конечном счете выяснится, что ничто так не помогает преодолеть страх перед неизвестным, как империя – ее патерналистский образ подкрепляется символикой непрерывных побед над врагами. Российская империя в исторической памяти ее подданных не случайно имеет победоносный облик, хотя ее армии потерпели куда больше поражений, чем побед.

Империя является правилом всемирной истории еще и потому, что опыт преодоления социальных страхов в ее лоне закрепляется определенной культурной парадигмой. В сущности, именно империя, и только она, дает наилучший шанс самым ничтожным из своих подданных «проявить» себя совершенно неожиданным образом. Имперство притягательно в силу своей исторической связанности с «героическим» и «меритократическим» (псевдоаристократическим) началом. Не случайно кризис империи всегда связан не только с маргинализацией ее сословной структуры, но и с дегероизацией ее истории.

Нередко для объяснения природы властвования в России используют (особенно к этому склонны чиновники) «домашнюю модель»: народ навязывает государственности те формы господства, которые апробированы им на бытовом уровне. Но от такой модели следовало бы ожидать более устойчивой формы власти-подчинения. На деле в России и поныне происходит *противоборство* «домашней» и «рациональной» государственности. Проблема в том, что государству для достижения управленческой эффективности постоянно приходится практиковать «бюрократическое» отчуждение народа.

Строго говоря, такое взаимодействие власти и народа является *всеобщим*. Другое дело, что в одном случае существующие политические институты не допускают разрастания взаимоотношений, локализуя и переводя его в конструктивное русло, а в другом – напротив, обнажают и обостряют его. Всякая «настоящая» российская политика может оцениваться с точки зрения ее институциональной деструктивности. Это не парадокс, иначе и быть не может, ибо образу «абсолютного» государства психологически может противостоять только идеал «абсолютно независимого» от него общества – М. Бакунин (как и С. Нечаев) для России не случаен.

Если исходить из того, что россиянин навязывал государству свои образы власти, то придется допустить, что государство действовало аналогично, но куда более успешно. Наибольшей издевкой над реалиями выглядит миф об «особом коллективизме» россиянина – природного «общинника». На деле предреволюционный общинник давно превратился в яростного антиколлективиста: община (в прошлом – свободное трудовое сообщество) задыхалась от навязанных ей государственно-фискальных функций, а с другой стороны, она была перенасыщена «мироедским» насилием.

На деле официально-лубочный общинник – «коллективист» в той мере, в какой готов использовать общину для сопротивления государственности, а артель – для внеобщинной (и внетягловой) трудовой деятельности. Нормальный коллективизм возможен лишь в обществе, а не под диктовку государства. Поэтому россиянин всегда склонен бунтовать против «мироедов», чиновников и даже государства – увы, *во имя воображаемой власти*. В поисках несбыточного идеала он готов отвергнуть все несовершенное.

Про россиянина можно определенно сказать, что он не коллективист (см.: 18, с. 47), а *анти*коллективист; вместе с тем он не индивидуалист, а *анти*индивидуалист. А, в общем, из таких *анти* складывается взрывоопасная масса. Действенной антитезой принудительного коллективизма может быть только *анти*коллективистская, *анти*солидаристская стадность. В склонности россиянина к немотивированному протесту, стихийному бунтарству в силу этого можно не сомневаться, хотя этим далеко не исчерпываются грани его революционности.

Характерную не только для народного синкретичного сознания, но и «книжного» воображения российских образованных слоев размытость граней между реальным, воображаемым и символическим, возможно, следует отнести к одному из главных – пусть неосозаемых – деструктивных факторов всей российской истории. Человек, привыкший к «книжному», как и «домашнему», насилию, легко согласится признать его не просто повивальной бабкой, но и непосредственным и необходимым двигателем «прогресса». Подобная установка легко перемещает насилие в «анестезирующую» карнавальную плоскость, где боль других и даже своя собственная перестает ощущаться. Отсюда и возникает потребность в эстетизации хаоса – как всегда, вызванного утопиями и упорядоченного властным насилием (64).

Но если исторически сложившиеся институты в мнимо модернизирующем российском пространстве оказываются деструктивными, то какие из них способны играть конструктивную роль? Способны ли массы сделать выбор? Известно, что «господство массы действительно лишь постольку, поскольку отдельный индивид поясняет ей, чего она хочет, и выступает в своих действиях от ее имени» (61, с. 333). Если так, то для России могут показаться пригодными те институты, которые моментально доносят волю народа до правителя, а затем импульсы обратной связи преобразуются в государственные решения (причем вовсе не обязательно понятные низам). Получается, что дело не в институтах, а в их психоментальном наполнении и способности к «магическим» реакциям на «волю народа». Отсюда ленинский синдром Советов как «высшей формы демократии». В действительности Россия не случайно и столь легко расправляется с любыми формами демократии. В российском псевдополитическом пространстве демократия – это лишь эпизодическая форма сопротивления

перманентной концентрации власти в руках государства. Непосредственная власть остается слишком тяжелой для народа. Хочется напомнить высказывание: «В демократии народ подчинен своей собственной воле, а это очень тяжелый вид рабства»¹. Это конкретное рабство хочется разменять на некое «идеальное» – практически безответственное – на деле *квази*рабское состояние. Внутри него вновь и вновь произрастает вера в космическую власть (или историю), которая рано или поздно, но непременно обратит свои взоры на «безгрешный» народ, живущий на «святой» Руси. Этим и задаются параметры Русской идее – по сути своей довольно примитивной нравственной метаполитизации и даже эстетизации Власти.

Если перепуганный подданный больной империи начинает «терять себя» вместе с ней, то, чтобы обрести утраченное состояние, ему придется хотя бы мысленно воссоздать ее «идеальный» облик. Сегодня этому занятию предаются очень многие. Но такой опыт самоутверждения выглядит рискованно. Стоит напомнить, что исторически он включал в себя и кровавое упоение мстостью по отношению к «чужим», и торжество первобытного насыщения уравнилельной справедливостью, и рабское смирение перед повелителем, устлавшим свой путь к власти трупами соратников.

«Огромная, превратившаяся в самодовлеющую силу, русская государственность боялась самостоятельности и активности русского народа, она слагала с русского человека бремя ответственности за судьбу России... – считал Н. Бердяев. – Он должен, наконец, освободиться от власти пространств и сам овладеть пространствами... Государство должно стать внутренней силой русского народа, его собственной положительной мощью, его орудием, а не внешним над ним началом, не господином его» (5, с. 62, 66). Увы, подобные пожелания остаются неосуществимыми. Россия, как и прежде, чревата революцией (смутой), ибо власть, пытаясь двигаться вперед без поддержки общества, сжигает за собой мосты народной поддержки. Рано или поздно ей суждено остаться один на один с хаосом «непонятливых» людских душ.

Интеллектуалы или иллюзионисты?

«Наше все» – А. Пушкин безусловно боготворил *имперскую* власть (в ее идеальном исполнении). Он же вылил немало едких чернил на «недостойных» правителей – «Сказка о золотом петушке» несомненное тому свидетельство. В память народа он врезался, однако, как сочинитель сказок типа «О попе и работнике его Балде», в сознание интеллигенции – как «свободы сеятель пустынный». Народ уважает рассудительное могущество, интеллигенция помимо обожествления рациональной силы (власти)

¹ Эти слова А. Франса в 1906 г. повторял М. Волошин (цит. по: Волошин М. Лики творчества. – Л., 1988).

всегда готова оплакивать самое себя – этому и помог Александр Сергеевич. При этом интеллигенции кажется, что она существует *наедине* с властью (в этом был замечен и Пушкин).

«Трагедия» русской интеллигенции, по поводу которой пролито столько интеллигентских слез, это драма существ, выкинутых из естественной среды обитания – служилой системы. Человек, генетически связанный понятием долга, но лишившийся суверена, становится совершенно непредсказуем – всякий отставник склонен чудить на «общественном» поприще.

Появление интеллигенции иногда связывают с социально-модернизационными перетрясками Петра I – начиная с роста числа безбродых выдвигенцев, кончая выездами на всевозможные ассамблеи. Проще, однако, вести отсчет с Указа о вольности дворянству (1762 г.), вытолкнувшего в российское служилое пространство «лишнего человека». После «атеистичного» и «бунташного» XVIII века, заграничных и российских неистовств поколения декабристов, вольному помещику, снующему между холодным Петербургом и теплым Средиземноморьем, между городской усадьбой и сельским поместьем, было о чем задуматься – разумеется, если его полностью не поглощали карты, вино, охота, деревенские девки и заграничные кокетки. Опыт показывает, что времени хватало на все – включая поглощение новинок заграничной литературы. Примечательно, что едва ли не все столпы великой русской литературы украсили усадебного быта; их трудно упрекнуть как в высококравственном (по меркам своего времени) поведении, так и в отсутствии склонности к морализаторству; все они отмечены навязчивым стремлением отринуть собственную праздность и греховность; всем им хотелось непонятно чего.

Чтобы настроиться на волну вечности, требуется время. «Вечные вопросы» рождались от невозможности «делового» (буржуазного) образа жизни – В.И. Ленин (также практиковавший барственный – в подпольной ипостаси – образ жизни) по-своему уловил это. Разумеется, делить людей «умственного труда» (он предпочитал применять к интеллигентам деловое понятие – *brain workers*) на реакционеров, либералов и революционеров, конструировать из последних «три поколения» борцов с самодержавием мог только крайний доктринер прогрессистского склада. Но в том-то и дело, что умствующих маргиналов становилось все больше; история действительно сближала их с народом, точнее – с городскими пасынками модернизации и сельскими неприспособленцами.

«Уникальные» российские интеллигенты – это самые заблудшие (из-за чрезмерной склонности к рефлексии) овцы бесконечного (не только доморощенного, но и мирового) ментального пространства. Российская интеллигенция – «случайный», а потому наиболее отчужденный элемент российской социальной среды. Отсюда пресловутое «хождение в народ» –

истероидная попытка воссоздания общественной ткани *вопреки* власти. То же происхождение имеет либеральная критика «бюрократической» государственности – «общественные деятели» в пореформенное время не случайно настаивали на устранении чиновничьего «средостения» во взаимоотношениях власти и народа (общества). С таким же успехом смерд мог просить князя удалить баскаков.

Россия почти не дала миру философов, но зато породила генерацию «философствующих». В условиях владычества приказного управления они могли только навредить системе. Конечно, проблему интеллигенции можно свести к нерешаемой (в России) задаче примирения патернализма и индивидуализма, власти и общественности. Но зачем мудрить, если очевидно, что государство пыталось и пытается приручить то, что приручить невозможно, – способность человека к самостоятельному творчеству?

Интеллигенция пропитана идеологией – этой вульгаризованной формой веры и знания (Э. Юнгер), чему не стоит удивляться: люди, живущие мечтой, рискуют оказаться в плену подражания «чужим» – это своего рода вечные интеллектуальные недоросли. Интеллигенция в России, если согласиться с Г. Федотовым, всегда объединялась «идейностью своих задач и беспочвенностью своих идей»¹. Но по-своему идейна и беспочвенна сама власть. Конечно, подражательность – естественный двигатель прогресса, навязывающего определенные культурно-политические императивы всему миру. Известно, например, что английские либеральные представления о прошлом явно и подспудно, прямо и опосредованно осуществляли свой историко-идеологический диктат на протяжении нескольких столетий, что не могло не сказаться на духовном облике человечества. Но подражательством нельзя заниматься до бесконечности, из «обезьянничанья» (так определил основную склонность русской интеллигенции Г.В. Плеханов) нельзя делать подобие профессии.

Появление интеллигенции – это начальный этап становления *личности*, который в Российской империи не мог не быть болезненным, ибо ей в действительности суждено было вылупиться из николаевских канцелярий, а не выпорхнуть из «гнезда Петрова». Ей хотелось бы стать *рядом* с властью, а ей указывали место за казенным бюро. Однажды обидевшись, такая *протоличность* не пожелает быть управляемой ни массой (разумеется, исключая случаи фашизоидных истерик), ни тем более самодержцем. Ей хочется стать «властителем дум», поклоняясь по преимуществу идолам собственного воображения. Отсюда болезненные разочарования: Указ о вольности дворянству породил не только Радищева и декабристов, но и эмигрантов-протестантов вроде Петра Долгорукова, оставившего ядовитейшее описание прихвостней самодержца (см.: 15). В адрес последних

¹ Цит. по: Федотов Г. Трагедия интеллигенции // Федотов Г. Судьба и грехи России. – СПб., 1991. – Т. 1. – С. 72.

стоит заметить, что российская властная аура порождает не просто холуев-исполнителей, а холуев-романтиков – не просто идеологических наемников, а холопов «по воле сердца». В противовес им интеллигенция начала с невинной игры в карты (по Ю. Лотману, это универсальная форма борьбы с неизвестными факторами) и «говорильни» в клубах (43, с. 44), а закончила свое существование на Соловках, упиваясь собственной «непонятностью» и страдальческой «уникальностью».

Интеллигенция – это в известном смысле «праобщество», которое стремится стать собственно обществом в условиях, исторически менее всего для этого подходящих. Будучи в действительности маргинальным *со*обществом, она повышено эмоциональна, «обидчива», а потому крайне болезненно реагирует на все «деперсонализованные», «механические» (не согласованные с ней) решения и действия власти. Она ведет себя как отвергнутая экспозиция. Отсюда и «мстительное» стремление интеллигенции идентифицировать себя с народом. Ситуация *квазипатернализм – псевдообщество* сама по себе не только взрывоопасна, но и труднопредсказуема – лавинообразный (революционный) рост «малых возмущений» может начаться в любой момент. При этом интеллигенция обладает самопожирающим качеством: тот же Петр Долгоруков не просто обгадил людей своего же круга, но и, скорее всего, явился косвенным виновником гибели Пушкина. Все это более чем символично.

Считается, что Петр I прорубил окно в Европу, а на деле он дал России чужое государство; Екатерина II, как и он, мечтала о восстановлении пути из варяг в греки, а в действительности наладила дорогу в Париж, по которой зачленили барственные существа без родины, со временем возмнившие себя духовным пупом земли.

Интеллигенция тем не менее «вечна», пока нет общества. Как ни парадоксально, она периодически продлевает свое существование, осуществляя челночные движения в служилое сословие и обратно. До поры до времени (пока сильная власть способна содержать) штатные идеологи служат ни на страх, а на совесть. Когда же возникает известное состояние, именуемое «рыба гниет с головы», они на крысиный манер перебегают в лоно интеллигенции (символично, что в советское время власть практически отождествляла «интеллигенцию» и «служащих»). Политика в России – это настоящая «русская рулетка», подсунутая интеллигенции самой историей. Не понимая этого, интеллигенция продолжает игру, ни на секунду не задумываясь над тем, что рано или поздно раздастся самоубийственный выстрел.

Несомненно, провоцируемые интеллигенцией кризисы государственности в России (в широком смысле кризисы *веры* во власть) имеют общеонтологическую природу: «Человек... жаждет завершенности и потому отдается в объятия тоталитаризмов, которые являются искажением

надежды» (42, с. 518) – лучше не скажешь. К этому остается добавить, что человек периодически «убегает» от им же создаваемых тотальностей, причем в России это делается путем заведомо безнадежного бегства *от власти*. Подобный эскапизм приобретал как революционно-анархические, так и сектантско-непротивленческие формы. По некоторым данным, численность сектантов в дореволюционной России составляла 25 млн. Секты множились как реакция на те или иные «неправые» действия власти; среди них возрастал удельный вес тоталитарных сект с «перевернутой» этикой и своими доморощенными «пророками»; для многих из них представление о бесовском характере существующей власти становилось базисной идеологией. Показательно, что у многочисленных российских сектантов вопрос собственности решался не в квазиобщинном, а примитивно-коммунистическом духе. При этом характерно, что если в Европе предшествовавшие Реформации народные утопии известную альтернативу – индивидуальный труд или патерналистская государственность – решали в пользу первого, то в России это делалось с точностью до наоборот. Октябрьская революция больше напоминает доморощенную Смуту XVII в., нежели Великую французскую революцию. Исследователи отмечают, что «пролетарская» революция не случайно реактуализировала лексику (включая церковно-славянскую), восходящую к XV–XVII вв. (54, с. 187) (разумеется, это было проделано под покровом и в сочетании с революционным новозом).

Когда грянет гром?

Строго говоря, нет ничего нелепее фигуры историка, взявшегося за пророчества. Историк – как, впрочем, любой обществовед – оперирует понятиями и категориями, метафорами и концепциями, образами и мифами, порожденными прошлым, – его инструментарий является заведомо устаревшим для прогностических целей. С большей или меньшей основательностью он может маркировать пределы устойчивых состояний, исходя из показателей архетипического ряда. Во всяком случае, он предскажет время начала революции примерно с такой же точностью, с какой ее накликает городской сумасшедший.

Тем не менее проблема отыскания точки бифуркации, после которой удержание системы в равновесии становится невозможным, кажется интригующей. На деле все зависит от фактора непредсказуемости, в том числе внешнего. Проблема осложняется тем, что кризис связан не просто с крайним обострением неверия во власть, а с такой степенью неверия власти в самое себя, которое парализует управленческие возможности государства. Именно к этому моменту может последовать резонирующий импульс, способный обрушить всю систему.

Система, лишившаяся, выражаясь современным языком, ресурса «гибкой» (мягкой) власти¹ или, попросту говоря, бытовой (а не бытийственной) притягательности, обречена. Но какие именно скрытые факторы обеспечат это?

Представляется, что надо исходить из резкого изменения пространства, требующего решительных *корректив в пространстве власти*. И дело не может ограничиться политическими реформами. Так, демографический скачок второй половины XIX в. вкуче со стихийной урбанизацией и резкой интенсификацией информационных потоков, не говоря уже о творческом истощении «первенствующих» сословий, сам по себе ставит крест на всей прежней системе закрепощения подданных. Государству следовало повернуться своим новым – культурным – лицом к новым «креативным классам», но на это оно было не способно.

В таких условиях недовольство патерналистско-идеократической системой (все более зримо превращающейся в бюрократически-полицейскую) может стать едва ли не всеобщим. Так, в начале XX в. даже чиновники ощущали, что в России творится «что-то неладное». «Прежняя апатия уступила место общему ропоту, вялая покорность судьбе сменилась злоязычным отрицанием существующего порядка...», – отмечал в 1902 г. В.О. Ключевский (23, с. 386). Современники, словно сговорившись, писали о том, что «революция висела в воздухе», который, как казалось О.Мандельштаму, еще за год до падения самодержавия был «смутной пьян». Ситуация повторилась в годы «перестройки», правда, тогдашние оппозиционеры оказались куда более боязливы.

Впрочем, вряд ли эти ощущения элит были устойчивы – известен пусть кратковременный, но всеобщий подъем патриотизма в начале мировой войны. Он, впрочем, носил скорее эсхатологичный, т.е. губительный для старого порядка, а отнюдь не мобилизационный оттенок. Примечательно, что человек левых убеждений П. Филонов в 1915 г. создал известное полотно «Цветы мирового расцвета». В любом случае всякое творческое смятение, заражая массы, теперь невольно приближало революцию (см.: 9).

Сходным образом во времена «перестройки» систему взбаламутили так называемые люди творческих профессий – служилые аллилуйщики советской системы. Примечательно, что все началось со съезда кинематографистов, восставших против мэтров соцреализма. Именно главные творцы грез «развитого социализма» первыми ощутили «ветер перемен».

Конечно, между сомневающимися и противниками режима, между либералами и революционерами была немалая дистанция, но объективно

¹ Этот термин (*soft power*), используемый для характеристики «цивилизаторской» внешней политики (см.: 36), вполне может использоваться применительно к российской внутренней политике.

первые подыгрывали вторым. Любую имперски-патерналистскую систему можно представить как информационную целостность, которая «работает» в условиях постоянной сакрализующей подпитки. По мере приближения к роковой черте 1917 г. в России наблюдалось нечто иное.

Приближение развязки, в первую очередь, связано с уплотнением информационного пространства. Помимо русской литературы, не ко времени смущавшей людские души максимами «вечных вопросов», пореформенное время породило феномен «толстых журналов», упорно проталкивающих их сквозь цензурные рогатки. О прессе «эпохи реакции», наступившей после «поражения революции 1905 г.», и говорить не приходится – ее звездный час наступил после февраля 1917 г., когда известного рода газеты стали зачитывать до дыр. Ситуация повторилась в годы «застоя», научившего «читать между строк».

В годы Первой мировой войны государство возненавидели буквально все. В декабре 1916 г. провинциальная церковная газета писала: «Церковь... перешла на положение института, терпимого государством для второстепенных целей: ...призывать освящать и благословлять все, что делало государство» (цит. по: 58, с. 153). В годы «перестройки» общественное нетерпение сконцентрировалось на статье Конституции, утверждавшей «руководящую и направляющую роль КПСС». Впрочем, по большому счету, к этому времени старая вера не нужна была самой власти.

Всякие сакрально-информационные пустоты имеют обыкновение заполняться «чернящими» слухами, интенсивность которых зависит от ощущения неустойчивости ситуации, а уровень вульгаризации – от убежденности в порочности происходящего наверху. Возникает впечатление, что власть «подменили». «Больные» империи можно сравнить с ослабленным организмом, который способен погибнуть от легкой простуды.

Чисто теоретически сценарий развала империи был написан еще Лениным. В его рассуждениях о недовольстве низов и недееспособности верхов, между прочим, нет ни классов, ни формаций. Это описание психологической неустойчивости системы, достигшей точки бифуркации. Разумеется, Ленину не раз приходилось писать и о «передовом классе», и о революционной партии, и о мировом кризисе; он не случайно связывал начало революции с внешним («интернациональный социализм») фактором. Однако начало Февральской революции стало для него неожиданностью.

Культивирование «воображаемых реальностей» характерно для любой социальной среды. Виртуальные фантазмы оживляют излишне рационализированное (забюрократизированное) общество. Напротив, они выступают антиподом «государству спектакля». Омертвевшая вера плодит предрассудки, претензии государства на тотальность – хаос взаимонепонимания.

Никто не мог предсказать время развала СССР, хотя диссиденты и западные историки фантазировали на этот счет с 1970-х годов. Уже тогда система стала терять веру, власть формальных «наследников Октября» – неумолимо костенеть, а подпиравший ее «служилый класс» функционеров КПСС превращаться в бюрократическую пародию на идеологов «самого передового» общества. Впрочем, многие «противники режима» на деле рассчитывали всего лишь на «обновление» и «очищение» социализма. Понадобились публичное обнаружение недееспособности власти, чудовищная концентрация всеобщего недовольства, перемещение образа врага из внешнего окружения системы внутрь ее, чтобы старая власть *развалилась*. Можно сказать, что некоторое «очищение» произошло в огне революции. Впрочем, и сегодня нельзя сказать, когда произошла эта «революция»: в августе 1991, в октябре 1993 г., и произошла ли она вообще. Революция оказалась *вялотекущей*, лишенной ценностного наполнения и целеполагающих смыслов.

Уже через десять лет участников последней революции невозможно было отыскать, хотя в прошлом перевороту сочувствовали едва ли не все. Теперь, однако, буквально все убеждены в том, что им пришлось пережить *смутные времена*, наступившие по вине либо дурной власти, либо коварных злоумышленников.

В такие времена все решают иллюзии низов, а не продуманные планы «реформаторов» или тонкие расчеты «заговорщиков», однако никто не хочет в это верить. Человек легко соглашается на роль жертвы дьявольского обмана, но никак не готов признаться в собственном недомыслии ни в прошлом, ни в настоящем.

Социально-синергетические процессы непредсказуемы *в деталях*, которых – как чертей на острие иглы – для дотошного схоласта всегда *слишком много*. Практичнее попытаться уловить общие черты российских смут, ибо они не только прошлое, но и настоящее.

Параметры кризисов в России

В системном кризисе (смуте) можно условно выделить уровни или стадии его протекания: *этический, идеологический, политический, организационный, социальный, охлократический, рекреационный*¹. Соответствующие им компоненты действуют на всех стадиях его развития, но с различной интенсивностью соответственно изменениям психологии людской массы.

¹ Увы, эту высказанную еще десять лет назад гипотезу (см.: 6, с. 343) никто из политологов не удосужился испробовать в прогностических целях. Вероятно, это следует считать свидетельством их исторической безграмотности и общей ограниченности.

Этический компонент кризиса наиболее трудноуловим социологически, хотя понятно, что смута невозможна без своего рода грехопадения власти в глазах подданных.

Предпосылки Смутного времени, конечно, уместно искать в неистовствах Ивана Грозного. **Последовавший** за ними династический надлом мог быть воспринят в низах как «воздаяние за грехи». Важными знаками отторжения от системы стали образы «благородного разбойника», социального «отщепенца», «хищника» и «изгоя» (32). Теперь массу притягивали к себе диссипативные элементы.

Правственные коллизии, предшествовавшие российским революционным взрывам начала XX в., в значительной степени были производным от столкновения глобальных этико-мыслительных парадигм – традиционно-патерналистской идеологии и идеологии Просвещения. На фоне рационализирующегося сознания тогдашних элит «отеческое правление» представляло синонимом иррационального застоя, противного естественному ходу вещей. Уже для А.Н. Радищева российская система стала местом стилищем греха и воплощением зла для народа.

Моральную **проповедь** подхватила русская литература, подспудно усвоившая революционную эсхатологию¹, а потому невольно включившаяся в подготовку бунтарей, настроенных освободить страну от любой скверны. Сознание образованного слоя сконцентрировалось на эгзистенциальной «моноидее»: для революционеров ее воплощение связывалось со справедливым и рациональным мироустройством, для либералов – с новыми прозападными институтами, для бюрократов – с «совершенной» манерой управления. Ну а народу попросту надоело работать на «странных» господ и верить в негодного царя. В исторической ретроспективе все это выглядит не столь оригинально – достаточно вспомнить о богомильских и анабаптистских экспериментах.

В советское время параметры этического компонента кризиса задавались крахом хрущевской авантюры построения коммунизма. Поэтому громадную роль сыграло «разоблачение» так называемого сталинского террора. Не случайно появление квази-Радищева – А.И. Солженицына, человека доктринерского склада, призвавшего «жить не по лжи». Неформальные информационные связи стали доминировать: дело дошло до того, что антисоветские анекдоты пересказывались генсекам.

Идеологическая составляющая кризиса связана с оформлением альтернативы существующей форме правления – пусть умозрительной, а не реальной.

¹ Попытки некоторых исследователей рассматривать классическую русскую литературу XIX в. как специфическую форму духовной практики в контексте соборности и пасхальности (см.: 16; 17) вряд ли можно воспринимать всерьез.

Иногда зарождение «конституционной альтернативы» самодержавию связывают с посланиями А. Курбского Ивану Грозному. На деле ничего подобного Курбский не мог продуцировать, он лишь клеймил царя, который якобы «дьяволом послан на род христианский» (39, с. 119, 121). Царь свои жестокости, напротив, считал делом естественным: «Даже во времена благочестивейших царей можно встретить много случаев жесточайших наказаний», – так они спасали свои царства «от всяческой смуты и отразили злодеяния и умыслы злобесных людей». А, в общем, имея власть от Бога, русские государи «ни перед кем не отчитывались, но волны были жаловать и казнить своих подданных...» (39, с. 128, 129, 144). Вполне аналогичная ситуация возникла в СССР с той лишь разницей, что на месте Бога оказался идол «самого совершенного общественного строя».

С точки зрения тогдашних российских представлений о власти, Грозный был прав. Идолу поклоняются не потому, что он добр, а потому, что он может *сожрать* кого угодно, отделяя «чужих» от «своих», исходя из одному ему понятных побуждений. Сакральная жертвенность не нуждается в рациональных и тем более гуманистических оправданиях. Тем не менее риторика Курбского со временем должна была взять верх – в эпоху общественных нестроений протестанты плодятся в геометрической прогрессии, тогда как деспоты единичны по определению.

Семена последующего кризиса империи были заложены еще во времена Петра I. «Люди, командированные правительством для усвоения надобных ему знаний, привозили с собой образ мыслей, совсем ему не нужный и даже опасный...», – писал по этому поводу В.О. Ключевский. – «Против правительства, борющегося со своей страной, стал просвещенный на правительственный кошт патриот, не верящий ни в силу просвещения, ни в будущее своего отечества» (22, с. 316). Так, в сущности, возникло первое поколение интеллигентов-«транзитологов». Строго говоря, сама попытка подновления фасада с их помощью чревата растущим противоречием между ожидаемым и действительным *внутри* империи.

Известно, что в конце XIX и особенно в XX в. идеологическая составляющая в жизни всех народов приобрела качество былых религиозных «эпидемий». Этому не приходится удивляться в связи с резким уплотнением жизненного пространства и информационных связей. Но это вовсе не предполагало чистой материализации какого-нибудь «призрака коммунизма» – всякий вирус в новой среде претерпевает настолько сложные мутации, что подчас невозможно распознать его истинное лицо. Мир действительно вращается вокруг великих идей, но это не предполагает их буквального воплощения в жизнь.

Исследователи отмечают, что в свое время революция вознесла французов «над миром неосмысленных традиций и впервые заставила задуматься о них» (1, с. 445). К сожалению, в России не задумываются об

этом до сих пор. Между тем в основе российских партий, чисто символически представлявших классы или сословия наборами соответствующих идей, лежала не столько политика, сколько социально-нравственные максимы и(или) утопии – это напоминало переодетый по последней моде традиционализм.

Несомненно, марксизм, адресуясь массам, нес в себе элементы и доисторических поверий, и мессианских надежд, и эсхатологически-хилиастических ожиданий. В связи с этим примечательно странноватое для «материалиста» заявление Ленина о том, что «учение Маркса всеильно, потому что оно верно». Бывают времена, когда, по словам Умберто Эко, даже «глубоко знающие люди» с легкостью отдаются «ночным химерам»¹.

Поставить магическое на службу бюрократии не удалось, а потому откат от мифического социализма приобрел черты нового доктринального неистовства. Примечательно, что постперестроечные квазиреволюционеры не оставили традиционных упований на власть: их заведомо ложным символом стал Петр I – неумный недоросль, поднявший Россию на дыбы ради отнюдь не западной демократии, а собственной власти. Оказывается, что по вневременной шкале интеллигентских оценок петровские метания и бесчинства полагается именовать реформами. Такова неосознанная фетишизация властного, т.е. антиобщественного, начала в современной России, порождающая «революционное» понимание реформ как *насильственных* преобразований.

Политическая составляющая кризиса в минимальной степени отвечает классическим понятиям *политии*. Применительно к Смутному времени ее проще назвать боярскими «разборками». И если нынешняя политическая ситуация напоминает картину тех времен, это не случайно.

Российская политика связана преимущественно с сопротивлением *слабеющей* власти, которое с крайним запозданием приобретает организационное оформление. Скорее, это риторичная и ригоричная *прото*-политика. «У нас выработалась низшая форма государства, вотчина, – писал в свое время В.О. Ключевский. – Это собственно не форма, а суррогат государства» (22, с. 377). Всеобщая критика именно *такого* государства и составляет основное содержание российской политики – и это вопреки тому, что «политическая» культура образованного меньшинства заметно отличается от этатистских представлений низов. Ситуация сохранилась до нашего времени, хотя теперь элиты и народ заметно сблизились в своих скептических представлениях о власти.

По большому счету, российская политика – это бунт «детей» против «отцов» за *свою* власть (точнее иллюзии по ее адресу). Не случайно ин-

¹ Цит. по: Эко У. Маятник Фуко. – М.: Симпозиум, 2007.

тенсивность такой политики связана с «омоложением» (в начале XX в.) или «старением» (в конце XX – начале XXI в.) населения. Парламентаризм, не имеющий точки опоры в реальном представительстве *меняющихся* интересов масс и больше напоминающий парад идей, может превратиться в боязливую форму подстрекательства.

Партийно-политическая система 1905–1917 гг. стала орудием нагнетания социального хаоса. В ее рамках деструктивный характер приобретало даже неумеренное верноподданничество в лице пресловутых черносотенцев. Из числа последних многие со временем не случайно смирились с большевизмом, как не случайно и то, что для пришедшего к власти Сталина главным пугалом стали не они, ни Миллюков, а Троцкий. Впрочем, сам «вождь народов» на поверку оказался вовсе не «консервативным революционером»¹ и не «модернизатором»², а скорее ограниченным отщепенцем, которому русская смута поручила сперва роль «благородного разбойника», затем – многоумудрого «отца народов».

Ту же роль сыграла суррогатная многопартийность конца XX в. Впрочем, вялотекущая революция 1991 г. произошла вообще без революционеров, но зато при избытке квазиреволюционеров и псевдоревolucionеров. Ей помогло то, что среди «прогрессивной части» номенклатуры было немало скрытых полудиссидентов, легко менявших ориентиры в соответствии с «веляниями времени». Поскольку задачу поддержания «обратной связи» между народом и властью новая многопартийность не выполняла, правительство легко преобразовало ее в «полупартийность», которая существует *при власти*, т.е. попросту подпирает ее.

Конечно, в критические моменты истории реальная демократия достойна самое себя лишь в силу способности к самоограничению: европейская политическая мысль – от Франсуа Гизо до Карла Шмитта – не случайно периодически возвращалась к идее «демократического» единства правителей и управляемых (в лучшем случае это оборачивалось авторитаризмом, в худшем – фашизмом). Нынешнее тяготение власти к «суверенной демократии» отражает наивную надежду на достижение такой же управленческой «эффективности», как в прежние – то ли советские, то ли досоветские – времена. Иностранцы заимствования претерпевают на русской почве довольно неожиданные метаморфозы: суверенитет буквально означает верховную власть, *независимую* от кого бы то ни было. В распадающемся СССР этот термин поначалу служил эвфемизмом, призванным декларировать *независимость мест от центра*, а по мере укрепления власти стал прикрывать *стремление центра быть независимым от мест*. Круг замкнулся – российская власть приблизилась к идеалам Ивана Грозного.

¹ Так склонны думать даже серьезные западные авторы (см.: 69, с. 616).

² О дискуссии по этой проблеме см.: 65.

Надежды на гражданина иллюзорны: чувство собственного достоинства у современного россиянина минимально, свою «доблесть» он видит в обмане государства и себе подобных. Люди вновь готовы искать традиционный выход – то ли бунт, то ли деспотия, а то и просто смута.

Организационный компонент кризиса связан с растущей неэффективностью, а затем и распадом управленческих структур, включая вновь возникающие. Его острота определяется как внешними воздействиями (неумением реагировать на изменившиеся обстоятельства), так и внутренними сбоями. Кризис усугубляется тем, что люди усматривают теперь в законе «не обдуманную необходимость, а не допускающую рассуждений угрозу» (24, с. 331). Организационный развал не случайно оборачивается территориальным распадом державы.

Наиболее причудливые параметры организационный кризис приобрел во времена Смуты. Решающую роль сыграла неспособность власти накормить народ во время голода. Не случайно также обилие всевозможных самозванцев. Однако приказной аппарат работал относительно независимо от них – он был более органично связан с местами, чем с правительствами и претендентами на их место. Но этот же аппарат обнаружил ставшую классической для России склонность к коррупционному переделу собственности. Позднее, в годы Первой мировой войны, один мемуарист писал: «Порой мне кажется, что наша великая Россия только благодаря лихоимству и взяточничеству ее служилых людей, а также беспечности и халатности в верхах, дошла до такой пагубы, как коммунизм» (28, с. 147).

Механизмы кризисов управления оставались прежними, хотя к началу XIX в. Россия обладала уже несколько иной – более иноэтнической и идейно-космополитической управленческой элитой. В принципе, масонствующие управленцы могли бы выстроить в России «регулярную» государственность, столь необходимую для преодоления пережитков удельно-приказной системы. Но это было возможно только при условии синхронизации управленческих инноваций с формированием гражданского общества. Вот об этом последнем не задумывались, хотя провал декабристов давал на этот счет недвусмысленный намек.

Может показаться, что анализ развала империи можно ограничить ее организационно-экономическим аспектом. Это было бы возможно, если бы бациллы разложения порождались только управленческой средой. Но в том-то и дело, что этот процесс развивался в совершенно иных сферах. Если во Франции Старый порядок определялся триадой «юстиция, полиция, финансы», то Россия начала XIX в. намеревалась существовать, опираясь на «православие, самодержавие, народность».

Царская империя вступила на роковой путь, когда ее аппарат стал модернизироваться для более эффективного изымания податей с косного и малогармотного населения, не успевая при этом «накормить». Культурные

верхи стали казаться низам совершенно чужими, «немецкими», враждебными в своей основе. Важнейшую роль в падении самодержавия сыграл «межрегиональный конфликт», подготовленный неумелым разделением в годы войны сферы управления на военную и гражданскую. В целом царизм оказался неспособен вовлечь земские и городские учреждения в организационное сотрудничество в условиях тотальной войны (19, с. 197–198). Более того, деньги, выделенные казной на «общественную самодеятельность», стали использоваться против власти. В конфликт втянулись частные предприниматели, использовавшие аргументы либералов для нейтрализации обвинений в провале снабжения армии (см.: 4). Развал власти символизировала пресловутая «министерская чехарда».

Современный организационный коллапс связан с крахом «распределительной экономики», чудовищно деформированной и отягощенной военно-промышленным комплексом. Распад СССР был подготовлен не действиями всевозможных сепаратистов, а неспособностью центра «накормить» регионы – в них стало складываться представление, что если бы он не изымал сельскохозяйственную продукцию, то они «жили бы при коммунизме». Именно это обусловило развитие центробежных тенденций, которые на деле имеют мало общего с пресловутым феноменом «колониальной неблагодарности». Попросту говоря, произошел саморазвал «государства-склада» – именно такую доисторическую форму государственности в своем военно-коммунистическом рвении вольно или невольно реализовали большевики.

Как известно, «развитой социализм» в лице комбюрократии и «красных директоров» не мог обслуживать утопию иначе, как с помощью приписок. «Виртуальность» распределительной экономики развращала всех и вся. На ее почве складывалось сообщество «неформалов» – именно из их среды (а не из разгромленных диссидентов) составила оппозиция времен Горбачева. Поскольку со склонностью к управлению у нее дело обстояло плохо, она лишь способствовала разрастанию хаоса.

Организационно-управленческая нестабильность пронизывала все время президентства Ельцина. Тон задан был экономистами гайдаровской школы, доктринальная решительность которых напоминала о временах военного коммунизма, а стремление перевести нерентабельные отрасли народного хозяйства на режим самовыживания обернулось реанимацией моноэкспортной экономики. Между тем хозяйственная «однобокость» всегда уязвима – ситуация сравнима с ролью зернового производства в экономике царской России. С другой стороны, спекуляция советских времен выросла до банковского ростовщичества, причем «рентабельность» здесь оказалась намного выше, чем в секторе реальной экономики. В путинские времена эта тенденция окончательно закрепилась. Возникает вопрос: какое хозяйственно-организационное будущее ожидает Россию при

господстве монопольно-рентных и государственно-ростовщических форм извлечения прибыли?

Как ни парадоксально, организаторам очередного российского договаривающего рынка приходится вновь – как в начале XX в. – рассчитывать на глобальный кризис – на сей раз финансовый.

В основе **социальной составляющей кризиса** лежит спонтанное стремление к «справедливому» реструктурированию системы – на деле это обернулось стремлением одних социумов выжить за счет других. Каждый из них вел «единственно справедливую» войну. При этом люди последовательно отказываются от официальных вождей, а затем очередных идейных лидеров в пользу всевозможных диссипативных элементов. Накал страстей определяется не социальным неравенством, а ощущением несправедливости власти и властей.

Маргинализация сословной структуры приняла поистине ужасающий характер во времена Смуты – тяглые люди «перебегали» в другие сословия, служилые убегали со службы, шло тотальное разложение социальной ткани. Процесс не приобрел, однако, необратимого характера: поскольку этому не предшествовали попытки модернизации хозяйства, подгонять распад хозяйственной жизни было некому.

Социальный кризис начала XX в. помимо этого предполагал решительную перетряску верхов и низов. В 1917 г. в конфликт втянулись буквально все «трудящиеся», причем на основе заведомо ложной идентификации: служащие возмнили себя «пролетариями пера» и даже полицейские порой отождествляли себя с «народом». Социальные эксцессы психологически стимулировались ненавистью к «эксплуататорам-кровопийцам» – под покровом революционных учений шла спонтанная реанимация крайне архаичных (магических и протосоциальных) представлений. В конечном счете все это обернулось бессмысленным растаскиванием общественного богатства под видом экспроприации «чуждых» классов, «враждебных» этносов и отдельных лиц.

Стоит отметить, что социальные страхи вызывали к жизни феномен этноконсолидации и этноизоляции. Паника «распада державы» привела к тому, что это явление получило ложное – сепаратистское – истолкование. На деле так называемые национальные движения начала века были связаны преимущественно со сложностями *социального* выживания, что давало интеллигентным этномаргиналам шанс на лидерство. Примечательно, что большевики, поддерживавшие «национально-освободительные» движения *внутри* и *вне* империи до Октября и в последующее время, решительно отмежевались от «буржуазных» националистов.

После роспуска Советского Союза получили развитие сходные процессы – попытки селективной приватизации и производственного самоуправления скрывали стихию очередного передела собственности, которая

сопровождалась всеобщей растащивкой. А поскольку советское «общество» было деструктурировано возобладанием пассивно-потребительских интенций над производительными, самостоятельные хозяйствующие субъекты неуклонно вымывались из социального пространства. Стоит напомнить, что у тружеников города и деревни давно сложилась установка на *переориентацию* своих детей на сферу *управления* или хотя бы *обслуживания*. Это не случайно: официальные принципы стратификации (рабочие, колхозники, служащие) были ложными – «слугами» государства стали все, включая номенклатуру. П. Бурдые не случайно предположил, что в СССР существовал совершенно иной принцип социальной дифференциации, связанный с «*политическим* (точнее было бы сказать *властным*. – В.Б.) капиталом», определяющим образцы потребления и стиль жизни. Конечно, в целом его определение советской системы как «политической» (предельно политизированной), а не «экономической» (62, с. 33), вряд ли можно признать корректным в буквальном смысле слова. Однако несомненно, что иерархия и престиж определялись неравенством применительно к принципам *распределения*, а не труда и производства. Эта система могла держаться до тех пор, пока соотношение достатка и статуса подданых КПСС складывалось в терпимую иерархию социальных энергий, официальных ценностей и бытийственных смыслов.

Как только основные производительные страты – рабочие и колхозники – в 1980-е годы стали утрачивать былую социальную укорененность, а социальный престиж работников сферы обслуживания неоправданно возрос (сыграл свою роль поток нефтедолларов), система потеряла устойчивость. По мере разбухания находящейся в обращении денежной массы произошло резкое усиление социального неравенства по доктринально непредусмотренным параметрам, а именно – по близости к источникам распределения общественного богатства. Не случайно вскоре последовала девальвация образования. Что касается науки, то целые ее отрасли показались попросту ненужными. «Если ты умный, то почему такой бедный?» – этот самодовольный лозунг социальных отморозков 1990-х годов стал определять нравственное лицо системы задолго до ее развала.

Конечно, люди, воспитанные в категориях марксистской политэкономии, будут искать «принципиальные» различия между кризисами применительно к отношениям собственности. Но не стоит обманываться: в 1917 г. в условиях нехватки жизненно необходимого люди решили, что справедливость – в ликвидации богатых; в 1991 г. в обстановке тотального дефицита они «дозрели» до идеи избавления от бедных методом шокового «лечения». Социальная справедливость между тем может быть построена только на основе *труда* (индивидуального творческого вклада в создание общественного богатства), а не *распределения* его продуктов государством. Возможно, в этом главный урок российской истории.

Охлократическая составляющая кризиса связана с выдвиганием на первый план маргинальных и диссипативных элементов, которые исходят из воинственно-потребительских установок. В этот период правят толпы и соответствующие поведенческие стереотипы. Коллективная психика регрессирует, инфантильные эмоции проникают на все уровни социальной структуры. Вожаки охлоса, сами того не осознавая, задают и навязывают цели, установки и образ действия всем социумам (а затем и революционной власти).

Во времена Смуты охлократия означала господство вооруженных разбойников, грабящих всех подряд. Порой атаманы претендовали на роль самозванцев; неудачливые претенденты на престол, напротив, опускались до роли предводителей банд. Поражает жестокость расправ, становящихся демонстративным средством властеутверждения. Даже после воцарения Михаила Романова в Москве страна оставалась в развалинах, повсюду бродили грабительские шайки под названием казаков.

В 1917 г. охлократия означала господство толпы и самосудных расправ на улице, особенно заметных на фоне слабеющей власти (согласно Э. Дюркгейму, генезис «цивилизованного» наказания начинается с регламентации процедуры самосуда). При этом обнаружилось, что «уличные революционеры» действуют независимо от партийно-политических деятелей даже в тех случаях, когда прикрываются их именами. Революция в целом произошла совсем не в тех формах, на которые рассчитывали политики, и эта тенденция усиливалась. Начиная с 1918 г. целые регионы оказывались во власти «революционных» банд неопределенной (или перманентно изменчивой) идейно-политической ориентации.

Наиболее вызывающий характер охлократия приобретает в области культуры. Охлос отождествляет свое бытие – реальное или мнимое – с господством «балаганной» культурной матрицы. Поэтому толпы утверждают свое господство демонстративным поношением старой культуры и утверждением субкультурной вседозволенности. Впрочем, карнавал революции вовсе не обязательно должен быть кровавым в буквальном смысле слова.

Охлос кардинально *меняет* систему взаимозависимостей *между информационным пространством и социальной энергетикой*. При слабости последней – фактически за отсутствием полноценного общества – охлократия может приобрести «замещенный» характер, воплощенный во всеилии СМИ. Не случайно в конце XX в. произошло вторжение «низких» и уличных жанров в *mass media*. Говорить о том, что обществу навязываются насильственно-оргаистические формы поведения сверху, вряд ли справедливо; толпы сами требуют от политиков «балаганных» действий – эпатаж рождает псевдохаризму. Фигура какого-нибудь Жириновского вовсе не случайна. В СМИ фактически легализовалась «культура дна», кото-

рая не без успеха принялась навязывать обществу свои «нравственные» нормы и приоритеты. Впрочем, отказ от запретов, как известно, провоцирует тотальное запретительство.

В условиях охлократии номинальной власти остается только имитировать свое присутствие – это помогает ей выжить. Дело в том, что в условиях, когда связь лидер–масса приобретает «вождистский» характер, рождается система клановых и клиентальных коммуникаций, объективно нуждающаяся в своем верховном арбитре. В этом случае феномен Ельцина поучителен, Путина – символичен. В любом случае охлократия провоцирует диктатуру, выставляя прежнюю власть в роли надоевшего клоуна.

Рекреационный компонент кризиса связан с самопорядочением тонкой материи – смеси потаенных страхов, надежд и утопий. Именно их непредсказуемые комбинации вынуждают силы, работавшие на разрушение системы, помимо своей воли содействовать ее воссозданию. В значительной степени это обеспечивается взаимоуничтожением и(или) энергетическим истощением диссипативных и пассионарных элементов. Сказывается и парадокс позиционирования – любой субъект изнутри определенной культуры невольно воспроизводит заложенные в ней стереотипы.

Если старая система отталкивала народ от правителя, то рекреационные процессы означают восстановление властной пирамиды *снизу* с помощью *укрепляющейся* веры.

В Смутное время историческая (но не династическая!) власть была спасена низами. Примечательно, что в ходе возрождения самодержавия возникали всевозможные соборные представительные органы («советы»), которые затем сходили на нет – белая система властвования воссоздавалась вкрадчиво. Но уже «тишайший богомолец» Алексей Михайлович внушал привычный страх. В значительной степени это было связано с укреплением патерналистско-репрессивной системы знаменитым Соборным уложением (1649 г.).

Почти 1000 статей этого своеобразного свода законов были выстроены в характерной последовательности: в 1-й главе предписывалось сжигать богохульников и «казнить смертию» за прерывание литургии, за непристойные речи патриарху полагалась торговая казнь (битие кнутом), там же воспрещались «челобития» царю и патриарху в церкви; во 2-й предписывалась смертная казнь за один лишь «умысел» против царя, а также за самозванство и измену; в 3-й – предусматривались наказания за «бесчинства и брани» на государевом дворе. Смертная казнь грозила также за самовольный выезд за границу с целью измены (глава 6-я). Громадное внимание уделялось сбору налогов – вплоть до зафиксированного в последней 25-й главе положения о корчмах, запрещавшего безлицензионное опаживание населения. Патерналистский характер Уложения отражало то, что глава 21-я «О разбойных и татных делах» открывалась статьей о

смерти за отцеубийство, причем отец, убивший сына, отделялся годом тюрьмы и церковным покаянием (47, с. 22, 28, 430). Разумеется, основная масса статей отражала ход закрепощения крестьян и посадского населения и практику навязывания государством удобной *для него* сословной структуры. По подсчетам исследователей, предусматривалось 60 случаев применения смертной казни за преступления против земельной *собственности* – новым верхам необходимо было закрепить за собой плоды ее грандиозного передела.

Таким образом, Соборное уложение – крепостнический плод уроков Смуты. Но, между прочим, попытка создания вездесущего фискально-террористического государственного аппарата повлекла за собой серию бунтов, увенчавшихся деяниями Степана Разина. Конечно, народ бунтовал против чиновников, а не против самодержца или монархического принципа.

Не приходится пояснять, что события последнего времени весьма напоминают итоги Смуты. Можно даже говорить о том, что анализ итогов Смуты мог бы рассказать о современности больше, чем все современные политологи вместе взятые. Разумеется, за тем исключением, что в XVII в. не было ни *mass media*, ни интеллигенции, изъясняющейся на языке мифогенерирующих абстракций.

Революционеры XX в. пребывали в уверенности, что смогут создать не просто справедливое, но и качественно новое общество. На деле вновь произошло возрождение *привычной для масс* государственности с помощью «перебесившейся» под покровом утопий традиции. Ельцинская власть укрепилась, царственно даровав людям *временное* «право на анархию» в обмен на лояльность режиму. В этом тоже ничего удивительного: как только у охлоса истощаются фантазии знаковой рефлексии, как только толпа убеждается, что винить и наказывать больше некого, а из ее революционных утопий не сшить кафтана, приходит момент торжества для притаившегося призрака власти.

Рекреационный процесс получает преобладание тогда, когда «человек толпы» окончательно соглашается на роль существа, ведомого государством – не важно каким. В 1925 г. один интеллигент так описал это состояние в письме из Советской России: «...Ненависть к большевикам огромная, но и только» – столь же огромна и *пассивность* (курсив мой. – В.Б.). Всеобщее желание сводится к тому, «чтобы был какой-нибудь законный *modus vivendi*, а не только революционное усмотрение» (цит. по: 52, с. 50). Государственность в очередной раз возрождалась на *установившем* социальном пространстве. Большевики облегчили проблему выбора, предложив квазирелигию построения «социализма в одной, отдельно взятой стране», вполне изоморфную традиционным утопиям. Но они же, уступив националистическим элитам и тем самым облегчив задачу сохранения *собственной* власти, обозначили процесс, который может перерасти из

кризисного в *энтропийное* качество. Такая перспектива, увы, слишком заметна.

Российская система обретает устойчивость, только переломам народ. События последних десятилетий это подтвердили. Остается добавить, что «бегству от свободы» начала XXI в. помогали некоторые публицисты, убеждавшие в том, что кризис был величиной иллюзорной, для избавления от которой достаточно внедрить оптимистичный рефлексивный дискурс. И хотя это напоминало практику изгнания дьявола, очевидно, что для преодоления кризиса действительно необходим отказ от мазохистского самобичевания.

Конечно, рекреационный процесс корректируется и стимулируется стандартными приемами самопрезентации власти. Отсюда попытки создания образов «тишайшего» самодержца, «гения всех времен и народов», «непогрешимого и вездесущего» президента и т.д. и т.п. С помощью этих образов власть добывается того, чтобы ее подданные «сосредоточили свой гнев не на режиме в целом, а на мелких чиновниках, местных администраторах, в традициях народного монархизма сохраняя лояльность к самому главе государства»¹. «Государство спектакля» иначе существовать не может.

А потому не стоит ни удивляться, ни ужасаться возрождением общественного почитания Сталина – сей феномен был предсказуем. Миром по-прежнему правят страхи. «Пока в нас сидит много чертей, мы все равно не обретаем хорошего самочувствия... – писал в своих дневниках Ф. Кафка. – Почему они не уничтожат друг друга и... не подчинятся одному великому черту?»² К тому же великая держава и сегодня испытывает потребность в больших идолах – таких, которые способны вернуть маленьким людям ощущение призрачного величия.

* * *

В ходе описания российских кризисов возникает смущающий вопрос: можно ли проводить аналогии, игнорируя «принципиальное» несходство переживаемых эпох?

Нельзя забывать, что в разные исторические времена был «закинут» один и тот же *Homo rossicus*. Он и сейчас не может разобраться, в каком историческом времени живет. А потому о «несходстве эпох» лучше забыть – они относятся к числу обычных предрассудков новейшего времени, бесповоротно уверовавшего в свою собственную уникальность и прогрессивность.

¹ Эта характеристика Л.Энгельштейн, относящаяся к подвергнувшимся большевистским гонениям сектантам (59, с. 275), с полным основанием может быть отнесена к мироощущениям основной массы советских людей.

² Запись от 9 июля 1912 г. Цит. по: Кафка Ф. Дневники. – М.: ОЛМА-Пресс, 2004.

Впрочем, способность россиян к творчеству (обратно пропорциональная попыткам государства «заузить» их по рецепту одного из героев Достоевского) некогда давала надежду на конструктивную (гражданственную) «революционность». Сегодня очевидно, что перспектива настоящего (в отличие от официально-пропагандистского) гражданского общества в России отдалается. Настоящая общественная ткань не может состояться из людей, не способных к индивидуальному творчеству, но зато готовых прислуживать кому угодно ради «пива и зрелищ». Сегодняшние подданные российской системы не умеют отстаивать свои права, зато могут взбунтоваться.

В связи с предложенным анализом кризисов встает вопрос: можно ли ставить их в один ряд, если Октябрьская революция, названная со временем «социалистической», произошла под знаком уничтожения *частной собственности*? Между тем никакого противоречия нет: большевики фактически боролись против частной собственности ради укрепления *государственной собственности*. Так было всегда – государство *раздаивало* собственность ради *собственного* господства, что наглядно подтвердили события последней смуты. Вопрос о собственности, как и проблема революции в России, – это по-прежнему вопрос о формах контроля государства над гео– демо– духовно–социальным *пространством*.

Что же такое смута в России? Это системный кризис недееспособной государственно-демографической структуры (реальной и воображаемой), включающий в себя относительно кратковременные «революции» (перевороты и повороты). Последние – не автосубъектны, а составляют промежуточные этапы синергетического процесса, направленного на самосохранение определенного типа государственности. «Настоящая» революция в России пока вообще *невозможна* – нет общества, способного переложить на себя *основное* бремя управления по-прежнему турбулентным людским пространством.

С чем связана перспектива избавления от кризисной цикличности – установить нетрудно. Это возможно как на пути обуздания утопий, проектерства и социальных фантазий, так и избавления от фетишизации и «зрелищности» власти. В общем, это проблема преодоления иллюзорности социального бытия, подгонки его под «Град небесный» ради осмысленных практических целей, это «заземление» общественного сознания для избавления от детской привычки ожидания «чуда». Но есть ли в современной России силы, готовые и способные осуществить подобное?

Прошлое не уходит – меняются его образы. Для одних (людей и эпох) оно кажется иным измерением настоящего, для других – призраком будущего. Российское прошлое сравнимо с минным полем, по которому слепые поводыри вводят недоумевающих соплеменников. Проблему революции можно свести к вопросу: «Надолго ли?»

Список литературы

1. Анкерсмит Ф.Р. Возвышенный исторический опыт. – М.: Европа, 2007. – 612 с.
2. Ахизер А. Октябрьский переворот в свете исторического опыта России // Октябрь 1917 года: Взгляд из XXI века. – М., 2007. – С. 9–13.
3. Ахизер А., Клямкин И., Яковенко И. История России: Конец или новое начало? – М.: Новое изд-во, 2005. – 708 с.
4. Айрапетов О.А. Генералы, либералы и предприниматели. Работа на фронт и на революцию, 1907–1917. – М., 2003. – 256 с.
5. Бердяев Н. О власти пространств над русской душой // Бердяев Н. Судьба России. – М., 1990. – С. 3–323.
6. Булдаков В.П. Красная смута: Природа и последствия революционного насилия. – М.: РОССПЭН, 1997. – 376 с.
7. Булдаков В.П. Российские смуты и кризисы: Востребованность социальной и правовой антропологии // Россия и современный мир. – М, 2001. – № 2(31). – С. 31–47.
8. Булдаков В.П. Системные кризисы в России: Сравнительное исследование массовой психологии 1904–1921 и 1985–2002 годов // Acta slavica Japonica. – Hokkaido, 2005. – Т. 22. – Р. 95–119.
9. Булдаков В.П. Элиты и массовая культура: Россия времен Первой мировой войны // Историк и художник. – М., 2005. – № 3(5). – С. 20–34.
10. Булдаков В.П. Quo vadis: Кризисы в России: Пути переосмысления. – М.: РОССПЭН, 2007. – 204 с.
11. Булдаков В.П. Революция и историческая память: Российские параметры клиотравматизма // Россия и современный мир. – М., 2008. – № 2(59). – С. 28–44.
12. Веллер М., Буровский А. Гражданская история безумной войны. – М.: ЛАСТ, 2007. – 638 с.– Книга была написана совместно с доктором философских наук А. Буровским, увлеченным поисками то ли Шамбалы, то ли «Русской Атлантиды».
13. Гастев А. Наши задачи: Наша практическая методология // Антология социально-экономической мысли в России 20–30 г. XX в.: Организация труда. – М., 2001. – С. 71–83.
14. Дебор Г. Общество спектакля. – М.: Логос, 2000. – 184 с.
15. Долгоруков П. Петербургские очерки: Pamфлеты эмигранта, 1860–1867 / Пер. с фр. – М.: Новости, 1992.– 560 с.
16. Есаулов И.А. Категория соборности в русской литературе. – Петрозаводск.: Изд-во ПГУ, 1995. – 288 с.
17. Есаулов И.А. Пасхальность русской словесности. – М.: Кругъ, 2004. – 560 с.
18. Зверев В.В. «Власть земли» и «власть денег» в произведениях Глеба Успенского: Традиционный мир русского крестьянства // Историк и художник. – М., 2004. – № 1. – С. 43–58.
19. Земский феномен: Политологический подход. – Саппоро: Slavic research center; Hokkaido univ., 2001. – 200 с.
20. Зицер Э. Царство преображения: Священная пародия и царская харизма при дворе Петра Великого / Пер. с англ. – М.: Новое лит. обозрение, 2008. – 240 с.
21. Исаев И.А. Топос и номос: Пространства правопорядков. – М.: Норма, 2007. – 416 с.
22. Ключевский В.О. Письма, дневники, афоризмы и мысли об истории. – М.: Наука, 1968. – 528 с.
23. Ключевский В.О. Сочинения: В 9-ти т. – Т.7 : Специальные курсы. – М.: Мысль, 1989. – 528 с.
24. Ключевский В.О. Православие в России. – М.: Мысль, 2000. – 621 с.

25. Кондратьева Т. Кормить и править: О власти в России XVI – XX в. / Пер. с фр. – М.: РОССПЭН, 2006. – 228 с.
26. Королев С.А. Бесконечное пространство: Гео- и социографические образы власти в России. – М.: Ин-т философии РАН, 1997. – 234 с.
27. Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей: В 3 кн. – М.: Книга, 1991. – Кн. 2. — 537 с.
28. Кулаев И.В. Под счастливой звездой: Записки русского предпринимателя, 1875–1930. – М.: Центрполиграф, 2006. – 222 с.
29. Лакофф Д., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем / Пер. с англ. – М.: Эдиториал УФСС, 2004. – 256 с.
30. Леонтьева Т.Г. Вера и прогресс: Православное сельское духовенство России во второй половине XIX – начале XX вв. – М.: Новый характер, 2002. – 272 с.
31. Лотман Ю.М. Культура и взрыв. – М.: Гнозис, 1992. – 270 с.
32. Лотман Ю., Успенский Б. «Изгой» и «изгойничество» как социально-психологическая позиция в русской культуре преимущественно допетровского периода // Труды по знаковым системам: Типология культуры. Взаимное воздействие культур.– Тарту, 1982. – Вып. 15. – С. 110–121.
33. Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. – М.: РОССПЭН, 1998. – 573 с.
34. Можегов В. Анатомия Смуты. Русская история как экзистенциальная драма // Политический класс. – М., 2008. – № 7(43). – С. 41–48
35. Московичи С. Машина, рождающая богов / Пер. с фр. – М.: Центр психологии и психотерапии, 1998. – 560 с.
36. Най Д. С. Гибкая власть: Как добиться успеха в мировой политике. – Новосибирск, 2006. – 221 с.
37. Никифоров А.А. Революция как объект теоретического осмысления: Достижения и дилеммы субдисциплины // Полис. – М., 2007. – № 5. – С. 84–103.
38. Павлюченков С.А. «Орден меченосцев»: Партия и власть после революции, 1917–1929 гг. – М.: Собрание, 2008. – 463 с.
39. Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. – М.: Наука, 1979. – 432 с.
40. Пивоваров Ю.С. Истоки и смысл русской революции // Полис. – М., 2007. – № 5. – С. 35–55.
41. Пыжиков А.В. Российская история первой половины XX в.: Новые подходы // Вопр. философии. – М., 2003. – № 12 – С. 72–79.
42. Рикёр П. Винодность, этика и религия // Рикёр П. Конфликт интерпретаций. – М., 2002. – С. 514–532.
43. Розенталь И.С. «И вот общественное мнение»: Клубы в истории российской общности. Конец XVIII – начало XX вв. – М.: Новый хронограф, 2007. – 400 с.
44. Савельева И.М., Полетаев А.В. О пользе и вреде презентизма в историографии // «Цепь времен»: Проблемы исторического сознания. – М., 2005. – С. 63–88.
45. Свечин А.А. Постигание военного искусства. – М.: Русский путь, 2000. – 696 с.
46. Семенов С.Т. Двадцать пять лет в деревне. – Пг.: Жизнь и знание, 1915. – 86 с.
47. Соборное уложение царя Алексея Михайловича 1649 г. – М.: Гос. изд-во юрид. лит., 1957. – 503 с.
48. Соловей В.Д. Русская история: Новое прочтение. – М.: АИРО-XXI, 2005. – 320 с.
49. Соловей В.Д. Смысл, логика и форма русских революций. – М.: АИРО-XXI, 2007. – 72 с.
50. Соловей В.Д. Кровь и почва русской истории. – М.: Русский мир, 2008. – 480 с.
51. Соловьев В.С. Сочинения в 2-х т. – М.: Правда, 1989. – Т. 1.: Философская публицистика. – 688 с.

52. Струве П.Б. Дневник политика, (1925–1935). – Москва–Париж: Русский путь, 2004. – 880 с.
53. Тихомиров Л.А. Тени прошлого. Воспоминания. – М.: Изд-во журнала «Москва», 2000. – 720 с.
54. Успенский Б.А. Краткий очерк русского литературного языка, XI–XIX вв. – М.: Гнозис, 1994. – 239 с.
55. Шахназаров О.Л. Старообрядчество и большевизм // Вопросы истории. – М., 2002. – № 4. – С. 72–97.
56. Шевырин В.М. Власть и общественные организации России, (1914–1917). – М.: ИНИОН РАН, 2007. – 152 с.
57. Шепелева В.Б. Революциология. Проблема предпосылок революционного процесса 1917 года в России: (По материалам отечественной и зарубежной историографии): Учеб. пособие. – Омск.: ОмГУ, 2005. – 392 с.
58. Шишкина С.Ф. Церковь в условиях кризиса: Тобольская епархия накануне падения самодержавия // Государство, общество, церковь в истории России XX века. – Иваново, 2007. – С. 153.
59. Энгельштейн Л. Скопцы и Царство Небесное: Скопческий путь к искуплению. – М.: Новое лит. обозрение, 2002. – 336 с.
60. Юнгер Э. Совершенство техники: Машина и собственность / Пер. с нем. – СПб.: Владимир Даль, 2002. – 56 с.
61. Ясперс К. Духовная ситуация нашего времени // Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1991. – С. 287–418.
62. Bourdieu P. La variante «soviétique» et le capital politique // Raisons pratiques: Sur la théorie de l'action. – P., 1996. – P. 33.
63. Clay E. Literary images of the russian «Flagellants», 1861–1905 // Russian history. – Leiden, 1997. – Vol. 24, N 4. – P. 425–439.
64. Cramer F. Schönheit als dynamisches Grenzphänomen zwischen Chaos und Ordnung – ein neuer Laokoon // Selbstorganisation. – B., 1993. – Bd. 47: Ästhetik und Selbstorganisation. – S. 79–102.
65. David-Fox M. Multiple modernities versus neo-traditionalism: On recent debates in Russian and Soviet history // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. – Regensburg, 2006. – Bd 54, N 4. – S. 535–555.
66. Engelstein L. Rebels of the souls: Peasants self-fashioning in a religious keys // Russian history. – Leiden, 1996. – Vol. 22, N 1/4. – P. 197–214.
67. Hellie R. The third Russian: Soviet service class revolution // The soviet and post-soviet rev. – Leiden, 2008. – Vol. 35, N 2. – P. 49–56.
68. Levin E. *Dvoeverie* and popular Religion // Seeking God: The recovery of religious identity in orthodox Russia, Ukraine and Georgia / Ed. by S.K. Batalden. – DeKalb, 1993. – P. 31–52.
69. Mayer A. The Furies: Violence and terror in the French and Russian revolution. – Princeton: Princeton univ. press, 2000. – 656 p.
70. Turner V. Myth and symbol // International encyclopedia of social sciences. – N.Y., 1968. – Vol. 10. – S. 576–580.

**МЕНТАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ –
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР**

И.И. ГЛЕБОВА

ПАВШАЯ ВЛАСТЬ – ПАДШАЯ ВЛАСТЬ

(О судьбе монархии в революциях 1917 г. и сакрально-символическом значении верховной власти в России)

Один из центральных «смыслообразов» революций 1917 г. – обесценивание наследия: всего того, что было ценимо и хранимо в «старом мире». Избавление от прошлого предполагало его обесмысливание – изъятие (ликвидацию) смысла или «выворачивание», изменение смысла на прямо противоположный. То, что раньше прославлялось, – обливалось грязью, что освящалось – подвергалось поруганию. На радикальном отрицании бывшего строился и получал легитимацию новый мир.

Начали с власти – ее персонификаторов, легитимирующих ее образов и символов, всех атрибутов монархии, имперских могущества и единства. По распространенному мнению, «главной причиной Февральской революции стала десакрализация существующей власти, обусловленная внутренними противоречиями и социальными тяготами» (6, с. 12)¹. Во многих работах, посвященных Февралю, утверждается: распространившиеся в окопах и тылу слухи о предательстве и распутстве императрицы, безволии и никчемности царя вызвали падение престижа монархии во всех слоях населения (см.: 32, с. 274, 275 и др.)². Эта точка зрения закреп-

¹ Я привожу типичное высказывание, в концентрированном виде отражающее наиболее влиятельную в историографии точку зрения. Оно, однако, остается только мнением – эта проблематика практически не освоена отечественной исторической и политической мыслью.

² «Презрение» к царю, отсутствие доверия к слабой власти значительная часть современных исследователей считает едва ли не главным фактором революционного кризиса начала XX в. (см., например: 1, с. 41–42, 50, 58, 119). В то же время внутреннюю политику начала 1900-х годов многие называют «военно-полицейской» и подчеркивают последовательность Николая II в отстаивании самодержавной идеи (1, с. 86–87). Парадоксальным образом слабая власть критикуется за демонстрацию силы. Показательно, что исследователи не видят противоречия в критике деспотизма и принципиальности «слабого» монарха.

лена в учебниках истории, превратилась в исторический стереотип. Адресуясь к нему, и толкуют судьбу российской монархии.

Здесь возникают, как минимум, два вопроса: действительно ли десакрализация самодержавия (или, как еще говорят, кризис веры во власть, ее духовное банкротство) обусловила его падение; произошла ли с десакрализацией самодержавия десакрализация русской власти вообще, т.е. лишилась ли она (прежде всего в восприятии подвластных) какого-то высшего обоснования, состоялась ли ее секуляризация? Я бы дала отрицательные ответы на оба вопроса. Обоснованию ответов и посвящена эта работа¹.

Что касается тезиса о десакрализации самодержавия как (ментальной, психологической и культурной) причине Февраля, то при внимательном рассмотрении оказывается: в данном случае мы имеем дело с расхожим сюжетом еще дореволюционной пропаганды революционеро-февралистов, одним из образов, закрепленных в историческом сознании официальным советским дискурсом. Я полагаю: *десакрализация монархии, сопровождавшая ее «демонтаж», была содержанием и итогом, а вовсе не причиной Февраля*. Причем этот взрывной (по типу бунта) процесс не привел к ментальной революции, изменившей традиционное восприятие власти.

Вскоре новый, советский мир увенчает себя сакрализованной «верховой», возведет ее на невиданную (по сравнению с позднесамодержавными временами) высоту. «Надклассовая монархия», «монархия трудящихся» станет его ответом старому, «романовскому» миропорядку. Новый приступ сакрализации компенсировал десакрализационные процессы – не в первый и не в последний раз в нашей истории. Русский социум как бы балансирует между двумя состояниями – безвластия, вольноанархической самореализации и подчинения власти, имеющей сакральный статус. Наделение власти высшим, священным смыслом объясняет народное смире-

¹ Это обоснование возможно в рамках культурно-семиотического подхода к истории, сформулированного, в частности, Б.А. Успенским (см.: 43). Он говорит об «апелляции к внутренней точке зрения самих участников исторического процесса: значимым признается то, что является значимым с их точки зрения. Речь идет, таким образом, о реконструкции тех субъективных мотивов, которые оказываются непосредственным импульсом для тех или иных действий (так или иначе определяющих ход событий)... Поведение социума, реагирующего на те или иные события, может рассматриваться в тех же категориях, если трактовать социум как коллективную личность... Такой подход предполагает... реконструкцию системы представлений, обуславливающих как восприятие тех или иных событий, так и реакцию на эти события. В семиотической перспективе исторический процесс может быть представлен... как коммуникация между социумом и индивидом, социумом и Богом, социумом и судьбой и т.п.; во всех этих случаях важно, как осмысливаются соответствующие события, какое значение им приписывается в системе общественного сознания. Итак, с этой точки зрения важнее не объективный смысл событий (если о нем вообще можно говорить), а то, как они воспринимаются, читаются» (43, с. 11–12).

ние; изъятие этого смысла лишает обоснования весь социальный порядок, оправдывая разрушение сложившихся отношений господства/подчинения.

«Долой портреты!» – значит, «Долой самодержавие!»

С падением самодержавия запустились и приобрели тотальный характер встречные (из субкультуры «верхов» и массы народонаселения) процессы его десакрализации. Русские ставили исторический эксперимент по ликвидации власти, создавшей их историю. Выравнивание из себя комплекса «властепоклонничества», избавление от особого понимания власти – важнейшие измерения революций 1917 г. Крайне важно, как осуществило операцию по десакрализации царской власти традиционное (т.е. властесцентричное) сознание. Для его носителей – прежде всего крестьянства в деревне и на фронте – сигналом к ее началу стало отречение: отстранение персонификатора и отсутствие заменяющей его фигуры воспринимались как безвластие¹. Оно открывало перед народом такие социальные перспективы, от которых просто невозможно было отказаться: мир – солдатам, земля – крестьянам, фабрики – рабочим, война – дворцам. Во имя нового, своего мира народ разорвал символическую связь (даже единства – в рамках традиционной общности «мы») с самодержавием, столетиями бывшую основой его миропонимания². Символическое двудеинство –

¹ С этого момента крестьяне перестали интересоваться, кто «ими теперь на верхах управляет». Свобода и демократия понимались ими как «воля», т.е. свобода от государства, от каких-либо обязательств перед кем-либо (см. об этом: 1, с. 126). За волю, землю, контроль над производством и против «господ» (старых и новых) крестьяне, солдаты, рабочие подняли собственную революцию, лишь отчасти пересекавшуюся с февральской интеллигентской и октябрьской большевистской.

² Идеалтипический образ связи народного и властного в России нуждается в пояснении. В рамках традиционной идеальной коммуникации царь предстает как воплощенное преодоление вечного русского противостояния «мира»-народа и государственной власти. Здесь царь и народ, царь и «мир» суть общее «мы». Сакрализация «мы» осуществляется через пространственно-державное и верховно-властное, а сакрализация власти – через народное. Одно «работает» на усиление другого, создавая эффект резонанса. Вот как характеризует эту особую связь С.В. Лурье: «Для русского народа «образ покровителя» выражался, в частности, в образе «крестьянского царя», и его характерной чертой было то, что он являлся проекцией себя, экстерниоризацией и внешней персонификацией собственного образа» (25, с. 350). Образ царя как народного защитника, «созданного Господом, чтобы повелевать крестьянину и петься о нем», был одним из определяющих в крестьянском мировоззрении. «Все хорошее <крестьянин> приписывал царю, а во всем дурном винил либо Божью волю, либо помещиков с чиновниками» (31, с. 213). В разные времена «крестьяне с удивительной настойчивостью истолковывали любые действия царя в свою пользу» (25, с. 206).

Законность царя определялась соответствием его воли народной воле; милость состояла в единении с «землей» против «сильных людей». «Словом, государственный строй (в его идеальном виде) воплощается для населения в личности царя» (25, с. 326). При этом надежда преимущественно возлагалась не на реального царя, а на его мифологизирован-

православно-державное властенародие – в народном сознании было перекодировано в непримиримо-антагонистические отношения. Павшую власть связали с «верхами» – «начальством», «буржуями», «мародерами», всеми «врагами» трудового народа. «Низы» перенесли на нее весь запас исторической ненависти и социального недовольства. *Бывший самодержец явился персонафикатором народной ненависти к «верхам», главным «буржуем», а потому и первым «врагом народа».*

Для десакарализации павшей власти использовались символические средства¹. Поруганию и ликвидации подверглись все символы, ассоциировавшиеся с самодержавием, – прежде всего его лики, властные образы. Рождение нового политического порядка требовало избавления от символов старого. Борьбой с символами «вчерашнее самодержавное настоящее» «переводилось» борцами в далекое невозвратное прошлое. *В декоративной – символической, «шмиджевой» – части монархии царские портреты играли одну из определяющих ролей, поэтому их «снесли» в числе первых.* Известно, что в дни революции портреты царей и членов императорской фамилии намеренно «оскорблялись» (манифестанты порой носили их перевернутыми), снимались и уничтожались. Отставной генерал В.Г. Глазов записал в своем дневнике 3 марта 1917 г.: «Говорят, что на улицах полный порядок, но солдаты с публикой уничтожают всё, где имеется шифр

ный (идеальный или по-русски «иконический») образ, который веками сохранялся в народном сознании. Вслед за С.В. Лурье скажем: «Столь интенсивный образ царя в качестве защитника сложился в сознании народа... в ответ на постоянный конфликт между народом и государством как способ психологической защиты. Идеологическая обоснованность такого образа царя облегчала соответствующую коррекцию восприятия» (25, с. 266). Итак, идеальный царский образ есть следствие действия защитно-компенсаторных механизмов народной культуры. Социальная адаптация обеспечивалась в основном такими механизмами, что свидетельствует о высоком уровне тревожности культуры этого типа. Тревожность компенсировалась агрессивностью, враждебностью, культурной обособленностью.

Подчеркну: в рамках коммуникации такого типа идеализация (и сакрализация) власти строится на ее воображаемом соответствии не столько Божьей, сколько народной воле. Божественное лишь влетает в эту связь, подкрепляя ее. Этим, вероятно, объясняется переходящий успех божественного обоснования нашей верховной власти (легкость перевоплощения «народа-богоносца» – в «народ-строитель коммунизма» и наоборот). *В народном понимании избранность власти есть проекция избранности народа.* В этом смысле оно противоречило самопониманию самодержавия, опиравшегося на идею богоизбранности. Большевики это противоречие сняли, полностью солидаризовавшись с народной интерпретацией.

¹ Обращаясь к теме символического, я исхожу из положений, сформулированных в рамках «культурного» подхода в исторической русистике на Западе: символические репрезентации не просто отражают политическую реальность, но придают смысл событиям (порождают смыслы) и формируют политические альтернативы. Тем самым приобретают социальное значение. Вне символических структур невозможны изучение и понимание реальности. В результате актуализации этой тематики изменились не только исследовательская повестка дня, но и сам привычный облик такого исторического события, как русская революция.

И[мператора] Николая» (цит. по: 24, с. 160). Революционная толпа, ворвавшаяся в февральские дни в здание Морского кадетского корпуса, первым делом уничтожила ненавистное изображение. «Солдаты, женщины и матросы штыками пробивали портрет императора и выкалывали глаза» (цит. по: 24, с. 132), – вспоминал бывший гардемарин. Революция на Балтийском флоте тоже началась со снятия и уничтожения портретов «бывшей царской фамилии» на судах соединения (цит. по: 24, с. 132).

В провинции одним из знаков установления нового строя становилось снятие портретов Николая «Последнего». Избавление от «305-летнего ига династии Романовых» некоторые провинциальные деятели предлагали озаменить заменой «старорежимных» денег и почтовых марок: сохранение на них царских портретов вызывало «колебания» общестственности. Почти сразу после революции стали выпускать новые («обезличенные») купюры, а портреты на марках запечатывать надписью «Свобода. Равенство. Братство» (24, с. 134), визуализируя символ новой веры. Поражают стремительность и едва ли не всеобщность этого переворота: от старой веры – к новой, от старого мира – к новому. Социальный порядок как бы обернулся своей противоположностью, демонстрируя «изнанку» человеческой природы. Видимо, механизм «полного отречения», тотального отрицания и забвения себя прежнего – в иных «исторических условиях» – заложен в нашей массовой культуре. Он облегчает адаптацию к новым порядкам, «правилам игры», какими бы они ни были. Срабатывает же он в ответ на уничтожение главного символа системной иерархии, легитимирующей старые нормы, отношения и сам порядок как таковой. Падение верховной власти запускает «переворотный», негативно адаптивный механизм культуры.

Следует учитывать: *погромы символов – не шутство и развлечение, но важная составляющая революционных процессов в России. За ними – особый тип сознания, культуры, самоосуществляющийся в символических акциях.* Знаменательно, что в борьбе с символами «царизма» Февраль продолжил линию, наметившуюся в ходе первой революции. Тогда имперская символика тоже оказалась в центре политического противостояния. Известно, что участники митингов и демонстраций под лозунгом «Долой самодержавие!» в 1905 г. не имели намерений шадить атрибуты монархической власти. Они сбрасывали императорские вензеля, крушили портреты венценосца и бюсты его царственных предков. Кое-где собирали деньги «на гроб Николаю II» (см.: 30, с. 292). Все это вызывало сильное раздражение консервативных слоев населения.

Раздражение проявило себя в октябре 1905 г., во время черносотенных погромов по всей стране. По свидетельствам очевидцев, «черносотенцев возбуждали слухами о глумлении, учиненном инородцами над рус-

скими национальными и религиозными святынями. Молниеносно распространялись леденящие душу рассказы о сожженных храмах и поруганных иконах» (40, с. 57). К иконическим изображениям «защитники монархии» приравнивали изображения венценосца. Известно, что во время черносотенного шествия в Туле распространился слух: «Социалисты стреляли в царский портрет» (40, с. 57–58). Это вызвало возбуждение толпы. Тот слух не подтвердился, но случаи глумления над портретом Николая II в 1905 г. действительно известны. Так, во время беспорядков в Киеве многие видели на балконе киевской городской Думы человека, который, вырезав в царском портрете отверстие и просунув туда голову, кричал: «Теперь я государь!» (40, с. 58).

Не случайно сценарий октябрьских черносотенных контрманифестаций предполагал процедуру символического возвращения величия «поруганным святыням». Весьма показателен такой эпизод в г. Нежине: жандармы телеграфировали, что черносотенцы явились в лицей, «потребовали там большой царский портрет, заставив таковой нести студентов, каковая процессия с пением гимна ходила по городу до 7 вечера. Кроме того, народ всех русских демократов ловил по улицам, выводил из квартир, заставлял публично становиться на колени перед портретом, присягать, а в процессии идти и петь гимн» (40, с. 63). Это не что иное, как принуждение к повиновению, где портрет служил знаком верховной власти.

Погромщики-черносотенцы использовали образ монарха как замещающий символ, легитимировавший их выступления. Они не сомневались в одобрении сверху и ссылались на широко распространившиеся слухи, что царь дозволил три дня бить крамольников. Очевидцы в Томске наблюдали, как толпа с царским портретом подошла к магазину: «Один из стоящих впереди толпы, обращаясь к портрету царя, зычно кричит: «Ваше Величество, разрешите громить?» Держащий в руках портрет отвечает: «Разрешаю!» (40, с. 68). Символический эквивалент самодержавной власти использовался подданными в учиненной ими мистерии наказания «крамольников». Роль у него была самая незавидная: одобрить погром. А сами «крамольники» перед тем основательно погромили символы «ненавистного самодержавия».

Все это послужило чем-то вроде репетиции февральских «игр» масс в политику. Падение монархии было воспринято «снизу» как разрешение «сверху» на всеобщий погром – сначала символики государственности и социального порядка. Так, через нигилистическое, разрушительное символическое действие массы входили в революцию, обживали ее пространство. Иначе и быть не могло: *уничтожение монархии (как и всего «старого порядка») в рамках традиционной культуры, жившей символически насы-*

ценной жизнью, не мыслилось без ликвидации монархической знаковой системы.

В марте 1917 г. от изображений самодержца избавлялись и «персонификаторы» (создание Временного правительства фактически означало «разложение» единовластия на многие лица) новой власти. Правда, по иным причинам, чем это делал «восставший народ». Еще в дни петроградских беспорядков председатель IV Государственной думы М.В. Родзянко приказал убрать из Екатерининского зала Таврического дворца портрет царя, «чтобы его не испакостили» (24, с. 113). Предосторожности не помогли: освобожденные демократической революцией массы испакостили все, что имело отношение к венценосцу, – в том числе портреты (известно, что во время следующего переворота, Октябрьского, был испорчен один из вариантов лучшего, пожалуй, портрета Николая II – кисти В. Серова, находившийся в Зимнем дворце).

Если народная революция предполагала обязательную ликвидацию образов старой власти в силу особенностей их восприятия традиционным сознанием, то представители культуры «верхов» избавлялись от старой символики в основном по государственно-политической необходимости. Известно, скажем, что сразу после переворота портреты царской четы были вывешены со стен салон-вагона военного министра А.И. Гучкова, предназначенного для поездок на фронт (24, с. 133). При этом в официальной резиденции министра царские портреты оставили; их убрали только при А.Ф. Керенском. Но и тогда не тронули Петра I и Екатерину II, лишь украсив их изображения красными лентами (24, с. 133). И так везде: все государственные структуры и «ответственные» лица уже в первой половине марта 1917 г. расстались со «старорежимной» символикой. Показательно, что к середине марта 1917 г. Министерство народного просвещения распорядилось удалить портреты царя и наследника из школьных помещений (24, с. 134). Кажется, что постфевральский государственнообразующий импульс был во многом истрачен в символических акциях; на реальную управленческую деятельность почти ничего не осталось.

Но при этом для людей новой власти (европеизированной культуры «верхов» вообще) символы власти старой были лишь символами – не более того. Избавление от монархических знаков превратилось здесь, скорее, в театральщину, внешне эффектную, а по существу примитивную смену (или подновление) социальных декораций. Здесь шла игра не всерьез: *интеллигентская революция готова была ограничиться исключением монархии из социального порядка, но не погромом порядка как такового.*

В этом – коренное противоречие интеллигентской и «почвенной» революций, столкнувшихся в 1917 г. Иницировавшие Февраль политические уполномоченные «верхов» были вполне удовлетворены сменой образа правления. «Низы» до Февраля желали не уничтожения, а улучшения

власти, т.е. «справедливого» решения ею социально-экономических проблем (дороговизны, спекуляции и т.д.). *Падение самодержавия стало для народа поворотным пунктом: оно отменяло старый порядок как таковой.* «Низы» начали его погром «до основания, а затем» приступили к строительству своего мира, который должен был поглотить весь социум¹. Их идеал: Россия как море локальных общинных миров, не обремененных внешней принудительной, обязывающей, контролирующей силой.

Традиционное сознание не просто ассоциировало царскую символику с самодержавием; оно их отождествляло. В первые же послереволюционные дни в действующей армии развернулась борьба вокруг изображений императора. Именно с нее началось офицерско-солдатское противостояние. Вот что сообщали в своем отчете о поездке на Северный фронт в марте 1917 г. депутаты Государственной думы: солдаты «заявляли, что не выносят портретов... приходят и видят, что портрет императора на стене; это их возмущает. В некоторых местах мы получили точные сведения, что грозят расстрелом, если вынесут портрет. Эта бестактность создала ужасную атмосферу. В некоторых местах нас просили принять меры, чтобы портрет убрали, потому что часть волнуется, и могут быть убийства» (цит. по: 24, с. 134). *Солдаты-крестьяне воспринимали царские изображения не просто как символы, но свидетельства бытия власти – в силу предметности, конкретности («вещности») крестьянского восприятия вообще.* Удаление образов монарха подтверждало и закрепляло факт падения власти; в этом смысле *призыв «Долой портреты!» есть символическая реализация лозунга «Долой самодержавие!»*

Действия по дематериализации властного образа следует понимать как материализацию факта отсутствия власти, легитимацию безвластия. Прежде чем действовать дальше, крестьяне-солдаты должны были установить этот факт, получив его подтверждение от конкретного начальства. А затем, исходя из этого факта, двигаться по пути полного обезначаливания, присвоения власти (захватом, насилием). Логика всеобщей «приватизации» власти понятна. В межреволюционный период (от Февраля к Октябрю) едино- и самовластие превратилось в свою противоположность: много- и самовластие, когда каждый – насколько это возможно – стано-

¹ В этом смысле абсолютно прав В.П. Булдаков: «Готовность крестьянства переписать все межсоциальные отношения с белого листа – в сущности главный и... единственный двигатель <его. – И.Г.> революции, в сколь бы скрытом и опосредованном виде он ни выступал» (7, с. 23). А.С. Азиезер указывал на «разрушительные силы общества, стихии культурного низа», который «решил не ограничиваться карнавалом, погромом, но сформировать общество по своему образу и подобию» (4, с. 323). Известен тезис Р. Уэйда: общинная революция «носила не просто экономический характер», но имела «моральное и культурное измерение, ибо крестьяне вознамерились полностью изменить порядок вещей, сфокусировавшись на собственных интересах» (50, с. 168).

вился самовластцем, хотел – казнил, хотел – миловал. Властная субстанция – точнее, ее насильственная, владельческая сущность – размазала по всему социальному пространству. Ненасилие самодержавия, порицавшегося за «слабость», и «низамы», и окружением, компенсировалось ростом всеобщего социального насилия.

В деревне символическая проблема – быть или не быть царским изображениям в новой жизни – решалась быстро и радикально, без оглядки на местные власти. Тем более что реальная, т.е. военно-полицейская, власть ушла, была сметена городской революцией «верхов». Немецкий военнопленный писал домой в апреле 1917 г.: «Переворот мало ощущается, разве только тем, что выкалывают глаза лубочным изображениям царской семьи, на которые вчера молились» (цит. по: 24, с. 134). Известны многочисленные случаи торжественного (я бы сказала, ритуального) уничтожения монархического «видеоряда»: «Даже в отдаленных селах русского Севера портреты членов царской семьи выбрасывались на улицы» (24, с. 133). Переход в новую жизнь для крестьян должен был сопровождаться ликвидацией царских изображений, всех «эмблем романовского насилия». *Уничтожение царской символики не просто символизировало, но приравнивалось к падению царизма. В каждой деревне, «отдаленном селе» крестьяне устраивали для себя «маленькое» свержение монархии.* Волна свержений (в форме символических акций – за недоступностью реального объекта) прокатилась по всей стране. Так рождался новый революционный ритуал, вытеснявший ритуальность царских времен.

И здесь важно следующее. Портреты самодержцев крестьяне еще в начале XX в. почитали наравне с иконами: считалось недопустимым находиться в шапке в том помещении, где были царские лики, ругаться в их «присутствии» и т.п. *Царский образ воспринимался как сакральный объект: это показатель сакрального отношения крестьян к власти, персонафицированной в царе.* Для традиционного русского сознания царь и был живой иконой, образом Бога – и в этом смысле уподоблялся Христу¹. Отсюда – восприятие власти как «богоданной», находящей персонафикатора без чьих-либо внешних усилений, «по Божью изволению».

¹ Б.А. Успенский отмечал: «Специфика отношения к царю определяется прежде всего восприятием царской власти как власти сакральной, обладающей божественной природой». «Параллелизм царя и Бога, как бы исходно заданный христианскому религиозному сознанию», проявлялся в том, что царь уподоблялся Христу и воспринимался как «образ Бога, живая икона» (45, с. 150–152, 155). Одно это избавляло государя от необходимости считаться с чьим бы то ни было мнением. Соединяя пространства земного и небесного, образ царя обретал высший, священный смысл. Этим определялось представление о «харизматической» природе царской власти (см. об этом: 44). Царь и в начале XX в. представлял как единственный сакральный знак государственно-политической системы (иначе говоря, знак, соотношенный с сакральным содержанием).

Падение монархии разрушало традиционную схему: *царь земной, не «доказавший» своей сакральной сущности* (т.е. не сохранивший власть – вопреки «многотажному человечеству хотению»), *превращался в лжеикону, идола*. Борьба крестьян (носителей традиционного сознания) с царскими образами – внешнее проявление такого преобразования. В символических процедурах материализовался метафизический процесс десаκραлизации верховной власти.

Знаменательно, что изображения самодержца подвергались глумлению; не осмеянию в игровом, шутовском стиле, свойственном городской европейской культуре, а оскорблению, опорочиванию¹. Эти унижительные магические процедуры характерны для деревенской, «почвенной» культуры. Не случайно портреты императора (т.е. лики власти), которые приравнивались к иконам, лишались «зрения». Так традиционно «наказывались» иконы, «разочаровавшие» молившихся: разрыв связи с потусторонним, высшим миром (вратами в который и были глаза святых образов) означал их десакрализацию. «Ослепление» образов самодержца – знак символического отвержения и поругания царской власти.

После Февраля крестьяне избавлялись от священных ликов, символизировавших и сакрализировавших старый порядок. Глубокий социальный смысл символических акций понятен: «низложение» власти, *отказ от веры в священство особы русского царя*. Портреты «на выброс» – это, помимо прочего, акт символического выворачивания (переназначивания смысла): был священный символ – стал самозванец, «ничто», которому и судьба Гришки Отрепьева не заказана. Не случайна последующая перекодировка «Царя-батюшки» в «Николашку»: язык зафиксировал ментальные изменения.

Возврата к самодержавию быть не должно

Существует устойчивая точка зрения, зафиксированная в работах П. Андерсона, П. Холквиста, Д. Мэйси, Р. Уэйда и др.: падение монархии прошло практически незамеченным в российских селах и деревнях (см.: 1,

¹ Кстати, пародирование (вплоть до издевательства) и снижение образа прошлого заметно во всех русских революциях – как властных, так и народных. Многие петровские забавы (всешутейшие, всепьянейшие, преображенские и кокуйские) означали пародию на традиционные устои, моральные институты и символически разрывали связь с ними. По существу, речь – в начале XVIII и XX вв. – шла о псевдохристианском, псевдоновозаветном отношении к традиции. Не случайно первоочередной радикальной перестройке всегда подвергалась власть как символ (средоточие и хранитель) традиций. Старая власть (со всеми ее внешними образами, церемониалом, символической атрибутикой) сбрасывалась и отправлялась на свалку истории. Новая же, становившаяся властью в результате такой нигилистической процедуры, парадоксальным образом сама обращалась в прошлое, восстанавливая насильственно-репрессивное властное естество (при этом ориентируясь на лучшие образцы – Грозного, Петра, Николая I, Сталина) и пародируя внешнюю образность (какой-то из) предшественниц.

с. 126). Это не так – в деревне происходил глубочайший ментальный переворот, сопровождавшийся кризисом традиционных ценностей, разложением морально-нравственных устоев старого общества¹. Он начался задолго до революции, война способствовала его углублению. После Февраля он приобрел тотально-погромный характер: *сложнейший процесс ментального, культурного преобразования, имевший множество измерений, свелся к простейшему нигилистически-ликвидационному предприятию, захватившему всю Россию.*

Реакцией на падение монархии стала десакрализация самодержавия и самодержцев, предполагавшая уничтожение образов власти, всех имперских атрибутов. Так начиналась «почвенная» революция. *Речь шла о важнейшем процессе осознания народом небытия власти, внешне принявшем символические формы.* Расковывалась, снимая с себя всякие (внешние и внутренние) ограничения, народная стихия. Без этого невозможно было бы дальнейшее преобразование народа в революции – сдирание с себя всех культурных покровов и выход на поверхность того инстинктивного, темного, низменного, что под ними скрывалось². В результате такого преобразования «тихие», «власте- (и бого-)боязненные» русские люди и смогли учинить Смуту, своей внешней бессмысленностью, мракобесием и кровавостью напоминавшую средневековые бунты.

Причины полного и окончательного отречения от старой власти революционным народом не скрывались. 5 марта 1917 г. З.Н. Гиппиус зафиксировала в дневнике: «В аполитичных низах, у просто “улицы”, переходящей в “демократию”, общее настроение: против Романовых (отсюда и против “царя”, ибо, к счастью, это у них неразрывно соединено)» (10, с. 477–478). «Низам» царь был ни просто не нужен, но и опасен. «Если бы монархия выжила, пусть даже сильно окороченная конституцией, – комментирует Р. Пайпс, – то действия Петроградского гарнизона всего вероятнее квалифицировались бы как мятеж» (32, с. 337). Да и не только гар-

¹ Можно говорить о разрыве в социальных ценностях и идентичностях, преобладавших в традиционном обществе. Разрыв проявлялся не только в падении доверия к общественно-политическим институтам, но и в переоценке ценностей и кризисе морали (даже моральном разложении). Подобные процессы переживали и европейские страны на переходе от аграрной фазы развития к индустриальной (с конца XVIII до середины XIX в.). И надо сказать, что кризис морали был затем скомпенсирован возрождением нравственных ценностей и норм (ценностным ренессансом).

² З.Н. Гиппиус записала в дневнике в июне 1917 г.: «Немилосердно, эта тяжесть «свободы», навалившаяся на вчерашних рабов. Совесть их еще не просыпалась, и проблеска сомнения нет, одни инстинкты: есть, пить, гулять... да еще шевелится темный инстинкт широкой русской вольницы... Нет сейчас в мире народа более безгосударственного, бессовестного и безбожного, чем мы. Свалились лохмотья, почти сами, и вот, под ними голый человек, первобытный – но слабый, так как измученный, истощенный. Война выела последнее» (10, с. 516–517). Однако сил у «первобытного человека» хватило и на гражданскую войну, и на социальный переворот.

низона, но думцев, студентов, рабочих, обывательской публики и т.д. При сохранявшейся монархии победоносная революция становилась бунтом, все ее завоевания – гипотетическими, виртуальными.

«...Теперь, когда сбросили иго Романовых, не должно быть возврата к монархическому строю, хотя бы конституционному, – писал рабочий-железнодорожник в адрес Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов в марте 1917 г., – Республика – вот что мы, граждане, желаем, вот что нас привлекает, вот что в предрассветном тумане видим, и вам заявляем, что, кроме Республики, ничто нас не удовлетворит» (цит. по: 39, с. 8). Той же точки зрения придерживались крестьяне-солдаты, выступавшие на заседании солдатской секции Петроградского Совета 8 марта 1917 г.: «Республика – это когда человек будет накормлен совсем... Если у нас останется Государь, то земля не достанется крестьянам... Если у нас будет республика, то вся земля будет нашей!» (цит. по: 38, с. 38–39)¹. В июле 1917 г. на встрече представителей местных земельных комитетов в Петрограде крестьяне заявляли, что поддержат только ту власть, которая выполнит их требования: «Если даже Учредительное собрание иначе решило бы этот вопрос <о земле>, то такое Учредительное собрание было бы не крестьянское, не народное, не выражало бы воли народа, не могло бы быть авторитетом и было бы разогнано» (цит. по: 19, с. 37).

В равной степени «ненародной» считалась бы власть, отказавшаяся признать рабочий контроль на предприятиях (по существу, их захват рабочими, явочным порядком продавившими непомерное повышение заработной платы, 8-часовой рабочий день), отказ солдат воевать, «право» городских низов на «справедливую экспроприацию» имущества «буржуев», погромы винных погребов и разграбление оружейных складов и т.д. Народ хотел гарантий невозвращения монарха и создания послушной ему власти: *не самостоятельной верховной (самодержавной), а исполнительной – в смысле исполнения его запросов*². Идеалом народной революции было без-

¹ «Чернопередельные» надежды крестьянства лучше всего характеризует частушка, относящаяся еще к началу 1906 г.: «Не прирежут нам землицы, / Возьмем вилы в рукавицы. / Отойдет земли крестьянам, / Каждый день я буду пьяный» (цит. по: 13, с.28). Свержение монархии воспринималось как гарантия этого сценария.

² Об этом предупреждали крестьянские делегаты Демократического совещания: «Вы вот тут все о власти толкуете, а мы вам говорим, если вы все будете только говорить о власти, а самую-то власть, которая за наши мужички интересы бы постояла, не дадите, то трудно будет сдерживать темный народ...» (цит. по: 19, с. 38). Неполнение новой, февральской, властью народных запросов его представителями полагалось безразличным: «И русский народ, также и крестьянство, хорошо понимают, что Временное правительство и господа министры все просят доверия от русского народа, о слепом подчинении Временному правительству, – высказывался крестьянский корреспондент Петросовета. – Но доверие приходит тогда, когда министры исполняют волю народа. Если министры не исполняют воли народа, то доверие и последнее отнимается. Я как крестьянин считал бы совестным просить доверия и самому не исполнять воли народа» (цит. по: 39, с. 11).

власти «наверху» (в любом виде – слабая власть или отсутствие всякой власти) и «народная» власть на местах («народный директор», «народный командир», «народный милиционер» и т.п.¹), решавшая бытовые повседневные проблемы.

Почти всеобщий всплеск антицаристских настроений вовсе не так загадочен, как кажется на первый взгляд: он имел вполне прагматическую основу. Революционный народ стал антивластен (несамодержавен) не только метафизически, на бессознательном уровне, но и вполне сознательно. Народные (крестьянские, по преимуществу) массы в деревне и в городе быстро поняли свою выгоду от «верхушечного» (как его мыслило общество) переворота. В их сознании сложился ассоциативный ряд, имевший вовсе не символическое значение: *царь, буржуи, помещики, война – земля, фабрики, мир, равенство. Без царя – власти, надзиравшей, попечительствующей и карающей за «ослушание», – вторая часть схемы приобретала черты реальности.* Не оказалось ничего святого у русского народа, что он не отдал бы за собственную – пусть и небольшую – выгоду.

Замечу, кстати: такая реакция на социальный переворот – размен долгосрочных перспектив на сиюминутные незначительные выгоды – свойственна бедному (в материальном и культурном отношении) социуму. У него мало накоплений (в широком смысле этого слова), поэтому почти нечего сберегать. У такого социума *минимизирована охранительная функция и не скомпенсированы суицидальные начала.* Этим во многом объясняется и гипертрофированность «внешней охраны» – контрольной, репрессивной и попечительской роли верховной власти (исполнение ею функций колонизатора, из-за чего она и ощущалась как внешняя, чуждая своей стране). Отсюда – социальный запрос на ее силу, обремененность народной культуры потребностью в грозных самовластцах.

Эта социальность в своих глубинных основаниях никак не изменилась после Февраля. *Уничтожение самодержавия (конкретной, осязаемой, действовавшей власти) с подведением под это легитимирующей базы и анархический восторг крестьянско-солдатской массы не означали краха традиционных представлений о властенародном идеале.* Напротив, они усилились, получив в какой-то момент напряжение социального запроса, что проявлялось в порицании Временного правительства как слабой власти², а также в массовых поисках «своей» власти в «старом», самодер-

¹ Потом, при большевиках, этот ряд дополняет «народный председатель» (такой, как ульяновский Егор Трубников), «народный писатель», «народный композитор» и др.

² В приватном разговоре в ответ на призыв «Да властвуйте же!» А.Ф. Керенский сказал: «Властвовать! Ведь это значит изображать самодержца. Толпа именно этого и хочет» (цит. по: 10, с. 550). Здесь следует указать на два момента. С одной стороны, Керенский и властвовал, именно *изображая* самодержца, – но не от Бога и народа, а от революции. Она задавала черты нового социально-властного типа – революционного вождя, зрелищного политика, востребованного внезапно народившимся массовым обществом. С дру-

жавном направлении (этим обусловлено рождение феномена революционного вождизма – образ Красного Бонапарта примеряли на себя многие, от А.Ф. Керенского до Л.Д. Троцкого).

Правда, в идеал была внесена существенная поправка: *новое самодержавие уже не могло быть внешним по отношению к массе, культурно ей чуждым и даже генетически (кровно) внеположным*. Известно, что крестьянство вскоре после Февраля возжелало республики с «истинным», т.е. «народным» царем («самодержавной республики»)¹. В рамках этого примитивно-анархического идеального социального устройства, обнаруженного инстинктивно, интуитивно, бессознательно, нет места конкурентной политике, обезличенным институтам, абстрактным процедурам. Здесь действуют массы и высшая власть, персонализирующая их волю; здесь без тиранического всевластия царя невозможно справедливое всевластие народа. Этот воображаемый порядок основан на всеединстве народного царя и самодержавного народа, взаимопроникновении организующей властной вертикали и социалистически-общинной горизонталью².

гой стороны, интеллигентский призыв властвовать, обращенный к своему лидеру, вполне объясним. За адресованным власти требованием силы скрывалось собственное бессилие, осознание неспособности справиться с принципиально новой и неожиданной для себя ситуацией. Это признание неуправляемости восстанием масс, почвенной революцией из интеллигентского «центра». *Февраль есть высшая точка в процессе исторической самореализации русской интеллигенции, когда она на короткий миг стала монособъектом. Но если до Февраля она наращивала субъектность в борьбе с самодержавием, то после ее субъектность была изъята – в свою пользу – воспетым ею народом.*

¹ В письмах в Петроградский Совет весной 1917 г. встречаются пожелания/предположения: «Хорошо было бы, если бы нам дали республику с дельным царем»; «у нас будет республика с новым царем». Некоторые корреспонденты считали: народ «еще не привык смотреть на царя и его приближенных как на смертных людей с пороками и недостатками. Не привык разбираться в поступках своих правителей, потому что слишком укоренилось поклонение царю»; «подчинение ей <«старой власти»>, вера в нее, кроме насилия, поддерживались вековыми традициями подчинения. Этой силы у вас <новой власти> нет, и вы недооцениваете ее значение». А солдат Н. Проков пророчествовал: «Вспомните мое слово, что спасение России только в том, чтобы у нас был царь... Русский народ истоскуется по царю, он и сейчас тоскует» (цит. по: 39, с. 10).

² Этот идеал фактически описан Н.Н. Алексеевым и К.Д. Кавелиным (см.: 2, с. 75, 114, 115, 309; 22, с. 436, 439, 440). Земные воплощения идеала – «республики» (как свободные территории – Гуляй-Поля, так и повстанческие армии) во множестве появлялись в гражданскую войну. А социальная тенденция к многовластию реализовалась в явлении «батека»-атаманов, «народных царьков» эпохи военной вольницы – Махно, Чапаева, Миронюва, Антонова и др. Их гибель символизировала важный социальный факт – *несовместимость русской воли, которая «всегда для себя», с порядком*. Тот тип свободы и справедливости, который выработал и временами на ограниченных пространствах реализовывал (в войнах и бунтах) крестьянский мир, был, как показали постфевральские события, губителен для социума в целом. Погромно-освободительный потенциал крестьянства можно было держать под контролем – так, как это делало позднее самодержавие: локализовывать отдельные вспышки и нейтрализовать единственно цивилизованным лекарством от деструкции – просвещением и допущением позитивной самодетельности (прежде всего в хозяй-

Крестьянский мир потом получит свой идеал, переработанный и выправленный (в свою пользу) сталинским самодержавием.

Свободное антимонархическое слово – «неприличное» слово

«Верхи» пошли по тому же пути – оскорбления и разрушения образа самодержавия, справедливо полагая его системообразующим элементом старого социального и символического порядка. Для этого был использован весь набор информационно-символических инструментов, позволявших воздействовать на массовое сознание. Февраль снабдил дореволюционные слухи, фантазии, домыслы, порочившие верховную власть, «документальной базой». Тем самым им придавался оттенок подлинности, как бы присваивался статус исторического факта.

Документы николаевской эпохи, еще вчера огражденные от общества тайной государственной и личной жизни, были запущены в публичный оборот и активно публиковались. Период между февралем и октябрём 1917 г. видный деятель освободительного движения, историк и публицист С.П. Мельгунов в одном из своих выступлений назвал «временем массового издания политических брошюр» (цит. по: 16, с. 15). Они выпускались в составе массовых популярных исторических библиотек товариществами «Задруга», «Голос минувшего», «Былое», а также газетами, журналами. Большая часть этой продукции – разоблачительного и бульварного характера – была посвящена «последним Романовым». Антиромановский характер исторических текстов, транслировавшихся публике, отвечал социальной потребности в разоблачении, осуждении и символическом уничтожении («обнулении») «романовского» прошлого.

«Бульварные газеты полны царских сплетен» (10, с. 490), – писала в самом начале марта 1917 г. З.Н. Гиппиус. М. Горький, которого трудно заподозрить в симпатиях к самодержавию и самодержцам, 27 апреля 1917 г. в «Новой жизни» высказался об этих «сплетнях» более определенно: «В первые же дни революции какие-то бесстыдники выбросили на улицу кучи грязных брошюр, отвратительных рассказов на темы из “придворной жизни”. В этих брошюрах речь идет о “самодержавной Алисе”, о “Распутном Гришке”, о Вырубовой и других фигурах мрачного прошлого. Я не стану излагать содержания этих брошюр; оно невероятно грязно, глупо и распутно. Но этой ядовитой грязью питается юношество, брошюрки имеют хороший сбыт и на Невском, и на окраинах города. С этой отравой нужно бороться... тем более, что рядом с этой пакостной “литературой”

ственной сфере). Или искоренять репрессией, свести на нет (вместе с какой-либо способностью к самостоятельному социальному творчеству) перманентными массовыми кровопусканиями, рабским трудом и нищетой. Середины, как показал XX в., мы не знаем.

болезненных и садических измышлений на книжном рынке слишком мало изданий, требуемых моментом» (11, с. 126).

Для народа падение власти должно было приобрести предметный, зримый характер. Не случайно массовое распространение в 1917 г. получили и визуальные образы, символизировавшие это падение. После Февраля в обстановке «моды на политику» и «моды на революцию», в атмосфере политизации частной жизни, например, «было выпущено множество открыток, посвященных революции. Фирмы, печатавшие почтовые карточки, учитывали интересы своих политизированных покупателей. Большим спросом пользовались “романовские” и “распутинские” сюжеты... В 1917 г. продукция такого рода воспринималась как “порнография”» (24, с. 320–321)¹. И недаром: на одной из популярных в 1917 г. открыток – «Самодержавие» – фигурировала обнаженная женщина с императорской короной на голове в объятиях мужика, сходство которого с Распутиным было очевидно. Так был *материализован образ падшей, порочной, внутренне разложившейся власти*. То, что в распространении подобной информации участвовали коммерческие издательства, свидетельствовало о массовом спросе на них.

Книжный рынок и политические зрелища после Февраля в значительной степени формировали культурную атмосферу. Их качество было таково, что Горький определял в 1917 г. «свободное слово» как «неприличное слово» (11, с. 136). В этом видел его соответствие моменту: «Грязная литература особенно вредна, особенно прилипчива именно теперь, когда в людях возбуждены все темные инстинкты, и еще не изжиты чувства негодования, обиды, – чувства, возбуждающие месть» (11, с. 126). Публика, получившая исключительную возможность потворствовать своим «темным инстинктам», хотела читать «отвратительные», «болезненные» измышления – и верить им. Она желала падения (во всех смыслах) – и пала так глубоко, как только могла. *Павшей и падшей одновременно была тогдашняя, освобожденная революцией от всех культурных сдержек «улица»*. Поэтому «романовские» брошюры, статьи, открытки и т.п. – хоть и «грязная», но подлинно «уличная» (т.е. народная) литература. В опоре на нее (среди прочего) формировалась массовая постреволюционная культура.

Внешняя «занятность» (занимательность), подчеркнутая скандальность бульварных текстов и привлекала к ним массового читателя, отныне вольного в своих интересах и пристрастиях. Они сделали достоянием публики образы последней императрицы – немецкой шпионки и распутницы (с Распутиным при ней), слабого, безвольного, жестокого царя, «темных

¹ Интересный выстраивается ассоциативный ряд: политика–порнография. В массовом постреволюционном обществе политизация жизни сопровождалась распространением порнографической продукции. Показательно, что и в 1990-е годы обретение свободы было закреплено приобщением к порнографии, ее легализацией.

сил), олицетворявших зло, побежденное революцией. Благодаря тиражу и иным способам распространения (символика, песни, праздники, художественные средства) эти образы не просто приобретали массовый характер. *В соответствии с ними в массовом сознании перестраивалась реальность, переозначивалось прошлое*¹. Антиромановские репрезентации оправдывали свершившуюся революцию, обеспечивая «фактами», «документальными свидетельствами» легитимирующие ее тезисы, которые закрепила вся страна: «Россию погубила косная, своекорыстная власть, не считавшаяся с народными желаниями, надеждами, чаяниями... Революция в силу этого была неизбежна»; «Старый, насквозь сгнивший режим рухнул без возврата... Народ пламенным, стихийным порывом опрокинул – и навсегда – сгнивший трон Романовых...» (цит. по: 8, с. 117, 130).

В результате такого «овладения» историей масса не стала знать больше о своем «вчерашнем» прошлом. Однако растиражированные образы бездушных и аморальных «тиранов» («власти», «начальства», «буржуев»), «старого», «дряхлого» мира «насилия», «мрака», «нищеты» и «гнета» оправдывали и делали неизбежным в массовых представлениях его падение – в «смертельной» схватке с «силами Добра» за торжество нового, «лучшего мира», «царство свободы» и «братской любви»². Массовое распространение и усвоение народом негативных образов самодержавия способствовали радикализации общественных настроений, окончательному низвержению «старого режима», переводу потенциала протеста в революционное действие.

¹ Известно, например, влияние на массовое сознание такого популярного революционного жанра, как инсценировки. Они накладывали неизгладимый отпечаток на живую человеческую память. Она бледнела перед «инсценированным мифом», этой «ожившей историей». Массовые инсценировки, по мнению исследователей, порой основательно стирали «собственные воспоминания о реальном событии или его прежние интерпретации». В результате «в сознании масс конструировалась и закреплялась другая реальность, создавались основы новой исторической мифологии, нашедшие вскоре применение не только в сфере культуры, но и в профессиональной историографии» (см.: 26, с. 231–254).

² Это язык постфевральской эпохи, присвоенный затем Октябрем. Он зафиксирован в одной из самых любимых массами революционных песен – «Рабочей Марсельезе». Весь пафос этого подлинного гимна «почвенной» революции отрицал либерально-романтический Февраль, так как ориентировал на борьбу с внутренним врагом – тем самым «буржуем», который свалил самодержавие и открыл массам дорогу в «царство свободы». А в этом «царстве», если следовать массовой логике, что царь, что буржуй – все едино. И судьба у них одна: «новый мир» творился в «последнем, решительном» и смертельном бою «сил Добра» со злыми, вражескими силами.

«Грехопадение» самодержавия, Или как образованное общество и мужицкая Русь оскандалили последних Романовых

Одна из основных линий, по которой после Февраля шло разоблачение власти, – приватная (и более того: интимная) жизнь самодержцев. И это не случайно. Русских не просто отличает особый интерес к этой стороне бытования власти; мы выработали устойчивое представление о том, какой она должна быть. Очень упрощенно его можно характеризовать так: *все чувства, вся эмоциональная энергия властного персонификатора сосредоточены на его отношениях со страной, Россией, которая толкуется как сакральный объект* (напомню: *подобным образом воспринимается и сама власть*). Отношения эти, в которых предполагается сексуальная подоплека, неизбежно сакрализуются. Это особенно отчетливо проявлялось в процедуре венчания на царство, с ее явными отсылками к таинству брака: венчались монарх со страной или (что точнее) власть с подданными. С точки зрения подданных, «человеческий фактор» (любовь, дружба, сексуальная привязанность) в жизни персонификатора несущественны¹ (хотя в человеке власти и полагается сильно выраженное мужское начало – оно важно для реализации его символической связи со страной). При этом нарушение личной верности персонификатору его близкими, женой исключено – даже сомнения подобного рода рассматриваются народом как поругание, опорочивание власти.

Отношения персонификатора русской власти с близкими всегда тестировались на соответствие этому идеальному образу: сначала (еще и в начале XX в.) окружением, двором, элитами, потом (в течение всего прошлого столетия и сейчас) – массами. Это находило выход в слухах, постоянном муссировании («критическом обзоре») личной жизни главного человека власти. Думается, *наблюдение (точнее: подглядывание, как сквозь*

¹ Характерно замечание З.Н. Гиппиус в связи с петроградскими беспорядками (дневниковая запись от 24 февраля 1917 г.): «Царь уже обратно счаст, но не из-за демонстраций, а потому, что у Алексея сделалась корь. Анекдотично... Отец и помазанник» (10, с. 448). Кажется, мелкая деталь, но за нею скрыто не столько личное, сколько социальное убеждение: *царь должен* быть исключительно помазанником, *всего себя отдавать стране. Только этим оправдано его существование. Личные проблемы власти – отцовство, супружество – совершенно не важны, незначительны в державных масштабах.* Заметьте, в праве на частную жизнь монарху отказывали те, кто фетишизировал приватность, сделал личное смыслом жизни, позволяя себе здесь любые эксперименты. Эпигоны модернизации быта, всей частной стороны бытия в своем отношении к власти оставались на удивление традиционными. Они, как и представители народной культуры, нуждались во взаимной любви к властному персонификатору – заботе, опеке, проявлении с его стороны мужской силы (здесь принцип «бьет – значит любит» естественно дополняет традиционную характеристику человека власти: «суров, но справедлив»). «Отвергнутая любовь» и ревность (к сопернице, разлучнице – жене, семье) придавали особое напряжение интеллигентскому презрению к «неудачливой», «посредственной» власти.

замочную скважину) за частной жизнью персонификатора можно трактовать как символический контроль общества, народа над своей – в реальности далекой, недоступной, независимой от него – властью. Когда самодержавие пало и у народа появилась возможность расправиться с ним, священную особу персонификатора опорочили по этой же, священной линии. В качестве объекта расправы закономерно была избрана женщина, которую – как чувствовала вся Россия – монарх любил больше страны.

Слухи о неладах, «ненормальностях» семейной жизни царской четы появились в придворной, дворцовой среде и первоначально циркулировали в светских салонах¹. Несомненно, что это женская история: разоблачение негативных сторон интимной жизни венценосной семьи, казавшейся безупречной, – один из способов женской мести императрице. Можно даже предположить, кто из высокопоставленных особ, окружавших трон, мог поощрять распространение компрометирующих слухов. Здесь ясен политический интерес дам из клана Кирилловичей (Марии Павловны-старшей, вдовы дяди императора Владимира Александровича, жены ее старшего сына Кирилла Виктории Федоровны), непризнанных четой родственниц, не считавшихся образцом семейной морали (жен дяди и брата императора княгини Палей и графини Брасовой) и др.

Помимо политических мотивов за этими слухами просматриваются причины культурного и психологического свойства. Обвинения в неверности как бы уравнивали безупречную, демонстрировавшую свою высоко нравственность и требовавшую соответствия нормам моральной чистоты от других Александру Федоровну с большинством женщин света, столичного (да и не только) общества, артистической богемы – искушенных, развращенных и толерантных к греху (об этом свидетельствует, к приме-

¹ Особый интерес к такой информации проявляли «политические салоны» (как «либерально»-, так и «консервативно»-аристократические), державшиеся «политическими дамами». Показательны, например, дневниковые записи одной из этих дам, генеральши А.В. Богданович за 1908–1909 гг.: «...говорили, что в истории царицы, Танеевой и Орлова последний – ширма, что неестественная якобы дружба существует между царицей и Танеевой, что будто муж этой Танеевой, Вырубов, нашел у нее письма от царицы, которые наводят на печальные размышления... Какой скандал, если это все правда! Говорят, что уже в немецких газетах про все это написано» (5, с. 459; запись от 10 июня 1908 г.); «У молодой царицы сильная невралгия, которая может кончиться помешательством. Все это приписывают ее аномальной дружбе с Вырубовой. Что-то неладное творится в Царском Селе» (5, с. 468; запись от 6 февраля 1909 г.). Распространителями этих слухов были самые близкие власти люди из придворной, аристократической среды (скажем, в случае Богданович – княгиня Д.Е. Кочубей (Долли), жена начальника Главного управления уделов). Так они фрондировали (что всегда было модным занятием в свете): сначала шептались, в войну заговорили громче, после отречения наконец обрели полный голос. Чем нереальнее становилась угроза наказания, тем больше голосов вливалось в общий хор. Такая эволюция – показатель роста «позиционности» (фоновой, внешней, показной, безответственной – и, по существу, мало что значившей в благоприятных условиях) русского общества.

ру, широкое распространение гомосексуальных связей – не только среди мужчин, но и среди женщин).

Интимная жизнь царской семьи стала политическим фактором, инструментом давления оппозиции на власть. Она активно обсуждалась в думских кулуарах – причем задолго до войны. Самая известная история такого рода, имевшая публичный резонанс, относится к 1911 г. Тогда в руки думцев попала записка Александры Федоровны Г.Распутину весьма двусмысленного содержания (см.: 20, с. 196–197; 27, с. 85–87)¹. Не за предание ли огласке этой истории императрица потом так ненавидела А.И. Гучкова? Известия же о «дерзости, пьянстве и постыдных оргиях» «Друга», также активно муссировавшиеся в придворно-салонной среде, политической и светской «тусовке», прямо работали против царицы, служба косвенным подтверждением слухов о ее неверности.

Однако следует подчеркнуть: широкого хождения эти оскорбительные слухи не имели – действовали страх наказания и определенные нормы, в рамках которых распространение подобных обвинений считалось неприличным, непозволительным, недопустимым. Только накануне революции городской обыватель дошел до публичного выражения «гнева на императора», «ненависти к престолу» (32, с. 274). Но антимонархический протест был следствием всеобщего недовольства неудачной войной, обывательской озлобленности «тяготами повседневного существования», а кроме того, не фокусировался на интимной стороне жизни персонафикторов власти. А вот *после Февраля 1917 г. негативные, шокирующие образы интимной жизни царской семьи стали общеизвестными и общедоступными, обросли безобразными подробностями, навсегда заклеив в эту чужу*. Показательны чрезвычайная навязчивость этих образов и высокий интерес к ним образованной, читающей публики – как в межреволюционный период (от Февраля к Октябрю 1917 г.), так и позже, в 1920-е годы, когда отношение к царской семье стало, скорее, имперсональным (не к конкретным людям, а к историческим фигурам, символизировавшим монархию).

Что же касается подавляющей крестьянско-солдатской массы населения, то здесь все было гораздо сложнее. Не подтверждается общепризнанный тезис, приведенный, скажем, в «Русской революции» Р. Пайпса: «В солдатских письмах домой и из дома в конце 1916 г. военные цензоры встречали самые зловещие истории о царе и царице» (32, с. 275)². В одном

¹ Письма царицы и великих княжен Г. Распутину были обнародованы в книге иеромонаха Илиодора (С. Труфанова) «Святой черт».

² В других исследованиях на основе анализа солдатских писем делается вывод о кризисе доверия к власти и даже о презрении и ненависти к ней, осознании ее греховности и подрыве веры в святость (см., например: Поршнева О.С. Менталитет и социальное пове-

из последних исследований, основывающемся на масштабной источниковой базе (прежде всего, неопубликованных солдатских письмах, хранящихся в РГВИА), утверждается, что у солдат-окопников практически не было «претензий к царской чете». Автором «зафиксировано лишь одно письмо, написанное до февраля 1917 г., которое при желании можно назвать антимонархическим и где речь идет о том, что “царя нет, так как у нас над нами глумятся” (замечу от себя: *царь* здесь трактуется как защитник, гроза для “начальства”, глумящегося над солдатом, и *порицается за невыполнение традиционной для царской власти функции “правосудия”, предполагавшей защиту народа, наказание его притеснителей и восстановление попранной справедливости.* – И.Г.). Все остальные сообщения – о продажности немцам царя или о его ответственности за войну (“царь, пока уродом не сделает, с позиции не отпустит”) – относятся ко времени... Февральской революции. Это ставит под сомнение утверждения о распространении антимонархических настроений солдат-крестьян накануне революции» (3, с. 420).

Действительно, большей частью такими настроениями были охвачены города – прежде всего Центральной России. Их квинтэссенцией стали столицы – и не только потому, что они больше других ощущали на себе экономические проблемы. В больших (в первую очередь столичных) городах очевиднее всего проявляли себя процессы распада традиционного общества, модернизационные разломы (экономические, социальные, культурные и т.д.). *Большие города превратились в потенциально стрессогенную зону, провоцировавшую социальную агрессию, концентрировавшую спусковые для нее явления.* Зимой 1916–1917 гг. уровень стрессогенной угрозы опасно превысил норму, что проявилось в невиданной социальной активности (слухах, заговорах, забастовках, политических конфликтах), неизбежно обращавшейся против власти. Это в западном обществе решение социальных проблем ищут в гражданских сетевых связях (на разных уровнях, в различных точках горизонтальных коммуникаций – в местном самоуправлении, путем регулирования и самопорождения норм и т.д.). *В России все нерешенные проблемы центрируются на верховную власть* (как вершину властной, а не управленческой только пирамиды, сердце и мозг системы). Именно в этом месте социальный организм концентрирует все свои боли; сюда канализируется негативная социальная энергия, отчу-

дение рабочих, крестьян и солдат России в период мировой войны (1914 – март 1918 г.). – Екатеринбург, 2000. – С. 235–267). Однако прямые данные о глубоко укоренившихся антимонархических настроениях «традиционалистских масс» в источниках отсутствуют. Основные темы солдатских посланий рубежа 1916–1917 гг. – усталость от бесплодной войны, осуждение несправедливых общественных порядков, угроза социального возмездия. Доминантами солдатского сознания стали ожидание мира и ненависть к «внутреннему врагу», своему «немцу-изменнику». С падением монархии открывались возможности удовлетворения и ожиданий, и ненависти.

ждаются темные, негативные стороны жизни подданных (очень удобно: ведь не мы плохие – власть плоха). И это закономерно во властечетричном социуме, в коммуникативном отношении завязанном на власть.

Что касается солдатской среды, то отсутствие (или периферийность, непубличность) антимонархических настроений в ней вполне объяснимо. *Основной «нерв» патриотизма солдат, берущий начало в традиционных крестьянских миропредставлениях, – «это защита царя, с которым, собственно, и ассоциировалась родина... Война за царя воспринималась как простая повинность подданного.* Солдат-крестьянин шел на войну не по велению сердца, а чтобы «царю послужить», что в его глазах было равносильно «послужить родине». Царь же имеет право посылать на войну, так как он «дал нам землю и кормимся мы с ней, значит и должны царю-батюшке послужить верой и правдой». Война как крестьянская повинность санкционировалась «Господней», «волей Божией», что вписывало и солдата-крестьянина, и самого царя в общий ход фатального кругооборота зависимости, естественного для крестьянского самосознания. Фатализм же определял и терпеливое отношение к тому, что «пришлось» защищать «нашего дорогого царя-Батюшку, нашу дорогую веру и родину» (3, с. 406). Убери «дорогого» государя – и эта цепочка распадается: ни веры, ни «большой родины» – страны, России. Без царя не стоило и отбывать воинскую повинность: нет «Батюшки» – некому служить, нечего защищать. *Такова долика глубоко традиционного крестьянско-солдатского сознания. Но пока Государь на месте, служба («ратный труд») была оправдана.* Даже притом, что ожидание мира к зиме 1916–1917 гг. превратилось у солдат в навязчивую идею (см. об этом: 3, с. 412–413; 7, с. 30).

Тем не менее *в настроениях крестьян-окопников было нечто, что делало их восприимчивыми к «сведениям» о распутстве императрицы. Их очень волновала проблема семейных отношений, а именно нарушения во время войны супружеской верности.* По наблюдению современного исследователя, «возмущение воевавших «развратом» в деревне, которым, по их представлениям, занимались жены с военнопленными, работавшими в сельском хозяйстве», а также незамужние девушки и вся оставшаяся в деревне молодежь, «являлась второй, после дороговизны, темой их писем» (3, с. 421). Здесь особое значение имеют крестьянские представления о неверности: наличие ее потенциальной возможности (присутствие в деревне военнопленных, дезертиров, гораздо большая, чем до войны, свобода в отношениях между полами) позволяло относиться к ней как к свершившемуся факту. Подозрение само по себе уже служило основанием для обвинения.

Воевавшие в большинстве своем не доверяли женам, видимо, считая вполне естественным их желание «согрешить». При этом перекаладывали на них свой грех: «Во время войны солдаты смогли получить большой

сексуальный опыт», о чем свидетельствуют как их письма, так и огромное количество венерических заболеваний в армии (3, с. 421)¹. Однако то был не просто опыт – в традиционное сознание проникла тема сексуальной свободы, касавшаяся в равной степени и мужчин, и женщин. Крестьяне-окопники не могли совместить ее с традиционным – семейным – порядком. Вопрос разрешался самым примитивным образом: либо свобода, либо семья, т.е. полный запрет на «неправильные» (аморальные, нечистые) плотские отношения. Они как бы переводились в сферу тайного, запретного, подлежащего наказанию. Табуизированием традиционное сознание сопротивлялось вторжению темы, грозившей разрушить привычный быт, столетние устои.

Однако от этого тема не исчезала. Единственную возможность совладать с нею мужчины видели в наказании (пусть и без вины) женщины-искусительницы, греховодницы, презревшей свое назначение хранительницы семьи. Женщине вообще, считали мужчины-окопники, не удалось соблазнить себя, сохранить «чистоту». Тем самым она и их, мужчин, ввела в грех. Поэтому заслуживала наказания за их падение.

Показательно, что к потенциальным объектам своих сексуальных желаний – женщинам на фронте – окопники относились резко отрицательно. Это, например, проявлялось в небывалой по силе ненависти к сестрам милосердия (3, с. 421). Еще большее негативное напряжение вызывали (воображаемые или реальные) измены собственных жен, полагавшиеся нарушением некоей справедливости, т.е. традиционных, привычных семейных отношений. Измены просто должны были быть – ведь так велик соблазн. За ними следовала кара – справедливое воздаяние за грех. Известно, что солдаты считали необходимым навести порядок в семьях – «разобраться с родственниками», «переменить всех жен» (3, с. 423). Тем самым как бы восстанавливалась справедливость. Так как заняться этим делом сами они не могли, «солдаты-крестьяне требовали от начальства и местного духовенства «выступить со своей проповедью и усостыжить баб» (3, с. 421). Проблема измены в воображении солдат достигла такой степени остроты, что даже поднималась военными властями перед гражданским начальством (3, с. 421). Неверно было бы понимать ее как исключительно психологический надлом – психопатологическую реакцию (молодых преимущественно) мужчин на неестественно долгую оторванность от семей,

¹ Опыт, по-моему, не стоит переоценивать. Важнее другое. Миллионы мужчин (молодых и среднего возраста), многими месяцами находившиеся на фронте (да еще в условиях окопной войны), – это колоссальное напряжение, которое сложно было снять в рамках традиционной культуры (прежде всего из-за религиозных запретов). На эту потенциально негативную социальную энергию никто тогда не обращал особого внимания. Скопившееся напряжение (среди прочего) рвануло в дни постфевральской свободы. Это почти не учитывается при объяснении послереволюционных событий. Вообще, тема «сексуальности и истории» еще слабо представлена в изучении революции.

нормальной сексуальной жизни. Речь шла еще и о культурной проблеме. Налицо *реакция традиционного сознания на испытание современностью в самой важной и сложной области человеческих отношений – между мужчиной и женщиной.*

Тема сексуальной свободы, равенства в этой области мужчины и женщины вошла в русскую революцию, став одним из важнейших ее измерений. Не случайно она продолжилась после Октября и была закрыта только сталинским порядком (закрепощением мужчины и женщины в семье, контролем над частной жизнью). В конечном счете все здесь решилось вовсе не на принципах свободы и открытости, равных возможностей для всех. Видимо, наше общество с этими принципами несовместимо. Оно, скорее, склонно преследовать тех, кто вырывается за принятую в нем систему отношений (неважно каких: свободных или «крепостных»). В начале XX в. это очевиднее всего продемонстрировало отторжение обществом императорской семьи. Она жила как-то иначе, не соответствовала распадному (а то была эпоха крушения традиционной семьи), «перестроечному» алгоритму частного существования. И была отринута за «инаковость».

Представляется, что *после Февраля последняя императрица, переставшая быть Властью, а значит, утратившая в глазах массы бывших подданных ореол недоступности, стала адресатом этих настроений.* На нее крестьяне-солдаты (а вместе с ними – вся масса простонародия) возложили вину всех женщин (женщины вообще) за разрушение во время войны традиционных семейных устоев. Истории про порочную императрицу и распутного крестьянина, которые лишь будоражили и развлекали «чистую», образованную публику, носителями традиционного сознания воспринимались буквально. Как бы состоявшаяся и доказанная измена императрицы стала оскорблением для всех. *Власть нарушила норму, которую сама и должна была блюсти. Наказанию за это подлежала не только женщина, но и сам властный персонификатор.* Монарх, служба которому традиционным сознанием почиталась священной обязанностью, не смог «усоветить» даже свою «бабу». Одно это служило делегитимирующим властью фактором.

Тема супружеской измены стала поэтому едва ли не главным основанием дискредитации самодержавия. Сама же женщина, изменившая Власти, была опозорена, опорочена – так обычно поступали с неверной женой в деревне. Тем самым восстанавливалась – по крестьянским понятиям – справедливость. Императрица же уравнивалась – по греху и расплате – со своей последней подданной.

Очень показательно, что *Русскую Власть, в идеале беспорочную, нравственно чистую* (таковы идеальные женские властные образы – Анастасии Романовны, первой жены Ивана Грозного, или Марии Александровны)

ровны, супруги Александра II), унизили по сексуальной линии. С одной стороны, неспособность справиться даже с женой служила доказательством слабости, а значит, несоответствия персонификатора Власти. В восприятии бывших подданных он уравнивался с ними – становился «Николаской», мужем распутной царицы (интересно, что Великого Петра оскандалили по той же линии – своеобразная месть преобразователю любящего его русского народа). С другой стороны, развратность жены служила обвинением Власти в аморальности, греховности. А это самые страшные для нее обвинения: *для народа несоответствие Власти высшим нравственным принципам (жизнь «не по Правде») есть свидетельство ее «порчи».*

Но это еще не все. *Императрицу народное мнение обвинило в двойной измене: личной – мужу и государственной – стране.* Причем, тема «предательства Родины» стала публичной и общественно значимой задолго до Февраля – преимущественно в «верхах» и особенно в горячей городской среде. Будоражила эта тема и фронт – острее всего в критические моменты наступлений–отступлений. Об этом много написано, поэтому приведу лишь несколько свидетельств (будучи даны с разных, почти пересекающихся социальных «площадок», они при наложении дают своего рода стереоскопический эффект). Известно, что в июне 1915 г. в Москве «возникли... на патриотической почве, уличные манифестации, вскоре выродившиеся в беспорядки, усмирение которых сопровождалось пролитием крови» (12, с. 675). Вот как описывал их французский посол М. Палеолог: «В течение последних нескольких дней Москва волновалась. Слухи об измене ходили в народе; обвиняли громко императора, императрицу, Распутина и всех придворных, пользующихся влиянием... На... Красной площади... толпа бранила царских особ, требуя пострижения императрицы в монахини, отречения императора, передачи престола великому князю Николаю Николаевичу, повешения Распутина и проч. Шумные манифестации направились также к Марфо-Мариинскому монастырю, где игуменьей состоит великая княгиня Елизавета Федоровна, сестра императрицы и вдова великого князя Сергея Александровича. Эта прекрасная женщина, изнуряющая себя в делах покаяния и молитвы, была осыпана оскорблениями: простой народ в Москве давно убежден, что она – немецкая шпионка и даже – что она скрывает у себя в монастыре своего брата, великого герцога Гессенского. Эти известия вызвали ужас в Царском Селе» (33, с. 178, 179).

Интересно, что народные сценарии разрешения «кризиса фронта» дословно повторялись в «верхах»: в петербургских салонах, «жителем» которых был и Палеолог, предлагалось заточить государыню и ее сестру Елизавету Федоровну «в один из монастырей Приуралья», сослать в «отдаленные места Сибири» «весь потсдамский двор, всю клику прибалтийских баронов, всю камарилью Вырубовой и Распутина» и т.д. (33, с. 196).

В думских кулуарах в августе 1915 г., после взятия немцами Ковно, обвиняли в «неспособности» великого князя Николая Николаевича, говорили об «измене со стороны немецкой партии» (33, с. 199), которую неизменно связывали с Александрой Федоровной. И потом «слухи о сношениях императрицы с германскими родственниками, о ее заботах о германских пленных продолжались, вместе с ее установленной репутацией “немки”» (27, с. 227). Общественное мнение накрепко связало ее с вопросом о «германском шпионаже».

Подобным же образом реагировало «мнение народное» на пике «кризиса тыла», в январе – начале февраля 1917 г. Вот что сообщал об этом Л.А. Тихомиров, типичный представитель среднеобеспеченных, образованных городских слоев: «Ужасные вещи говорят в народе о высших сферах. Даже записывать как-то неловко. И все против Императрицы. К Государю выражают сожаление. И это говорится в толпе, стоящей в хвостах, говорится без стеснений, не смущаясь даже тут же дежурящих городовых» (14, с. 337). Содержание слухов, которые передает Тихомиров, тоже по-своему весьма показательны: «Рассказывают (вероятно, враки, но рисует настроение), будто Государыня просит, чтобы Государь предоставил ей все внутреннее управление, а сам был при армии... Это выдуманно, вероятно, для возбуждения народа, п[отому] ч[то] к Государыне относятся ужасно нехорошо, и такое про нее рассказывают, что страх берет. Обвиняют ее даже в сношениях в Вильгельмом» (14, с. 325).

Именно эти слухи, в которых находило выход народное недовольство властью за ее неспособность оптимизировать ситуацию (в смысле: «поддать» оптимизма, как будет принято в советское время), определяли отношение к императрице. Вне этих историй невозможно понять, почему так суровы были к Александре Федоровне революционные власти (начиная с арестовавшего ее Л.Г. Корнилова). Она – причина всех неудач, в ней – объяснение военных поражений. Здесь очень показательна еще одна запись из дневника Л. Тихомирова: «...бессилие армии все время объясняли «темной силой», т.е. прямо изменой. Так, говорили, что план наступления в Румынии, подобно другим таким случаям, был выдан немцам. Слухи народные обвиняли в таких действиях императрицу. Это настолько невероятно, что я не верил в непосредственное ее участие в таких делах. Впоследствии, уже после переворота, [«Время»] сообщало слух, что каким-то офицерам стало документально известно, что в среде лиц, окружающих Императрицу, велись переговоры с Берлином об отступлении наших войск от Риги. Эти офицеры сообщили о документе Родзянке, который, не сообщая Госуд[арственной] думе, сообщил Императору. В ответ на это последовал Указ о роспуске Думы. С этого и началась история восстания» (14, с. 326–327). Интересные цепочки выстраивались в массовом сознании: бессилие армии – измена «темных сил» – императрица, слухи – докумен-

тальные известия – пресса – слухи – объяснение событий, измена – императрица – революция.

Возникает вопрос: почему тема измены сфокусировалась на императрице? Не в последнюю очередь потому, что для народа она осталась «немкой» – чужеродным, «пришлым» элементом во власти. «Немец» – это чужой, т.е. потенциальный изменник. За немецким мотивом проглядывает подсознательная тяга к «своей», «русской» власти – понятной, предсказуемой, народной, живущей в соответствии с «почвенными» понятиями. Была и другая причина: Александра Федоровна – *символ привластных сил, на которые традиционное сознание списывало (и списывает) вины и ошибки верховной власти. Ее самое нельзя обвинить в измене* (т.е. в невыполнении традиционных обязательств перед народом – кормить, защищать, опекать, направлять и воспитывать) – *во всяком случае, пока она является Властью. Объект обвинений ширит рядом с ней*. В народной слуховой коммуникации это проявилось вполне отчетливо: «Никто не подвергается... обвинениям сильнее Императрицы, – фиксировал в январе 1917 г. Л. Тихомиров. – Против нее говорят ну буквально все. Но этим подрывается доверие и к самому Государю, хотя тут уже полное неверие принимает иную форму, а именно – что он окружен изменой и не умеет этого рассмотреть» (14, с. 330).

В привластной среде общественное мнение постоянно обнаруживало (и обнаруживает) не только «бояр-изменников», но и «семью» – родственников и лиц из окружения власти, которые заявили о себе как о силе. Их всегда порицали – за властные претензии, желание умалить власть, сбить ее с «истинного пути». Влияние императрицы расценивалось как вредное («темное») уже потому, что она пыталась влиять, т.е. покушалась на традиционный – самодержавный – алгоритм властвования. *У власти – попечителе о народе – не могло быть (явного, публично опознанного) «водителя»*. Александра Федоровна пострадала за близость к Власти, за попытку модернизировать традиционную роль царской супруги, а вместе с ней – отношения Власти и семьи, Власти и ее окружения.

Отношение к ней, в ходе революции ставшее почти всеобщим, характеризует фраза из дневника Л.Н. Тихомирова (2 марта 1917 г.): «Я думаю, что основная причина гибели Царя – его ужасная жена. Но, конечно, не погибать стране из-за нее... А он был под башмаком» (14, с. 349). Революция против (измены) императрицы – смехотворное, фантазмагорическое, примитивнейшее объяснение падения монархии. Однако в социальном порядке, где царь был (точнее, казался) всем, где Власть являлась системообразующим элементом, это действительно все объясняло и всех (ошибавшихся, предавших, равнодушных) оправдывало.

В конечном счете *переведенная народным мнением в разряд реальности двойная измена императрицы означала двойное же падение персо-*

нификатора власти: как мужа и как монарха. Роль царицы в этой символической операции исключительно инструментальная: ее «измены» «убеждали» подданных, что власть изменила самой себе, лишившись какого-то высшего обоснования. Однако всеобщая измена изменившейся власти – это, повторю, факт постфевральской реальности, в которой антимонархизм стал публичным и социально поощряемым (а потому и всеобщим) настроением. Отречение от власти для русских вообще возможно только тогда, когда состоялось отречение власти. Иначе остаются сомнения: вдруг власть все пересмотрит – отменит измену, вернет сакральность, т.е. «загрозовев», покарает всех и за всё. В конечном счете российские подданные устроены так, что, даже замахнувшись на власть, продолжают сомневаться: а хватит ли у них сил на расправу с нею? Другое дело, если она сама им поможет. Тогда вопрос снимается – расправа начинается.

Убийство самодержавия: Ликвидация образа власти и ее носителей

Расправа над Романовыми есть проявление революционного насилия – над тайной частной, семейной жизни, над государственной тайной, наконец. Лидеры Февраля на такое насилие были готовы – чтобы «заклеймить» «старый режим» (инструментом здесь служила Чрезвычайная следственная комиссия Временного правительства), разрушить (опорочить) идеальный образ власти, соответствием которому (среди прочего) держалось самодержавие. Ведь *пресловутые «царистские иллюзии» крестьянства суть его представления об идеальной власти. Идеал необходимо было вывалить в грязь, приписать ему любые грязные мотивы или извращения.*

Ясно, как реагировали на все это представители царской фамилии. В чрезвычайно сдержанных и корректных дневниковых записях последнего императора есть замечание, что он ничего не знает о матери, кроме «глупых или противных статей в газетах» (15, с. 634). Более определенно высказался «бывший великий князь» Дмитрий Павлович, пытавшийся «спасти» монархию устранением ее «злого гения», в одном из личных писем 23 апреля 1917 г.: «...одна фамилия “Романов” теперь синоним всякой грязи, пакости и недобропорядочности» (21, с. 229). Российские самодержцы – это перестало звучать гордо.

Когда насилие свершилось, покровы сдернули, ничего преступного, страшного, позорного под ними не оказалось. Власть была невиновна в том, в чем ее обвиняли: семейных пороках и изменах, попрании национальных интересов, стремлении к сепаратному миру. Даже убеждение во властном параличе, в который «уверовало» общество, не соответствовало действительности. Николаевская манера управления, создававшая ощущение

ние несприсутствия власти¹, только выигрывала в сравнении с митинговым, демонстративным, чрезвычайно политизированным стилем администрирования вечно спешащих, утомленных, изнемогавших под властным бременем «временных» министров, сменивших императора. Николай Александрович вовсе не был безвольным, недалеким, бездушным и неэффективным правителем, а Александра Федоровна – порочной, распутной немкой (здесь, кстати, очевидна историческая связь с образом Екатерины II, который прикрывал и оправдывал как пугачевское самозванство, так и дворянские леность и развращенность). Иначе все было бы слишком просто.

Нашли то, что всегда можно обнаружить в России: привластные силы и влияния, ничем не ограниченный эгоизм «людей в случае», махинации и хищения, бюрократический «идиотизм». Но все в пределах русской нормы. Об этом потом писал И.А. Бунин: «Нападите врасплох на любой десятый дом, где десятки лет жила многочисленная семья, переберите или возьмите в полон хозяев, домоправителей, слуг, захватите семейные архивы, начните их разбор и вообще розыски о жизни этой семьи, этого дома, – сколько откроется темного, греховного, несправедливого, какую ужасную картину можно нарисовать, и особенно при известном пристрастии, при желании опозорить во что бы то ни стало, всякое лыко поставить в строку! Так врасплох, совершенно врасплох был захвачен и российский старый дом. И что же отрылось? Истинно диву надо даваться, какие пустяки открылись! А ведь захватили этот дом как раз при том строе, из которого

¹ Характерна реакция З. Гиппиус на арест «бывшего» императора: «Какая роковая у него судьба. Был ли он? Он молчаливо, как всегда, проехал тенью в Царскосельский дворец, где его и заперли» (10, с. 486). Через несколько дней она как бы отвечает самой себе: «Этот офицер был – точно отсутствовал. Страшно *был* – и все-таки страшно *не был*» (10, с. 493). Высоко ценившая себя культурная элита приняла бы только гения власти – как того, кто ей под стать. Власти иной она признавать не желала – ее не было. Это одно из интеллигентских убеждений, оставленных нам в наследство. Для народа при оценке власти имело значение другое. Обыденные народные представления о царской работе, до революции находившие отражение только в сказках и слухах, можно охарактеризовать фразой из детского мультфильма: «Должность у меня такая – только и делай, что ничего не делай» (Царь из «Вовки в Тридевятом царстве»). В соответствии с этим народным убеждением приведены советские исторические исследования. Да и в большинстве современных работ Николай II рисуется этаким «уклонистом», ищущим только повода (дрова порубить, ворон пострелять), чтобы увильнуть от «настоящей» работы. Оправдательной легендой напряженного, доводящего до изнеможения труда, требующего совершенного отречения от себя, в полной мере обеспечена только ленинско-сталинская власть. Через нее «трудовую» легитимацию получила вся советская. Оттого она и «народная» (не противостоит народу – как «белоручка», «неумеха»). Отголоски слышны в народном мнении о В.В.Путине – его надо пожалеть, ведь ему так трудно. Можно констатировать: идея тяжелого, изнурительного труда, который сродни физическому (а значит, отсутствие результата можно оправдать неблагоприятными внешними условиями – разного рода чрезвычайными ситуациями, от финансового кризиса до природной стихии), присутствует в идеальных образах русской власти. Сквозь ее призму оценивалась (и оценивается) власть реальная.

сделали истинно мировой жупел. Что открыли? Изумительно: ровно ничего!» (8, с. 208–209).

Однако для постреволюционной России это было несущественно. *Разоблачение монархии превратилось в требование времени – и то, как оно происходило, больше говорит об эпохе и о людях, в ней живших и действовавших, чем о самой монархии.* С «николаевским самодержавием», царской четой расправились – сначала, правда, информационно-символическими средствами, но с предельной жестокостью. В русской истории нет настолько опороченного монарха, как Николай II. *Что стоит за негативным образом старой власти, созданным Февралем? Представления (и общества, и народа) о властном антиидеале. Под него и «подвели» павшую власть.*

Всеобщее осуждение последнего монарха означало не просто сброс на него вины (всех исторических вин романовского самодержавия, привилегированных слоев) и ответственности (за гибель старой России, крах европеизированной культуры «верхов»), но сброс памяти русской монархии и о русской монархии. Она не «сошлась», не совпала с массовым обществом в России. Точнее, *масса народонаселения, совершив прыжок из «общества избранных» в «общество всех», отринула монархию за ненужностью – как знак социальной и культурной неоднородности.* Ее уникальный образ растворился, канул в небытие: исчезли не только внешние атрибуты (вся ритуально-декоративная, «имиджевая» часть), но и был пересмотрен традиционный (обычный, привычный) алгоритм властвования.

Пожалуй, наиболее показательно то, как трансформировались в постмонархической власти начала европейское (имперско-петербургское, «антипочвенное») и «иконическое» («старомосковское»), воплощавшие характерный для русской культуры параллелизм Царя и Бога. Из этих начал ушел тот смысл, который был определяющим для образа монархии. Потом, конечно, эти черты проявятся в образах советской и постсоветской власти, но совсем в ином виде. Так, «почвенное» начало надолго вытеснит европейское, а европеизм позднесоветской власти, которым она станет прикрывать свое естество, окажется целиком импортным, т.е. в значительной мере искусственным. Трансцендентное же начало совершенно преобразуется – в направлении дехристианизации (но не десакрализации), нарастания магического, сверхъестественного и идеологического¹. Показательно, что обращение современной власти к христианской

¹ Как писал Э. Морен, «высшее назначение на вершущу Аппарата обязывает быть не только руководителем, который в Советском Союзе принял образ и Цезаря, и царя, но также Магом и Папой: культ Генсека, конечно, не был порожден творящим собственный культ Аппаратом, но, безусловно, был им стимулирован... Этот культ охватывает всю партию, растет и усиливается по мере подъема по ступеням аппаратной пирамиды, достигая апогея в идиолопоклонническом культе и обожествлении личности Генерального секретаря» (28, с. 81, 83). Культ персонификатора советской власти вырос на фоне коммунизма, кото-

традиции имеет, скорее, имитационный, нигилистический (отрицающий прежнее) и компенсаторный характер.

В то же время революции 1917 г. потребуют чрезвычайного усиления в образе постсамодержавной власти черт народности (в смысле: «вышли мы все из народа» и публичной демонстрации этого факта), социальной справедливости (от власти ожидали, что она возьмет на себя миссию справедливого социального «поравнения» по принципу «черного передела», – и она должна была отвечать этим ожиданиям), а также военно-полицейского, насильственного, даже репрессивно-деспотического начала (чтобы усмирять, сдерживать народ, который в Смуту себя же научился бояться и надолго испугал власть). Сверхвысокая концентрация этих характеристик в новом властном образе как бы компенсировала, возмещала утраченное.

Что же касается персонификатора образа, то его судьба глубоко символична. По существу, о нем забыли – такова судьба низвергнутой власти в России. *Покинув магическое властное пространство*, лишившись какой-то волшебной (в понимании русских) силы, которую давала власть, *он превратился в ничто*. После Февраля Николая Романова уничтожили как властный символ, определяющий знак старой России. Бывший император Николай Александрович как человек никому не был интересен. Более того, как бывшая власть он был презираем.

В то же время сталкивавшиеся с ним «деятели нового режима» (ярчайший тому пример – А.Ф. Керенский) впервые отдавали ему должное. Во-первых, как личности – порядочному, воспитанному человеку одной с ними культуры. Во-вторых, как павшему величию, сохранившему достоинство и не униженному своим положением. Бывшие подданные наконец-то смогли оценить бывшего императора. Осенью 1917 г. стремительно десоциализовавшиеся «верхи» впервые критически взглянули и на время, которое Николай Александрович олицетворял, и на свою в нем роль¹. С того момента начинается тоска по утраченному, отход от линии на демонизацию николаевского самодержавия. Но только для «бывших».

Однако тоска по былому не явилась двигателем реставрации. И не могла стать. Здесь требуется большее – солидаризация вокруг общей цели, готовность действовать и организационный центр. Но до Октября 17-

рый, по словам Э. Морена, предстал «то как Истина экономическая, то как Истина политическая, то как Истина религиозная, то как Истина историческая, то одновременно как все они вместе взятые, как само Спасение» (28, с. 196).

¹ Тому способствовала ситуация «кануна Октября», по-иному высветившая «старый порядок». Вот что сообщают о ней корреспонденты Петросовета: обыватель «в революции и в республике разочаровывается... Говорят уже о превосходстве старого строя, превосходстве монархии, так как был порядок»; «Я всегда был далек от политики, но откровенно скажу, что при Николае II жилось спокойнее, справедливее и устойчивее» (цит. по: 3, с. 10).

все (политики, военные, придворные и др.) были заняты исключительно собой. И потом оказалось, что никто из «бывших» не нуждался в монархии как в политическом ориентире. Напротив, реставрация – как либералам, так и социалистам – казалась опаснее любой леворадикальной угрозы. Образ прошлого – тиранического самодержавия, карающего за неповиновение и ограничивающего общественную самостоятельность, – определял социальные перспективы.

Показательно, что никто не предпринял хотя бы попытки (всерьез – какими-то силами, планомерно) освободить царскую семью. Их возили по всей России как обременительный и опасный груз, который пока не нужен, но может пригодиться. Когда подошло время, от груза избавились. *Только с этого момента новая (теперь уже большевистская) власть переставала быть временной.* В слепом ужасе, которым сопровождалось убийство венценосцев, проглядывает та же примитивно-животная логика, что отличала действия разинцев, пугачевцев и др. в отношении помещиков и их семей: «побить... всех до смерти», «самосуды с убийством всей семьи... включая детей» (4, с. 142–142, 202–203). Тем самым исключалась сама возможность возвращения старого, прежние связи обнулялись, прерывались наследственные, преемственные с прошлым линии. Новые же связи завязывались на крови, всех и повязавшей (новый мир был заквашен на кровавой круговой поруке, которую питала новая («свежая») кровь)¹.

Просматривается в этом акте и другой, предельно высокий смысл: так была поставлена точка в процессе десакрализации монархии. Царская история закончилась убийством не помазанника даже, но – Христа, Творца системы (речь, заметьте, идет не о конкретном человеке, а о центральном смыслеобразе власти, обеспечивавшем ее воспроизводство). Дальше была предпринята попытка, говоря высокопарным языком, устроиться без Христа на земле. И тут в дело вступал народ со своими «властнoуполномоченными»: десакрализация власти компенсировалась его сакрализацией. Революция, получившая предельно высокую легитимность с убийством традиционной власти, превращала народ в единственный сакральный объект. Теперь новая революционная власть в поисках сакрализующей подпитки должна была обращаться к нему: высшая санкция власти – в ее «народности», соответствии народным идеалам и защите народных интересов. Сам же народ приступил к Страшному суду на земле, искореняя своих врагов².

¹ Пролитая кровь жены и детей павшей власти стала своего рода санкцией на убийство других жен и детей – сначала «бывших», потом «кремлевских жен» и «детей Арбата». Здесь надо искать обоснование сталинского репрессивного законодательства (в том числе о расстреле детей с 12 лет). Если позволительно убить тех, кто был кровно связан с Помазанником Божиим, то снимаются ограничения на убийство вообще.

² Это вовсе не метафора. Речь идет о своеобразном, псевдорелигиозном понимании (и воплощении) христианской формулы. Революция воспринималась народом не только как светлый праздник Воскресения, построение рая на земле, о чем много пишут. Револю-

Сначала – сам, потом – руками посредника, народной власти. Тем самым переброял на нее всю ответственность, оставившись хоть и бессубъектным, зато безгрешным.

Монархию, сакральную русскую власть вывели «под корень», безжалостно уничтожили. С этого, по существу, начался советский мир, этим утверждались его новизна и право на жизнь. *Это обозначило границы его «нормальности».* Именно в рамках этой нормы следует оценивать восприятие советским обывателем казни самодержцев (и самодержавия). Бывший премьер и министр финансов В.Н. Коковцов вспоминал о том, какую реакцию вызвало сообщение об убийстве императора (о гибели всей царской семьи объявлено не было), появившееся в большевистских газетах в 20-х числах июля 1918 г.: «На всех, кого мне приходилось видеть в Петрограде, это известие произвело ошеломляющее впечатление: одни просто не поверили, другие молча плакали, большинство просто тупо молчало. Но на толпу, на то, что принято называть «народом», – эта весть произвела впечатление, которого я не ожидал. В день напечатания известия я был два раза на улице, ездил в трамвае и нигде не видел ни малейшего проблеска жалости или сострадания. Известие читалось громко, с усмешками, издевательствами и самыми безжалостными комментариями... Какое-то бессмысленное очерствение, какая-то похвальба кровожадностью. Самые отвратительные выражения: «давно бы так», «ну-ка – поцарствуй еще», «крышка Николашке», «эх, брат, Романов, доплясался» – слышались кругом, от самой юной молодежи, а старшие либо отворачивались, либо безучастно молчали» (23, с. 393).

Эта реакция, показавшаяся Коковцову совершенно ненормальной, вполне соответствовала новой – постреволюционной, раннесоветской – норме. Она есть следствие *естественной народной эволюции – от уничтожения властных лиц до одобрения расправы с властным персонификатором.* Это было ожидаемое народом событие: так и должно было быть.

ция реализовалась и как мистерия Страшного суда над царем, помещиками, буржуями, «барями»-угнетателями – всеми врагами трудового народа. Суд продолжался, пока в основном не удалось добиться социальной однородности. Тогда и социализм победил («в основном»). А все, что было до этого (1917 – конец 1930-х годов), – это перманентная («почвенно»)-большевистско-сталинская (а в общем – народная) революция. После нее наступил относительный социальный мир (насколько возможно для той системы). Нечто подобное было во Французской революции, но не приобрело таких масштабов. Кроме того, во Франции в качестве «посреднических структур» (своего рода чистилища) выступали революционные суды. В России расправа вершилась без псевдоправового посредничества, самочинно и без промедления. И это объяснимо: в нашей религиозной культуре роль чистилища незначительна; основную смысловую нагрузку несет процесс «исполнения». В процедуре (доказательства вины, защиты и т.д.) не видели смысла. Наказание в народной обычной правовой традиции приходило через самосуд, подкреплявшийся извращенной идеей Божьего суда (сама его Правда – в отсутствии процедуры и «скоросудности»), а приводящие в исполнение выглядят как исполнители высшей воли – не Бога уже, а Народа).

Образ насильственной гибели старой власти прочно вошел в «видеоряд», определявший новый мир и служивший его самоидентификации.

Кстати, в конструировании образа «убиенного», «мертвого» самодержавия очевидна преемственность между пред- и постфевральскими, а также послеоктябрьскими временами. Впервые образ возник в среде общественников – будущих февралистов. Так, в переписке кадетских лидеров осенью 1916 г. звучала уверенность, что «к Новому 1917 г. будут торжественные похороны самодержавия. Похороните где-нибудь на Волковом кладбище, только подальше от Литераторских мостков» (цит. по: 9, с. 258) (последнее замечание символично: «позор» России не должен был находиться рядом с тем, что составляло ее славу). После Февраля образ похорон монархии стал публичным; в его поддержке сплотились массы. В этом смысле показателен такой эпизод. Весной 1917 г. на одном из «праздников свободы» в Липецке находившийся там пехотный полк устроил «торжественные похороны старого строя». Под звуки «Марсельезы» при большом стечении народа был сожжен специально изготовленный черный гроб с надписью «Вечное проклятье дому Романовых». Затем полк в сопровождении колонн штатских участников церемонии с музыкой, красными флагами и плакатами прошел через весь город (24, с. 42). Навязчивый образ гибели романовского самодержавия сопровождал Февраль; Октябрь его материализовал, физически уничтожив монархию.

Описание постоктябрьских «лик» павшего самодержавия находим у И.А. Бунина. В мае 1919 г. в Одессе, на Дерибасовской появились «новые картинки» «Агитпросвета» на стенах: матрос и красноармеец, казак и мужик крутят веревками отвратительную зеленую жабу с выпученными буркалами – буржуя; подпись: «Ты давил нас толстой пузой»; огромный мужик взмахнул дубиной, и над ним взвила окровавленные, зубастые головы гидра; головы все в коронах; больше всех страшная, мертвая, скорбная, покорная, с синеватым лицом, в сбитой набок короне голова Николая II; из-под короны течет полосами по щекам кровь...» (8, с. 207, 213–214). Это антиобраз, поруганная святыня – то, что противо(и вне-)положно священным ликам. Подобные «видеоизображения» использовались молодой советской властью в качестве пропагандистского инструментария: орудия пропаганды нового мира. В них же отражалась его суть.

Подозрения же в симпатиях самодержавию, «монархический душок» стали главным обвинением революционного (постфевральского) времени. Вот что вспоминает И.А. Бунин об одном из своих уличных столкновений (начало мая 1918 г. в Москве): «Студент кричал на меня: “Николаевщиной пахнет!” – науськивал на меня. Злоба, боль. Чувства самые черносотенные» (8, с. 81). *Бунин обнаружил удивительную, непонятную для тогдашнего интеллигентного русского слуха связь: антимонархизм–черносотенство.* В ходе революции черносотенство сменило окрас,

превратившись из «белого» в «красное». Однако в нем ничего не изменилось по существу; оно осталось глубоко антикультурным, агрессивнопогромным, естественнопервобытным настроением¹. «Николаевщина» – это знак принадлежности к «старому режиму», вызывавший глухую «черносотенную» ненависть. Заметьте: речь шла не о классовой или политической принадлежности (а значит, и не о «классовой» только ненависти). Имелась в виду культурная связь со старым порядком.

Подозрения в «николаевщине» (контрреволюционности, чуждости) адресовались в новой России всем людям «старой» культуры – читай: культуры вообще. Фактически *это подозрения в интеллигентности* – приверженности плюрализму и ненасилию (говоря по-большевистски, мягкотелости), образованности (а не «образованщине»), много-, разно- и свободомыслию, внутреннем (и внешнем) несоответствии большинству народонаселения, т.е. *своего рода культурной избранности*. «Антиниколаевщина»/антиинтеллигентщина – это линия «шариковых»/«швондеров» в русской революции. Победившая в ней линия, вокруг которой произошла консолидация народа.

В перспективе убийства, «справедливой» ликвидации старой власти и всего старого мира воспитывались новые поколения. В «Комсомольской правде» начала 1930-х годов было напечатано стихотворение молодого поэта – своего рода «вводная» к школьной экскурсии по Ипатьевскому дому: «Ты можешь быть сердцем покоен, / Иди, любопытствуй, глазами: / Здесь были монаршьи покои, / А ныне – рабочий музей. / Смотрите и радуйтесь, дети, / Запомните: / Этот подвал / Могилой державных столетий, / Ступенью в грядущее стал» (цит. по: 17, с. 111). В этом символическом опусе нет темы преступления, связанной с исторической виной и ответственностью. Напрочь отсутствовала она и в социальной среде.

Убийство самодержца как главный символ отречения от прошлого стало почвой для формирования социального оптимизма. Потом оно вообще забылось; т.е. то, что оно было, помнили, но никто – ни власть, ни народ (за незначительным исключением) – не придавал ему никакого зна-

¹ О разных типах черносотенства вскоре после революции 1905 г. писал П.Б. Струве: «Сущность и белого и красного черносотенства заключается в том, что образованное (культурное) меньшинство народа противопоставляется народу, как враждебная сила, которая была, есть и должна быть культурно чужда ему. Подобно тому, как марксизм есть учение о классовой борьбе в обществах, – черносотенство обоих цветов есть своего рода учение о борьбе культурной» (41, с. 16). Струве указал также на «духовное единство» народного черносотенства и «черносотенного социализма» эсеро-большевистского образца. Их объединял дух «культурной» борьбы, т.е. отрицание культуры, порожденных ею сложных форм. Показательно, что о «разрушительной энергии... реакционного и революционного черносотенства» почти в то же время писал и С.Л. Франк (46, с. 320). Видимо, черносотенство – одна из важных тем нашей революции; именно это – элементарное, изоляционистское, архаичное – начало в ней и возобладавало (см. об этом: 34, с. 337–346).

чения. Это своего рода *социально деморализующее забвение* – отречение от преступного в себе. В таком контексте снос Ипатьевского дома выглядит как попытка обойти тему исторической ответственности, причем совершенно по-советски: стиранием памяти о событии, уничтожением связанного с ней материального объекта – так, как будто ничего не было.

Социальная память о позднем самодержавии: Николай Кровавый как символ слабой власти

Кажется, эта тенденция победила в сегодняшнем отношении к Николаю II (и всей царской семье), точнее, к памяти о позднесамодержавной власти. Эта память базируется на явно антиисторической установке: давайте допустим, что ничего не было. С нее, как это ни покажется парадоксальным, начинается народно-церковная память: моления о венценосных страстотерпцах лишь опосредованно связаны с фактом убийства конкретных людей. Новообращенное общество с легкостью приняло искупительное решение церкви, утверждая тем самым свою новизну (заявляя, что оно – уже не советское). В то же время память о почитаемых церковью властных мучениках¹ отделена от памяти о последних Романовых, нагруженной в основном негативными смыслами. В ней по-прежнему нет того, что должно ее определять – тем преступления и наказания, палача и жертвы. Постсоветская Россия выбрала память, предохраняющую от действительности, защищающую от нее.

С установки «как бы ничего не было» начинается и память о монархии как социальном явлении. В ней по-прежнему доминирует стремление преступностью (глупостью, неадекватностью, несамостоятельностью, бессилием) самодержавия объяснить события начала XX в. Содержательно в нашей памяти революция определяется крахом государственности, а не аннигиляцией личностного начала, трагедией человека, разрушением культуры, последовательно преемственных исторических связей. Поэтому Николая II и обвиняют в преступной слабости, предопределившей распад самодержавной системы. Он – лишь системный элемент; с системных позиций рассматривается и факт его убийства. «Человеческое» (гуманное и гуманизирующее) измерение в нашей памяти отсутствует – и это явное наследие советского. Как и абсолютное равнодушие, нечувствительность к трагедии, восприятие ее как чего-то постороннего, с нами лично не связанного. *Это память, дезориентирующая в моральном отношении. В ней совершенно нейтрализовано критическое начало.*

¹ Кстати, сам образ царя-мученика плохо согласуется с традиционными представлениями об идеальной власти. Он вызывает ассоциации с проигравшей властью, а наша власть – в идеале – не может быть лузером.

Не возбуждая потребности в социальной самокритике, память о последнем самодержце выполняет другую (важнейшую для нашей культуры) функцию – критики власти. Она выводит на тему, все еще остающуюся для нашего общества одной из центральных, – тему сильной/слабой власти. В ней (в отличие от памяти народа о себе) явно присутствует нравственное измерение. В представлениях социального большинства моральна (и исторически оправдана) сильная власть. Видимо, только через нее возможна наиболее полная (в смысле соответствия идеальным представлениям о себе) самореализация народа.

И это удивительно: ведь пару «сильной» власти составляет «покорный» народ. Получается, что наш народ в идеале представляет себя покорным – смиренным, безмолвным, бессильным, иначе говоря, жертвой. Архетипу силы сопутствует архетип покорности. Подтвердив свое право на субъектность насильем, русская власть всегда получала народ, готовый быть объектом ее воздействия. Так строились отношения в рамках – не идеального, а вполне реального – властенародия. Таково согласие по-русски, гарантирующее социальную стабильность.

Готовность народа на объектность/покорность можно объяснить с двух позиций. Известный путешественник Г. Стэнли, способствовавший в конце 1870 – начале 1880-х годов передаче земель центрально-африканских племен под протекторат бельгийского короля, как-то заметил: «Дикари уважают только силу, мощь и смелость»¹. А вот еще одно наблюдение – простого русского человека (в передаче А.С. Изгоева) об отношении масс к большевикам: «Русскому народу... только такое правительство и нужно. Другое с ним не справится. Вы думаете, народ вас <кадетов> уважает. Нет, он над вами смеется, а большевика уважает. Большевик его каждую минуту застрелить может» (18, с. 42). В массе своей российский народ в начале XX в. понимал и уважал только силу (во многом таков он и теперь). Для того чтобы научиться уважать что-то другое, необходим длительный процесс окультуривания, просвещения (а он предполагает не только овладение грамотой, хотя к этому и свели в СССР культурную революцию). Следует учитывать, что в России культурные импульсы всегда поступали «сверху»: власть выступала в роли колонизатора, цивилизуя свой народ в режиме «эффективной оккупации» (применялся колонизаторами в Африке в конце XIX в.). Освобождение от властной опеки (в ходе революций начала и конца XX в.) сопровождалось внутренними процессами раскультирования, сбрасывания с себя оболочки цивилизованности. Проводниками этих процессов становились и новые люди во власти (точнее, новая власть).

В то же время сила власти не только унижала народ, подчеркивая его бессубъектность, но и возвышала. Напомню: в рамках идеальной ком-

¹ См.: Stanley H.M. In Darkest Africa. – L., 1890.

муникации «власть» – «народ» две эти противоположности сливаются в неразделимую целостность, единство. По народному мироощущению, образ персонифицированной власти есть проекция собственного образа. И здесь возникает другая пара: сильная, победоносная, торжествующая над миром (временем и пространством) власть – сильный, «избранный» народ. Только через мощную (даже деспотическую) власть возможна символическая консолидация атомизированного социума в общность, которая в силах противопоставить себя остальному миру и даже подчинить его своей воле. Поэтому так падок русский мир на властную силу; она дает ему ощущение субъектности (обретается субъектность не на путях индивидуализации, как в европейской культуре, но, напротив, – массивизации, подавления конкретного «я» во имя мощного, победоносного «мы»).

Это объясняет, отчего русский народ постоянно (и до сих пор) тестирует свою власть на силу/слабость, т.е. на соответствие собственным идеальным о ней представлениям (о функциях идеальных образов власти в российской политической культуре и их содержательном наполнении см., например: 29, с. 9–28, 34–59 и др.)¹. В переломные моменты, требующие сверхвысокого социального напряжения (а такой была Первая мировая

¹ Идеальные образы, выработанные социумом в процессе исторического существования, суть ориентиры для массовых оценок власти, формирующие – на глубинном, медленно и плохо перестраиваемом уровне – ее восприятие и идеализированные ожидания от нее. Это своего рода социальная оптика. Являясь базовым элементом картины внешнего («большого») мира (идеальные/должные, эталонные/нормативные), образы власти служат основанием для организации коммуникации «власть»–«общество». Термин «образы» указывает как на властные репрезентации, так и на отражение власти в сознании подданных/граждан. Следует особенно подчеркнуть коммуникативный аспект их создания и преемственность или, иначе говоря, некую историческую заданность (в образах современной власти, обладающих высокой степенью согласованности и цельности у разных представителей данной культуры, очевидны отсылки к идеальным образцам). К примеру, «сила» (понятие, общее в лексиконе современной власти и социального большинства) – архетипическая черта образа власти, а потому важная политико-культурная категория. Глубинные, берущие начало в «коллективном бессознательном» образы определяют коридор возможностей властной имиджевой активности (т.е. процесса «производства» массовых репрезентаций) и восприятия массовым сознанием реальной власти. Они могут быть как ресурсом власти, так и орудием борьбы против нее. В современной России «опорные» образы власти в большинстве своем имеют традиционный, а то и вовсе архаичный характер. Высокая степень их сохранности (непроработанности современностью) есть одновременно показатель и причина странной, на европейский взгляд, несовременности нашей власти и массовых представлений о ней. Понятно, насколько архаичными были представления о власти социального большинства (массы крестьянства прежде всего) в начале XX в. Суммируя их, можно говорить о господстве подданническо-парохиальной политической культуры, с которой плохо сочетаются эксперименты по тотальной демократизации. Весь «исторический контекст», «социальный ландшафт» столетия работал на закрепление комплекса «сильной» власти, рождая, однако, в компенсаторном порядке и «перестроечные» реакции. *Главная из них – установка на ослабление репрессивного максимализма власти как социальный ответ на сталинизм.*

война), сравнение с идеалом становится определяющим механизмом оценки власти. И здесь выявляется следующая закономерность. Именно слабая (не грозная, не насильническая, не карающая) власть подвергается десакарлизации, унижается и опорочивается. Так она наказывается, расплывается за свою слабость. И это, по народным понятиям, справедливо. *Быть слабой – самый страшный грех Русской Власти. По греху – и расплата.*

Ощущение слабости (т.е. не всемогущества, ограниченности) верховной власти ставило (и ставит) под сомнение традиционное народное убеждение в ее сверхъестественных возможностях, тотальности. В понимании подвластных, это главное основание для развенчания, десакарлизации, символического понижения традиционного статуса власти как источника и гаранта социального порядка. Властная слабость рассматривается как нарушение нормы и угроза традиционным отношениям «власть–народ» (точнее: выполнению обязанностей идеальной власти в отношении народа как объекта ее забот). Слабая власть не способна дать «укорот» своему народу, сдержать его от грехопадения или покарать за него – справедливым наказанием как бы снять вину. Она не может и воздать «врагам народа», нарушающим естественное течение его жизни. Такая власть *не в силах выполнять функцию правосудия, которой ее наделило традиционное сознание – быть земным судьей народа* (качать за жизнь «не по правде» и миловать, наставлять на праведный путь), *защищать его от любых угроз, соблазнов и искушений*. Для реализации обязанности «правосудия» нужна не обычная (управляющая: бюрократ, менеджер), но наделенная Божественной харизмой власть.

Именно на соответствии этой функции держалась внутренняя связь самодержавия с народом – и традиционный («правильный») социальный порядок, в котором власть отвечала за все (и за сам народ), а народ оценивал, какой она ответчик и оправдана ли покорность ей. В рамках этой символической коммуникации идеальная общность – народ, внешне как бы обрекая себя на бессубъектность, делегировала власти место моносубъекта русской социальности. *А моносубъект является лишь в сакральном ореоле.*

Народное влияние на властные отношения в России заключалось в том, чтобы подчинить власть своим о ней представлениям – заставить ее если не быть, то хотя бы казаться такой, какой ее хотели видеть. *«Низы», исключенные из реальной политики, желали присутствовать в ней на уровне ментальном, культурном. То была плата власти за их бессубъектность.* Демонстрация монархией своей самостоятельности, независимости – от народного контроля на соответствие идеалу – расценивалась как нарушение традиционных обязательств. В этом случае народ отказывался от

своих – верить во власть. Вследствие этого померк сакральный ореол самодержавия.

Падение монархии в ходе революции «верхов» расчистило пространство для «низовой» активности. Восставшие массы попытались подчинить весь мир своим представлениям о нем, заставить всё и вся жить по «своим понятиям». «По-свойски» «разобрались» и с властью, которую уже ничто не мешало признать «антинародной». За неспособность справиться с обязанностью «правдосудия» уже народ осудил власть (призвал ее к ответу) – и покарал «по всей строгости». При этом поменялся субъект «правдосудия»: народ захватил право быть таким Высшим Судией, лишив власть ее моносубъектности. В конечном счете, народная расправа над властью – ответ на ее неспособность расправиться с народом (т.е. быть вечным народным судьей). Уже поэтому расправа, с массовой точки зрения, справедлива. Правда, осудить по высшей мере удалось единственный раз в русской истории – в 1917–1918 гг. Это ник торжества русского народа над своей супер-властью. Поэтому 1917 год – в его позитивном контексте – невозможно изъять из народной памяти.

Но приканчивая – не символически (всеобщим недоверием и осуждением) только, а физически – «неправедную» власть, народ разрушил сложившийся (динамичный и внутренне конфликтный, но все-таки) порядок, в рамках которого удавалось совмещать волю власти и народную волю, примирять желание «сверху» подчинить народ и народную потребность в анархической свободе и самоорганизации. Уничтожение самодержавия (т.е. установление безвластия) раскрутило пружину народного бунта, безответственного и самоубийственного по своей природе. Некому стало подчиняться – и русские люди пошли бунтовать.

Парадоксальная вещь: в оценках качества позднего самодержавия мы (простой обыватель и большой исследователь) следуем простонародной логике¹. А ведь она примитивна и уже потому принципиально порочна. И то, что она реализовалась на практике – не в рамках одной деревни, а в масштабах всей страны, – ее порочности не отменяет. События начала XX в. демонстрируют: качество власти и перспективы ее отношений с обществом определяются не идеальными представлениями, народными комплексами и фобиями, неустойчивыми ситуативными оценками. Несоответствие власти «почвенному» идеалу не дает оснований характеризовать ее как социально неэффективную. Скорее, наоборот. Если освободиться от

¹ Прочитую В.П. Булдакова: «...социальное согласие в России могло исходить только от внутренне уверенной в себе и сильной власти. Этого уже не было»; Николая II «попросту перестали бояться и уважать; он перестал воплощать идею властвования»; последний император – в разных случаях и по различным поводам – жертвовал «сакральной образом самодержавца». В результате самодержавие «предстало вконец омарзевшим», а самого Николая «стали презирать» (7, с. 48, 49, 51, 53).

навязчивого давления протонародной логики, становится очевидным следующее.

Ослабление самодержавия, так очевидное в эпоху Николая II, означало его уход от моносубъектности, избавление от насильнического (деспотического, тиранического) комплекса¹, а также изменение традиционного алгоритма властвования, где власть сращена с лицом. Разведение же персонификатора с властью предполагало заполнение властного пространства правовыми процедурами. Происходила революция во власти, в ходе которой она преобразовывалась по европейскому образцу (см. об этом: 36, с. 118–131). Николай II персонифицировал и символизировал эту революцию (причем, даже внешне – раздражая своей неопределенностью, обычностью, «негрозностью»). Видимо, властная перестройка была неизбежна: для самодержавия пришло время стать более современным, по форме и по существу. Последний монарх (не по своей воле, даже внутренне сопротивляясь) эту тенденцию воплотил.

Слабость (по русским меркам) николаевской власти не предрекала неизбежной гибели самодержавной системы. Напротив, в ней заложен шанс на ее преобразование (прежде всего, на развитие – в гражданском отношении – русского общества). Революция против власти этот шанс похоронила, уничтожив и монархию, и самое общество в том виде, в котором оно сложилось к февралю 1917 г. *Конструирование новой власти происходило под жесточайшим давлением архаичных народных представлений, т. е. в направлении от николаевской.*

Большевики победили именно потому, что более других политических сил поддались этому давлению – сначала по форме, а затем и по существу привели свою утопию власти в соответствие с народной. И это вовсе не показатель их внутренней силы и «народности», а свидетельство высокой адаптивности (по принципу понижения), пластичности и цинизма, а также степени властечентричности (нацеленности на власть, завор-

¹ В.М. Сергеев указывает на этимологию греческого слова «kratos»: прежде всего оно означало «силу» (не физическую, а способность одолеть в борьбе), а позднее приобрело значение «власти» и «управления» (37, с. 12). На властную эволюцию в пореформенный период можно посмотреть и с такой точки зрения: «На авторитарные структуры власти по мере их старения и естественного ослабления» «неизбежно нарастают» демократические практики (37, с. 22). И здесь возникает вопрос: не является ли ослабление (в режиме обростания демократическими практиками) либерализацией? Мне кажется, ответ на него достаточно очевиден. Открытым остается другой вопрос: ведет ли такая эволюция к умиранию (вследствие «естественного старения») или перерождению, обретению властью нового качества, которое позволяет ей выжить (приспособиться, соответствовать) в современном мире? Богатый материал для такого анализа дают две модели монархии: российская и английская (точнее, североамериканская). Представляется, что решающим фактором при решении судьбы традиционной власти в Новейшее время становится общество: цивилизовалось ли оно настолько, чтобы найти в себе силы не убить ослабевшую монархию, оценить социальные последствия такого убийства.

женности ее магией, готовности ради нее – им казалось, на время – стать чем угодно). А вся советская история – это рассказ о том, с какой властью лучше жить человеку: по-николаевски слабой или по-ленински-сталински сильной.

Сакрализация/десакрализация как инструмент социального признания/отрицания власти

На мой взгляд, в истории с политико-культурными метаморфозами монархии начала XX в. очень много путаницы. Прежде всего, мы объединяем близкие (в чем-то совпадающие), но не сводимые друг к другу явления: многосложный и длительный процесс десакрализации власти – с подрывом властной легитимности, негативные оценки действующей власти – со статусом и влиянием ее идеальных образов и т.п. Далее, между разноприродными явлениями выстраиваем прямые причинно-следственные связи. Так, основной доказательной базой десакрализации власти почему-то считаем падение ее престижа. Получается логическая цепочка: десакрализация – утрата престижа – падение. Однако и секуляризованная власть вполне способна обладать высоким престижем. Масса примеров обнаруживается в Европе (XX столетия и нынешней). Наш случай вообще особый. У нас власть с почти нулевым престижем (с уровнем доверия в 4%) может держаться годами, да еще и назначить наследника, которого с готовностью примет общество. Так и николаевская монархия, даже в ситуации подрыва легитимности и падения доверия, вполне могла функционировать¹. А потом и обеспечить себе взрывной рост престижа, укрепление сакральности – победой в войне². Кстати, случись это, Николай II был бы прославлен (а не

¹ Здесь необходимо сделать оговорку. В конечном счете власть опирается не только на потенциал сакральности и общественное доверие, но и на государственные институты. Наша история демонстрирует, что теряющая легитимность власть может функционировать в опоре на административные структуры, но всякая массовая поддержка исчезает после институциональной катастрофы. Решающим фактором падения старого порядка стало уничтожение его опорных институтов (и прежде всего самой монархии как института в результате отречения – неудавшейся попытки сменить персонификатора). Следует подчеркнуть, что крах самодержавной системы нельзя описать метафорой «самораспада» – его вызвали осознанные и последовательные действия новой, февральской власти (см. об этом, например: 9, с. 312–354). В то же время надо учитывать: стержнем любой системы в России является институт персонификатора; его ликвидация ведет к общему краху. В этом – слабость институциональной системы. Судьба же верховной власти во многом зависит от социокультурных причин, от эффективности механизмов ее легитимации.

² Главное доказательство силы русской власти, в представлении подвластных, – не социальная эффективность, а военная мощь, способность победить в войне. Поэтому милитарность – обязательное измерение образа нашей власти. Эта особенность восприятия свидетельствует, что наше массовое сознание тяготеет (и тяготеет теперь) к «военно-оборонному» типу. Его гипнотизирует физическая мощь, ощущение военной угрозы. Приведем к этому привычку мыслить в категориях целостности, завершенности, непротиворечия

ославлен) в истории России как лучший царь, поднят на те высоты, на которых сейчас держится победитель в Великой Отечественной.

И, наконец, самыми опасными представляются попытки свести сложные, предполагавшие разные социальные сценарии явления к одной (из множества) тенденции и этим объяснить 1917 год. В числе таких объяснений: монархия пала в результате утраты сакрального статуса. Во-первых, нельзя все в истории позднего самодержавия объяснить с позиции его поражения. Во-вторых, тиражируя тезис о десакарлизации власти как причине падения монархии, мы не только упрощаем самодержавную реальность, но и совершенно запутываем историю почти истерических отношений советского народа со сталинской властью. Если советская власть (вследствие революционной метаморфозы) не имела высшего обоснования, то откуда истерика? Видимо, все сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Происходила ли десакарлизация (т.е. секуляризация, ведущая к рационализации власти и ее отношений с обществом) самодержавия еще до 1917 г.? Да, но совсем не под влиянием военных неудач, экономических трудностей, как считает большинство исследователей, и она вовсе не стала тотальным социальным фактом до Февраля, обусловив его. *Процесс десакарлизации – как проявление кризиса важнейшего традиционного института в модернизовавшемся обществе – яствен в «верхней», европеизированной субкультуре.* Причем, он неотделим от общеевропейского процесса десакарлизации монархии и поиска ею новых обоснований, иных технологий продвижения и легитимации.

Для образованных, европейски ориентированных слоев, составлявших российское общество, самодержавие к началу XX в. во многом уже лишилось своего сакрального ореола. Один (Царь, Самодержец) перестал быть всем в социальной системе. Ментальная революция еще не свершилась, но активно шла в течение всего XIX в. Общество выросло из той системы отношений, которую (когда-то) создало самодержавие. Но из нее выросла и власть. Она растратила свое креативно-репрессивное и сакрализованное естество, перестала быть Моносубъектом. Не желая смириться с этим фактом (и страдая комплексом моносубъектности), монархия тем не менее действовала в соответствии с ним. Это придавало некоторую искусственность сражению власти и общества. Его острота объяснялась и тем, что они сражались (помимо прочего) по поводу прошлых проблем, вокруг образов прошлого.

Однако и в «верхах» процесс десакарлизации не был завершен, что доказывает предреволюционное отношение образованных слоев к Николаю II. Как раз незавершенность и противоречивость этого процесса, тяготение «верхов» к привычным, простейшим схемам (во многом в ответ на

чивости. Это объясняет, почему государство у нас постоянно приобретает (или имитирует) военно-идеологический характер.

кризисную военную ситуацию) и обусловили Февраль. Знаменательно, что кризис властной легитимности кануна революции вовсе не был вызван тестированием самодержавия на эффективность/неэффективность. Счет лично монарху – не только народом, но и «верхами» – предъявлялся на соответствие идеальной схеме: можешь быть Христом, божественным образом на земле (или созида Царство Божие, или жертвуя собой «за люди своя»)?

В конечном счете десакарлизация монархии предполагала осознание (хотя бы) обществом, что высшие счета к власти в принципе невозможны. Она – не маг и волшебник, не наделена сверхъестественными способностями. Ее следует понимать не через метафизическое и персоналифицированное, а как нечто исключительно управленческое, технологическое, нейтрально-обезличенное. Такое восприятие означало бы освобождение персонафикатора от обязательств, предъявляемых сакральному объекту. Он оставался бы личностью, отправлявшей властные функции. Только на таком отношении «повзрослевших» людей к царю мог «базироваться» режим конституционной монархии. Однако «взросления»¹ в полном смысле слова не произошло. Об этом свидетельствовал (бессознательный для большинства «верхов») настрой на революцию, в котором нашел выход «подростковый» протест против «воспитательной диктатуры» исторической русской власти и бессознательное желание не «взрослеть», сохранить несамостоятельность, подчиняясь властной силе. Не произошло в полной мере «взросления» и самой власти: миражи сакральности туманили голову ее персонафикатора.

Очень показательно, что с идеи Власти (как в XIX в.) общество начала XX в. перешло на личность, дискредитировав монарха. Собственно, в случае с Николаем II речь шла о падении личного престижа, а не об отрицании социального порядка и его проецировании на власть как носителя значимых социальных тенденций. Поэтому кризис отношений власти и общества вполне мог разрешиться сменой монарха (не случайно в «верхах» возник сценарий дворцового переворота, т.е. революции против конкретного персонафикатора). Повторю: если бы революцию 1917 г. удалось ограничить субкультурой «верхов», она имела бы ограниченный (т.е. относительно цивилизованный) характер. Однако после свержения самодержавия удержать «низы» от политического участия не представлялось возможным. Более того, действия февральских революционеров влекли их в политику, обрекая власть на зависимость от фактора масс. Это привело сначала к кризису, а затем и к краху всей системы, развалу государства².

¹ Речь идет о социокультурном возрасте: о «подростковости» или «несовершеннолетии» как культурной незрелости социума (см. об этом: 35, с. 159–161). «Взросление» в политико-культурном отношении означает процесс преобразования «народонаселения» в граждан, рационализацию их отношений с властью.

² Американский исследователь У. Коннор в одной из работ выделял три уровня легитимности: первый, низший – легитимность конкретных должностных лиц и органов дей-

В то же время *в народе* (многомиллионной массе, составлявшей более 80% населения) в начале XX в. явственно обозначились (а в войну укрепилась) две стихийные линии. В них по-разному воплотились реакции на модернизационные вызовы, перестройку и хаотизацию привычной (традиционной) жизни. Содержательно их определяли взаимоисключающие потребности: *хотим свободы – хотим порядка*. Первая тенденция особенно ярко была представлена в затронутых модернизацией и плохо адаптировавшихся к ней, а потому стремительно маргинализировавшихся слоях населения. Массовая тяга к свободе проявилась в отрицании всяких норм и авторитетов, всех традиционных идеалов (кстати, ценностный нигилизм особенно заметен у молодежи, чрезвычайная многочисленность которой была следствием демографического взрыва). Это (среди прочего) означало десакрализацию, но вовсе не рационализацию восприятия власти.

«Почвенное» стремление к порядку реализовалось в росте компенсаторной потребности в (ре)сакрализации верховной власти. За непомерностью массовых претензий к последнему самодержцу¹ скрывалось неудовлетворенное желание ощутить присутствие идеала в тягостной военной реальности: получить справедливую и аскетичную, грозную к «врагам

ствующей администрации (incumbent legitimacy); второй, средний – легитимность данной политической системы, включая ее идеологию и политические институты (systemic legitimacy); третий, высший – легитимность государства как такового как независимой «политической единицы» (state legitimacy) (см.: 47, с. 3–4). Их отношения строятся на основе иерархичности. Каждому уровню легитимности соответствует свой тип отрицания. Дворцовые революции, государственные перевороты – это отрицание легитимности первого, низшего уровня, которое на распространяется на другие. Из такого отрицания родился Февраль как политическое явление. Действия разбуженной им массовой стихии были обусловлены обвальным отрицанием легитимности и политической системы, и государства как такового. Это цепная реакция: ограниченное сознательное отрицание легитимности и «точечный» переворот, произведенный культурным меньшинством, спровоцировали обвал легитимности и всеобщий погром, учиненный социальным большинством. В этом – загадка одной из тайн русских революций, ставящей в тупик западных исследователей: почему дезинтеграция политической системы (что само по себе нередкость в истории) в России приводит к гибели государства?

¹ К зиме 1916–1917 гг. напряжение социального запроса приобрели требования крестьян и солдат, средних городских слоев, адресованные к верховной власти, – покончить с войной, расправиться с «внутренним врагом»: «немцами, торгашами и прочими проходимцами», «спекулянтами вместе с жидами», «богатеями», «купцами», «домашними мародерами», «начальством» (см.: 3, с. 417–420). Они наложились на желание интеллигентных слоев очистить власть от «темных сил» и «реакционных влияний», якобы толкавших ее к сепаратному миру. Так находили выход массовые (и большей частью бессознательные) настроения, лейтмотив которых – «хотим порядка». Всегда в России они замыкались на власть. Думцы, представители общественных организаций, пресса придали теме борьбы с «внутренним врагом» публичный характер, включив ее в политическую повестку дня. Самодержавие попало в «вилку» завершающихся ожиданий, которым не могло соответствовать. И дело здесь не только в личных качествах его носителей: власть в принципе не в состоянии создать идеальный порядок, в рамках которого реализовались бы разные социальные идеалы.

народа», победоносную власть. Традиционной культурой ощущалась недостаточность сакральной подпитки власти – ее следовало восполнить. Это явная реакция на кризис традиционализма, подрыв основ традиционного порядка. Проблема николаевской монархии состояла в том, что ей не доставало инструментария и соответствующего опыта, чтобы подправить реальность информационными образами: если не быть, то хотя бы казаться истинно народной властью¹.

Февральская революция, сравнимая с внезапным, случайным крушением поезда на подходе к станции назначения (на плохой, правда, дороге в момент стихийного бедствия), и последовавшие за ней события придали социальным устремлениям к свободе и порядку особый импульс. То, что можно было компенсировать, перекрыть, цивилизовать в рамках «старого режима», громынуло на весь социум – без всяких ограничений, во всей своей силе и первозданной дикости. *Порыв к тотальной свободе обернулся всеобщим бунтом против всех сдерживавших, репрессивных, воспитательных сил, организационных и ценностных оснований системы. Падение монархии, сопровождавшееся ее обвальной десакрализацией, здесь было неизбежно.* Смысл расправы «низов» с «ненавистным самодержавием» вполне понятен: распнем поверженного, беззащитного – сейчас можно, за это ничего не будет; пусть Тот, кто был Всем, станет наконец ничем. Таково же отношение к «верхам», всем «бывшим».

Не случайно идеи, формировавшие и оправдывавшие социальный порядок, – Царя и Бога – в свободной России почти одновременно были выброшены на свалку истории². С ликвидацией божественной подосновы монархия лишилась сакральной защиты, а значит, перестала быть неподсудной земному суду. Такая подоснова была вырвана и из социального порядка, оставив людей без высшей санкции и угрозы высшей кары, т.е. сделав их неподсудными суду небесному. А без идеи Страшного суда, как и Божьей любви, – все возможно, все дозволено. Нет ничего – все начинается и заканчивается здесь и сейчас³.

¹ Хотя попытки такого рода предпринимались (см. об этом: 42).

² З.Н. Гиппиус заметила в дневнике в начале апреля 1917 г.: «Безнадежно глубоко (хотя фатально-несознательно) воспринял народ связь православия и самодержавия» (10, с. 506). Как оказалось, связь была еще глубже: царь – церковь – идея Бога.

³ Речь идет о принципиальной локализации социума – в пространстве (закрытые границы, «железный занавес») и во времени (связи оборваны – и в прошлое, и в будущее). Мы живем только здесь и сейчас; там – географически и ментально – ничего нет. В этой ситуации отсутствует возможность выбора, поэтому из нее нет выхода. Такое тотальное замыкание человека (и социальных общностей) в определенное, насильственно ограниченное пространство, его ограждение от всего внешнего (не «нашего», «чужого») есть, видимо, идеальная модель советского миропорядка. Претензия на ее реализацию делала его уникальным, непохожим ни на что в мировой истории.

В данном случае мы имеем дело вовсе не с темой атеизма. Речь шла о тотальном изъятии Божественной идеи – в любом, даже секуляризированном виде – из человеческой жизни. Собственно, в своем постреволуционном развитии русский социум замахнулся на одну из главных для человечества идей. Такого замаха не было ни в одной из прежних великих революций, в том числе французской. И показал – всей своей последующей судьбой, – что вне идеи Бога нормальный (т.е. не направленный против лучшего в человеке, не перерабатывающий – в примитивно-насильническом направлении – его природу) социальный порядок невозможен. Вышел какой-то перевернутый, противоположный нормальному мир – ведь только в перевернутом («вывороченном», «колдовском», противоположном миру Божьему) пространстве возможны превращение живой иконы в идола и последовательная реализация принципа «кто был ничем – тот станет всем»¹. *Во внеморальном, антииндивидуалистическом максимализме советского мира – его принципиальное отличие от дореволюционного и постфевральского (как он мыслился и отчасти реализовался февристами) социальных порядков.* Совсем не случайно в процессе самореализации он дошел до сталинизма. Относительная нормализация советского мира в послесталинские времена была следствием естественной человеческой потребности в нормальной жизни.

Одновременно после Февраля работала и тенденция к порядку – традиционному, т.е. центрированному на власть. И она в конечном счете реализовалась как тотальная. Это проявилось и в ментальном, культурном отношении: отказав в высшем обосновании павшему самодержавию, русский народ тут же приступил к сакрализации новой власти, чтобы возвысить ее до самодержавного идеала². В народной картине мира* один

¹ В христианской традиции принято указывать на семантическую близость понятий ложь и блуд. Если рассматривать блуд как действие, то смысл его заключается в том, что человек заблудился, попал на неверный путь, ведущий в ад. Тогда ложь также можно понимать как заблуждение. Но ложь – это еще и то, что противоположно правде. А правда – это путь (к Богу). Значит, ложь – это уход с пути, неверная локализация. Перевернутый (ложный) мир – это тоже несправедная локализация. Видимо, не случайно современники, воспитанные в православной традиции (З. Гиппиус, Д. Мережковский, И. Бунин, М. Волошин и др.), толковали большевистский мир как адское место со своими вождями-чертями, а происходившее в нем – как бесовщину. Так или иначе, советский опыт чрезвычайно расширил представления человека о зле, т.е. о негативном человеческом потенциале.

² В нашем случае всегда все зыбко, непрочно, готово обернуться своей противоположностью. Только-только выбросив (за ненадобностью) идею или человека, мы уже готовы вернуть ее – в подходящем, спасающем нас, нынешних, виде. Человек перевоплощается в монумент, «работая» в настоящем как народный герой (символ потенциального героизма народа) и символический авторитет. Идея Царя или Бога восстанавливается в пародийно-трагедийном формате. Это, помимо прочего, проявление какой-то странной неподлинности, симулятивности нашей массовой культуры (отсюда – ее высокая способность к подражанию). В ней мало определенного (того, что не готово в любой момент обернуться собственной противоположностью). Это компенсируется тягой к сверхподлинному («икониче-

продолжал оставаться всем – Творцом системы, тем единственным (избранным свыше), кто знает, куда идти. А такой тип властвования требует сакрализации. Следует также учитывать, что с ликвидацией идеи Бога власть становилась единственным средоточием высших «функций» (карать и миловать, наставлять и опекать свой народ). Кроме того, через «почвенную» веру в сверхъестественное, концентрировавшуюся и на ней, получала мощнейшую магическую подзарядку. Всё это возводило ее на высоту, недоступную позднему самодержавию. Советская власть нуждалась лишь в персонификаторе, способном ответить на эти массовые вызовы. И она его получила – в лице *Сталина, сделавшего сакрализацию технологией властвования*. Сталин и стал воплощенным новым миром, сотворил советский порядок. В том, что из него вышло, мы сейчас и живем.

Следует подчеркнуть: *процессы сакрализации/десакрализации* власти у нас явно повторяются (на фоне общего – характерного для современности – «десакрализационного» тренда). В некотором смысле они даже приобрели циклический характер. Можно считать их *механизмом, за счет которого воспроизводится* (восстанавливается – в ответ на тенденцию осовременивания власти, причем в момент ее кажущейся победы) *традиционный алгоритм властвования*. Как известно, сакральной принято считать власть, наделенную, по мнению подданных, Божественной харизмой. С обязательной сакрализацией обычно связывают традиционный («досовременный») тип господства. Но это – общий вариант. Случай же с русской властью – совершенно особый. Она традиционно возвышается над обычным порядком (ставится над социумом) не только через связывание с Божественным началом, но и посредством приписывания ей сверхъестественных черт и выстраивания символических отношений с народом.

В случае русской власти мы имеем особый тип господства – подчинения, изначально предполагающий (точнее: требующий) сакрали-

скому»), потребностью мерить всё идеальными мерками. В рамках такой культуры поиск и переход к чему-то новому воспринимаются как несовершенство; подражание, предполагающее ориентацию на готовый (кем-то уже найденный) результат, ставится выше творчества.

* Раннесоветская, преимущественно крестьянская социальность была на удивление едина в идеализированных ожиданиях и представлениях. Речь в данном случае идет не о наличии монолитного социального большинства, а о гегемонии традиционных ценностей и о репрессировании ценностей меньшинств (их маргинализации, негубличности и т.д.). По существу, загадочное «совпадение» ценностей в российской политической культуре (и конденсация традиционных в качестве доминирующих) есть результат особого типа «консенсуса», противоположного консенсуальности западных обществ: это не результат свободного волеизъявления, договора и компромисса, а следствие насилия, санкций, угроз. Этот тип Г. Зимон сравнивал с характером принятия решений в крестьянской общине (см.: 49). Социальная приверженность такому типу «консенсуса» использовалась и используется властью. На него ориентированы соответствующие технологии господства, закрепляющие (определенные, выгодные власти) представления социального большинства в качестве общенародного и официального мнения, которым обосновываются властные действия.

зацию. Сакральность – обязательный элемент как властных самоощущений, придающий ей самостоятельность, так и восприятия власти, позволяющий в нее (просто) верить. Процедуры сакрализации/десакрализации имеют встречный характер: «сверху», от власти, и «снизу», из массы народа. Они накладываются друг на друга, создавая эффект резонанса¹. Усиление власти (т.е. движение к исторически выработанной ею монособъектной норме) предполагает процедуры по ее сакрализации. Они вносят в восприятие власти долю иррационализма, эмоциональности, придавая отношения с ней характер личностный (вплоть до интимности).

Сакрализующая подпитка «сверху» оказывалась (и оказывается до сих пор) действенной, так как попадает на благодатную почву – глубоко традиционные представления социального большинства об идеальной власти. В разные времена оно не прекращало сакрально-магической подпитки власти, считая это знаком ее качества. Сакральный характер власти связывается подвластными с ее силой, проявляющейся в «грозе» (суровости), справедливости (в распределении милостей и забот о подданных), аскетичности (бескорыстии, неподкупности, даже бедности). Такая власть – защитник и оберегатель своего народа (в земном, материальном и «высоком» – морально-нравственном, ценностном смысле), его «водитель» и учитель (наставник). Такой власти можно только служить. Альтернатива – бунт, который сродни богоборчеству.

Понятно, однако, какова мера ее ответственности (за свой народ – перед каким-то высшим началом) и как может она ответить перед народом, стоит ей сорваться со своей высоты (ослабнуть, растратив кратократический потенциал). Она неизбежно будет наказана и «земным порядком» (как плохой правитель), и как неоправдавший себя морально-нравственный авторитет. Поэтому *павшая власть у нас обязательно станет падшей, т.е. подвергнется унижительным символическим процедурам с целью десакрализации*. Степень же падения власти соответствует уровню ее возвышения: как высоко мы возносим свою власть, так же низко ее роняем.

¹ Мне кажутся одинаково ограниченными подход С. Коткина, рассматривающего «культы» Ленина и Сталина исключительно как порождение политических технологий (48, с. 402), и понимание «культов» как отражения традиционной потребности крестьянства в консолидирующей «фигуре отца» народа. Акцентирование одного из подходов даже не упрощает, а искажает ситуацию. Идеальные образы, представления о должном мироустройстве – как раз то пространство, где властвующие находят с управляемыми общий язык, на котором договариваются, приходя к согласию. «Культ» верховной власти и рождается из такого согласия.

Культурная «незрелость» социума – традиционный тип самореализации

Ужас событий начала XX в. в России во многом объясняется попыткой народа на практике реализовать традиционный идеал: воли, правды, народной (грозной, справедливой, аскетичной, т.е. неземной, нечеловеческой) власти. Алгоритм реализации был традиционным – погромно-насилованным, противоправным и антинормативным. Не принимаем – на культурном, ментальном уровне – слабую власть, мбчим ее в реальности. Хотим власти сильной – даем добро на установление жесточайшей, немыслимой в XX в. (особенно после «слабого» николаевского самодержавия) диктатуры. Желаем «побарствовать» (из ничего стать всем) и получить «молочные реки в кисельных берегах», убираем все, что этому мешает (людей, мораль, культуру и т.д.). В конце XX в. до последнего предела в реализации своих (в основе мало изменившихся) идеалов российский социум не дошел. Но и собственной цивилизационной ограниченности не преодолел. Для него по-прежнему составляет проблему совместить вертикальность социального устройства с вызовами свободы, гражданской активностью.

Он демонстрирует это прежде всего своими отношениями с верховной властью, критикуя ее с позиций традиционного идеала (см. об этом: 29, с. 51–85, 107–138)¹. Это норма, которая приписывается, навязывается власти «снизу». Она не способна ей соответствовать (что вполне естест-

¹ Идеальный образ власти имеет несколько измерений. Прежде всего, моральное, духовное – оно доминирует в представлениях об идеале (29, с. 117). Постсоветский человек хотел бы видеть власть не просто ответственной, справедливой и честной (29, с. 56), но и бескорыстной, аскетичной, с выраженным идеалом бедности в основе, способной к самопожертвованию, преданному служению общему («народному») делу (29, с. 51). Недовольство реальной властью коренится в ее «бездуховности», подчеркнутой прагматичности интересов, неспособности быть моральным авторитетом для граждан (29, с. 117). То есть «дблжная» власть близка к христианскому идеалу, что является основой ее «смычки» с церковью и сакрализации. Следующее измерение идеального властного образа – силовое: это не только милитарность (возможность защитить «нас» от «них» – врагов и угроз, поддерживать супердержавный статус), но и способность взять на себя ответственность за общую судьбу (отвечать за всё и за всех), обеспечить безопасное и бесконфликтное существование, социальную опеку и защиту (власть понимается как единственный легитимный благотворитель/благодетель). Идеал силы (29, с. 51, 55–56 и др.) воплощает авторитарная власть: граждане готовы признать за ней право быть угрожающей, агрессивной – это дает основание ей подчиняться. И, наконец, последнее измерение, сопряженное с предыдущим, – стабильность: власть должна быть предсказуемой и понятной, не может ассоциироваться с беспорядком, шаткостью, анархией (т.е. с множественностью центров влияния, точек зрения, внутренними конфликтами). Только сосредоточенная, единая власть способна исправить несправедливости и навести порядок; только ее можно уважать и бояться. Идеальная русская власть, таким образом, совсем не политическая, не совсем мирская и мало затронута процессами секуляризации/рационализации. Она нацелена на обеспечение выживания, но не на создание условий для развития.

венно), но может ее использовать – в своих целях, для легитимации и мобилизации массовой поддержки. То есть *имитация «нормы» становится инструментом властного продвижения*. Тогда у «верхов» отпадает необходимость нормализовываться в правовом, процессуальном режиме. В то же время идеальными, т.е. в принципе нереализуемыми образами нормируются ожидания от власти. Законным требованиям, как и уверенности в том, что система должна быть подчинена гражданским нуждам, почти не остается места. А это перекрывает возможности нормализации восприятия, а значит, перехода «снизу» от «субъект»-«объектных» к «субъект»-«субъектным» отношениям власти и граждан. Под щитом «сильной» (т.е. имитирующей соответствие традиционному идеалу и под этим «прикрытием») умело решающей *свои* проблемы) власти, обеспечивающей сохранение наружного (полицейского и имиджевого) порядка, наш атомизированный и дезориентированный в ценностном отношении социум может долго прожить в состоянии беспорядка внутреннего.

Символично, что последние Романовы остались для современного российского общества властным антиидеалом и потому самой опороченной в истории русской властию. Это *плата за их последнюю, компенсация народного страха перед конечностью власти*. Обрыв властной преемственности до сих пор народным сознанием воспринимается как предвестник социальной катастрофы – анархии, распада, безвременья. События конца XX в., дискредитировавшие в представлениях россиян образ современной (демократической) власти, только подтвердили и обострили эти глубоко традиционные представления. Уступая их давлению, наши граждане с готовностью принимают династические выкрутасы нынешней власти. Пусть она продолжится – они ей помогут. Ведь вопрос ее воспроизводства есть в то же время вопрос их самосохранения. Так, во всяком случае, им кажется.

Минимизируя свое участие в процессах властного воспроизводства, поощряя «сильную» власть (провоцируя ее на усиление), современное российское общество не то, чтобы расписывается в собственном бессилии. Оно осознает слабость внутренних скреп, признается в том, что – его нет. Сигналом появления общества станет гражданская самоорганизация, а симптомом зрелости – способность ужиться с такой властью, которую оно традиционно признает слабой. Поддержка власти (сознательно или бессознательно, вольно или под общественным давлением) ограничивающей свой силовой (т.е. собственно кратократический) потенциал, ориентация на компромисс, партнерство, договорные отношения с ней – вот показатели роста российского общества.

Однако ни власть, идущая на самоограничение вопреки собственному эгоизму (человеческому и властному), ни социальная среда, способная удержаться от ликвидации слабой власти и не скатиться при ней в хаос,

пока не стали у нас социальным фактом. Для этого требуется *ментальная революция*, а ее-то как раз – в отличие от социальных – и не случается. *Цель такой революции – перейти от алхимии к химии, от сакрализованных обоснований, магических действий, сверхъестественных ожиданий и игры идеальными образами к понятной правовой процедуре, в которую одинаково вписаны власть и граждане.*

Пока, повторяю, этого не получается. Две попытки «расколдовать», выдержать социосберегающий баланс между «слабеющей» (т.е. отдаляющейся от традиционного идеала) властью и формирующимся обществом – в начале и в конце XX в. – списаны нами в исторический пассив, признаны властным преступлением перед народом. А вновь народившаяся «сильная» власть и в начале XXI столетия подвергается сакрализации – в тех масштабах и формах, которые необходимы нынешнему современному (только в примитивно темпоральном смысле – как факту настоящего времени) социуму. Каждый приступ сакрализации оборачивается у нас дерационализацией политического мышления и политической деятельности. В итоге не происходит полномасштабной секуляризации власти (ее предствлений о себе и социальных – о ней), а вследствие этого – рационализации (осовременивания) отношений власти и общества.

Список литературы

1. 1917 год – Россия революционная: Сб. обзоров и рефератов. – М.: ИНИОН РАН, 2007. – 196 с.
2. Алексеев Н.Н. Русский народ и государство. – М.: Аграф, 1998. – 635 с.
3. Асташов А.Б. Русские солдаты и Первая мировой война: Психоисторическое исследование военного опыта // Социальная история: Ежегодник, 2001. – М., 2003. – С. 399–425.
4. Ахизер А.С. Россия: Критика исторического опыта (Социокультурная динамика России). – 2 изд., перераб. и доп. – Новосибирск: Сибирский хронограф, 1997. – Т. I: От прошлого к будущему. – 804 с.
5. Богданович А. Три последних самодержца. – М.: Новости (ИАН), 1990. – 608 с.
6. Булдаков В.П. Империя и Смута: К переосмыслению истории русской революции // Россия и современный мир. – М., 2007. – № 3(56). – С. 5–27.
7. Булдаков В.П. Красная Смута: Природа и последствия революционного насилия. – М.: РОССПЭН, 1997. – 376 с.
8. Бунин И.А. Окаянные дни. – СПб.: Азбука-классика, 2003. – 320 с.
9. Гайда Ф.А. Либеральная оппозиция на путях к власти, (1914 – весна 1917 г.). – М.: РОССПЭН, 2003. – 432 с.
10. Гиппиус З.Н. Дневники: В 2-х кн. – М.: НПК «Интелвак», 1999. – Кн. 1: Синяя книга. Петербургский дневник. – 736 с.
11. Горький М. Несвоевременные мысли: Заметки о революции и культуре. – СПб.: Азбука-классика, 2005. – 224 с.
12. Гурко В.И. Черты и силуэты прошлого. – М.: Новое лит. обозрение, 2000. – 810 с.
13. Дмитриенко А.А. Отношение предреволюционного крестьянства к Государственной Думе (На примере Вятской губернии) // Полис. – М., 2007. – № 5. – С. 25–34.

14. Дневник Л.А. Тихомирова, 1915–1917 гг. – М.: РОССПЭН, 2008. – 440 с.
15. Дневники императора Николая II. – М.: Орбита, 1991. – 737 с.
16. Задруга. Десять лет, 1911–1921: Отчет чрезвычайного собрания членов товарищества в день десятилетнего юбилея. – М.: Задруга, 1922. – 86 с.
17. Иголкин А. Историческая память как объект манипулирования, (1925–1934 гг.) // Россия XXI: Общественно-политический и научный журнал. – М., 1996. – № 5/6. – С. 100–114.
18. Изгоев А.С. Пять лет в Советской России // Архив русской революции. – Берлин, 1923. – Т. 10. – С. 5–56.
19. Измозик В. Оглянемся на историю. 1917 год: Легенды и факты // Наука и жизнь. – М., 1991. – № 2. – С. 34–43.
20. Ирошников М., Процай Л., Шелаев Ю. Николай II: Последний российский император. – СПб.: Духовное просвещение или ПО «Типография им. Ивана Федорова» Министерства печати и информации РСФСР, 1992. – 512 с.
21. К истории последних дней царского режима, (1916–1917 гг.) // Красный архив. – М.-Л., 1926. – Т. 1(14). – С. 227–249.
22. Кавелин К.Д. Наш умственный строй: Статьи по философии русской истории и культуры. – М.: Правда, 1989. – 654 с.
23. Коковцов В.Н. Из моего прошлого: Воспоминания, 1903–1919 гг. – М.: Наука, 1992. – Кн.2. – 456 с.
24. Колоницкий Б.И. Символы власти и борьба за власть. К изучению политической культуры российской революции 1917 г. – СПб.: Изд-во «Дмитрий Буланин», 2001. – 350 с.
25. Лурье С.В. Историческая этнология. – М.: Аспект Пресс, 1997. – 448 с.
26. Малышева С.Ю. Историческая мифология советских «революционных празднеств», 1917–1920 годов // Диалог со временем: Альманах интеллектуальной истории. – М., 2003. – № 10. – С. 231–254.
27. Милоков П.Н. Воспоминания. – М.: Современник, 1990. – Т. 2: (1859–1917). – 448 с.
28. Морен Э. О природе СССР: Тоталитарный комплекс и новая империя. – М.: РГГУ, Науч.-изд. центр «Наука для общества», 1995. – 220 с.
29. Образы российской власти: От Ельцина до Путина / Под ред. Е.Б. Шестопал. – М.: РОССПЭН, 2008. – 416 с.
30. Ольденбург С.С. Царствование императора Николая II. – М.: ТЕРРА, 1992. – 640 с.
31. Пайпс Р. Россия при старом режиме. – М.: Независимая газета, 1999. – 421 с.
32. Пайпс Р. Русская революция. – М.: РОССПЭН, 1994. – Ч. 1. – 399 с.
33. Палеолог М. Царская Россия во время мировой войны. – М.: Междунар. отношения, 1991. – 239 с.
34. Пивоваров Ю.С. Два века русской мысли. – М.: ИНИОН РАН, 2006. – 476 с.
35. Пивоваров Ю.С. Политическая культура пореформенной России. – М.: ИНИОН РАН, 1994. – 217 с.
36. Пивоваров Ю.С. Русская политика в ее историческом и культурном отношениях. – М.: РОССПЭН, 2006. – 168 с.
37. Сергеев В.М. Демократия как переговорный процесс. – М.: Московский общественный научный фонд, ООО «Издательский центр научных учебных программ», 1999. – 148 с. – (Сер. «Научные доклады»; Вып. № 98).
38. Соболев Г.Л. Революционное сознание рабочих и солдат Петрограда в 1917 г.: Период двоевластия. – Л., 1973. – 330 с.
39. Соболев Г.Л. Письма из 1917 года // Коммунист. – М., 1989. – № 15. – С. 5–13.
40. Степанов С.А. Черная сотня в России, (1905–1914 гг.). – М.: Изд-во ВЗПИ: А/О «Рос-вузнаука», 1992. – 329 с.

-
41. Струве П.Б. *Patriotica: Политика, культура, религия, социализм*. Сб. ст. за пять лет, (1905–1910). – СПб.: Жуковский, 1911. – 619 с.
 42. Уортман Р. *Сценарии власти: Мифы и церемонии русской монархии*. – М.: ОГИ, 2004. – Т. 2: От Александра II до отречения Николая II. – 797 с.
 43. Успенский Б.А. *История и семиотика: Восприятие времени как семиотическая проблема* // Успенский Б.А. *Этюды о русской истории*. – СПб., 2002. – С. 9–76.
 44. Успенский Б.А. *Литургический статус царя в русской церкви: Приобщение Св. Тайнам: Историко-литургический этюд* // Успенский Б.А. *Этюды о русской истории*. – СПб., 2002. – С. 229–278.
 45. Успенский Б.А. *Царь и самозванец: Самозванчество в России как культурно-исторический феномен* // Успенский Б.А. *Этюды о русской истории*. – СПб., 2002. – С. 149–196.
 46. Франк С.Л. *De Profundis* // *Из глубины: Сб. ст. о русской революции*. – М., 1991. – С. 299–322.
 47. Canor W. *Democratic theory and the rise of modern ethnocracy*. – P., 1992.
 48. Kotkin St. *1991 and Russian revolution: Sources, conceptual categories, analytical frameworks* // *J. of mod. history*. – Chicago, 1998. – Vol. 70, N 3. – P. 384–425.
 49. Simon G. *Zukunft aus der Vergangenheit: Elemente der politischen Kultur in Russland* // *Osteuropa*. – Köln, 1995. – Jg. 45, N 5. – S. 455–482.
 50. Wade R. *The Russian revolution, 1917*. – Cambridge: Cambridge university press, 2000. – 347 p.

Б.С. ОРЛОВ

ФЕВРАЛЬСКИЙ ПРОЦЕСС 1917 ГОДА

Во время работы над брошюрой, посвященной 150-летию со дня рождения Георгия Валентиновича Плеханова (декабрь 1856 г. – декабрь 2006 г.), меня особенно заинтересовал вопрос, касающийся эволюции взглядов основоположника русского марксизма (12). Будучи сторонником последовательных революционных действий пролетариата с целью построения справедливого социалистического общества и резко критикуя теоретика германской социал-демократии Эдуарда Бернштейна, когда тот на рубеже XIX и XX вв. указал на возможность добиться улучшения положения трудящихся в рамках существующего общественного строя (28), сам он, вернувшись в ночь на 31 марта 1917 г. в революционный Петроград, призвал к сотрудничеству все силы, стоящие на почве демократии – от рабочего класса и городских средних слоев до торгово-предпринимательских кругов, – в условиях «оборонительной» (так он понимал) войны против кайзеровской Германии.

Что стояло за такой резкой сменой взглядов? Почему выступление Ленина, вернувшегося в Петроград тремя днями позже и призвавшего к перерастанию буржуазной революции в социалистическую, Плеханов публично охарактеризовал как «бред» (17), а затем почти изо дня в день вплоть до Октябрьского переворота в статьях в газете «Единство» предостерегал российское общество, указывая, что его ждет в случае, если большевики захватят власть: неизбежная кровавая гражданская война, дискредитация идеи социализма (15)?

Следует признать, что полностью ответить на эти вопросы в моем исследовании не удалось, как и выяснить до конца, почему победили большевики, хотя, казалось бы, в той ситуации среди всех политических сил именно у них было меньше всего шансов для реализации своих намерений. Совокупность всех очевидных, лежащих на поверхности фактов вроде бы указывала на то, что сравнительно небольшой группе экстремистов

их авантюрная затея не удастся. Попытаемся продолжить поиск ответов на эти вопросы.

Февральская революция застала большевиков врасплох

Начнем с того, что большевики (как, впрочем, и другие политические группировки), ведя активную подпольную революционную деятельность против царского режима, не предполагали, что этот режим так быстро рухнет и следует заранее выработать на этот случай стратегии действий. Известно высказывание Ленина на встрече с молодыми социалистами в Цюрихе в январе 1917 г., т.е. буквально за месяц до Февральских событий в России: он подбивал молодежь тем, что в отличие от «стариков», к коим причислял себя, им доведется стать свидетелями революционных преобразований (10, с. 328)¹.

Русские в самом начале Февральской революции преподнесли сюрприз, не предусмотренный историко-аналитическими сюжетами того времени: буквально в первые дни революции возникли два центра власти. Один – Временный комитет, а затем Временное правительство, появившееся как представитель Государственной думы последнего, четвертого, созыва, т.е. законодательного органа, отражавшего волю всех избирателей. И другой – Советы рабочих, а чуть позднее и солдатских депутатов, который заявил, что он действует от имени трудящихся масс. Между этими двумя органами власти сложился определенный механизм взаимодействия. Один из руководителей Исполкома Петросовета (А.Ф. Керенский – трудовик, а позже социалист-революционер) с согласия Совета вошел в состав Временного правительства в роли министра юстиции.

Так каков же был социальный характер той революции, чьи интересы она выражала? От чьего имени выступало ее главное действующее лицо – А.Ф. Керенский? Пройдя через все составы Временного правительства – министр юстиции при председательстве князя Г.Е. Львова (со 2 марта), военный и морской министр при первом коалиционном правительстве под руководством того же князя Львова (с 5 мая), председатель второго коалиционного правительства (с 24 июля), а затем третьего коалиционного правительства (с 25 сентября) и, наконец, Верховный главнокомандующий (после попытки мятежа генерала Корнилова 26–30 сентября), – Керенский накопил достаточный опыт взаимодействия с двумя центрами власти: от имени Петросовета – с Временным правительством и с Советами – от

¹ Вот дословное высказывание Ленина, помещенное в его собрании сочинений (кстати, это перевод с немецкого): «Мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв этой грядущей революции. Но я могу, думаю, сказать с большой уверенностью надежду, что молодежь, которая работает так прекрасно в социалистическом движении Швейцарии и всего мира, будет иметь счастье не только бороться, но и победить в грядущей пролетарской революции».

имени Временного правительства. При этом ему удалось добиваться необходимого компромисса. Уже находясь в эмиграции, А.Ф. Керенский написал книгу «Россия на историческом повороте», в которой высказался так: «Совет добился восстановления дисциплины не только на заводах, но и в военных казармах, он внес огромный вклад в организацию регулярного снабжения Петрограда продовольствием, а также сыграл в высшей степени плодотворную роль в преобразовательных реформах во всех сферах» (8, с. 163).

Отнесемся с определенной сдержанностью к этой оценке. Ряд историков обращают внимание на отрицательную роль первого же документа, который принял Петросовет. Это так называемый «Приказ № 1», согласно которому в армии вводились демократические порядки, создавался институт комиссара, отменялись должностные привилегии. Казалось бы, составители «Приказа» руководствовались наилучшими побуждениями, заботясь о защите прав рядового солдата. Да и распространялся он первоначально только на воинские части Петрограда. На деле все произошло иначе: по всей русской армии прокатилась волна самоуправления и дезорганизации, что существенным образом ослабило ее боеспособность, особенно в условиях войны.

Правда и то, что Петросовет во взаимодействии с Временным правительством инициировал многие мероприятия социального характера. Существенно усилились права трудящихся, начиная с введения 8-часового рабочего дня и установления рабочего контроля на предприятиях, был учрежден ряд новых министерств – труда, государственного призрения (для оказания помощи пострадавшим в ходе войны). Создавался экономический совет (для выработки «общего плана организации народного хозяйства и труда»). Вырисовывались контуры социального государства, к которому Европа подошла в основном только после Второй мировой войны.

Окончательно решить все эти вопросы – и прежде всего вопрос о земле – предстояло на Учредительном собрании, к которому шла страна. Оно приобрело в глазах широких масс символическое значение: с ним связывалось осуществление вековых надежд. Судить о том, что произошло в считанные месяцы после начала Февральского процесса (март–октябрь 1917 г.), следует с учетом всех обстоятельств. Важнейшее из них – следующее: по улицам Петрограда, словно расплавленная магла, растекалась толпа со всеми соответствующими эмоциями. Важно также учитывать направления, по которым двигались с разной скоростью и с разной мотивацией оба органа власти. Причем это была по преимуществу созидательная активность, о чем вспоминал позже А.Ф. Керенский (7).

Так вот, в первоначальном процессе, начатом в конце февраля, большевики фактически не участвовали. Ключевые фигуры Октябрьского переворота – Ленин и Троцкий – были за пределами страны, один в Швейцарии,

рии, другой – в Соединенных Штатах. В самом Петросовете в составе руководящего органа – Исполкома – из 15 членов только два человека представляли большевистскую партию. Председателем Петросовета был избран меньшевик Н. Чхеидзе, двумя его замами – трудовик А. Керенский и меньшевик М. Скобелев. И вообще, в первые мартовские дни большевистская партия рассматривалась как маргинальная. Она насчитывала, по разным оценкам, 24–26 тыс. членов. Для сравнения: в рядах Партии социалистов-революционеров находилось порядка 800 тыс. человек (6, с. 101).

На авторитет большевиков бросало тень то обстоятельство, что их вождю с группой единомышленников германские власти разрешили вернуться на родину через страну, с которой Россия воевала. По сей день идут споры, был ли Ленин платным агентом германского Генштаба. Появилась масса соответствующей литературы, в том числе – обстоятельная работа Эвы Хереш «Купленная революция» (25). Но в те горячие послефевральские дни любому здравомыслящему человеку без всяких документальных доказательств было ясно: пропускать через свою страну, да еще в опломбированном вагоне, «русских смутьянов» немцы просто так не станут. В ситуации борьбы на двух фронтах германскому Генштабу было важно усилить фактор дестабилизации на Востоке. Для этого – как можно быстрее «внедрить» в Россию людей, которые публично заявляли о намерении превратить «империалистическую войну в гражданскую». Тем не менее, как мы знаем не только по советским кинофильмам, но и по другим источникам, 3 апреля на Финляндском вокзале Ленина принимали чуть ли не как национального героя, мессию, освободителя.

Еще ждет своего исследователя тема: каким было влияние толпы на ход революционного процесса в период от Февраля к Октябрю 1917 г. Но очевидно, что такие фигуры, как Керенский, Ленин, Плеханов, Мартов, Чернов, Кропоткин, представляли перед солдатской и матросской массой, городскими низами как своего рода пророки. Их чуть ли не обожествляли, но при меняющихся обстоятельствах тут же забывали и даже проклинали.

В 1957 г. Госкомлитиздат провел анкетирование «участников Великой Октябрьской социалистической революции». Ряд ответов позволяет лучше представить атмосферу, влиявшую на массовое восприятие фигуры Ленина. Вспоминает Дмитрий Иванович Гразкин – член КПСС с 1909 г., присутствовал на I съезде крестьянских депутатов (май 1917 г.) как делегат от 109 пехотной дивизии. «Все ждали Ленина, причем крестьяне, судя по их разговорам, представляли себе Ленина высоким, черным, курчавым, с длинными волосами. Когда Авксентьев (один из лидеров Партии социалистов-революционеров. – Б.О.) сказал, что “от фракции большевиков слово представляется Ленину”, весь зал замер, а когда на трибуне появился человек простого русского типа, делегаты стали спрашивать: “А где же Ленин?” Мы стали громко указывать: “Да вот же, на трибуне”. После это-

го по залу прокатилось: “Это Ленин? Так вот он какой! Да он вовсе не страшный”. Ленин стоял, выжидая, чуть улыбаясь. Это сразу как-то купило делегатов. Затем кто-то из эсеров, подавая сигнал к атаке, крикнул: “Вот вам Ленин предложил землю”. Ленин, как бы отвечая на этот выкрик, начал говорить: “Да, мы советовали крестьянам взять землю, не дожидаясь Учредительного собрания”, – и начал развивать мысль, почему это необходимо сделать. Ленин говорил около полутора часов или часа два» (13, с. 130–131).

Еще один свидетель – Андрей Павлович Кучкин, член КПСС с 1912 г.: «Пустьрь, огороженный с трех сторон деревянным забором, а с четвертой – огромным корпусом завода, был забит огромной массой в несколько тысяч рабочих. Ждали Ленина. Разговоры только о нем. Напряженно всматриваюсь в трибуну, протискавшись к ней. Вот поднимается мощная фигура в белой панаме. “Ленин”, – думаю я, и сердце сильно забилось. “Почему же его не встречают аплодисментами?” Оказалось, что это один из рабочих, который взшел на трибуну, чтобы оповестить, что Ленин будет через 10 минут. После него не раз поднимался тот или иной руководитель огромного митинга, и каждый раз я думал, что это вот Ленин. Но ошибался. И вдруг раздались оглушительные аплодисменты. Они нарастали и нарастали. Я бросил взгляд на трибуну. Она пуста. “В чем же дело? Кому аплодируют?” – недоумевал я. А аплодисменты все усиливались, росли, словно рокот волн во время бушующего моря. Оказалось, что прибыл Ленин и ему аплодируют. Он пробирался сквозь ряды рабочих к трибуне. Но вот он вошел на трибуну. Взрыв аплодисментов – таких мощных, такой взрыв восторга и любви в них, что у многих на глазах появились слезы. От охватившего непередаваемого счастья я тоже заплакал» (13, с. 217–218).

Это, видимо, искренняя реакция. Одно из свидетельств, кстати, принадлежит человеку, представлявшему на I съезде Советов крестьянских депутатов партию большевиков. Съезд проходил три с лишним недели – с 4 по 28 мая, и на него собрались 1167 делегатов. Факт примечателен прежде всего тем, что именно представители крестьянства, руководимые Партией социал-революционеров, смогли в трудных условиях войны и перебоев на транспорте собраться и конституировать себя на общероссийском уровне. Заметим: это произошло раньше, чем в случае с Советом рабочих и солдатских депутатов. И хотя большевики, судя по воспоминаниям, вели себя весьма эмоционально, на съезде они составляли менее 1% делегатов. Преобладали социалисты-революционеры – 47% делегатов. За ними шли меньшевики – 8% делегатов (6, с. 106–107).

Не послушались крестьянские делегаты призыва Ленина немедленно отбирать у помещиков земли. Съезд одобрил вхождение социалистов во Временное правительство (в первом коалиционном правительстве под председательством кн. Львова было шесть социалистов – лидер эсеров

В.М. Чернов, меньшевики И.Г. Церетели и М.И. Скобелев, трудовики А.Ф. Керенский и П.А. Переверзев, народный социалист А.В. Пешехонов) и наметил ряд мероприятий по крестьянскому вопросу (был создан Аграрный комитет), отложив его окончательное решение до Учредительного собрания. Председателем Исполкома Всероссийского Совета крестьянских депутатов был избран социалист-революционер Н.Д. Авксентьев. В состав Исполкома вошли 25 эсеров, пять трудовиков и народных социалистов. Ни меньшевики, ни большевики в нем не были представлены. А это значило, что крестьянское движение в революционный период оказалось вне их непосредственного организационного влияния.

Лишь в следующем месяце – июне – наконец-то состоялся съезд, объединивший деятельность Советов рабочих и солдатских депутатов по всей России. Он тоже продолжался три недели – с 3 по 24 июня, и на него съехались 1090 делегатов. Но и на этом мероприятии, как бы обобщающем деятельность движения Советов в масштабах страны, большевики оказались на третьем месте по числу делегатов после социалистов-революционеров (285 мандатов) и меньшевиков (248 мандатов). Стронников Ленина представляли 105 делегатов (24, с. 249). Председателем Исполкома был избран меньшевик Н. Чхеидзе, как бы продолживший традиции Петросовета, где он, как помним, был первым председателем. Уже на этом съезде меньшевики забили тревогу по поводу антидемократической активности большевиков. Один из популярных ораторов того времени меньшевик Иракий Церетели так охарактеризовал ситуацию: «Контрреволюция может проникнуть к нам только через одну дверь: большевиков, это уже не идейная пропаганда, это – заговор» (6, с. 115).

Между тем явственно обозначилась тактика большевиков. *Обнаружив, что они не могут добиться влияния в выборных органах власти – ни в рабочих, ни в крестьянских Советах, – сторонники Ленина стали напрямую обращаться к стихийным настроениям масс*, выдвигая импонирующие им лозунги и не задумываясь о том, насколько они соответствуют реальности. Как сказали бы сегодня, это была тактика демагогического пиара.

В этом отношении особенно отличался Ленин, всему и всем приклеивая ярлыки, броские по форме, но совершенно извращающие смысл. Известный факт: когда видные меньшевики Аксельрод и Потресов в период политической стагнации после поражения революции 1905–1907 гг., размышляя над тем, как социал-демократическую партию сделать подлинно рабочей, предложили идею проведения рабочего съезда, Ленин назвал их «ликвидаторами». Таковыми они по сей день числятся в учебниках истории. На самом же деле речь шла о попытке активного возрождения социал-демократии на массовой базе рабочих.

Во время Первого съезда Советов случилось событие, которое способствовало подъему общественных настроений. Наконец-то русская ар-

мия на австрийском фронте одержала убедительную победу. Командующей войсками генерал Лавр Корнилов стал героем дня, любимцем публики. По этому поводу съезд Советов назначил на 18 июня манифестацию в поддержку Временного правительства. Однако на демонстрации в Петрограде, Риге и других городах сторонники большевиков вышли с лозунгом «Долой 10 министров-капиталистов!» На самом деле, как уже отмечалось, во Временном правительстве только шесть министров придерживались социалистической ориентации. Как, впрочем, и позднее. Во втором коалиционном правительстве во главе с социалистом Керенским их было шесть, в третьем и последнем по счету коалиционном правительстве во главе с тем же Керенским – тоже шесть.

Одним словом, в России сложилась уникальная ситуация, не позволяющая исследователям оценивать происшедшее по принципу «белое–черное»: либо буржуазная революция, либо социалистическая. Как заметил меньшевик Н.Н. Суханов, оставивший потомкам свидетельства о революционных событиях: «То, что произошло в России на следующее утро после Февральской революции, не соответствует никаким историческим законам» (22). И в самом деле, на петроградских властных подмостках сошлись представители не просто разных идеологических направлений, но и разных политических субкультур, о чем мы поразмышляем ниже. Но тогда, в *июньские дни 1917 г., сторонникам Ленина важно было внушить массам мысль о сузубо буржуазном и, следовательно, контрреволюционном характере правительства*, игнорируя при этом очевидные факты. И ведь поверили. И верят сейчас. Спроси сегодня человека средней образованности в России, каким был характер Временного правительства в 1917 г., – он, не задумываясь, ответит: буржуазный. Большевистская пропаганда вбивала как гвозди в головы толпы простые до примитивности понятия.

Так произошло и на демонстрации 3 июля. На сей раз речь шла не просто о лозунговых протестах, но о попытке вооруженного восстания. На улицах Петрограда пролилась кровь. По разным источникам, погибло порядка 700 человек. Мятеж был подавлен, а в печати опубликованы документы, из которых следовало, что большевики получали деньги из германского Генштаба. 7 июля был отдан приказ об аресте Ленина. Арестовали Троцкого, который к тому времени прибыл из США, Раскольникова, Каменева, ряд других деятелей партии.

Как известно, Ленин скрылся на Финляндской границе, на станции Разлив, где, согласно легенде, в шалаше изложил свои представления о том, что намерены делать большевики после захвата власти. Позже эта рукопись под названием «Государство и революция» была опубликована в собрании ленинских сочинений (9) и стала обязательной для изучения по всему Советскому Союзу. Когда сегодня перелистываешь эту работу, ав-

тор которой по-школярски пересказывает ряд произведений Маркса и Энгельса, приходишь к горькому для судеб России выводу: ведь именно по этому примитивному сценарию действовали большевики в период «военного коммунизма», совершая насилие над сложившимся укладом жизни и судьбами людей.

Казалось бы, участие в июльском мятеже, компрометирующие документы германского Генштаба, слабое представительство в Советах, рабочих и крестьянских, на разных уровнях – все это должно было еще больше дискредитировать большевиков. Но сторонники Ленина проявили удивительную способность к политической выживаемости. И они, как говорится, на полную катушку использовали августовскую попытку мятежа – теперь уже со стороны правых сил во главе с генералом Корниловым.

От Корниловского мятежа к Октябрьскому перевороту

Вообще-то, вокруг этого мятежа по сей день много неясностей. После успешных действий на австрийском фронте генерал Корнилов получил высшую военную должность – Верховного главнокомандующего. Причем в обстановке, когда армия разлагалась на глазах: по стране бродили толпы дезертиров (порядка 2 млн. человек); крестьяне, услышав призыв большевиков брать землю у помещиков, бежали с фронта, чтобы успеть к разделу, о чем с большой озабоченностью писал Георгий Плеханов¹. В ситуации нарастающей анархии надо было предпринимать срочные меры. С вполне понятной озабоченностью главнокомандующий Корнилов составил записку, где предлагал ряд мер по наведению порядка, и лично передал ее председателю правительства Керенскому. Тот в принципе ее одобрил, но просил согласовать с Военным министерством. Между тем 5 августа выдержки из этой записка без ведома самого Корнилова появились в «Известиях», печатном органе Петросовета. И против Корнилова поднялась кампания, в которой активнее всех выступили большевики. Тем временем германские войска подступали к Риге, откуда была прямая дорога на северо-запад. Главнокомандующий принял решение подтянуть войсковые соединения к Петрограду, разместив их на предполагаемом направлении продвижения немцев к столице. В Петросовете это решение расценили как еще один шаг к контрреволюционному мятежу.

Между тем 12 августа 1917 г. в Москве, в здании Большого театра, собрался весь цвет политического класса и интеллектуальных сил страны на так называемое Государственное совещание, чтобы обсудить возможности конструктивного сотрудничества политических кругов разной ориентации. Главнокомандующий Корнилов выступил на этом совещании и

¹ Вот оценка Г.В. Плехановым сложившейся ситуации в газете «Единство» от 1 июля: «Солдаты бросают ружья и бегут, порою даже раньше, чем на них нападают» (16, с. 28).

предупредил присутствовавших – а их было две с половиной тысячи человек, – что если в самое ближайшее время порядок в армии не будет наведен, то «фронт рухнет».

Через неделю после начала Государственного совещания, т.е. 13 августа, немцы овладели Ригой. Путь на Петроград был открыт. Управляющий Военным министерством Борис Савинков, известный в обществе как террорист и литератор («Конь бледный»), о котором в новой ситуации одобрительно отзывался Плеханов¹, предложил ввести в столице военное положение и подтянуть к городу 3-й конный корпус. Керенский согласился с этим предложением. Тот же Савинков сообщил Керенскому, что на 28–29 августа ожидается серьезное выступление большевиков (на своем VI съезде они приняли решение о подготовке вооруженного восстания, намеченного на период не позже сентября-октября).

В свою очередь, главнокомандующий Корнилов поставил в известность Савинкова, что к вечеру 29 августа 3-й конный корпус сосредоточится в окрестностях Петрограда, и просил ввести на следующий день военное положение в городе. Между тем член Временного правительства, министр В.Н. Львов, взяв на себя роль посредника между Временным правительством и Верховным главнокомандующим, встретился с Корниловым и затем передал Керенскому его требование: объявить в Петрограде военное положение, передать всю власть на это время ему, а само Временное правительство распустить.

Для Керенского это требование Корнилова не было неожиданно. Двумя днями раньше, 26 августа, на заседании правительства он расценил действия генерала как мятеж и потребовал, чтобы в сложившейся обстановке чрезвычайные полномочия были переданы ему как председателю правительства. Все министры подали в отставку, решение Керенского поддержали ВЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов и исполком крестьянских Советов.

На следующий день, 27 августа, Керенский приказал Корнилову прибыть в Петроград и сдать полномочия. Тот не согласился и утром 28 августа по радио обратился к населению: обвинил Временное правительство в действиях на руку германскому Генеральному штабу, призвал «всех русских людей к спасению умирающей Родины» и заявил, что доведет народ до Учредительного собрания, прежде победив немецкого агрессора. Корнилов обратился к войскам за поддержкой, но не получил ее. Войсковые комитеты Западного фронта блокировали ставку, а Юго-Запад-

¹ В статье в газете «Единство» от 12 августа 1917 г. Г.В. Плеханов дает такую характеристику Савинкову: «В этом нашем террористе, потребовавшем применения смертной казни в армии, заговорила та суровая и несокрушимая энергия, которая помогла французским революционерам конца XVIII в. разбить ополчившуюся против их родины австро-прусскую реакцию» (16, с. 92).

ного – арестовали командование. 1 сентября Корнилов был арестован. Верховным главнокомандующим стал Керенский. В этот же день Россия была провозглашена республикой.

А вот оценка тех событий как бы со стороны. Она принадлежит человеку, который в роли посла Великобритании в России наблюдал за происходившим в стране начиная с 1910 г. и оставил воспоминания об этом периоде. Вот что писал позднее Дж. Бьюкенен: «Встретившись с Керенским в 1918 году в Лондоне, я спросил его об отношениях с Корниловым. Он сказал, что всегда считал его честным человеком и патриотом и очень плохим политиком. Он согласился на все требования Корнилова относительно смертной казни и включения Петрограда в прифронтовую зону, но не мог допустить, чтобы место заседаний правительства определялось приказом Корнилова, поскольку в этом случае министры оказались бы в его власти» (3, с. 335).

А вот дневниковые записи Дж. Бьюкенена, сделанные в те критические дни, 12 сентября (по новому стилю) 1917 г.: «В результате медлительности наступления Корнилова у правительства было время, чтобы собрать гарнизон, привезти матросов и солдат из Кронштадта, вооружить тысячи рабочих и арестовать многих его сторонников». Еще одна запись в тот же день: «Выступление Корнилова почти с самого начала было отмечено почти детской некомпетентностью его организаторов и завершилось полным поражением. По прибытии на станцию в двадцати пяти километрах от Петрограда его войска были встречены Черновым (членом Временного правительства и лидером Партии социалистов-революционеров. – *Б.О.*), и, поскольку они ничего не знали о целях своего похода, он легко их убедил принять сторону Керенского. Крымов, их командир, был доставлен в Петроград на автомобиле, и после беседы с Керенским застрелился» (3, с. 336).

Столь подробно обстоятельства Корниловского мятежа пересказываются по следующей причине. С начала сентября психологическая ситуация в Петрограде изменилась существенным образом. «Красное колесо», если вспомнить образное сравнение А.И. Солженицына, и в самом деле покатило в сторону Октябрьского переворота. События, связанные с попыткой мятежа, показывали, что речь шла, скорее, о плохо продуманных действиях боевого генерала, не очень-то искусственного в политике, и о достаточно решительных действиях одной власти – Временного правительства, поддержанной другой – Советами, рабочими, солдатскими, крестьянскими.

Перед попыткой Корниловского мятежа и после него в российском обществе наблюдалась определенная консолидация политических сил разного направления. Это прежде всего касается трех крупных соещаний, носивших, так сказать, знаковый характер. Уже упоминалось Государст-

венное совещание (12–15 августа), на котором была предпринята фактически последняя попытка примирить представителей противоположных политических культур. За несколько дней до этого в Москве собрались сторонники правого крыла политических сил: либеральные круги, торгово-промышленное предпринимательство, офицерство, чиновники. Московское совещание поддержало Временное правительство и одновременно выступило фактически за упразднение института Советов как такового. Участники совещания, – а их собралось порядка 400 человек, – призвали главнокомандующего Корнилова к проведению жесткой политики и как бы вдохновили его на решительные действия.

Третье знаковое совещание – Демократическое – начало свою работу 14 сентября. Оно определялось последствиями провала Корниловского мятежа и носило подчеркнуто левый характер. На нем были представлены прежде всего Советы, а также члены городских самоуправлений, земств, кооперативов, казачьих, национальных организаций – всего 1582 делегата. По партийной принадлежности большинство было за эсерами (532 делегата), далее шли меньшевики (172 делегата) и только на третьем месте большевики (136 делегата) (6, с. 128).

От компромисса с правыми силами к «однородному социалистическому правительству»

Именно на этом совещании окончательно созрела идея однородного социалистического правительства, формируемого на демократической основе. Более того, были приняты меры организационного характера, ведущие в этом направлении: создан Всероссийский демократический совет (его с ходу назвали Предпарламентом). Предполагалось, что отныне Временное правительство должно быть ответственно перед ним до избрания Учредительного собрания. Был сформирован Президиум Демократического совета. Его возглавил меньшевик-оборонец Н. Чхеидзе, а в состав вошли четыре социалиста-революционера (Н.Д. Авксентьев, А.Р. Гоц, В.Д. Камков, О.С. Минор), два меньшевика (Ф.А. Дан, В.Е. Мандельберг), два большевика (Л.Б. Каменев, Л.Д. Троцкий).

Возникла чрезвычайно сложная ситуация. Большинство делегатов (правда, всего в 31 голос, 813 делегатов) проголосовало против коалиции с кадетами. Из правительства вышел лидер социалистов-революционеров В. Чернов. В такой обстановке Керенский был вынужден согласиться с учреждением нового органа (2 октября принято положение, определившее его статус). Но вместе с тем он формировал третье коалиционное правительство, в которое вошли кадеты (шесть представителей Партии народной свободы, три меньшевика, два трудовика, один социалист-революционер, два военных специалиста, один независимый).

Однако большевиков не устраивал и Предпарламент. На заседании 7 октября Троцкий от имени большевиков заявил, что и Временное правительство, и Предпарламент носят контрреволюционный характер. Это означало, что партия Ленина решила идти ва-банк. Существенную роль сыграло обстоятельство, что 3 сентября в результате ослабления позиции меньшевиков-оборонцев Исполком Петросовета возглавил большевик Л.Д. Троцкий. А десятью днями позже большевик В.П. Ногин возглавил Моссовет. Тем самым большевики создали свои легитимные опорные пункты в обеих столицах. Далее на базе Петросовета большевики формируют Военно-революционный комитет и уже почти в открытую ведут подготовку к захвату власти под лозунгом «Вся власть Советам».

Взятие власти приурочили к открытию (второго по счету) съезда Советов рабочих и солдатских депутатов – 25 октября. Поздним вечером 25 октября, когда большевики готовились к «штурму» Зимнего дворца, где находилось Временное правительство, меньшевик Федор Дан от имени Президиума ВЦИКа открыл заседание II Всероссийского съезда Советов. На этом съезде большевики наконец-то получили большинство. Из зарегистрированных в первый день 649 делегатов большевиков представляли 390 человек, эсеров – 160, меньшевиков – 72. Численное превосходство большевиков усилилось после того, как правые эсеры и меньшевики покинули зал заседания в знак протеста против их насильственных действий по захвату власти (24, с. 281).

Однако такое большинство оказалось чисто ситуативным. Спустя два месяца на Учредительном собрании, открывшемся 5 января 1918 г. и олицетворявшем вековые надежды народа, большинство голосов принадлежало социалистам-революционерам – 40% и только 23% – большевикам. Этот расклад Ленин изменил чрезвычайно простым способом: приказал на следующий день, 6 января, делегатов на съезд не пускать. Группу поддержки Учредительного собрания расстреляли. Убитых хоронили в знаковый для российской истории день – 9 января. Все это свидетельствует только об одном: *власть в осенние дни 1917 г. вовсе не «валялась под ногами»*, как полагали пропагандисты советских времен и некоторые зарубежные исследователи. *Большевики вероломно захватили ее, не только нарушив демократические нормы Февральского процесса, но и предав других приверженцев социалистической идеи* – социалистов-революционеров, меньшевиков, анархистов и других сторонников социальной справедливости в ее антибуржуазном варианте.

Дальнейшие события показали, что большевики оказались способны не только «подобрать» власть, но и удержать ее, проводя политику, вызвавшую отторжение как деятельного крестьянства («продразверстка»), так и значительной части городского населения (интеллигенции, служащих, ремесленников, мелких торговцев), не говоря уже о дворянстве, торговой

и промышленной буржуазии. Прошли они и испытание тяжелейшей Гражданской войной, захватившей всю Россию.

Субкультура большевизма

Пытаясь объективно показать, при каких условиях большевикам удалось самоутвердиться в Февральском революционном процессе, мы снова выходим на вопрос: чем объясняется их способность захватить власть в абсолютно неблагоприятных для себя обстоятельствах, удержать ее, выстоять в Гражданской войне, а затем приступить к строительству нового общественного строя с замахом на мировую гегемонию?

На этот счет в литературе существуют разные мнения. Такой знаток русской жизни, как писатель Максим Горький, в своих «Несвоевременных мыслях» утверждал: «Все, что я говорил о дикой грубости, о жестокости большевизма, восходящей до садизма, о некультурности их, о незнании ими психологии русского народа, о том, что они производят над народом отвратительный опыт и уничтожают рабочий класс, – все это и многое другое, сказанное мною о «большевизме», остается в полной силе» (5, с. 214). Но это было высказано в статье, опубликованной в газете «Новая жизнь» 17 мая 1918 г., т.е. по горячим следам событий. Как известно, впоследствии Горький скорректировал эту точку зрения (хотя бы в эссе, посвященном Ленину). Тем не менее позиция автора была сформулирована предельно ясно: большевизм действовал вопреки интересам русского народа, не понимая его подлинной сути.

Как мне представляется, ближе к пониманию сущности большевизма был русский философ Николай Бердяев. В своем труде «Истоки и смысл русского коммунизма» (2) он показал, что такие глубинные черты русской ментальности, как склонность к уравнительной справедливости, готовность решать конфликты силовыми методами, вера в харизматического лидера и др., нашли отражение в политической культуре большевизма. Сыграло свою роль и то обстоятельство, что *народная утопия о возможности устройства счастливой жизни на земле как бы перекикалась с обещаниями большевиков*. Они считали, что утопия вполне реализуема – на научной основе, с помощью объективных законов общественного развития, открытых Марксом и Энгельсом. Это тонко подмечено в романе А. Платонова «Чевенгур».

Если обратиться к зарубежным исследованиям феномена большевизма, то можно заметить некоторые определяющие тенденции. Так, в фундаментальном труде немецкого ученого Астрида фон Борке «Истоки большевизма» (с подзаголовком «Якобинская традиция в России и теория революционной диктатуры») (29) обстоятельно анализируются взгляды мыслителей радикальной ориентации, начиная с декабристов. Однако на периферии остаются факторы общественной жизни, включая особенности

русской ментальности. Хотя она по-разному проявлялась в различных социальных слоях, очевидна общая склонность к радикально-конфронтационному способу решения накапливаемых проблем.

В ином ключе рассматривает деятельность большевиков американский ученый, профессор Гарвардского университета Адам Улам в своем исследовании «Большевики: Причины и последствия переворота 1917 года» (23). Детально анализируя особенности русской истории начиная с тех же декабристов, американский исследователь делает два вывода: «Как показали события, после падения царского режима остался вакуум, и это состояние длилось до октября» (23, с. 288); «Гений Ленина не в том, что он был творцом революции, а в том, что он вышел победителем из этого хаоса» (23, с. 287).

А. Улам показывает в своей книге, что Ленин проявил себя как политик нового типа, нового века: одержимый идеей, не связанный моральными обязательствами и умело использующий приемы популистской пропаганды. Улам пишет: «Левые, меньшевики, вызывали жалость своей нерешительностью и выглядели смешно с их неуместной демократичностью и угрызениями совести. Им, как, впрочем, многим большевистским лидерам, был не понятен истинный смысл большевизма» (23, с. 338). Исследователь ссылается при этом на книгу Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир» (19): «Многие большевистские лидеры, по свидетельству американского очевидца, были убеждены в полном безумии происходящего» (23, с. 340). И добавляет уже от себя: «Только Ленин мог управляться с этим сумасшедшим домом» (23, с. 344).

Учитывая эти и другие работы, посвященные феномену большевизма и по-разному его оценивающие, я вновь возвращаюсь к волнующему меня вопросу: почему в Февральском процессе большевики «переиграли» своих единомышленников по социалистической идее, хотя по массовости в начальный период Февраля они существенно уступали социалистам-революционерам (800 тыс. и 24 тыс.), а по интеллектуальному потенциалу меньшевики явно превосходили большевиков? Да и в личностном плане такие политики, как либерал Павел Милуков, октябристы Александр Гучков и Михаил Родзянко, анархист Петр Кропоткин, социалисты-революционеры Александр Керенский и Виктор Чернов, социал-демократ Георгий Плеханов, меньшевик-интернационалист Юлий Мартов, не уступали по масштабности ни Владимиру Ульянову-Ленину, ни Льву Троцкому. Я уже не говорю о других деятелях революционного движения, популярных в народе. Известно, что портреты социалистки-революционерки Марии Спиридоновой висели вместо икон в крестьянских избах, а ее единомышленницу Екатерину Брешко-Брешковскую уважительно называли «бабушкой русской революции».

Столкновение культур – конфронтационной и консенсусной

Как мне представляется, мы приблизимся к пониманию произошедшего, если попытаемся разобраться в типах политических субкультур, проявивших себя в деятельности различных социальных групп и организаций, главных персонажей Февральского процесса. Хотя, разумеется, это дело не простое. Мюнхенский историк Юрген Царуски в своей работе «От царизма к большевизму», обратив внимание на внутривнутрипартийные распри внутри только народившейся Партии социал-демократов, заметил: «Суть спора между большевиками и меньшевиками адекватно представляли лишь немногие из немцев» (26, с. 104). Вообще-то немцам простиительно, если учесть, что и в нашей стране по сей день иные публицисты либерал-радикального толка не видят разницы между Плехановым и Лениным.

И все же разбираться придется, если мы и в самом деле хотим понять, что представлял собой Февральский процесс, к которому российское общество двигалось в материальном и духовном плане, начиная с Петра I, а то и раньше. Обратим внимание при этом на главные составляющие русской политической культуры. Их можно охарактеризовать как конфронтационный и консенсусный подходы к решению возникающих проблем. Даже поверхностное знакомство с российской историей показывает, что в ней доминировал конфронтационный подход. Он был присущ не только властям, но и населению, которое в обычной жизни забавлялось кулачными боями, а когда дело доходило до серьезного, хваталось за дубины и присоединялось к массовым выступлениям Разина и Пугачева, согревая свою душу либо мечтой о добром царе, либо о безбрежной воле, когда все позволено (и не на небесах, а на этой грешной земле).

Таким же было отношение и к действующим правителям. Царя Ивана IV, доведшего Московское царство до полного истощения, уважительно называли «Грозным» (в немецкой историографии он «Ioann der Schreckliche» – «Иван Ужасный»), а царя с задатками реформатора – Бориса Годунова – связывали в основном с убийством царевича Дмитрия. Мало кто помнил, что он создал общественные фонды для раздачи бедствующим, послал детей на учебу за границу, основал город Томск, ставший культурной столицей Сибири, и по его повелению в самом Кремле построена колокольня Ивана Великого.

Заметный поворот обозначился в ходе реформ Александра II, когда в обстановке резких социальных сдвигов, обусловленных промышленным подъемом, с одной стороны, стал более заметным (особенно в либеральных кругах и новом предпринимательстве) рост правового сознания, а с другой – ментальные изменения захватили значительные массы крестьян, переехавших в город и вынужденных осмыслить свое новое социальное

положение уже в роли рабочих. Постепенно возникали как бы два очага новой политической культуры: городское самоуправление и земство, с одной стороны, и Советы как попытка крестьянского самоутверждения в городе на базе общинных традиций – с другой. Вокруг этих двух очагов и в промежутке между ними на рубеже XIX и XX вв. стали возникать политические партии с соответствующим программным видением происходящего.

Примечательное явление именно русской жизни того периода: активным политическим элементом стала просвещенная часть общества – разночинцы, интеллигенция, выходцы из дворянской среды. Они брали на себя организационное и программное обеспечение партий либерального толка, выступавших за постепенное совершенствование существующего государственного уклада (консенсусный подход). Они же вставали во главе политических партий, ориентировавшихся на изменение существующего строя революционным (конфронтационным) путем и построение общества на социалистических началах. При этом по-разному понимали саму суть социализма.

И тут мы сталкиваемся с трудностями прежде всего психологического, ментального плана. Российский историк Константин Морозов в своей обстоятельной работе, посвященной деятельности Партии социалистов-революционеров (11), на многочисленных фактах наглядно показал, как отличались по типу поведения социал-демократы и социал-революционеры (хотя и те и другие придерживались социалистических взглядов – правда, с разным идеологическим обоснованием). Не случайно, даже находясь в советских концлагерях, в частности на Соловках, эсеры держались обособленно.

А, казалось бы, и те и другие происходят от одного корня – от народнического движения, представленного главным образом городской интеллигенцией. Тогда молодые люди, студенты, курсистки, мелкие служащие в едином порыве двинулись просвещать крестьянство, видя в этом свое призвание. Две с половиной тысячи молодых граждан в 1874 г. «пошли в народ», вдохновленные самыми благородными побуждениями. Заметим, подобный массовый нравственный подъем больше не повторился – ни в России, ни в какой-либо другой стране. Кто-то из этих энтузиастов со временем стал земским учителем, земским врачом, землемером. Но в основном их постигло глубокое разочарование. Крестьяне не поверили в искренность этих «баричей», переодетых в простое платье, и стали сдавать полиции.

Столь неожиданная реакция была поводом для переосмысления происходящего, для новой оценки ситуации, сложившейся в обществе, разбуженном реформами. Результатом стал раскол народнического движения. Одни, полагая, что народ следует пробуждать смелыми поступками, при-

бегли к тактике террора против царя, других сановных лиц, назвав себя при этом социалистами-революционерами. Другие, обнаружив во взглядах немецких социологов Маркса и Энгельса с их теорией закономерностей общественного развития нечто полезное для понимания происходящего в собственной стране, стали считать себя социальными демократами. Погрузившись в изучение марксистских работ, и прежде всего «Капитала» и «Коммунистического Манифеста», они пришли к выводу: Россия идет по капиталистическому пути, растущий новый класс – пролетариат – станет гегемоном в освободительной борьбе за справедливое социалистическое общество и именно ему следует помочь осуществить эту историческую миссию.

Казалось бы, и те и другие – за социализм. Но для социалистов-революционеров социализм – это общество, к которому они идут, опираясь на крестьянство, трудовую интеллигенцию и рабочий класс, где будет осуществлена идея самоуправления (своего рода вариант «демократического социализма»). А для социал-демократов с их опорой на марксизм социализм представлял собой научный проект: рабочий класс под руководством партии, отражающей его интересы, в ходе революционных преобразований устанавливает диктатуру пролетариата, обобществляет экономику и ликвидирует частную собственность, развивает на плановой основе производительные силы до такой степени, что становится возможным осуществить коммунистический принцип «от каждого по способности, каждому по потребности».

Расколы: между партиями и внутри партий

Практика, однако, демонстрировала (и это наглядно показано в книге К. Морозова), что дело не только в теории, но и в типе личностей, примыкавших к революционному движению, в их характерах, отразившихся в соответствующей субкультуре.

Это особенно отчетливо проявилось, когда после Октябрьского манифеста 1905 г., на который Николай II пошел под давлением обстоятельств, политические партии получили возможность для легальной деятельности и участия в выборах в российский парламент – Государственную думу. Тогда размежевались либерально-промышленные круги, представленные партиями конституционных демократов (в дни Февраля кадеты станут называть себя Партией народной свободы) и октябристов – партией крупного капитала.

Стали организационно оформлять свою деятельность и националистические группировки, создав Союз русского народа, который занял верноподданническую позицию поддержки существующего режима.

В свою очередь, произошло размежевание внутри партий левого лагеря. Социал-демократы разделились на меньшевиков, делавших упор на использование возможностей легальной деятельности и на обрастание партии различными общественными организациями, и на большевиков, предпочитавших подпольную работу с опорой на профессиональных революционеров. В этом и было то принципиальное отличие, в котором не смогли, по свидетельству Ю. Царуски, разобраться немцы. Итак, внутри РСДПР возникли два разных подхода: консенсусный и конфронтационный.

Раскололись и социалисты-революционеры. Левое крыло – левые эсеры¹ – настаивали на продолжении террористической деятельности. На их счету убийство премьер-министра Столыпина, двух министров внутренних дел, нескольких губернаторов и генералов (заметим, уже после Октябрьского манифеста 1905 г.).

Как видим, линии размежевания различных типов субкультур – консенсусного и конфронтационного – проходили как между партиями, так и внутри них. В таком виде политические партии вступили в Февральский процесс, по-разному участвуя в нем и оказывая на него различное влияние.

Будем при этом иметь в виду, что на поведении партий сказалось их отношение к продолжающейся войне. Это особенно отразилось на позиции социал-демократов. Большевики были за прекращение войны и заключение сепаратного мира, за «превращение империалистической войны в гражданскую». Меньшевики раскололись на «оборонцев» (Чхеидзе, Церетели) и интернационалистов (Мартов). За продолжение войны выступал Георгий Плеханов и его группа «Единство».

Расхождения обнаружились и среди конституционных демократов. Лидер партии Милуков был за сохранение института монархии и за продолжение войны до победного конца, рассчитывая на присоединение к России черноморских проливов и Константинополя. Но не все в партии были согласны с его имперскими амбициями и намерением сохранить монархию. Уже на VII съезде партии (март 1917 г.) была принята резолюция о провозглашении России демократической парламентской республикой. А это означало, что и кадеты оказались в состоянии раскола.

Таким образом, перед Февральской революцией и в ходе ее образовались основные политические полюсы: правый и левый. Странники правого полюса – кадеты, октябристы – выступали за демократическую республику с сохранением рыночных отношений. Отсюда – их поддержка Временного правительства, призванного провести выборы в Учредительное собрание, на котором российское общество и должно было окончательно решить, как дальше жить – в режиме республики или конституционной монархии. Другой полюс – левый, вокруг которого группировались

¹ Следует принять уточнение К. Морозова: в результате раскола образовался Союз революционеров (максималистов). Левые эсеры конституировались только в 1917 г.

партии социалистической ориентации с разным пониманием того, каким должен быть этот самый социализм и каким путем к нему двигаться – либо через Учредительное собрание и сохранение демократических свобод, либо революционным путем, предполагавшим создание нового общественного строя с новой властной структурой – диктатурой пролетариата в форме Советов.

В ходе Февральского процесса эти партии придерживались различной тактики и старались привлечь к себе разные социальные группы и соответствующие организации.

Социальная и организационная опора либералов

Что касается либерально-предпринимательского лагеря, то он опирался на мощные организации, которые возникли во время войны. Это Союз городов, Союз земств, Военно-промышленные комитеты. Российский историк Виктор Шевырин в своей работе наглядно показывает масштабность их деятельности и одновременно способность российского общества к самоорганизации (27).

Причина появления этих организаций – фактическая неспособность властей справиться с нарастающими тяжелыми последствиями начавшейся войны. 8–19 августа 1914 г. в Москве состоялся Всероссийский съезд городских голов, что послужило началом деятельности общегородского союза (ВСТ), на котором был создан комитет в составе десяти членов и пяти кандидатов во главе с Главноуполномоченным ВД. Брянским.

В это же время Николай II дал «добро» на создание Всероссийского союза земств (ВСЗ) во главе с Главноуполномоченным князем Г.Е. Львовым. Оба союза развернули активную деятельность. Так, во Всероссийский союз городов к сентябрю 1917 г., т.е. в самый разгар Февральского процесса, входило 630 городов. Кассовый расход союза к 1 сентября 1917 г. составлял 232 млн. рублей. На пунктах питания союза по путям следования войск, раненых и беженцев было накормлено 4,3 млн. рабочих и 8,6 млн. беженцев. В 13 санитарных поездах Союза городов было перевезено 340 тыс. раненых. Через госпитали с койками на учете союза с начала войны по январь 1916 г. прошло 1 млн. 260 тыс. раненых. И еще один факт из статистических данных. На фронтах Союз городов имел 388 питательных пунктов, столовых и чайных, на которых было выдано 50,5 млн. обедов и 80 млн. порций чая (27, с. 71).

Кто-то ведь вел подсчеты этой деятельности – вплоть до порций выданного чая. Интересно, как его учитывали? Стаканами? Но в любом случае впечатляет деятельность статистических служб. А вот еще ряд статистических данных. На фронтах союзом городов было выдано 35,6 млн. штук стираного белья, перемылось в банях союза 35,9 млн. человек. Попытаемся представить: сколько людей было занято в этой деятельности,

чтобы ухаживать за ранеными, мыть их, стирать белье, заваривать чай? Кто сегодня оценит их подвижничество?

Не менее масштабной была деятельность Земского союза. К концу 1916 г. в него входило 7728 учреждений, из них главных комитетов – 174, губернских комитетов – 3454, фронтовых комитетов – 4100. Как отмечает В.М. Шевырин, работа почти 8 тыс. учреждений, в которых были заняты сотни тысяч людей, вызывала все растущие расходы. Если в начале войны ресурсы Земского союза не превышали 12 млн. рублей, выделенных земствами, то к 1 января 1916 г. эта сумма выросла почти до 190 млн. рублей (27, с. 72).

На волне патриотического подъема возник и Военно-промышленный комитет. Из работы В.М. Шевырина мы узнаем обстоятельства его создания. Известный промышленник П.П. Рябушинский явился на IX торгово-промышленный съезд, проходивший 25–27 июня 1915 г. в Москве, «из-под самого пекла войны, из-под обстрела вражеских пушек и, потрясенный почти гробовым молчанием русской артиллерии, призвал своих «братьев по классу» мобилизовать частную промышленность для эффективной помощи фронту» (27, с. 61). Почин был принят почти сразу. Было решено создать Центральный военно-промышленный комитет с сетью порайонных организаций. В один только Московский комитет вошли представители 26 отраслей промышленности на территории, включающей 12 центральных губерний. В конце 1915 г. Главноуполномоченным был избран А.И. Гучков. Примечательно, что одним из его заместителей стал князь Г.Е. Львов, представлявший к тому времени объединившиеся в Земгор Земский и Городской союзы.

Примечательно также, что при ЦВПК была создана Рабочая группа с лидерами К.А. Гвоздевым и В.О. Богдановым. Значение этого факта наблюдатель со стороны американский историк Ричард Пайпс оценивает следующим образом. По его мнению, Рабочая группа проводила «действенную политику, типичную для меньшевиков, а позднее для возродившегося Петросовета, своего рода предтечей которого она и была. С одной стороны, группа помогала ЦВПК сохранять рабочую дисциплину в оборонной промышленности. С другой стороны, бросала пламенные призывы к скорейшему свержению монархии в разгар войны, которую при этом не собиралась прекратить» (14, с. 303–304).

Р. Пайпс указал на существенную сторону деятельности этих трех структур – способность к консенсусному взаимодействию. Со своей стороны, В.М. Шевырин так оценивает сложившуюся ситуацию: «Политизация общества все более захватывала и союзы. Они и сами были как бы сколком с российского общества. В их структурах был представлен, пожалуй, весь спектр политических партий и течений... Доминировали в союзах либералы-кадеты, прогрессисты, октябристы. Земский союз имел в

основном октябристский оттенок, Городской союз – кадетский» (27, с. 73). Вместе с тем «в союзах было много “демократической публики”, так называемого третьего элемента. Врачи, статистики, бухгалтеры, инженеры, юристы, учителя нередко заправляли делами в уездных комитетах ВЗС и местных отделах Союза городов. Так, в 1916 г., накануне Февральской революции, около 2/3 состава местных отделений ВОГ приходилось на городскую интеллигенцию» (27, с. 74).

Все эти факты позволяют нам полнее представить себе, на какие социальную базу и организационную структуру опиралось Временное правительство первого состава. Его возглавил князь Г.Е. Львов, за спиной которого был Земгор, а военным министром стал А.И. Гучков, олицетворявший военно-промышленные комитеты.

Поддерживали кадетско-октябристскую линию и другие организации. На созванном по инициативе все того же неутомимого промышленника Рябушинского Московском совещании 8–10 августа 1917 г., которое явилось последним крупным организационным мероприятием правого крыла Февральского процесса перед Октябрьским переворотом, присутствовали представители Временного комитета Государственной думы, торгово-промышленных кругов, Союза землевладельцев, Союза офицеров армии и флота, интеллигенции, адвокатуры (6, с. 107). Спрашивается, где были эти люди, когда на их глазах большевики готовили государственный переворот, который произошел через 2 месяца и 16 дней после окончания Московского совещания?

Роль религиозных организаций

Наконец, что делали в эти дни и месяцы религиозные организации России? В постсоветских учебниках истории, которые довелось держать в руках, сообщается об активности мусульман. С 1 по 11 мая 1917 г. в Москве проходил I Всероссийский мусульманский съезд, в котором участвовали 800 делегатов. Съезд выразил поддержку Временному правительству и выдвинул идею создания демократической республики на национально-федеративных началах (6, с. 105). Позже, с 21 июля по 2 августа, проходил уже II Всероссийский мусульманский съезд – на сей раз в Казани. Примерно в то же время состоялся I Всероссийский съезд мусульманского духовенства (18–26 июля). На совместном заседании делегатов этих двух съездов 22 июля 1917 г. была принята декларация о национально-культурной автономии мусульман Внутренней России и Сибири. Высшим законодательным органом национально-культурной автономии было объявлено Национальное собрание (миллимеджлис).

Примечательно, что в ходе подготовки к Учредительному собранию была одобрена общемусульманская платформа демократического и социа-

листического блоков. Высший орган мусульман не поддержал попытку Корниловского мятежа. Но вместе с тем на Демократическом совещании (сентябрь 1917 г.) А.Т. Цаликов от имени мусульманской группы выразил протест против передачи власти Советам, одновременно поддержав идею создания предпарламента.

В современных учебниках, однако, не раскрывается позиция Русской православной церкви в отношении Февральского процесса. Между тем именно Февраль 1917 г. освободил Православную церковь от «статуса» бюрократического учреждения, который обременял ее на протяжении двух веков после того, как Петр I подчинил церковь правительственному учреждению – Священному синоду. На Поместном соборе была восстановлена должность главы церкви – Патриарха, который от имени церкви благословил деятельность Временного правительства. Мне до сих пор не удавалось найти материалы, в которых объективно рассматривалась бы ситуация вокруг Православной церкви и внутри нее в тот период.

Это, конечно, тема особого разговора. В контексте же данных размышлений важно хотя бы в общих чертах выяснить, что говорили священнослужители на огромных пространствах Российской империи своим прихожанам в момент отречения Николая II и в ходе демократических преобразований с февраля 1917 г.

Известна характеристика Достоевского, которую он дал русскому народу с учетом его особой религиозной приверженности – «богоносец». В связи с этим полной неожиданностью оказалось поведение верующих во время борьбы большевиков против церкви. Вот как объясняет его Геннадий Аксенов в своей публицистической работе «Слово и дело церкви»: «Церковь в России не стала духовным лидером для человека, не отвечала на его запросы, не создала никакого духовного напряжения в жизни, не выполнила положенную ей историческую миссию. Тысячу лет людей заставляли ходить в церковь, и вот за каких-то 10 лет, за 1917–1927, вся религиозность с народа слетела – как ветром сдуло. Сказало начальство, что Бога нет, и он сразу одобрил, лишь единицы ушли в подполье, именно как в III веке. Разве это не урок» (1, с. 336).

Г. Аксенов приводит такой пример. Накануне Первой мировой войны в Россию приехал английский писатель Грэхем, изучавший русский язык. Он был очарован религиозностью русских людей: «Да это христианский народ! Святая Русь! У всех иконы в домах, все кроткие, набожные, на церковь крестятся». В 1909 г. он совершил с поморами пешее паломничество в Палестину, написал книгу, горячо убеждая англичан, что лучшего союзника им не найти – эти люди будут радостно умирать на войне за свою веру. И тут вскоре народ покинул фронт, совершил революцию, сжег все культурные гнезда на селе и в довершение разрушил все церкви. Вот тебе и святая Русь» (1, с. 336).

Заметим, что в ходе Февральского процесса прекратили свою деятельность всякого рода националистические организации – словно бы их и не было. А ведь именно в этой среде, по идее, находились наиболее последовательные защитники православной веры. Возникает еще одна тема для размышления – православие и национальная принадлежность. Тема, ставшая неожиданно актуальной в наши дни.

Переменчивость в настроениях толпы

При осмыслении Февральского процесса представляется важным выделить обстоятельство, которое постоянно давало о себе знать – чрезвычайная неустойчивость настроений вышедшей на улицы толпы. Это подметил англичанин, суждения которого мы уже приводили – Джордж Бьюкенен. Он обратил внимание на то, с каким подъемом встретило население начало Первой мировой войны. «В эти чудесные дни начала августа (1914 г. – *Б.О.*) Россия казалась совершенно преобразенной... Рабочие объявили о прекращении забастовок, различные политические партии оставили свои разногласия. В Думе, которую государь созвал на внеочередную сессию, лидеры различных партий наперебой говорили о поддержке правительства, которое они так яростно бранили лишь несколько недель назад. Но только в сердце России – Москве, куда император, согласно традициям своего дома, приехал поклониться святым мощам Кремля, в полной мере проявились чувства всего народа... Под громкие приветственные крики император шел по невысокому помосту (в Успенском соборе. – *Б.О.*) и лишь низкие перила отделяли его от огромной толпы коленопреклонных подданных, некоторые из которых даже целовали землю, когда он проходил» (3, с. 171–172).

То же самое произошло в Петрограде, когда на следующий день после объявления Германией войны в Зимнем дворце прошел торжественный молебен. «Через несколько минут монарх вышел на балкон, и при его появлении множество людей, заполнивших площадь перед Зимним дворцом, как один упали на колени и запели государственный гимн» (3, с. 169).

Через три года, в августовские дни 1917, политическая элита страны соберется в Москве в Большом театре на Государственном совещании, и мало кто из его участников вспомнит о судьбе «гражданина Романова». А еще через два месяца перед тем же Зимним дворцом соберутся люди, которые совсем недавно славили своего нового кумира – Керенского, а теперь пойдут за новым вождем – Ульяновым-Лениным.

Переменчивость настроений революционной толпы подметила и Зинаида Гиппиус, одна из самых тонких свидетельниц революционных событий. Наблюдая за происходившим из окна своей квартиры в самом центре Петрограда, она буквально по часам записывала свои впечатления в

дневнике. Вот дневниковая запись 27 февраля 1917 г. (2 часа дня): «Делегация от 25 тыс. восставших войск подошла к Думе, сняла охрану и заняла ее место... Мимо окон идет страшная толпа: солдаты без винтовок, рабочие с шашками, подростки и даже дети от 7–8 лет, артиллеристы и часть семеновцев. Но вся улица, каждая сияющая баба убеждена, что они пойдут “за народ”» (4, с. 70).

Запись 1 марта 1917 г. (6 часов вечера): «До сих пор ни одного “имени”, никто не выдвинулся. Действует наиболее ярко (не в смысле той или иной крайности, но в смысле связи и соединения всех) – Керенский. В нем есть горячая интуиция, и революционность сейчасная, я тут в него верю. Это хорошо, что он и в Комитете, и в Совете» (4, с. 78). З. Гиппиус имеет в виду Временный комитет, созданный Государственной думой, который через несколько дней превратится во Временное правительство, и Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов. Про Керенского она будет в дневнике писать много хорошего до того момента, когда после провала Корниловского мятежа он возьмет на себя функции Верховного главнокомандующего. Что-то в нем тогда изменилось в худшую сторону. Это отметят в своих записях и Плеханов, и Джордж Бьюкенен. Но тогда, в самые первые дни Февраля, он был любимцем толпы и, что существенно, как бы соединял в своей личности и правых, и левых.

Советы как орган власти

Как показал в своем исследовании В.М. Шевырин, правый лагерь подошел к революции с достаточно разветвленной организационной структурой. И казалось бы, сторонникам этого направления – все карты в руки. Тем более что Петросовет первоначально разместился в одной из комнат Таврического дворца под номером 13. Кто мог тогда предположить, что из этого помещения с несчастливым числом будет раскручиваться революционный сценарий – начиная с принятия Приказа № 1 по армии и кончая приходом к власти большевиков, которые в Совете первоначально были в значительном меньшинстве.

Обратим внимание на замечание американского историка Р. Пайпса: рабочие группы, созданные при Военно-промышленном комитете, служили как бы прообразом Петросовета. С ними произошла удивительная история: входившие в них люди в критические дни и даже часы крушения Российской империи сначала объявили себя органом власти, пошли на взаимодействие с парламентским органом – Временным комитетом, а затем – и с Временным правительством. Потом издали тот самый Приказ № 1 по армии, выделили комиссаров и прикрепили их к вновь созданным министерствам, взяли на себя право одобрять (или не одобрять) участие во Временном правительстве представителей левого крыла (кандидатуру

Г.В. Плеханова они отклонили – причем дважды, а без их согласия Плеханов не считал возможным войти в правительство), наладили снабжение города продовольствием, возглавили другие хозяйственные службы. Вообще, осуществили всё то, о чем позже писал Керенский.

Главная трудность, с которой столкнулись Советы, – несогласие в собственных рядах. Это касалось и меньшевиков, и эсеров. Лидер меньшевиков Юлий Мартов, вернувшись из эмиграции в Россию 9 мая 1917 г., назвал вхождение в первый состав коалиционного правительства своих единомышленников – Чернова, Церетели, Скобелева, Гвоздева – «окончательной глупостью» (24, с. 244). Серьезные расхождения обнаружились между правыми и левыми эсерами. Иными словами, в Советах тоже шла постоянная борьба между сторонниками консенсусного и конфронтационного подходов к решению проблем, поднятых революцией.

Вместе с тем те и другие считали себя сторонниками «революционной демократии». К ней причисляли и большевиков, мягко порицая их за излишний экстремизм, но не предполагая, чем все это в конечном счете обернется. Этим объясняется снисходительное отношение к участникам Июльского мятежа. Правда, с согласия Петросовета был издан приказ об аресте Ленина и других большевиков. Но особого рвения службы Временного правительства в их поиске не проявляли.

То, как все происходило на самом деле, видно из рассказа «главного матроса» Октябрьского переворота Павла Дыбенко во времена, когда подлинные события скрывать уже не было нужды, т.е. спустя 40 лет. В анкете участников Октябрьской революции он представлен следующим образом: Павел Ефимович Дыбенко (1889–1938) работал председателем Центробалта. В ноябре 1917 г. был введен в состав первого Совнаркома в качестве комиссара по морским делам.

И далее – рассказ самого Дыбенко: «2 и 3 июля были созваны пленарные заседания судовых комитетов под моим председательством, на которых была принята резолюция о свержении Временного правительства и была послана в Петроград на миноносцах с требованием передачи власти в руки Советов. Эта делегация была арестована. Тогда в Петроград были направлены 3 миноносца, на одном из которых находился и я. В Петрограде 5 июля я был арестован и посажен в “Кресты”. Из “Крестов”, просидевши два месяца, 4 сентября был освобожден под залог без права выезда в Гельсингфорс. Несмотря на это, 5 сентября на отходящем миноносце я выехал в Гельсингфорс. По приезде в Гельсингфорс снова был избран в Центробалт председателем» (13, с. 155). И, добавим от себя, тут же приступил к подготовке вооруженного восстания.

Между тем в левом лагере все более отчетливые очертания приобрела идея «однородного социалистического правительства». А это означало полную передачу власти Советам, т.е. партиям, представленным в нем, –

в том числе и большевикам. За это выступали видные представители левого лагеря, такие как лидер Партии социалистов-революционеров Виктор Чернов (он был против создания третьего и последнего состава коалиционного правительства), а также Юлий Мартов, который встал во главе партии наконец-то объединившихся меньшевиков на съезде 19–25 августа 1917 г. Их консолидировала убежденность в том, что социалистическое правительство должно быть создано, чтобы действовать исключительно по демократическим правилам.

Так или иначе, учреждение после Демократического совещания Совета Республики – Предпарламента, который брал на себя функцию предварительного одобрения любого состава Временного правительства, было шагом именно в этом направлении. Напомним, что большевиков вся эта «игра в социалистическую демократию» не устраивала и, как отмечалось выше, они вышли из Предпарламента. С точки зрения судьбы всего Февральского процесса все это означало, что приходил конец политике консенсусного сотрудничества с правым лагерем, на чем до последнего дня, до самого Октябрьского переворота настаивал Г.В. Плеханов.

В дни Октябрьского переворота

Российский историк Илья Урилов, фактически заново открывший современному читателю личность Юлиа Мартова – человека нравственной чистоты и преданности делу рабочего класса (24), показывает на фактах, чем обернулась попытка создания такого однородного социалистического правительства.

Наступают дни и часы Октябрьского переворота. Керенский 24 октября направляется в Предпарламент, ставший средоточием левых сил, и требует решительных действий против большевиков. Реакция Мартова: давайте создадим Комитет общественного спасения и пусть он улаживает конфликт политическими методами.

Вечером того же дня, 24 октября, в 20.30 в Предпарламенте идет голосование. Большинство голосов – 123 за, 102 против, 28 воздержались – принимается резолюция, фактически означавшая недоверие правительству Керенского. Через полтора часа, в 22.00, председатели Предпарламента Н. Авксентьев, Ф. Дан и А. Гоц прибыли в Зимний дворец и вручили Керенскому эту самую резолюцию.

На следующий день, 25 октября, когда полным ходом идет вооруженное восстание большевиков, Федор Дан от имени ВЦИК Совета первого созыва объявил в Смольном об открытии II Всероссийского съезда Советов. В президиум избраны 14 большевиков, семь эсеров, три меньшевика, меньшевик-мартовец.

В знак протеста против насильственных действий большевиков в Петрограде меньшевики, эсеры, меньшевик-мартовец отказались от мест в президиуме. В результате там оказались большевики, левые эсеры, представитель украинской социал-демократической партии, т.е. сторонники конфронтационного подхода (24, с. 281).

Большой Мартов (рак горла) уже с места прохрипел требование прекратить вооруженные действия. Как отмечено в протоколе, «выступление Мартова было встречено овацией».

Большевики на это не реагируют, и тогда меньшевики и правые эсеры покидают зал. Но Мартов через некоторое время возвращается и произносит вторую речь. И в ответ – реплика Троцкого: «Вы – жалкие единицы, вы – банкроты, ваша роль сыграна. Отправляйтесь туда, где вам отныне надлежит быть, – в сорную корзину истории» (24, с. 284). При выходе Мартов говорит рабочим-большевикам: «Когда-нибудь вы поймете, в каком преступлении вы участвовали». Наступает перерыв. После перерыва председательствующий Каменев объявляет делегатам съезда: «Восставшие вошли в Зимний дворец. Министры арестованы».

Так закончилась история с «однородным социалистическим правительством». Попытка управлять по правилам социалистической демократии фактически открыла дорогу «социализму с экстремистским лицом».

«Третий путь» не состоялся

Вопрос, на который сегодня вряд ли можно ответить: была ли реальная попытка создания «демократического социализма» социалистами-революционерами и социал-демократами меньшевистской ориентации? В какой-то степени схожей была ситуация в Германии после Ноябрьской революции 1918 г. Там тоже открывались два варианта развития – социалистическая республика в том виде, как ее провозглашал спартаковец Карл Либкнехт, и демократическая республика, к которой призывали германские социал-демократы умеренной ориентации. От их имени выступил в рейхстаге Филипп Шейдеманн. Судьба страны фактически решалась на Всегерманском съезде рабочих и солдатских Советов, который проходил в Берлине с 16 по 20 декабря 1918 г. Большинство делегатов выступило за Национальное собрание на основе всеобщих и равных выборов, т.е. за свой вариант Учредительного собрания. Эти выборы состоялись, и 11 февраля 1919 г. на заседании Национального собрания в Веймаре 277 голосами из 379 первым президентом Германии был избран социал-демократ Фридрих Эберт (18, с. 100). Страна пошла по демократическому пути со всеми сопутствующими проблемами. Начался период так называемой Веймарской республики, разрушенной в 1933 г. приходом к власти национал-социалистов.

По идее, и в России после проведения Учредительного собрания могло быть избрано правительство с сильным участием представителей левых партий, ориентировавшееся на некий «средний путь», на соблюдение подлинных демократических правил. Примечательно, что именно так представлялся ход событий Зинаиде Гиппиус. 1 марта 1917 г. она записала в дневнике: «Совершенно понятно, что ни один из Комитетов целиком – ни думский, ни советский – властью стать не может. Нужно что-то новое, третья» (4, с. 79).

Фактически это и был главный вопрос революции. Это понял Г.В. Плеханов, который по прибытии в революционный Петроград в ночь на 31 марта 1917 г. сразу оценил обстановку и пришел к непростому для себя выводу, что к полноценным социалистическим преобразованиям в духе Марксовой теории российское общество не готово, еще «не смолота мука», из которой «выпекают пирог социализма», и нужно взаимодействие всех политических сил, стоящих на почве демократии. Плеханов полагал, что этим «третьим» должно стать Временное правительство, и только на Учредительном собрании предстоит окончательно определить характер и форму правления в демократической России.

Как известно, поиск «третьей власти» закончился Октябрьским переворотом. И путь к нему шел не через Советы, в которых большевики на первых порах не располагали влиянием, а через митинговую стихию крестьянских масс, только примеривших на себя рабочую робу, форму солдата или матроса. На этой волне и вошли сторонники Ленина, обладавшие недожинными организаторскими способностями и необыкновенным политическим чутьем, сначала в Зимний дворец в Петрограде, затем в Кремль в Москве, а потом и во всю Россию. Это почувствовала З. Гиппиус, записавшая 7 марта 1917 г. в дневнике: «Да, Россией уже правит “митинг” со своей митинговой психологией, а вовсе не серое, честное, культурное и бессильное (а не – революционное) Врем[енное] пр[авительст]во. Пока, впрочем, не Россией, а лишь Петербургом правит, но Россия – неизвестность» (4, с. 85).

Заметим, что этот «митинг» продолжался недолго. Опираясь на конфронтационную массовую психологию и на конфронтационную идеологию классовой борьбы, большевики навели порядок в стране, постоянно внушая массам, что «добро должно быть с кулаками», «гнилому гуманизму» нет места в стране, строящей светлые дворцы коммунизма. Слово «консенсус» оказалось фактически под запретом. Его впервые произнес только М.С. Горбачев в начале нового Февраля, получившего название Перестройки.

Вместо заключения

Честно говоря, до самого последнего времени, вернее до написания этого текста, я не осознавал, почему меня не отпускает тема Февральского процесса. Возвращаясь к осмыслению причин Февральской революции и сопоставляя прошедшее с днями сегодняшними, я еще обостреннее стал воспринимать всю трагедию русского XX века. За одно столетие рухнули как карточный домик две державы, одна из которых держала в страхе Европу, а другая – весь мир. Усилиями многих поколений выстраивалось Московское царство, затем Российская империя, где силой, где добром растекалась по евразийским пространствам. И все это в короткие мгновения и, главное, неожиданным образом прекратило существование в последние дни февраля 1917 г. То же самое случилось и с Советским Союзом, влияние которого распространялось на страны Азии, Африки, Латинской Америки, а ядерный потенциал был способен в считанные минуты уничтожить все живое на земле. Что существенно, и та и другая империи, руководствовавшиеся разной идеологической мотивацией, не нашли при своей кончине хотя бы малейшей, хотя бы эмоциональной поддержки со стороны их обитателей. *Те просто приняли кончину к сведению и зажили дальше на руинах этих империй.*

Во время путешествий по северным лесам я не раз видел огромные, но развороченные лапой медведя муравейники и спящих муравьев, старающихся по каким-то только им понятным правилам выстроить организационную структуру нового муравейника. Признаюсь, две эти империи – российская и советская – напоминают мне развороченные муравейники северных лесов Заонежья.

Но мы все-таки не муравьи. И руководствуемся не только инстинктами. У нас должно быть ясное понимание, какие изъяны существуют в наших общественных структурах, в наших характерах, в нашей ментальности, почему мы допустили почти мгновенно разрушение всего того, что выстраивалось миллионами людей на протяжении длительного времени.

В своих «Узлах» (21) ответить на эти вопросы, осмысливая значение Февраля 17-го для судеб России, попытался Александр Исаевич Солженицын, проделавший огромную работу по изучению архивных материалов, свидетельств участников событий, просмотревший печатные издания того времени и эмигрантскую литературу. В дни Февральского юбилея 2007 г. массовым тиражом была опубликована как бы сокращенная версия его изысканий под заголовком «Размышления над Февральской революцией» (20). В чем же видит А.И. Солженицын глубинную причину произошедшего? Как мне представляется, вот один из его ключевых выводов. Указав на появление в России «мощного либерально-радикального (и даже социалистического) Поля», он далее писал: «Много лет (десятилетий) – это

Поле беспрепятственно струилось, его силовые линии густелись и призывали, и подчиняли все мозги в стране, хоть начатками его. Оно почти полностью владело интеллигенцией. Более редкими, но пронизывались его силовыми линиями и государственно-чиновные круги, и военные, и даже священство, епископат (вся церковь уже стала бессильна против этого Поля), и даже те, кто наиболее боролся против Поля, – самые правые круги и трон. Под ударами террора, под давлением насмешки и презрения эти тоже размягчались к сдаче. В столетнем противостоянии радикализма и государственности – вторая еще больше побеждалась если не противником своим, то уверенностью в его победе. При таком пронизывающем влиянии всюду в аппарате государства возникали невольно-добровольные агенты и ячейки радикализма, они-то и сказались в марте Семнадцатого. Столетняя дуэль общества и трона не прошла вничью: в мартовские дни идеология интеллигенции победила – вот захватив и генералов, а те помогли обессилить и трон. Поле струилось сто лет – настолько сильно, что в нем померкло национальное сознание («примитивный патриотизм») и образованный слой переставал усматривать интересы национального бытия. Национальное сознание было отброшено интеллигенцией, но и оброчено верхами. Так мы шли к своей национальной катастрофе» (20, с. 10).

И в другом месте: «И все же не сама по себе война определила революцию. Ее определил изданный страстный конфликт общества и власти, на который война наложилась. Все назревание революции было не в военных, не в экономических затруднениях как таковых, но в интеллигентском ожесточении многих десятилетий, никогда не пересиленном властью» (20, с. 10).

Мне меньше всего хотелось бы полемизировать с человеком, который в свое время один на один выступил против огромной машины тоталитарного режима и при этом выстоял, разбудил впадшее в тоталитарный шизофренический транс общество (прежде всего такими произведениями, как «Один день Ивана Денисовича» и «Архипелаг ГУЛАГ»). Но, как говорится, истина дороже. Указание на факт противостояния власти и общества, представленного, в первую очередь, радикализованной интеллигенцией, не объясняет, чем вызвано такое противостояние. Собственные размышления на эту тему, подкрепленные материалами к лекциям («Человек и власть в истории России»), с которыми я выступал в свое время в Германии, в Мюнстерском университете, привели к иному выводу: все зависит от способности общества выстраивать властные структуры и институты, позволяющие учитывать и примирять всю усложняющуюся совокупность интересов различных социальных групп, прежде всего в области экономических отношений. Конфронтационный подход осложняет решение этой главной проблемы. И наоборот, консенсусный подход к решению проблем, находящий выражение в реформах, способствует установлению диалога

между социальными группами, но прежде всего между обществом и избираемой им властью.

Российская история демонстрирует, что наше общество развивалось как бы толчками: от консенсусных реформ – к конфронтационным заморозкам, приводящим к кризисам; от послекризисного состояния – к новым реформам и новым заморозкам. «Дней Александровых прекрасное начало», как этот период (начало XIX в.) охарактеризовал Пушкин, сменилось бюрократическим застоём при Николае I, обернувшимся поражением в Крымской войне 1854–1855 гг. Затем реформы Александра II, которые после его убийства террористами в 1881 г. сменяются ужесточением при Александре III и его сыне Николае II. Снова поражение – в Русско-японской войне 1905–1906 гг. и снова вынужденное обращение к реформам на основе Октябрьского манифеста 1905 г. Начавшаяся Первая мировая война как бы приостановила логику реформ. Но она вновь заявила о себе Февральской революцией 1917 г., которая с исторической точки зрения открывала возможности для продолжения реформ – теперь уже в условиях демократически избранной верховной власти.

Своеобразие сложившейся ситуации заключалось в том, что в самом начале революции на политическую арену вышли представители разных политических субкультур. Одна – консенсусная, представленная либеральной интеллигенцией, торгово-промышленными кругами, городскими средними слоями, демократически настроенным средним и высшим военным командным составом, а также частью левых политических партий (правые меньшевики, правые социалисты-революционеры, группа «Единство» Г.В. Плеханова). Другая – конфронтационная, с ориентацией на решение проблем в рамках прямой демократии (Советы). Экстремистски настроенная группа большевиков сумела, в конце концов, опереться на эту ментальную базу и довольно легко прийти к власти, исказив затем саму суть народного представительства и выстроив в России тоталитарный режим, находившийся в полном противоречии с логикой Февральского процесса 1917 г.

Крушение советской империи фактически вернуло Россию на исходные позиции Февраля 1917 г. Между тем первоначальный демократический процесс, начатый в 1991 г., постепенно выродился в авторитарный режим с чисто внешней демократической имитацией. Как в XIX и XX вв., страна – теперь уже в начале XXI в. – снова встает перед проблемой: либо дальнейший разрыв между обществом и властной бюрократией, пытающейся выстраивать очередной имперский «муравейник» с последующим негативным результатом, либо общество проявит способность формировать демократическим способом властные структуры и держать их деятельность под постоянным контролем. Вопрос открытый, и российскому

обществу предстоит нелегкий экзамен на политическую зрелость в рамках консенсусной культуры.

А пока?.. Пока власти толкают страну в конфронтационном направлении, создавая атмосферу осажденной крепости и приучая население к тому, что Россию окружают враги, и прежде всего США и НАТО. Эти строки я писал в жаркие июньские дни 2007 г. в академической больнице в Ясенево, где врачи кардиологического отделения пытались наладить мне кровяное давление. Обстановка доброжелательная. Приветливый персонал. Высокий профессионализм лечащих врачей. Мудреная медицинская аппаратура, в основном западного происхождения. Но... довольно скромное питание и алюминиевые вилки в столовой. Такими вилками я пользовался в заводской столовой в г. Электростали после войны, где начался мой трудовой путь. Так обстоят дела в главной больнице системы Академии наук. А что происходит в городских, районных или сельских больницах, разбросанных по всей России?

Алюминиевые вилки – это всего лишь напоминание о том, что нельзя одновременно решать задачу «сбережения народа» (выражение А.И. Солженицына) и раскручивать новый виток гонки вооружения, в том числе закладывая новые сверхсовременные атомные лодки для себя и для других. Не повторится ли парадоксальная ситуация, когда подлодки времен «холодной войны» ржавеют в Кольском заливе, а маленькая Норвегия из своего бюджета выделяет средства для их дезактивации? Американцы же, которых мы снова хотим превратить в противников, из своего бюджета (т.е. из налогов граждан) тратят деньги на уничтожение химического оружия, горы которого накоплены вдоль берегов великой русской реки Волги.

Иными словами, между алюминиевыми вилками, которыми мы пользуемся по сей день, и огромными субмаринами существует прямая логическая взаимосвязь. И пока это обстоятельство не будет уяснено на уровне обыденного сознания граждан страны, определенная часть политического класса России, прежде всего связанная с силовыми структурами и военно-промышленным комплексом, будет продолжать продвигать страну в сторону еще одного державного муравейника.

Что же касается уроков Февральского процесса 1917 г., то их кратко можно охарактеризовать так. Консенсусный вариант на базе принципов демократии ведет в семью цивилизованного человечества. Конфронтационный – к новой катастрофе, трагические последствия которой мы вряд ли сможем преодолеть.

Список литературы

1. Аксенов Г. Слово и дело церкви // Отечественные записки. – М., 2005. – № 3. – С. 232–337.
2. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. – М.: Наука, 1990. – 222 с.

3. Бьюкенен Д. Моя миссия в России: Воспоминания английского дипломата, 1910–1918. – М.: Центрполиграф, 2006. – 408 с.
4. Гиппиус З.Н. Дневники. – М.: Захаров, 2002. – 314 с.
5. Горький М. Несовременные мысли: Заметки о революции и культуре. – СПб.: Азбука-классика, 2005. – 224 с.
6. Зуев М.Н. История России: В 2-х кн. – М.: Новая Волна, 2002. – Кн. 2.: История России в XX – начале XXI века. – 672 с.
7. Керенский А.Ф. История России. – Иркутск: Коммерческий центр «Журналист», 1996. – 504 с.
8. Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте: Мемуары / Пер. с англ. – М.: Республика, 1993. – 384 с.
9. Ленин В.И. Государство и революция // Полн. собр. соч. – Т. 33.
10. Ленин В.И. Доклад о революции 1905 года // Полн. собр. соч. – Т. 30.
11. Морозов К.Н. Судебный процесс социалистов-революционеров и тюремное противостояние, (1922–1926): Этика и тактика противоборства. – М.: РОССПЭН, 2005. – 736 с.
12. Орлов Б.С. Г.В. Плеханов и Февральская революция 1917 г.: Специализированная информация РАН ИНИОН / Отв. ред. В.М. Шевырин. – М.: ИНИОН РАН, 2007. – 94 с.
13. От Февраля к Октябрю (Из анкет участников Великой Октябрьской Социалистической революции). – М.: Госполитиздат, 1957. – 432 с.
14. Пайпс Р. Русская революция. – М.: РОССПЭН, 1994. – 399 с.
15. Плеханов Г.В. Год на родине: Полное собрание статей и речей, 1917–1918 гг. – В 2-х т. – Paris: Povolozky, 1921. – В собрание вошли статьи Г.В. Плеханова, опубликованные в 1918–1918 гг. в газете «Единство» (затем – «Наше единство»).
16. Плеханов Г.В. Год на родине: Полное собрание статей и речей, 1917–1918 гг. – В 2-х т. – Paris: Povolozky, 1921. – Т. 2. – 296 с.
17. Плеханов Г.В. О тезисах Ленина и о том, почему бред бывает подчас интересным // Газета «Единство». – Петроград, 1917. – 9–12 апр.
18. Поттхофф Х., Миллер С. Краткая история СДПГ, 1848–2002. – М.: Памятники исторической мысли, 2003. – 560 с.
19. Рид Дж. Десять дней, которые потрясли мир: Октябрьская буря. – М.: Политиздат, 1987. – 637 с. (См. также: Рид Дж. Десять дней, которые потрясли мир. – Нью-Йорк, 1934.)
20. Солженицын А. Размышления над Февральской революцией: Александр Солженицын о событиях, которые трагически изменили не только судьбу России, но и ход всемирной истории // Росс. газета. – М., 2007. – 27 февр.
21. Солженицын А.И. Красное Колесо: Повествование в отмеренных сроках. – Вермонт, Париж: Ymca-Press, 1987–1989. – (Узел 3: Март семнадцатого (23 февраля – 18 марта)). – 752 с.
22. Суханов Н.Н. Заметки о революции: В 7-ми т. – Берлин, 1922 (см. также: Суханов Н.Н. Записки о революции: В 3-х т. – М.: Республика, 1982. – Т. 3. – Кн. 5, 6, 7).
23. Улам А.Б. Большевики: Причины и последствия переворота 1917 года. – М.: Центрполиграф, 2004. – 510 с. – В оригинале название несколько иное: Ulam A.B. The Bolsheviks: The intellectual and political history of the Triumph of Communism in Russia.
24. Урилов И.Х. Ю.О. Мартов: Политик и историк. – М.: Наука, 1997. – 471 с.
25. Херш Э. Купленная революция: Тайное дело Парвуса. – М.: ОЛМА-ПРЕСС образование, 2004. – 380 с.
26. Царуски Ю. От царизма к большевизму // Германия и русская революция 1917–1924 / Изд. Г. Кёнена и Л. Копелеваш. – М., 2004. – С. 100–123.

-
27. Шевырин В.М. Власть и общественные организации в России, (1914–1917). – М.: ИНИОН РАН, 2003. – 152 с.
 28. Bernstein E. Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie. – Berlin; Bonn.: Verl. J.H.W. Dietz Nachf, 1984. – 235 S.
 29. Borce von A. Die Ursprünge des Bolschewismus: Die jakobinische Tradition in Rußland und die Theorie der revolutionären Diktatur. – München: Johannes Berchman Verl., 1977. – 646 S.

О.Ю. МАЛИНОВА

**ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
И ПЕРЕОПРЕДЕЛЕНИЕ «ЗАПАДА»¹**

**Тема Европы («Запада») в дискурсе о коллективной
идентичности России начала XX в.**

Споры об отношении России к «Западу», о перспективах ее модернизации и возможности «особого пути», которые ведутся на протяжении многих десятилетий, и в начале XXI в. остаются значимым фактором, определяющим конфигурацию политико-идеологического спектра. Дискуссии российских «западников» и их оппонентов воспроизводят вполне определенную «систему формирования высказываний»², что дает основания рассматривать их в качестве продолжающегося (точнее, многократно возобновляющегося) дискурса. Этот дискурс оставил глубокий след в отечественной культуре: он был колыбелью, в которой рождалась русская философия, заложил традиции осмысления особенностей национальной истории и культуры, стал лабораторией, где исследовалась специфика российских социальных и политических институтов и разрабатывались альтернативные проекты развития, он послужил школой, сформировавшей русскую интеллигенцию, и др. Но помимо всего прочего это был *дискурс о коллективной идентичности*, в котором через соотнесение со Значимым Другим – Европой («Западом») – формулировались, развивались и соперничали разные представления о том, кто есть Мы, образующие культурное и политическое сообщество, стоящее за понятием «Россия». Именно этот аспект дискуссий о России и Западе в начале XX в. и станет предметом нашего анализа.

¹ Исследование проведено при поддержке Российского гуманитарного научного фонда, грант № 06-03-02-038а.

² По М. Фуко, дискурс – это «совокупность высказываний, подчиняющихся одной и той же системе формирования» (24, с. 209–210).

Со времен «Философических писем» Чаадаева отношение России к Европе («Западу») неизменно было предметом споров, однако неверно было бы утверждать, что данная проблема всегда занимала центральное место в общественной повестке дня. В начале XX в. она явно отодвинулась на второй план, что в немалой степени было связано с происходившими в России переменами. Вполне зримые успехи «экономической европеизации» психологически увеличивали дистанцию между *прежней*, до-реформенной, и *современной* Россией – Россией городов и железных дорог, фабрик и банков, бюрократического чиновничества и либерального земства – и тем самым уменьшали степень наших отличий от Значимого Другого. Как писал С.Трубецкой, «один переход натурального хозяйства в денежное приближает Россию к Европе более, чем образованность отдельных умов» (21, с. 518).

Впрочем, и с точки зрения «образованности» старая дихотомия России и «Запада» была уже не столь остра: если современников Пушкина и Гоголя мучил вопрос «есть ли у нас литература», то у поколений их внуков и правнуков мировое значение русской культуры уже не вызывало сомнений. Русская литература, искусство, театр, балет, наука, философия вполне на равных вступили в диалог с современной Европой (см.: 26, с. 52–55). Разумеется, эти достижения не отменяли разрыва между «верхами» и «низами» русской культуры, и проблема «интеллигенции и народа» на рубеже веков вызвала острейшие споры. Однако фокус этих споров заметно сместился по сравнению с «романтической» повесткой второй трети XIX в.: публицистов 1900-х годов больше занимали не проблемы национального единства культурно расколотого российского общества, а социальные и морально-этические аспекты отношений составляющих его групп.

В начале XX в. наметились определенные сдвиги и в отношении «политической европеизации»: образовались политические партии – сначала на нелегальной, а затем, в ходе революции 1905–1907 гг., уже на легальной основе; появился парламент (пусть и с ограниченными полномочиями), более либеральной стала цензура. И хотя практически все общественные группы остались не удовлетворены итогами первой русской революции, она необратимо изменила рамки политического процесса. Это обстоятельство побуждало иначе смотреть на «западный опыт»: новые социальные практики требовали более конкретных представлений о Значимом Другом. Как отмечал в 1915 г. С.Н. Булгаков, «по мере того, как Россия цивилизуется и сама в этом отношении западает», ослабевает «религиозное» отношение к Европе как кумиру, характерное для прежнего западничества. Оно сменяется отношением, «более трезвым и деловым, а потому и более справедливым». Впрочем, по оценке Булгакова, «и до сих пор в общественном самосознании нашем черты этого делового и буржуазного

западничества борются с западничеством религиозным, с верой в обетованную землю» (6, с. 37–38).

В известном смысле 1900-е годы были периодом сближения России с Европой. *В отношении к западному опыту прагматический интерес брал верх над стремлением утвердить экзистенциальные различия.* Изменение внешнеполитического курса, выразившееся в отказе от традиционных союзнических отношений с Германией и заключении союза сначала с Францией, а затем и с Англией, заставляло пересмотреть привычную ментальную карту Европы. Иными становились и представления об «Азии». Ощутимым стимулом к этому стало поражение в русско-японской войне, особенно обидное в свете того обстоятельства, что «наше великое отечество дало себя опередить в культуре и даже в военно-политической организации небольшой азиатской державе, вступившей, казалось, на европейский путь чуть ли не со вчерашнего дня» (17, с. 341–342). Идея «желтой опасности» как общей угрозы для Европы (включая и Россию) становится в начале XX в. хотя и не доминирующей, но настойчиво повторяющейся темой.

И хотя Россия начала XX в., безусловно, во многих отношениях «отставала» от «западной Европы»¹, бросавшиеся в глаза перемены создавали новый ракурс для соотнесения со Значимым Другим: очевидные различия между Россией времен Чаадаева и *современной* Россией придавали достоверность западнической метафоре *молодой* страны, способной уже в ближайшем будущем встать в один ряд с «цивилизованными» нациями Европы. *По мере того как русская «самобытность» воплощалась в более современных формах, она утрачивала прежние ассоциации с «отсталостью», а ее сохранение менее жестко увязывалось с ограничением чужеродных заимствований.* Вместо бинарной оппозиции полярно противоположных моделей коллективной самоидентификации, оформившейся в 1840-х годах в ходе полемики славянофилов и западников и в том или ином виде воспроизводившейся вплоть до 1890-х годов, в 1900-х годах мы обнаруживаем континуум интерпретаций, которые различались способами постановки проблем и распределением акцентов.

Дискуссии периода Первой мировой войны стали своеобразным испытанием устойчивости данной тенденции. *Война оживила общественный интерес к теме России и «Запада». «Легитимировав» в каком-то смысле «славянофильские» настроения, она вновь поставила на повестку дня вопросы о «духовном самоопределении» нации и ее исторической «миссии».* Россия участвовала в этой войне на стороне Франции и Британии против Германии, и это обстоятельство побуждало к частичному пересмотру «системы координат», в которой происходило соотнесение со

¹ Именно так, с маленькой буквы, писали в то время это словосочетание. Впрочем, правила на сей счет не были твердыми.

Значимым Другим. Конструирование образов новых «Друзей» и новых «Врагов» предполагало ревизию сложившихся «репертуаров смыслов». Наиболее очевидным направлением этой ревизии был перенос негативных оценок «Запада» на образ Германии и поиск признаков культурной общности и(или) прагматических оснований для солидарности с Англией и Францией.

**Какой Запад мы выбираем?:
конструирование образов новых «Друзей» и «Врагов» России
поздними славянофилами**

Движение в данном направлении обозначилось еще до войны, по мере того как с выходом России из германского лагеря в начале 1890-х годов и заключением союзов с Францией в 1904 г. и Англией в 1907 г. определялась новая конфигурация российской внешней политики. «Последние из могокан» «славянофильства» горячо приветствовали заключение союзов против Германии, усматривая в них решимость осуществить «славянское мировое призвание России» (16, с. 4)¹. С.Ф. Шарапов и его единомышленники стремились представить Германию как «главного врага и смутяна среди всего остального белого человечества» и доказывали, что она несет опасность всем, но прежде всего – России и славянству (1, с. 16–17)².

В то же время Шарапов пытался, не отступая от «славянофильских» принципов, «реабилитировать» Францию и Британию, что получалось порою неуклюже. Еще в 1880-х годах, до выхода России из союза с Германией, он опубликовал статью «За что нас любят французы?», в которой доказывал, что Франция, всегда стоявшая «во главе западного человечества»

¹ С.Ф. Шарапов видел суть призвания России «в создании нового культурного типа в человечестве, основанного на торжестве нравственного начала над договорно-правовым», и полагал, что «вне этого она осуждена лишь на постыдную роль – идти в хвосте европейской культуры» (16, с. 4–5).

² Нужно заметить, что эти идеи встретили отпор внутри националистического сегмента русского политического спектра. Один из лидеров Всероссийского национального союза, публицист «Нового времени» М.О. Меньшиков доказывал, что «только враги России могут желать нашей ссоры с немцами», которая на руку «только евреям и еврействующим кадетам.., ибо результат ее будет новый, окончательный разгром России». Он полагал, что Германия «не препятствовала ни России, ни вырождающемуся славянству развивать все свои возможности и все права на счастье», бедственное положение последнего – следствие его собственной слабости, и России не следует идти на «безумный риск», помогая славянам сбросить с себя «все владычества» (12, с. 3). Тревогу по поводу того, что союз России с Англией может спровоцировать войну с Германией, выражал и П.Б. Струве. Он, как и Меньшиков, опасался, что Россия не готова к такой войне, но главную причину ее слабости видел в незавершенности политических реформ. По его словам, сделать Россию сильной может лишь «окончательное торжество конституции над тем неестественным и гибридным режимом, в котором под формами народного представительства скрывается старый абсолютизм, доведший страну до поражения на Дальнем Востоке» (19, с. 199).

ва», в последнее время, «словно разгадав великую духовную силу славянства в лице наших гениальных писателей, полюбила нас всем сердцем, не зная удержу расхоронившемуся чувству» (28, с. XXIV). Внезапную любовь французов к русской культуре Шарапов объяснял тем, что они «уже пережили, *изжили* свою латино-германскую цивилизацию» и «честно» готовы признать «русского гения», который «новую культуру и идеалы внесет в мир, новую душу вдохнет в дряхлеющее тело Запада» (28, с. XXV). Франции он противопоставлял ненавистницу России – Германию, «последнее, позднее дитя латино-германского мира..., усвоившее себе все злое и отрицательное, что было на Западе, не имеющее никаких идеалов, кроме заимствованных у еврейства хищных идеалов чисто материального мирового владычества» (28, с. XXVI). Заявляя о необходимости сближения с Францией, идеолог позднего славянофильства считал возможным закрыть глаза на республиканские идеалы последней: «Идея самодержавия лежит действительно в душе народа..., – писал он. – [Но] кто видит в русском самодержавии политический идеал, тот всегда поймет, что французский легитимизм – ложь и карикатура, и протянет дружескую руку откровенному *péant* – французской республике, которая по крайней мере не ложь, а *честное* сознание Запада в своем полном духовном и политическом бессилии» (28, с. XXVIII).

В 1908 г. Шарапов не менее старательно подводил идеологическую основу под союз России с Великобританией, для чего также требовалось совершить разворот на сто восемьдесят градусов, и прodelьвал его без тени смущения. «Что и говорить! – писал он. – Враждебна была нам Англия, на каждом шагу становилась поперек нашего исторического пути и вредила нам, как могла!» Но оттого-то эти недружественные действия «и оставляли такую долгую и горькую память, что эта вражда была совершенно противоестественна...» (16, с. 11). Не отрицая коренных различий между Россией и Англией, Шарапов с учетом «междивилизационного» политического расклада представлял их естественными союзниками. «Не нужно пристально глядываться в Божий мир и кропотливо изучать историю, характеры и политические стремления многочисленных племен и народов земного шара, – писал он, – чтобы увидеть то, что сразу бросается в глаза: англосаксы и славяне – вот две арийских расы, которым предстоит очевидное, бесспорное миродержавство; вражда этих рас, создавая в Европе политические хаос и разложение, может, чего доброго, выдать все Белое человечество головою на милость и немилость пробуждающегося Желтого мира. Их честный и искренний союз, и только он один, может на веки вечные, пока глаз хватает из глубины неизведанного будущего, обеспечить законное торжество Белого человечества над цветным, Христианства – над язычеством и Исламом» (16, с. 11–12). Впрочем, Шарапов особо оговаривал, что предлагаемый союз опирается на сугубо

прагматические основания и никоим образом не отменяет традиционной приверженности России монархическому принципу: «Я вовсе не закрываю глаз на прошлое, – писал он, – мне омерзительна агитация левых, ожидающих от англо-русского союза перерождения России в заправскую конституционную державу. Я стою за союз конституционной Англии с самодержавною Россией...» (16, с. 13).

Конечно, аргументы сторонников «славянского мирового призвания» выглядели не слишком убедительно. Да и само «славянофильство» в рассматриваемый период было течением маргинальным и очевидно реакционным. Однако с началом войны, когда проблема пересмотра собирательного образа «Запада» стала актуальной для всех участников политического дискурса, тактика приписывания позитивных/сближающих черт Англии и Франции и переноса негативных характеристик, отличающих Другого от Нас, на Германию, оказалась весьма популярной.

«В поисках смысла войны»

По оценке многих современников, вступление России в Первую мировую войну с идеологической точки зрения не было в достаточной мере подготовлено. Как писал С.Л. Франк, война «явилась неожиданностью для общественного мнения и в известном смысле застала врасплох сложившееся и господствовавшее умонастроение интеллигентских кругов общества» (23, с. 125). Жаркие дискуссии о «смысле войны» развернулись в первые месяцы после ее начала, на фоне небывалого патриотического подъема. Вот как описывал впечатления от стихийных манифестаций первых дней войны В.В. Розанов: «Эти дни, когда зашевелились могучие части военного тела России, мы осязательно и зрительно ощутили воочию и плечом около плеча, что такое “Государство” и что такое “Отечество”... И это ощущение Государства есть вещь незаменимая в смысле обучения. В “быту” мы все естественно слишком раздробились; и только в войне чувствуем себя “все вместе”... Это – то политическое воспитание, которого вовсе не дают нам юридические факультеты...» (15, с. 36, 37–38). Позже энтузиазм сменился апатией, которая, в свою очередь, к 1917 г. переросла в широкий протест против войны и неэффективного политического режима, но в либеральном дискурсе всеобщее воодушевление ее первых недель стало важной отправной точкой для конструирования национальной идентичности в новом, военном контексте. По заключению автора монографии о «немецком вопросе» в российской политике 1914–1917 гг. Э. Лора, «июль 1914 г. стал для либералов символом – моментом идеализированной возможности для создания гражданского и национального единства, консолидации универсального гражданства, формирования “воюющей нации”» (33, с. 23).

В тех, кто был склонен верить в особую миссию России, патриотический подъем начала войны возродил веру в то, что «надвигается русская эра мировой истории». Вот как писал об этом С.Н. Булгаков, противопоставляя новое состояние российского общества довоенному, когда «умами владело рационалистическое западничество» и «трудно было, не вызывая скептической или насмешливой улыбки, говорить о русском призвании»: «Совершился великий и в своем значении потрясающий факт: *мы опять поверили в Россию!*.. Мы снова осязательно увидели духовную красоту русской души; на фоне цивилизованного варварства, доселе гипнотизировавшего нас, мы познали ее высшую духовную культурность» (5, с. 114–115). Казалось, что наступает заветный момент, когда России предстоит «сказать свое мировое слово»¹. Но и для тех, кто относился к идее русского мессианизма критически, солидарность, выраженная в начале войны, была знаком должданного единства, шансом на преодоление былого «эмигрантского настроения» и разделяющих нацию мировоззренческих барьеров. Как писал, выражая позицию своей партии, П.Н. Милоков, «дело войны есть собственное дело нации, сознавшей свое единство», и это духовное единство надлежит «хранить, как зеницу ока, как величайшее национальное сокровище» (14, с. 11).

С первых же дней войны, в которой участвовала почти вся Европа, стремились представить как противостояние «славянства» и «германства» (ср.: 4, с. 4; 15, с. 5; 31, с. 5, 7 и др.). Даже те, кто не разделял мессианских настроений искателей «русской идеи» и оценивал ситуацию с точки зрения столкновения не метафизических «начал», но вполне материальных «интересов», «причину» войны однозначно видел в Германии². Конечно, были и другие интерпретации «смысла войны», в том числе – попытки вписать Россию в ту концепцию войны *демократий* за свободу и самоопределение угнетенных народов, которая в 1914 г. еще только складыва-

¹ Как писал В.Ф. Эрн, «наступает время, когда Россия должна сказать свое мировое слово. Доселе Россия жила, пусть огромным и грандиозным, но все же своим обособленным углом во всемирной истории. Теперь же она выступает в роли вершительницы судеб Европы, и от ее мудрости, от ее вдохновения и решимости будет зависеть вся дальнейшая история мира» (31, с. 10; ср.: 4, с. 7–8; 9, с. 97–99 и др.).

² По заключению П.Н. Милокова, причины войны нужно искать отчасти во «внутренней эволюции германского национального организма», отчасти – в вызванном этой эволюцией «состоянии народной психологии». Превращение Германии «из сельскохозяйственного государства в индустриальное произошло так стремительно, что не успело привести к изменению старых нравов и привычек. На новую ступень экономического развития Германия перенесла в свежем виде все традиции прошлого» (13, с. 2, 4). С.Л. Франк полагал, что войны можно было бы избежать, если бы Германия пожелала найти компромисс, и «уже одно это обстоятельство делает войну морально оправданной борьбою с злом волею» (22, с. 2).

лась¹. Однако тема борьбы против зла, воплощаемого Германией, безусловно доминировала в этом дискурсе – причем не только на уровне элит. *Война дала выход обывательской германофобии*, которая опиралась на неприязненное отношение к представителям немецкого меньшинства, занимавшим высокие статусные позиции в экономике и особенно – в бюрократическом аппарате империи (см.: 33).

Одновременно *война подхлестнула и «славянофильские» настроения*. Характерный пример – рассуждения В.В. Розанова о переименовании столицы, представлявшемся ему символом некоего «поворота духа» от «западничества» к «славянофильству». «Взяв немецкое имя для столицы, – писал он, – Великий Петр сказал ясно, чего он хочет, как он думает. Мы два века шли по этой думе, по этому “хочу”, – и пришли сперва к его “реформам”, к благополучным войнам, и вообще ко многим успехам политики и гражданственности; но одновременно пришли и к построению целого мирозерцания “западничества”, отвратительное и неотвратимое дитя коего есть маленький уродец – “нигилизм”. Все стало мелеть и мелеть – и государственность, и политика, ибо какие же *строители царства* суть нигилисты?.. Могучее “хочу” Государя в отношении наименования столицы указывает нам другие родники бытия: славянский мир, и все те нравственные и политические начала, какие указывали славянофилы. Итак, заря новой войны – не только племенная борьба с германским миром, а и культурное возрождение России, возрождение на исконных русских началах» (15, с. 68–69).

Война позволила вернуться к теме о «вселенском предназначении» России и ее «духовной самостоятельности» по отношению к «Западу», которая в предыдущее десятилетие оказалась отодвинута на второй план более насущными общественными и политическими проблемами. В дискуссиях о «смысле войны» проявился феномен, который современники называли «неославянофильством». «Неославянофильство» 1914–1917 гг. не было оформленным общественным течением, скорее – интеллектуальной тенденцией, выразившейся в попытках столь разных по мировоззрению и философскому темпераменту мыслителей, как В.Ф. Эрн, С.Н. Булгаков, В.В. Розанов, В. Иванов и др.², переосмыслить старую дихотомию России и «Запада». В рассматриваемый период их идеи не получили ши-

¹ См. статью Е. Трубецкого, опубликованную в номере «Русской мысли», посвященном проблеме «смысла войны», в которой доказывалось, что в силу особенностей нашего национального самосознания и отсутствия интереса в увеличении собственной территории «мы сражаемся за права национальностей вообще, за самый национальный принцип в политике в полном его объеме» (20, с. 89). Однако с учетом особенностей российской национальной политики этот тезис выглядел не слишком убедительно.

² Предметом моего анализа будут главным образом идеи В.Ф. Эрна и С.Н. Булгакова, последовательно разрабатывавших в годы войны тему России и «Запада» и представивших вполне развернутые концепции.

рогого распространения. Как признавал В.Ф. Эрн в 1915 г., «умонастрое-ние образованных русских людей в массе теперь, как и встарь, равнодушно или враждебно славянофильским идеям» (30, с. 5). Для нас *идеи «неославянофилов» и их оппонентов интересны как некий промежуточный итог эволюции дискурса о России и «Западе» в начале XX в.* Эти идеи ни в коей мере не были простым повторением классического славянофильства и западничества. Рассуждая о «мировом призвании» России и определяя ее идентичность через противопоставление Германии и Европе, участники дискуссий 1914–1917 гг. должны были так или иначе адаптировать сложившиеся «репертуары смыслов» к изменившемуся контексту.

Во-первых, было не вполне логично представлять войну, в которой на нашей стороне – Франция и Англия, как борьбу России против «Запада». Таким образом, *нуждалось в переопределении не только понятие «Запад», но и место России в Европе* (о переопределении «Запада» в публицистике периода Первой мировой войны см.: 27, с. 95–98).

Во-вторых, все участники дискуссии признавали недостатки «старого» славянофильства и «узкого» западничества и позиционировали себя за рамками прежних «лагерей», предполагая осуществить некий синтез их идей. В какой мере эти намерения удалось реализовать – покажет наш последующий анализ.

«Неославянофильство» В.Ф. Эрна: «Русское дело» против «цивилизованного варварства»

Летом и осенью 1914 г. тема «смысла войны» оживленно обсуждалась на страницах газет и журналов, на заседаниях ученых обществ и в студенческих аудиториях. На фоне великого множества предложенных объяснений одним из наиболее ярких и провокационных был доклад В.Ф. Эрна на публичном заседании московского религиозно-философского Общества памяти Вл. Соловьева 6 октября 1914 г., озаглавленный «От Канта к Круппу». Позже он был опубликован в двенадцатом номере журнала «Русская мысль» за тот же год в рамках своеобразного заочного симпозиума о «смысле войны». Пафос выступления Эрна заключался в опровержении распространенного принципа, согласно которому «зверства германского милитаризма – это одно, а достижения немецкой культуры – другое». Автор доклада пытался доказать, что «бурное восстание германизма предreshено *Аналитикой* Канта» и что «внутренняя транскрипция германского духа в философии Канта закономерно и фатально сходитя с внешней транскрипцией того же самого германского духа в орудиях Круппа» (32, с. 116–117). Проводя органическую связь между философией и культурной жизнью народа в целом, Эрн доказывал далеко идущие последствия кантовского феноменализма, «отменявшего в своем абсолютном зна-

чении» «все историческое и традиционное, все инстинктивное и природное, все вдохновенное и благодатное» и тем самым «перерезавшего» «контакт разума с Сущим, то есть с Богом» (32, с. 117). В его понимании, «в плане истории теоретическое богоубийство, как априорный и общеобязательный для всякого “немецкого” сознания принцип, неизбежно приводит к посюстороннему царству силы и власти, к великой мечте о земном владычестве и о захвате всех царств земных и всех богатств земных в немецкие руки». Таким образом, «немецкий милитаризм есть натуральное детище Кантова феноменализма, коллективно осуществляемого в плане истории целую расой» (32, с. 118). И «за блиндированной стеною, которая вдруг укрыла от всего мира германский народ, мы должны без всякого малодушия чувствовать великий ряд величайших имен, созидавших в продолжение столетий “культуру”, абстрактное поклонение перед которой у нас распространено до сих пор» (32, с. 123)¹. Отсюда следовал вывод о необходимости бескомпромиссного пересмотра подражательного отношения к этой культуре.

По мысли Эрна, «переживаемая нами война, беспрецедентная по своим размерам и по своему ожесточению, есть в своей глубочайшей духовной сути столкновение *всемирно-исторических начал*» (32, с. 122–123). Означало ли это, что в лице Германии России противостоял «Запад»? Представляется, что такая интерпретация мысли Эрна была бы не вполне точна. Как хорошо показала в своей статье Ю. Шерер, основные тезисы доклада «От Канта к Круппу» могут быть адекватно поняты лишь в контексте других работ, отражающих представления Эрна о развитии философского знания и перспективах русской философии. *Концепция Эрна «философоцентрична», философскому конфликту в ней придается значение конфликта цивилизаций*. Как правильно подметила Ю. Шерер, у Эрна «антагонизм Восток – Запад не есть... феномен двух различных культур, но антиномия между Ratio и Логосом. Речь идет о двух принципах, не только фундаментально враждебных друг другу, но взаимоисключающих... Как следствие – конфликт между двумя принципами становится неизбежным, это конфликт, который в конце концов не может быть разрешен иначе, как военным столкновением» (29, с. 93). Безусловно, концепция Эрна, сводившая все многообразие германской культуры к одному «принципу», выразившемуся в феноменализме Канта, и проводившая причинно-следственную связь между философией и политической практикой, страдала редукционизмом – на что справедливо обращали внимание оппоненты (2, с. 117–118; 22, с. 16–17). Тем не менее, представляя войну как столкновение двух «начал», Эрн в полной мере сознавал те сложности, с которыми при сложившихся обстоятельствах сопряжена их идентификация. В своих последующих статьях и выступлениях о России и Германии,

¹ В понимании Эрна, λόγος – это разум, который имманентно пронизывает живую реальность, ratio – формальный рассудок, оторванный от бесконечной множественности жизни.

собранных в 1915 г. в два сборника – «Меч и крест» и «Время славянофильствует», он попытался переосмыслить понятие «Европа».

По мысли Эрна, «старая антитеза *Россия и Европа* вдребезги разбивается настоящей войной, и в то же время из-под ее обломков с непреодолимой силой поднимаются новые антинормы, новые всемирно-исторические противоположения и новые духовные задачи» (30, с. 7). С одной стороны, в этой войне «Европа» противостоит Германии. И, согласно интерпретации Эрна, «лицом к лицу тут встречаются две мысли, два самоопределения, два лика самой Европы, или, еще лучше, Европа и ее двойник» (30, с. 8). Но с другой стороны, действительно ли Европе противостоит «анти-Европа»? Что такое Германия – «последняя ли точка в развитии европейской идеи, бесстрашный, могучий и самый передовой авангард всего европейского человечества или же чужеродное растение, паразит на благородном теле европейской культуры, ее внутренний срыв и провал»? Для Эрна ответ на этот вопрос очевиден: «Германия есть плоть от плоти и кость от кости европейской», и отрицать данное обстоятельство – значит разбивать единство «организма европейской культуры», «раздроблять его идею» (30, с. 8–9). Но если «германство в его всецелости, с войной, Лувеном, с Реймсом, есть только Европа и не что иное..., только доведенный до величайшего напряжения мощный... *контрапункт новой европейской культуры*» (30, с. 15–16), то в таком случае война, по мысли Эрна, создает предпосылки для возрождения Европы, ибо открывает ей всю глубину ее «духовного падения».

Разумеется, задача эта непростая, она требует «такого пересмотра духовных основ... бытия, который по силе должен быть больше, чем Ренессанс, больше, чем Реформация», и Эрн считал, что решить ее на сугубо интеллектуальном уровне Европа не готова (30, с. 16–17). Однако в реакции европейцев на начавшуюся войну он усматривал «глубочайшие *онтологические* движения», которые свидетельствуют, «что века односторонней культуры и ложного просвещения не развели до глубины душу Европы» (30, с. 17–18)¹. Рядом с проникнутой пафосом человеческого самоутверждения и «разрушения всякого трансцендентизма» культурой «нового Запада» война обнаружила *другую, «настоящую»* Европу, «свято хранившую в подземных недрах свои связи с истинно-Сущим» (30, с. 31, 20). По мысли Эрна, это обстоятельство коренным образом меняет отношение к Европе: Россия, будучи в непримиримом антагонизме с «феноменологическим» «Западом», должна вступить в «органическое единение» с «Запа-

¹ Образ Европы как внезапно открывшейся «страны святых чудес» был популярен в публицистике первых месяцев войны. Его противопоставляли стереотипу «гнилого Запада». Как писал, сопереживая «великой, прекрасной и гордой в своем несчастье» Бельгии, Ф.Ф. Кокошкин, «при виде этой неисчерпаемой мощи духа каким жалким, фальшивым нелепо-вымученным кажется повторение старых трафаретных фраз о “гнилом Западе”, об упадке и разложении европейской культуры, о “духовном мещанстве” Европы!» (10, с. 2).

дом» «онтологическим», чтобы помочь тому «возбудить его заснувшую Мнемосину» (30, с. 34). То обстоятельство, что дихотомия «хорошей» и «плохой» Европы определяется борьбой разных философских принципов, не мешало Эрну географически привязывать «*другую* Европу» к странам антигерманской коалиции¹. «Славянофильствование времени» он усматривал в политическом разделении Европы на два воюющих лагеря, отразившем ее внутреннюю двойственность. В начавшейся войне, выполняя заветы славянофилов, «Россия впервые за все века своего существования вступает в органическое единение с Европою» и помогает ей «укротить того зверя, которого Европа взрастила в себе из собственных своих недр, следуя двойственным законам своего развития в новое время» (30, с. 46–47).

Конечно, многое в этой концепции опиралось на обобщения и заключения, вовсе не отличавшиеся очевидностью: пытаясь объяснить политические реалии философскими абстракциями, Эрн создавал стереотипизированные и статичные образы Германии (воплощения порочного принципа «феноменализма»), *другой* Европы (заново открывающей в себе «онтологическое начало») и «проникнутой вселенской идеей» России, которые явно не учитывали всей сложности контекста. Важно, однако, отметить, что «неославянофильская» концепция Эрна намечала новую вариацию модели коллективной идентичности на основе «славянофильского» «репертуара смыслов»: *единство России и Европы утверждалось за счет переопределения последней*. Новые черты *другой* Европы, проявившиеся благодаря войне, создавали перспективу сглаживания качественных различий между Нами и Значимым Другим.

Вместе с тем эта концепция разделяла «традиционалистское» *предубеждение против культурных заимствований*. Ее критический заряд был направлен против «любителей вчерашнего дня истории, привыкших к умственному обиходу преимущественно немецких точек зрения», которые представлялись Эрну «внутренней опасностью», преградой на пути к чаемому «ослепительному расцвету русского дела» (31, с. 12)². Не считая

¹ По его словам, «мы должны быть бесконечно благодарны чутью и такту нашей дипломатии, которая чуть ли не в первый раз в нашей истории оказалась на действительной высоте и поставила нас в мировом конфликте руку об руку с теми странами и с теми народами, с которыми у нас есть подлинная общность в самых глубоких и в самых духовных наших стремлениях» (30, с. 23).

² По мнению Эрна, позиция защитников немецкой культуры, призывающих отделить ее от зверств германского милитаризма, не бескорыстна: «Не зная ничего, кроме немецкой культуры, ухлопав на нее все свои силы и все свое время, – они не могут отказаться от своих занятий и от соответствующих форм деятельности не только во имя принципа или идеи, а и во имя грубой, чисто житейской необходимости. Они заинтересованы в восстановлении форсированного и насильственного экспорта немецкой культуры в нашу страну совершенно наподобие того, как заинтересован в восстановлении винной монополии штат служащих, оставшихся без места после всероссийской отмены форсированного потребления водки» (31, с. 81–82).

культурные влияния вредными по определению¹, он усматривал угрозу именно в немецкой культуре, полагая, что в последние десятилетия ее экспорт «в различные страны перестал быть естественным и стал форсированным, то есть искусственно вздутым путем системы особого тонкого протекционизма. Усвоение благ немецкой культуры – в совершенном параллелизме с усвоением благ немецкой промышленности – из добровольного, основанного на доброй воле и охоте усваивающих, превратилось в нечто принудительное и насильственное» (31, с. 80). При этом «форсированными» методами навязывается весьма посредственное содержание, ибо «под феноменологической оболочкой мнимых богатств современная германская культура таит великую духовную скудость и нищету» (31, с. 88)². Ее «форсированное» влияние тем более опасно потому, что «обращается не к высшим представителям русской мысли и русского художественного гения, а к огромным *количествам* средних русских людей, которые неспособны ничего претворять, ибо не одарены творческим духом. Эти массы совершенно механически поглощали немецкие культурные внушения» (31, с. 90). В войне Эрн видел возможность противостоять этой опасности и даже объяснял необходимость борьбы с Германией остротой культурного противостояния («Русской духовной стихии приходилось выбирать между каким-то грандиозным отпором и собственной смертью» (31, с. 91)).

В то же время Эрн не выступал против «западных влияний» как таковых. Он признавал, что западная культура по духу противоположна русской (последней присущ «глубинный пафос... утверждения трансцендентизма, пафос онтологических святынь и онтологической Правды») и на отечественной почве она вызывает борьбу, результатом которой ««неизбежно получается замутнение, какое-то взаимное нейтрализование» (30, с. 32). Однако, *по мысли Эрна, принимая в себя западную культуру* (со времен Петра Великого «она влилась в нас и будет продолжать вливаться»), *Россия оказывается той средой, где начинается осознание ее заблуждений и «покаяние», которое должно предшествовать «возрождению»*. Именно этим определяется историческая миссия России: «То, что момент покаяния происходит на нашей земле, – писал Эрн, – смыкает “концы” и “начала”». Весь процесс нового Запада через это ставится в связь

¹ По Эрну, воздействия чужой культуры опасны, лишь если они чрезмерны. «У каждого народа есть внутренний ритм своей жизни, – писал он. – Все заимствования и все научения от других национальных культур идут во благо ему, если находятся в гармонии с этим ритмом, или претворяются им. Но как только начинается насильственная прививка или форсированный ввоз, – в жизни народа обнаруживаются расстройства... Дело Петра Великого было настоящим разрывом старо-русского ритма жизни. И столетие понадобилось для того, чтобы организм русского народа выработал новые национальные ткани, которые и закрыли место хирургической операции, произведенной Петром» (31, с. 89).

² Тезис о *внутреннем* кризисе германской культуры был своего рода «общим местом» российского дискурса о войне. Ср.: 9, с. 102–103; 11, с. 58 и др.

с эфирным планом святой Руси, то есть с православным Востоком, со святыней церковной. На вселенских просторах русской культуры должна уничтожиться вся раздельность местных культурных процессов, обличиться их убогость, и вся история человечества должна быть осознана как единая драма и единое дело» (30, с. 33).

Таким образом, «славянофильское» противопоставление России и «Запада» в концепции Эрна оказывалось трансформировано за счет дифференциации образа Европы, обнаружения в нем черт, «родственных» Нам. Тем самым возникала возможность сближения со Значимым Другим без утраты собственной идентичности. Не отменяя противоположности «нового Запада» и «православного Востока», данная концепция намечала перспективу их синтеза на основе развития «лучшей» стороны идентичности Европы. Вместе с тем характеристики, указывающие на качественную противоположность России и «Европы», не отрицались, но переносились на Враждебного Другого – Германию, война с которым представлялась как бескомпромиссная борьба с безусловно антагонистическим началом. Концепция Эрна давала философское обоснование германофобским настроениям, получившим заметное распространение в российском обществе. Однако избыточная широта обобщений Эрна делала его позицию уязвимой для критики.

Концепция С.Л. Франка: Война как противостояние религиозно-нравственных принципов

Возражая Эрну, С.Л. Франк доказывал, что идейное оправдание войны не может быть построено на признании целой нации носителем злого начала, ибо «не только фактически, но и морально нация не может считать свое бытие недоразумением, признавать своеобразие своей жизни и воли... злом, не находящим оправдания перед лицом общечеловеческой правды» (23, с. 128). В конечном счете каждое национальное бытие «должно мыслиться одним из многообразных проявлений Абсолютного» (23, с. 129). По мысли Франка, войну следует понимать не как борьбу «против национального духа нашего противника, а как войну против злого духа, овладевшего национальным сознанием Германии и – тем самым – как войну за восстановление таких отношений и понятий, при которых возможно свободное развитие всеевропейской культуры во *всех* ее национальных выражениях» (23, с. 130–131)¹. Кроме того, Франк считал неправомерным подход, отождествляющий отдельные философские идеи с «ме-

¹ Сформулированный Франком принцип борьбы не против народа, а против зла, овладевшего народом, предполагавший, что Враг должен быть не уничтожен, а лишен способности творить зло и наставлен к добру, разделялся многими участниками либерального дискурса (см.: 9, с. 102; 11, с. 59 и др.).

тафизической основой национальности нашего врага». Как бы ни были точны наши наблюдения относительно «духовных источников» его злой воли, «многосложная национальная культура никогда не может быть сведена к какому-либо *одному* направлению, выражена в *одной* формуле» (23, с. 131).

«Ненавистнический схематизм» «неославянофильства» критиковал и Н.А. Бердяев. Он разделял тезис Франка о «многосложности» германской культуры и доказывал, что особенности национальной философской культуры не имеют «расового» значения, ибо «всякое достижение истины по существу сверхнациональное и сверхрасовое» (2, с. 117, 119). Исходя из этого, «можно и должно воевать с германской расой, но невозможно и недопустимо объявлять войну достижениям истины в германской мысли» (2, с. 120). Кроме того, в «неославянофильском трафарете» Бердяев усматривал недопустимый дух «узкого» национализма, который по существу воспроизводит негативные черты германизма. Он писал: «Наши достижения и правды так же общечеловечны и всемирны, как и в расе германской и латинской. И мы наиболее национальны, наиболее русские, когда ищем из своей глубины правды и истины, а не тогда, когда только русское провозглашаем истинным и праведным, а германское – ложным и греховным. Настоящая ложь и настоящий грех германизма – это попытка монополизировать и национализировать истину и правду, объявить истину германской, а правду – выражением германской силы... Не дай Бог нам походить на германцев в этом их национально-волевом уклоне» (2, с. 120).

В статье, опубликованной почти через год после дискуссии о докладе В.Ф. Эрна «От Канта к Крупну», С.Л. Франк предложил собственную концепцию «духовной сущности Германии», которая также рассматривала войну как противостояние религиозно-нравственных принципов, но не увязывала их с раз и навсегда сложившимися идентичностями противоборствующих сторон. Франк с сожалением отмечал, что родившееся «под живым впечатлением злой воли, явленной нашим противником», оправдание войны «как борьбы русской или общеевропейской совести с злом германизма» было «скомпрометировано и опошлено уличными листками, использовавшими чистое нравственное негодование страны для совершенно безнравственной и хулиганской травли немцев». Тем не менее он полагал, что именно «такое сверхнациональное, общечеловечески-моралистическое объяснение войны» является «не только единственно правомерным этически, но и чисто теоретически вполне правильным» (22, с. 1–2).

Еще в 1914 г., рассуждая об оправдании войны, Франк указывал на заключающуюся в данном вопросе антиномию: «Оправдать войну – значит доказать..., что она обусловлена необходимостью защитить или осуществить в человеческой жизни какие-либо объективно-ценные начала, – писал он. – Но объективно-ценные значит: ценные одинаково для всех». Однако войны ведутся по противоположным мотивам, и для каждой из сто-

рон ее интересы – «суть бесспорное, самоочевидное, абсолютное благо» (23, с. 126–127). Отсюда этически неправомерно трактовать войну как борьбу с «национальным духом» противника – следует искать источники его заблуждений (23, с. 131–132). В статье 1915 г. Франк попытался применить этот принцип к анализу «духовной сущности Германии», взяв за отправную точку тот факт, что первый год войны обнаружил не только «отрицательные стороны» противника, но и «его неожиданную для нас мощь». По мысли Франка, «постигнуть существо германского духа» – значит уяснить источники и того, и другого (22, с. 3–4).

Возвращаясь к полемике с Эрном, Франк отмечал, что в основном тезисе его доклада «От Канта к Круппу» была «малая доля тонкой, трудно уловимой истины» (искаженной, однако, тем, что она «была раздута до значения общей философско-исторической перспективы»): действительно, именно в философии Канта, в его «категорическом императиве» «был выявлен самый здоровый и сильный корень немецкого национального характера» (22, с. 16–17). Франк полагал, что «немецкая общественно-нравственная психология не совпадает, конечно, с идеалом чистой нравственной автономии, выставленным Кантом, когда личность сама, своим свободным признанием, ставит перед собой свой нравственный идеал; но она не есть и чистая гетерономность, слепое, рабье подчинение чужому велению. Ибо “веле́ние”, которому она подчиняется, не есть “чужое веле́ние” каких-либо людей, сословий, какой-либо внешней власти, а есть сверхличное веле́ние государства, воспринимаемое нравственным сознанием изнутри, как абсолютный, божественный авторитет» (22, с. 9). Конечно, это не чистый религиозно-нравственный мотив, а «типичная психология варварского племени». По заключению Франка, «мы боремся с новым варварством, которое, несмотря на все зло своего идолопоклонства, сильно своим нравственным здоровьем» (22, с. 17).

Но достаточно ли нравственно чиста и крепка противостоящая Германии сила? Действительно ли победа суждена России, потому что именно она отстаивает правое дело? Разделяя подход Вл. Соловьева, Франк полагал, что окончательный ответ на этот вопрос был бы ложным, «ибо нравственный характер нации не есть нечто готовое, раз навсегда данное, природу чего можно было бы выразить в какой-либо формуле: напротив, подобно характеру личности, он зависит от *свободной воли* его носителя и может стать всем, чем он твердо захочет стать» (22, с. 17–18). Именно этот выбор, а не присущая России особая идентичность определяет праведность ее позиции. «То, что мы ведем борьбу с новым язычеством, – продолжал Франк, – еще само по себе не делает нас ратью Христа и не обеспечивает победы, поскольку мы не проникнуты духом истинного христианства» (22, с. 18). Конечно, писал он, вспоминая строки Соловьева, кото-

рые часто цитировали в годы войны¹, Россия «соучаствует востоку Христа, и без этой веры невозможно национальное самосознание. Но мы слишком хорошо знаем в себе и «восток Ксеркса»». Наша победа над «новым язычеством» зависит «от того, победит ли Россия в самой себе «восток Ксеркса» «востоком Христа»» (22, с. 18).

Объясняя «смысл войны» противостоянием религиозно-нравственных принципов, Франк связывал таковые не с *данностью* исторически сложившихся идентичностей, а с *выбором*, который совершается нацией в настоящий момент и зависит от воли ее членов. Согласно его интерпретации, «война идет не между Востоком и Западом, а между защитниками права и защитниками силы, между хранителями святынь общечеловеческого духа – в том числе и истинных вкладов в него германского гения – и его хулителями и разрушителями» (23, с. 132). Нет «Востока» и «Запада» – есть единое пространство борьбы разных принципов, в которое Россия включена вместе с другими участниками военного противостояния. Альтернатива («неославянофильству», предложенная С.Л. Франком, заключалась не в традиционном «западническом» утверждении преодолимости различий между Россией и ее Значимым Другим, а в отказе от однозначной географической идентификации противоположных «начал».

С.Н. Булгаков о «грехе новоевропеизма» и месте России в новой Европе

Критика С.Л. Франка и Н.А. Бердяева была адресована не только В.Ф. Эрну, но и С.Н. Булгакову, который также считал войну выражением «кризиса Запада», хотя и не был столь категоричен в своих оценках «германского духа». Согласно концепции Булгакова, война вершит «суд над целой исторической эпохой, которая в руководствах по всеобщей истории зовется *новой историей* или *новым временем*, причем суд этот осуществляется ее собственными энергиями, ею же созданными и в ней заложенными» (5, с. 108). Таким образом, корень проблемы – не в Германии, а в общей линии европейской новой истории, «пафос которой состоит в отречении от своего церковного прошлого, как презираемого “средневековья”, в своеобразном духовном футуризме» (5, с. 110)². Продолжая основные линии славянофильской критики «Запада», в серии работ 1914–1917 гг.

¹ «О Русь! В предвиденье высокою / Ты мыслью гордой занята; / Каким ты хочешь быть Востоком: / Востоком Ксеркса или Христа? (18, с. 234).

² Автор статьи отнюдь не рассматривал Европу как некое неразделимое целое; он признавал, что «нельзя ни на минуту забывать о том, что различны гении народов, ныне борющихся, различно церковное их прошлое и настоящее, различно их мистическое ядро. И однако, – подчеркивал он, – наряду с этим различием исторической крови, существует и некоторая общая духовная прививка «новой истории», сверхнародное и общенародное единство новоевропейской цивилизации...» (5, с. 110).

Булгаков с разных сторон исследовал природу «новоевропейской цивилизации». Он полагал, что творческое начало этой цивилизации «есть, конечно, *дух нового европейского человека*, как он определился в своем отрыве от мистического центра, в отходе от Церкви и общей секуляризации, рационализации, механизировании жизни ...» (5, с. 110–111).

Порождение этого духа – мещанская культура, «гипертрофированное чувство места», «желание «устроиться на земле» прочно и окончательно, притом со вкусом и комфортабельно» (6, с. 4–5). По Булгакову, это желание порочно, ибо «мы, которые чувствуем себя роковым образом прирастающими к своему месту, должны одновременно ощущать себя странниками и пришельцами в этом мире, взыскующими иного града» (6, с. 7). На первый взгляд, эти рассуждения Булгакова о «любви к месту» (*amor loci*) как отличительной черте «новоевропейской эпохи» идут вразрез с критикой антибуржуазности русской интеллигенции в его «веховской» статье 1909 г. Однако при более внимательном прочтении одно не противоречит другому: *amor loci* Булгаков рассматривал не как специфическую черту западной культуры, но как «общечеловеческое свойство, глубоко и, быть может, неискоренимо заложенное в душе сынов земли» (6, с. 5). Человек принадлежит одновременно двум мирам, и в этой двойственности, по Булгакову, заложена опасность «срывов в ту и другую сторону» (6, с. 7–8). Усматривая «грех» русской интеллигенции в антибуржуазности как «некультурности, непривычке к упорному, дисциплинированному труду и размеренному укладу жизни» (7, с. 36), он видел порок «новоевропейской цивилизации» в стремлении к другой противоположности – гипертрофии «*amor loci*, этой любви не к живому, но к вещам...» (6, с. 9–10). При этом Булгаков не сводил «историческое дело Европы без остатка к мещанской цивилизации»; он признавал, что Европа сумела создать «великие национальные культуры, которые, как все творческое, имеют отпечаток конкретного, индивидуального, национального, а потому и общечеловеческого» (6, с. 34–35). Тем не менее *amor loci*, согласно его диагнозу, наложила свой отпечаток и на философское сознание «новоевропейской эпохи», и на методичность, возобладавшую в научном познании, и на религиозную жизнь. Одно из ее воплощений – идея прогресса и эволюции, предполагающая «наличную данность мира, как единственно возможную»¹.

Булгаков усматривал корни «духовного сдвига», породившего «новоевропейскую цивилизацию», в эпохе Реформации, которая, по его ин-

¹ По мысли Булгакова, «вера в прогресс есть выражение глубокого консерватизма духа; она есть местная, посюсторонняя или, как сказали бы философы, имманентная ориентировка жизни, философия застывшей на кратере лавы, которая во что бы то ни стало хочет забыть о своем происхождении, как и о том, что под нею грозно шевелится огненный хаос» (6, с. 11).

терпретации, стала первым шагом к «человекобожию» – неправомерному безграничному доверию собственным силам, оборачивающемуся разрывом связи человека с Богом, его замыканием в собственном мире (8, с. 1–3, 9). *Война – это апофеоз человекобожия, логический итог «отклонения» «Запада» от истинного христианства.* По мысли русского философа, в основном стремлении «новевропейской эпохи» «к овладению силами природы... отразилось богоносное сознание христианского человека, ибо человек подлинно есть душа и разум природы, ее демиург, но он должен стать таковым лишь в качестве теурга, не во имя свое, но во имя неба. Новоевропейская же культура все больше и больше становилась демиургией, превращая средство в самоцель, и эта демиургическая мощь ее и оказалась почвой для “германского» соблазна” (5, с. 112).

Возникает вопрос: в какой мере тотален кризис «Запада»? В равной ли степени он затрагивает страны Европы и какое отношение имеет к России? Булгаков считал глубоко не случайным, что войну начала именно Германия, которая «последовательно, методически и серьезно выработывала себя по образу отвлеченного новоевропейца» и которой в силу этого «принадлежит первое место и в некотором роде духовная гегемония» в новоевропейской цивилизации (5, с. 111–112; ср.: 6, с. 25–26). Вместе с тем он полагал, что Европа несет «солидарную ответственность» за свою историю, «ибо из недр новоевропейского гуманизма и гуманистической цивилизации закономерно и отнюдь не случайно происходит восстание человекобожия...» (8, с. 15). Таким образом, кризис действительно касается *всего* «Запада».

Самый трудный и важный вопрос – в какой мере он затрагивает Россию? В формулировке С.Н. Булгакова: есть ли Россия «плохая, отсталая Европа, успевшая состариться, не познав юности, или же она, входя в Европу, будучи неразрывно с ней связана, в то же время не есть Европа, и историческим подвигом своим призвана духовно возродить и себя, и стареющую Европу?» (5, с. 113). Ответ на этот вопрос предполагал выбор между «славянофильством» и «западничеством». Каково же решение Булгакова? Оно двойственно: «Никогда еще за свою историю Россия до такой степени не сближалась с Европой столь тесно, так органически не входила в ее семью, и одновременно так не противопоставлялась ей в своем самосознании», – писал он (5, с. 113). «Тесное» и «органическое» вхождение в Европу, которое, однако, не снимает противоположности между Нами и Значимым Другим. Почему так? В статье 1914 г. Булгаков представлял Россию не-вполне-Европой: «Доселе Россия усиленно европеизировалась и в хорошем, и в плохом смысле, – писал он, – однако она все-таки духовно не усвоила еще того новоевропейского облика, преимущественным носителем которого ныне является германство... Россия не участвовала активно в грехе новоевропеизма, она только заражалась им» (5, с. 113–114).

И эта не-вполне-европеизированность представлялась Булгакову преимуществом: Россия еще «может отречься от Вавилонской башни и восхотеть града Божия... Она может принять из европейской культуры лишь то, что в ней бессмертно и достойно спасения. Она может стать землей, где совершится тот мистический и исторический переворот, который предуказан в "Откровении"...», – надеялся он (5, с. 114). В лекции 1915 г. Булгаков отмечал, что «добродетели, вытекающие из amor loci, – добродетели мещанства, туго прививаются к... духовной природе» русского народа; именно в этом – причина того, что он «так трудно цивилизуется в европейском смысле слова при всей высокой духовной культурности и одаренности своей» (6, с. 30–31). Таким образом, *несмотря на «сближение», Россия не стала в полном смысле слова Европой и не разделила грех «новевропеизма», что, по мысли Булгакова, возможно указывает на иное призвание*¹.

Означает ли это, что сближение с Европой было ошибкой? Нет. Булгаков подчеркивал, что «Запад был необходим нам на земном, эмпирическом плане, прежде всего, как школа техники, недостаток которой парализовал наше духовное творчество. Запад нужен был нам и как сокровищница духовной культуры, подлинных творческих ценностей, – добавлял он, – ибо это знание должно было сделать нас духовно богаче, свободнее, шире, человечнее, одареннее для собственного творческого самоопределения» (6, с. 35). Однако, *поддерживая русское западничество в его «жажде цивилизации», Булгаков критиковал его за «духовную экспатриацию», за «религиозное» отношение к «Западу»*. «Само собой разумеется, что действительный запад, как бы он ни был хорош, не мог оправдать *такой* веры и удовлетворить *такие* надежды, – писал он, анализируя настроения русских западников, – на почве этой же непреложной веры, отворившей себе, вместо Бога, кумир, возникло и бурное разочарование, и страстное его осуждение» (6, с.37–38). К счастью, война «означает новый и великий этап... в духовном освобождении русского духа от западного идолопоклонства, великое крушение кумиров, новую и великую свободу» (6, с. 42). С одной стороны, она обнаружила «духовное банкротство Германии», которая, по мнению Булгакова, оказывала наибольшее влияние на Россию².

¹ Он писал: «России не удавалось до сих пор переделать себя в стиле новой Европы, ибо не может она найти к этому настоящего вкуса, ибо слышится ей смутно иной зов, иное веление: хотеть несоединимого, невозможного, чудесного, жаждать вместе земли и неба, святым томлением томиться, мучиться творческим потугом в бессилии творчества» (5, с. 114).

² По определению Булгакова, «между русской душой и германством происходил некоторый мистический роман». Отношения между ними, «столь сложные и интимные, не могут быть просто потоплены во взаимной распре, – писал он, – но должны быть творчески найдены, нечто должно быть узрено и преодолено в мире духовном. Но прежде всего должно быть понято, что Германия не призвана руководить русской душой на духовных путях, ибо сама она поражена, хотя и по-своему, той же болезнью» (8, с. 20, 23).

С другой стороны, наше военное сближение с Европой, «с врагами и союзниками, само собой освобождает нас от этого детского обожания и заставляет перейти в другой возраст... Нечто бесповоротно провалилось и осуждено историей, и то, что вчера еще можно было проповедовать с видимостью истины и с полной искренностью поддерживать, теперь становится идейным оппортунизмом, малодушием, половинчатостью или исторической тупостью» (6, с. 43)¹. К «Западу» больше невозможно относиться как к кумиру.

Но критикуя «религиозное» западничество, Булгаков обличал и «ложь крайнего славянофильства», заключающуюся «в чрезмерном противоположении и даже разъединении» России и «Запада», «между тем как они суть неразъединимые части христианской Европы, имеющей некую общую и непонятную вне этого единства духовную судьбу» (6, с. 28). «*Спасение Европы*», представлявшееся славянофилам перспективой отдаленной и не вполне очевидной (см.: 25, с. 85, 96), казалось Булгакову задачей вполне актуальной. Поэтому он считал важным «подчеркивать положительный смысл славянофильских утверждений, именно, веру в то, что Россия призвана к духовной самобытности, и есть существенная и необходимая часть *духовного организма* Европы, а не простая ее провинция, или только количественное расширение. Без России и сама Европа не может стать настоящей Европой, достигнуть своего предназначения...» (6, с. 28–29). Булгаков видел препятствия, возникающие на пути к подлинному единству, в том числе и связанные с отношением Европы к России. Он писал: «До сих пор со стороны Европы в отношениях к России не было, да и не могло быть надлежащей сознательности...: в них было немало высокомерия учителей к ученикам, цивилизованности к “варварству”». Однако война многое меняет, «и, быть может, только теперь, перед лицом великих событий, Европа впервые начинает признавать Россию и познавать ее духовную сущность» (6, с. 29). Так или иначе, Булгаков считал, что война, ломающая «старые перегородки» и подводящая человечество к «сверхгосударственному объединению», «довершила политическую европеизацию России в том смысле, что окончательно связала ее судьбу с Европой, как одного из ее слагаемых» (8, с. 16).

¹ Булгаков видел некоторую опасность в соблазне «отдать себя новому барину, заменить Германию, ну хотя бы нашими союзниками». Но считал, что этому соблазну легче будет противостоять, ибо «в своих отношениях и к Франции, и к Англии мы находимся на почве духовной независимости и прямодушной солидарности без всякого мистического подполя. Это обедняет и, конечно, упрощает их, но и оздоравливает. Здесь нет романа, но может быть место дружбе...» (8, с. 24–25).

Подобно В.Ф. Эрну, он считал, что война обнаруживает «другую Европу»¹, которая ближе и понятнее «не поверхностному самосознанию западничества, но религиозно углубленному самосознанию славянофильства» (6, с. 46)². Однако Булгаков не отождествлял образ «плохой Европы» исключительно с Германией. Он возражал против превращения «германизма» во «всеобщего козла отпущения» и доказывал, что «германизм, как начало этническое или расовое, есть великая историческая сила, и отрицать гений германства было бы не только неблагородно и недостойно русского духа, но и неумно» (6, с. 48)³. Как и С.Л. Франк, Булгаков признавал сильные стороны противника. Он подчеркивал, что Германия «оказалась достойна своей недостойной роли протагониста в новоевропейской трагедии, роль эта принадлежит ей не только в силу темных ее свойств, но и обилия ее даров, величия ее достижений» (8, с. 14). Но что особенно существенно, германизм – это не «местная немецкая болезнь», а «наиболее напряженное и сильное выражение... новоевропеизма», и бороться нужно не с немецкой расой, но с духом, которым проникнута современная цивилизация и которым в какой-то мере заражена и Россия (6, с. 48–49).

«Хорошая Европа» также не имела у Булгакова вполне четкой географической привязки. Однако примеры, указывающие на возрождение «духовного лика христианской, средневековой Европы», черпались из опыта стран-союзниц. В статье, опубликованной в «Русской мысли» летом 1917 г., Булгаков пытался обнаружить некие глубинные основания для сближения России с Англией и усматривал их в особенностях английской Реформации, которая благодаря «ветхозаветной установке» индипендентства «не обнаруживала уклона к человекобожью и богоборству» (8, с. 4, 7). Он утверждал, что «Англия еще не нашла духовного равновесия; напротив, и доднесь мы наблюдаем в ней искание истинной церковности, некоторое метание». Отсюда – и новые успехи католичества в наши дни, и «глубокий и искренний интерес» к православию (8, с. 8). Последнее обстоятельство внушало Булгакову надежду на то, что союз с Англией мо-

¹ Бог войны «совлекает мещанина с европейца, иногда прямо сдирая с него кожу, и тогда пред изумленным миром предстает средневековый рыцарь, который, оказавшись, не умер, а только притаился в европейском бюргере», – писал Булгаков (6, с. 22).

² Следствием этой метаморфозы, по Булгакову, стала своеобразная перемена ролей: «те, кто отрицались западничества и ощущали себя славянофилами, теперь гораздо более чувствуют себя европейцами относительно освобождающейся от бремени мещанства Европы, чем те, кто считал себя западниками и ныне стоят недоуменно пред фактом крушения их кумира» (6, с. 46–47).

³ Полагая, что война должна завершиться поражением «германства», Булгаков отнюдь не призывал к уничтожению Германии. В 1917 г. он писал: «В пламени мирового пожара, зажженного германством, само оно должно или исторически сгореть, оставив смрад и пепел, или же, перегорев и переплавившись, новым золотом выделиться из руды и шлака. Мир стоит перед духовной загадкой грядущих судеб германства» (8, с. 24).

жет стать каналом для духовного сближения с Европой, ибо «из всех европейских стран в одной только Англии заметно пробуждение серьезного интереса к самому важному и существенному в душе России, к ее религиозным истокам» (8, с. 27). Впрочем, он придавал не меньшее значение и политическим аспектам этого сотрудничества, полагая, что «у англо-русского союза есть... общее поле действия...: задачи политической европеизации Азии, под угрозой азиатизации Европы» (8, с. 25).

Однако окончательное вхождение России в Европу Булгаков связывал не только с изменением отношения Европы к России. В его понимании «это единение возможно только на основе признания глубочайшего *духовного различия* между Россией и западной Европой, прежде всего, как различия между православием и иными формами христианства» (6, с. 29). Поэтому в пересмотре нуждается прежде всего отношение России к Европе: «Западничество религиозно-утопическое и идолопоклонническое должно уступить свое место западничеству реально-историческому, а это значит, что должно совершиться духовное возвращение на родину, к родным святыням, к русской скинии и ковчегу завета» (6, с. 42).

Н.А. Бердяев об историческом призвании России: Метафора «великого Востоко-Запада»

Модель национальной идентичности, развивавшаяся в работах С.Н. Булгакова 1914–1917 гг., в своих основных чертах была близка к модели, предложенной в те же годы В.Ф. Эрном, хотя и не разделяла открыто антигерманской направленности его концепции. Несмотря на «тесное сближение» (которое, в отличие от «старых» славянофилов, Булгаков оценивал позитивно), Россия не стала такой же, как ее Значимый Другой. Благодаря этому она не участвовала активно в грехе «новевропеизма» и может выполнить роль спасителя «Запада». *В отличие от своих предшественников, считавших перспективу содействия «исцелению» «западной нашей братии» туманной и отдаленной, «неославянофилы» рассматривали миссию России по отношению к нуждающейся в духовном возрождении Европе как дело ближайшего будущего.* Основанием тому служила «дифференциация» Европы под влиянием войны, обнаружившая, согласно интерпретации Булгакова и Эрна, под наслоениями «мещанства» и «феноменализма» духовный лик «христианской», «онтологической», *другой* Европы, с которой Россия может делать «общее вселенское дело», не поступаясь собственной идентичностью. *«Неославянофильство» военных лет провозглашало начало нового этапа в отношениях России и Европы, предполагающего их «единение» на основе «глубочайшего духовного различия», их взаимодействие как равноправных и дополняющих друг друга «начал».* Формула соотнесения со Значимым Другим, выявляемая в рабо-

тах С.Н. Булгакова и В.Ф. Эрн 1914–1917 гг., сочетала «славянофильское» представление о «качественном» характере различий с, казалось бы, «западническим» тезисом о «единстве» России и «Запада» в глобализирующемся мире. Однако в основании данного тезиса лежало «славянофильское» прочтение образа *другой* Европы, обнаруживающее черты, не совпадающие с традиционным представлением о «гниющем Западе». Такая модель адаптировала «славянофильский» репертуар смыслов к новому контексту (и в значительной степени зависела от его динамики). В известном смысле она была попыткой синтеза «западничества» и «славянофильства», но с явным креном в сторону последнего.

Это обстоятельство отмечалось и критиками. По мнению Н.А. Бердяева, также активно работавшего в годы Первой мировой войны над темой России и «Запада»¹, «не только вечное, но и слишком временное, старое и устаревшее в славянофильстве хотели бы восстановить С. Булгаков, В. Иванов, В. Эрн... Эти люди странно понимают взаимное примирение и воссоединение враждующих партий и направлений, так понимают, как понимают католики соединение церквей, т.е. исключительно присоединение к одной стороне, на которой вся полнота истины» (4, с. 36). Бердяев в полной мере разделял представление критикуемых им «неославянофилов» о том, что «мировая война должна способствовать настоящему сближению России и Европы» (3, с. 76), однако не связывал перспективу такого сближения с признаками *духовного возрождения* «Запада» и идеей *другой* Европы. Впрочем, как и они, он считал, что война должна помочь России изменить ее прежнее, лишенное творческой самостоятельности отношение к Значимому Другому.

По мысли Бердяева, война кардинально ломает привычную картину мира, размыкая границы культурных пространств, меняя представления о «Западе» и «Востоке». Потоком событий «Россия окончательно вовлечена в круговорот мировой жизни и органически входит в Европу, как ее неотъемлемая часть. Кончается исторический период изолированного и замкнутого существования России, как некоего Востока, противопологаемого Западу» (3, с. 76).

В чем должно заключаться «органическое вхождение» России в Европу? Безусловно, оно требует изменения восприятия России «Западом». Бердяев признавал, что до сих пор «Европа не принимала России внутрь себя. Западная Европа сообщала России свою цивилизацию, но ничего не хотела и не рассчитывала получить от нее, кроме сырья. На русское государство смотрели, как на государство полуазиатское. Существование самобытной русской культуры Западная Европа не принимала всерьез. Душу России на Западе не умели понять». Однако, продолжал Бердяев, отчасти

¹ Значительная часть его статей военного периода была в 1918 г. переиздана в сборнике, озаглавленном «Судьба России. Опыт по психологии войны и национальности» (4).

такое отношение было связано и с тем, что Россия «сама недостаточно сознавала, что она может что-нибудь дать Западной Европе; в ней преобладало или ученическое и мечтательное отношение к Западу, или отталкивание от него и изоляция в восточном самодовольстве» (3, с. 76). Таким образом, «органическое вхождение в Европу» невозможно без преодоления крайностей западничества и славянофильства. По мнению Бердяева (разделяемому многими его современниками), «распря Востока и Запада в русской мысли должна быть прекращена более высоким и творческим типом мысли и жизни. Мы должны преодолеть двойной страх – страх остаться Востоком и страх обратиться к Западу» (3, с. 78–79; ср.: 8, с. 18–19). Согласно формуле Бердяева, «Россия станет окончательно Европой, и именно тогда она будет духовно самобытной и духовно независимой» (4, с. 22).

Как следует понимать эту формулу? Подобно С.Л. Франку, Бердяев склонен был интерпретировать понятие «самобытность» скорее в логике либерально-прогрессистского, нежели консервативно-традиционалистского подхода. Рассуждая об «азиатстве», от которого пора бы освободиться русскому человеку, он писал: «Западный человек не идолопоклонствует перед своими культурными ценностями, – он их творит. И нам следует творить культурные ценности из глубины. Творческая самобытность свойственна европейскому человеку. В этом и русский человек должен быть подобен человеку европейскому». В частности, «русскую самобытность не следует смешивать с русской отсталостью»: поскольку самобытность выявляется «на высших, а не на низших ступенях развития», наиболее самобытна будет «грядущая, новая Россия» (4, с. 55)¹. В то же время Бердяев писал о бессилии «разумного, культурного консерватизма в России», о его неспособности «подчинить культуре» «темное вино» – некую «в дурном смысле иррациональную, непросветленную и неподдающуюся просветлению стихию», которая есть в русском народе. Ему виделась особая опасность в увлечении «органически-народными идеалами, идеализацией старой русской стихийности, старого русского уклада народной жизни», которая «имеет фатальный уклон в сторону реакционного мракобесия» (4, с. 51–52). Бердяев признавал, что «для судьбы России самый жизненный вопрос – сумеет ли она себя дисциплинировать для культуры, сохранив все свое своеобразие, всю независимость своего духа» (4, с. 52). Таким образом, нельзя сказать, чтобы у него не возникало сомнений в способности России стать «самобытной» на европейский манер.

Проблему русской «самобытности» Бердяев видел и в том, что «для нас самих Россия остается неразгаданной тайной» (4, с. 9). Отступая и от «западнического», и от «славянофильского» канонов, он раскрывал при-

¹ В западничестве Бердяев усматривал оборотную сторону того же «азиатского» отношения к европейской культуре, обоготворяющего ее дух «как совершенный, единый и единственный» (4, с. 56).

сущую России антиномичность. С одной стороны, она – самая анархическая, самая безгосударственная страна в мире, с другой – самая бюрократическая. Для русского народа власть всегда была внешним, а не внутренним принципом – и в то же время он «создал могущественнейшее в мире государство, величайшую империю», «интересы созидания, поддержания и охранения» которой забирают все его творческие силы (4, с. 10–12). С одной стороны, Россия – самая не шовинистическая страна в мире («национализм у нас всегда производил впечатление чего-то нерусского, наносного, какой-то неметчины»), с другой стороны, она – «страна невиданных эксцессов национализма, угнетения подвластных национальностей русификацией, страна национального бахвальства, страна, в которой все национализировано вплоть до вселенской церкви Христовой, страна, считающая себя единственной призванной и отвергающей всю Европу как гниль и исчадие Дьявола, обреченное на гибель» (4, с. 13–14). По Бердяеву, Россия – «страна безграничной свободы духа» и в то же время – «неслыханного сервилизма и жуткой покорности, страна, лишенная сознания прав личности...» (4, с. 16, 18). Как понять эту «аномальную» двойственность? Бердяев находил объяснение в антропоморфной метафоре о «несоединенности мужественного и женственного в русском духе и русском характере». Согласно его концепции, «мужественное начало всегда ожидается извне, личное начало не раскрывается в самом русском народе. Отсюда вечная зависимость от инородного. В терминах философских это значит, что Россия всегда чувствует мужественное начало себе трансцендентным, а не имманентным, приводящим извне... Россия как бы бессильна сама себя оформить в бытие свободное, бессильна образовать из себя личность» (4, с. 19). Таким образом, обретение «самобытности» и «духовной независимости» Бердяев связывал с пробуждением внутри самой России «мужественного, личного, оформляющего начала». Он надеялся, что ломающая прежнее раболопное отношение к «Западу» война «покажет миру мужественный лик России, установит внутренне должное отношение европейского востока и европейского запада» (4, с. 20). Как мы видели, эту надежду на обретение Россией большей культурной самостоятельности и уверенности в собственных силах разделяли все участники дискуссий о ее «духовном самоопределении» в контексте Первой мировой войны.

Для Бердяева новая система координат, в которой предстояло определять русскую идентичность, задавалась не только противостоянием коалиций *внутри Европы*, но прежде всего тем, что «мировая война вовлекает в мировой круговорот все расы, все части земного шара»; она кладет конец культурному монополизму Европы и «ставит вопрос... о распространении культуры по всей поверхности земного шара» (4, с. 106). Тем самым война ставит в новые отношения «Запад» и «Восток», и именно в этой

новой системе координат России предстоит обрести свою мировую роль. По замыслу Бердяева, «Россия сознательно должна быть великим Востоко-Западом, соединителем двух миров. Она призвана создать особый тип культуры, синтезирующий противоположные начала, и основы такого типа культуры уже явлены. Миссия России – приведение человеческой культуры к единству, ее окончательная универсализация, выведение ее за пределы замкнутой и самодовлеющей Европы» (3, с. 79; ср.: 4, с. 116). Эта роль принадлежит ей, поскольку именно в ее «историческом теле» произошла «встреча двух всемирно-исторических начал и культурных типов» (3, с. 79).

Однако сумеет ли Россия оказаться на высоте этой задачи? Бердяев прекрасно сознавал трудности, с которыми сопряжено «органическое вхождение в Европу» и обретение подлинной «духовной независимости». В статье, написанной до Февральской революции и опубликованной летом 1917 г., он признавал: «Утверждение России как востоко-западного центра, всегда представляло большие трудности, и очень легок был срыв в ту или другую сторону» (3, с. 79). И «срыв» действительно произошел – катастрофический и необратимый. Приход к власти большевиков означал крушение всех надежд: Россия погружалась в хаос, начался стремительный распад «тела» империи, с заключением Брестского мира разрывались союзнические отношения с «Западом» – едва ли в данных обстоятельствах уместно было рассуждать об «органическом вхождении в Европу». Тем не менее, готовя в 1918 г. к публикации сборник своих историософских статей военного времени, Бердяев отмечал в предисловии, что все, написанное им о миссии России, остается верным. Да, миссия не удалась: «Народ совершил предательство, соблазнил ложью» (4, с. 5). Но с концом мировой войны больше, чем когда-либо, стоит на повестке дня проблема «духовного перерождения человечества». К сожалению, ни Европа, погружившаяся в «социальные вопросы, решаемые злобой и ненавистью», ни охваченная пожаром Гражданской войны Россия не готовы к ее решению (4, с. 6). Тем не менее Бердяев считал, что путь к «духовному перерождению» им придется пройти вместе, а значит – «мы должны почувствовать и в Западной Европе ту же вселенскую святину, которой и мы сами были духовно живы, и искать единения с ней» (4, с.6).

Специфика моделей самоопределения России в контексте мировой войны

На наш взгляд, в историософских конструкциях периода Первой мировой войны вполне отчетливо наметилась тенденция к поиску «гибридных» моделей самоидентификации, сочетающих элементы «западнического» и «славянофильского» репертуаров и осознанно нацеленных на «син-

тез» прежних противоположностей. Хотя позиции, представленные в этой дискуссии, существенно различались и могут быть расположены в разных сегментах «шкалы», все они были в большей или меньшей степени удалены от «полосов» «славянофильства» и «западничества». Несмотря на различия, у моделей коллективной идентичности, предложенных «неославянофилами» и их оппонентами, было много общего: все участники дискуссий 1914–1917 гг. говорили о сближении России и «Запада» как о явной тенденции и желаемой перспективе, для всех «органическое вхождение в Европу» не означало стирания *качественных* различий между Нами и Значимым Другим, все связывали с войной надежду на обретение «духовной самостоятельности» и преодоление подражательного «западничества». Таким образом, есть основания утверждать, что дискуссии периода Первой мировой войны в целом вполне вписывались в наметившуюся в начале XX в. тенденцию трансформации дискурса о коллективной самоидентификации по отношению к «Западу», построенного по принципу противостояния «полосов». Вместе с тем важно подчеркнуть, что рассмотренные в настоящей статье попытки переопределения национальной идентичности были тесно связаны с контекстом, заданным мировой войной, – обусловленным ею ощущением глобальной интеграции, новой ролью России в европейской политике, союзническими отношениями с Англией и Францией и др. – и зависели от его динамики. События октября 1917 г. и итоги войны кардинально изменили систему координат, в которой происходило соотнесение со Значимым Другим. «Формулы самоидентификации», описанные в этой статье, едва ли соответствовали новой реальности. После войны дискурс о России и «Западе» подвергся существенной модификации, однако это уже тема для другой работы.

Список литературы

1. Аксаков Н.П., Шарапов С.Ф. Германия и славянство: Доклад С.-Петербургскому славянскому съезду Аксаковского литературного и политического общества в Москве. – М.: Свидетель, 1909. – 48 с.
2. Бердяев Н. К спорам о германской философии // Русская мысль. – М., 1915. – № 5. – С. 115–121.
3. Бердяев Н.А. Россия и Западная Европа // Русская мысль. – М.: 1917. – № 5/6. – С. 76–81.
4. Бердяев Н.А. Судьба России: Опыт по психологии войны и национальности. – М.: Мысль, 1990. – 206 с.
5. Булгаков С. Русские думы // Русская мысль. – М., 1914. – № 12. – С. 108–115.
6. Булгаков С.Н. Война и русское самоопределение. – М.: Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1915. – 59 с.
7. Булгаков С.Н. Героизм и подвижничество (Из размышлений о религиозной природе русской интеллигенции) // Вехи. Из глубины. – М., Правда, 1991. – С. 31–72.
8. Булгаков С.Н. Человечность против человекобожия: Историческое оправдание англо-русского сближения // Русская мысль. – М., 1917. – № 5. – С. 1–32.

9. Иванов Вяч. Вселенское дело // Русская мысль. – М., 1914. – № 12. – С. 97–107.
10. Коккошкин Ф.Ф. Страна святых чудес // Русские ведомости. – М., 1914. – 12 окт. – С. 2.
11. Коралыник А. Германская идея // Русская мысль. – М., 1914. – № 12. – С. 42–60.
12. Меньшиков М.О. Воевать ли с немцами? // Новое время. – 1908. – 1 (14) июля. – С. 3.
13. Милоков П.Н. Происхождение войны // Ежегодник газеты «Речь» на 1915 г. – Пг., 1915. – С. 1–42.
14. Милоков П.Н. Тактика партии Народной Свободы во время войны. – Пг.: Тип. Т-ва Екатеринбургское печат. дело, 1916.
15. Розанов В.В. Война 1914 года и русское возрождение. – Пг.: Тип. Т-ва А.С. Суворина, 1915. – 234 с.
16. С Англией или с Германией? Обмен мыслей между С.Ф. Шараповым и М.О. Меньшиковым. – М.: Свидетель, 1908. – 84 с.
17. Слонимский Л.З. Тяжелые уроки... // Вестник Европы. – СПб., 1905. – № 3. – С. 341–352.
18. Соловьев В.С. Ex oriente lux // Россия между Европой и Азией: Евразийский соблазн. – М., 1993. – С. 234.
19. Струве П.Б. Современное международное положение под историческим углом зрения // Русская мысль. – М., 1909. – № 2. – С. 192–199.
20. Трубецкой Е. Война и мировая задача России // Русская мысль. – М., 1914. – № 12. – С. 88–96.
21. Трубецкой С. Противоречия нашей культуры // Вестник Европы. – СПб., 1894. – № 8. – С. 510–527.
22. Франк С. О духовной сущности Германии // Русская мысль. – М., 1915. – № 10. – С. 1–18.
23. Франк С.Л. В поисках смысла войны // Русская мысль. – М., 1914. – № 12. – С. 125–132.
24. Фуко М. Археология знания. – СПб.: Гуманитарная акад., 2004. – 416 с.
25. Хомяков А.С. О возможности русской художественной школы // Хомяков А.С. Сочинения: В 8-ми т. – М.: [Б.и.], 1878. – Т.1. – С. 73–100.
26. Хоружий С. Трансформация славянофильской идеи в XX веке // Вопр. философии. – М., 1994. – № 11. – С. 52–62.
27. Цыкалов Д.Е. Россия и Запад: Поиски российской идентичности в отечественной публицистике Первой мировой войны (август 1914 – февраль 1917 г.) // Дневник АШПИ. – Барнаул, 2005. – № 21. – С. 95–98.
28. Шарапов С. За что любят нас французы? // Московский сборник / Под ред. С.Ф.Шарапова. – М., 1887. – С. XXI–XXXII.
29. Шерер Ю. Неославянофильство и германофобия: Владимир Францевич Эрн // Вопр. философии. – М., 1989. – № 9. – С. 84–96.
30. Эрн В. Время славянофильствует: Война, Германия, Европа и Россия. – М.: Тип. Т-ва И.Д.Сытина, 1915. – 48 с.
31. Эрн В.Ф. Меч и крест: Статьи о современных событиях. – М.: Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1915. – 103 с.
32. Эрн В.Ф. От Канга к Крупну // Русская мысль. – М., 1914. – № 12. – С. 116–124.
33. Lohr E. Nationalizing the Russian empire: The campaign against enemy aliens during World war I. – Cambridge (Mass.) etc.: Harvard univ. press, 2003. – XI, 237 p.

ФАКТОГРАФИЯ ВОЙНЫ И РЕВОЛЮЦИИ

А.С. СЕНИН

***ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ:
К ВОПРОСУ О «РАССТРОЙСТВЕ ТРАНСПОРТА»***

Практически все отечественные и зарубежные историки, исследовавшие события Февральской революции, указывали на разрушение транспортной системы как одну из основных причин, вызвавших резкое ухудшение социально-экономического положения в стране (см., например: 15, с. 278–279; 23, с. 305–306). Наиболее подробно этот вопрос изучен в статье А.Л. Сидорова, опубликованной более полувека назад и не потерявшей до сих пор своей актуальности (32). Причины «транспортной катастрофы» также давно определены: неразвитость сети железных дорог, крайне недостаточное количество подвижного состава, скудость финансовых ассигнований на транспортные нужды, отсутствие сколько-нибудь серьезной помощи русскому транспорту со стороны союзников и т.п. Разумеется, постоянно подчеркивалась некомпетентность руководства отраслью путей сообщения.

Не станем опровергать эти выводы, но постараемся посмотреть на ситуацию изнутри, глазами самих железнодорожников, понять проблемы железнодорожного транспорта Российской империи.

Перестройка работы транспорта на военный лад

По признанию всех специалистов, мобилизация в Российской империи прошла успешно. Перевозка войск и военных грузов совершалась по графику. Восемь дорог перевыполнили мобилизационное задание. Для перевозки войск использовали большую часть подвижного состава. В дни мобилизации в западном направлении проследовало свыше 3500 воинских эшелонов. 5 сентября министр путей сообщения доложил царю, что благодаря самоотверженному труду железнодорожников воинские эшелоны идут на фронт «со всей необходимой быстротой и точностью» (см.: 32, с. 19).

Первый тревожный сигнал прозвучал осенью. В дни мобилизации из 32 тыс. вагонов пришлось выгрузить коммерческие грузы и задержать на станциях в уже погруженном состоянии 28 тыс. вагонов с такими же грузами¹. На грузовых дворах станций стали образовываться так называемые залежи грузов. По итогам 1914 г., не было перевезено до 2 млрд. пудов грузов (32, с. 43).

Пропускная способность многих дорог в годы войны оказалась исчерпанной. Так, Сызрано-Вяземская железная дорога, являвшаяся главной магистралью по доставке интендантских грузов из Сибири и Туркестана в действующую армию, должна была принимать на станции Батраки не менее 700 вагонов, а принимала около 500. Северные железные дороги на участке от Вологды до Петрограда по обстоятельствам военного времени должны были пропускать не менее 1000 вагонов, тогда как они при крайнем напряжении могли пропустить не более 800 (см.: 20, с. 13).

С самого начала войны Министерство путей сообщения (МПС) предпринимало меры, чтобы увеличить пропускную способность основных железных дорог. Прежде всего это достигалось за счет устройства дополнительных разъемов на однопутных линиях, строительства второй колеи, удлинения станционных путей, продолжения работ по установке оборудования сигнализации, блокировки и централизации². К исходу первого года войны удалось увеличить пропускную способность линии Курск – Москва с 800 до 1200 вагонов в сутки. Участки Звереве – Козлов – Москва и Кулянк – Валуйки – Елец – Раненбург увеличили пропускную способность на 250 вагонов в сутки, участок Льгов – Брянск – Витебск – на 200 вагонов и т. д. (32, с. 38).

Война показала, что самым слабым звеном железнодорожной сети стала неудовлетворительная работа станций. Поэтому в 1914–1917 гг. началась перестройка всех промежуточных станций от Архангельска до Москвы, были подготовлены проекты переустройства таких крупных узлов, как Никитовка, Новосokolьники, Харьков и т. д.

В 1915 г. инженер В.Н. Образцов подготовил проект переустройства Смоленского узла в связи с планировавшимся строительством линии Смоленск – Юрьев. Изначально этот узел имел сложное устройство: два отдельных пассажирских вокзала, три отдельных пассажирских парка, четыре паровозных депо (два Александровской железной дороги, по одному – Риго-Орловской и Рязанско-Уральской железных дорог), три отдельных

¹ РГАСПИ. Ф. 133. Оп. 1. Д. 7. Л. 18.

² Под сигнализацией, блокировкой и централизацией понималось оборудование станций и линий путевой звонковой и колокольной сигнализацией, приборами путевой и станционной блокировки, централизации управления стрелками и сигналами. Примечательно, что в Сибири эти работы велись германской фирмой «Сименс и Гальске» (РГИА. Ф. 273. Оп. 6. Д. 1500. Л. 44).

водоснабжения, три товарные станции, три сортировочные станции. Осуществить этот проект тогда не удалось (22, с. 593).

19 августа 1915 г. на совещании представителей дорог Московского железнодорожного узла и военного ведомства было решено уложить на станциях узла возможно большее количество путей. В первую очередь это оказалось возможным там, где имелось готовое полотно или предстояло провести незначительные земляные работы¹.

В годы войны стратегическое значение приобрела дорога к Архангельску. К этому городу-порту от Вологды была проложена узкоколейная линия, имевшая до войны местное значение. Она была рассчитана на движение одной пары пассажирских и трех пар товарных поездов, что позволяло перевозить в среднем 50 тыс. пудов в сутки. Во время войны через Белое море и Архангельск пошел основной поток иностранных грузов, в том числе для действующей армии. К началу января 1915 г. в Архангельске скопилось 20 млн. пудов угля, 4 млн. пудов других грузов, 3 тыс. автомобилей. МПС решило реконструировать участок Архангельск – Вологда, установить смешанный железнодорожно-водный путь от Архангельска по Северной Двине до Котласа и далее по линии Котлас – Вятка и построить новую линию к Белому морю от Петрограда через станцию Званка.

Сначала на участке Архангельск – Вологда устроили 13 разъездов. С Рязанско-Уральской и Московско-Киево-Воронежской железных дорог передали 26 паровозов и 480 товарных вагонов узкой колеи. С новгородской узкоколейной линии отправили еще 7 паровозов и 45 платформ. За границей (в США) заказали 30 новых паровозов, а отечественным заводам – 500 вагонов. В результате к апрелю 1915 г. вывозная способность этого участка достигла 170 вагонов в сутки.

Осенью 1915 г. министерство приняло решение «перешить» участок Архангельск – Вологда на широкую колею. Чтобы не парализовать движение, широкую колею укладывали на новое земляное полотно рядом с узкой колеей. С распоряжением о перешивке этой дороги, по мнению генерала от инфантерии Н.А. Данилова, руководство МПС и Военного министерства опоздало (см.: 6, с. 58). Россия не сумела своевременно получить необходимые ей военные и гражданские грузы. Перешивка всего участка Архангельск – Вологда была завершена 18 января 1916 г. В результате по дороге могли проследовать до 390 вагонов в сутки. После реконструкции станции Архангельск этот показатель мог вырасти, но по географическим условиям сделать это было трудно² (34, с. 34). В связи с трехкратным увеличением перевозки грузов по Северной Двине МПС за-

¹ РГИА. Ф. 273. Оп. 6. Д. 1490. Л. 6.

² Весной пути станции Архангельск-пристань покрывались водой из-за разлива Северной Двины, и все погрузочно-разгрузочные работы до июня переносились на станцию Исакогорка.

нялось реконструкцией линии Котлас – Вятка; ее пропускная способность возросла с 6 до 10 пар поездов в сутки, или со 144 до 240 вагонов.

На участке Вятка – Вологда вместо паровозов серии *О* стали использоваться более мощные локомотивы серии *Ш*, что позволило увеличить составы с 39 до 47 вагонов, а на участке Буй – Вологда до 50 вагонов. Осматривавший в марте и апреле 1916 г. эту железную дорогу военный инженер Е.Э. Ропп рекомендовал добиться того же эффекта, применив двойную тягу паровозов серии *О*. На участке Вологда – Рыбачкое на пяти перегонах использовали подталкивающие паровозы.

31 декабря 1915 г. открылось движение по второй колее от станции Рыбачкое Николаевской железной дороги до станции Званка Северных железных дорог (103 версты). На линии Вятка – Званка были устроены 58 разъездов с двумя запасными путями каждый, на 10 станциях удлинены пути, на 22 станциях уложены дополнительные запасные пути. На Северных железных дорогах провели 3600 верст телеграфных проводов и установили 660 телефонов. Начальники отделений получили устойчивую связь со всеми станциями и разъездами. Крупные станции оснащались быстродействующими телеграфными аппаратами французского инженера Ж.М.Э. Бодо. Устанавливалось новое оборудование на местных электростанциях, что давало возможность увеличить объем работы телеграфа на 40–60%. В 1916 г. были получены средства на прокладку телефонных линий между конторами дежурных по станциям и стрелочными постами. Эти работы намечалось завершить к лету 1917 г.

К строительству линии Кашин – Калязин – Савелово (80 верст) в 1914 г. приступило Общество Верхне-Волжской железной дороги. С началом войны работы были приостановлены и возобновлены год спустя по требованию военного ведомства. В результате путь был уложен до Волги. Однако построить мост не удалось, вероятно, из-за нехватки средств. Одновременно это общество взялось за строительство линии Калязин – Углич (40 верст). В перспективе она должна была кратчайшим путем связать Москву с Рыбинском. После начала войны все работы на этой линии прекратились и не возобновлялись (7, с. 87).

На Пермской железной дороге были устроены пять разъездов, переустроены две станции в Екатеринбурге, на 11 станциях уложены дополнительные пути. На 19 станциях стрелочные посты получили телефонную связь с конторами дежурных. 29 мостов оборудовали электрической звуковой сигнализацией на постах военной охраны. В 1916 г. дорога получила американские паровозы «Декапод», и предельный вес состава повысился с 43 тыс. пудов до 70 тыс. пудов, а в летнее время до 75 тыс. пудов. В декабре 1915 г. завершилась работа по установке телеграфного оборудования от Вятки до Екатеринбурга (814 верст), а 1 февраля заработала диспетчерская связь со станциями на расстоянии 1196 верст.

На Самаро-Златоустовской железной дороге удлинились пути на восьми станциях. На станциях Самара, Уфа, Кропачево, Похвистнево сооружались новые поворотные круги для более мощных американских паровозов серии *Е*. С этой же целью усиливались 43 моста. На участке Самара – Батраки использовались подталкивающие паровозы.

Много проблем пришлось решать на Омской железной дороге. Верхнее строение пути не позволяло использовать мощные отечественные и американские паровозы и вагоны. Водоснабжение многих станций зависело от пересыхания озер в летние месяцы. Воду приходилось заранее перекачивать в специальные пруды или перевозить в цистернах. Из-за нехватки воды в летнее время на участке Челябинск – Омск провозная способность ограничивалась 22 парами поездов в сутки, а на участке Челябинск – Екатеринбург – 15 парами поездов. Длина путей станции Омск не позволяла принимать составы свыше 55 вагонов. Поэтому составы большей длины принимались с отцепкой части вагонов. Уголь завозили из Кузбасса и других отдаленных копей. Заготовка дров фактически не велась из-за нехватки рабочих рук. В 1915–1916 гг. на дороге были построены 66 разъездов. На берегу реки Тура строился угольный склад на 20 млн. пудов. На строительстве путей, складов, элеваторов, холодильников и т.п. широко использовался труд военнопленных.

Огромное значение для перевозки грузов из Владивостока имела Томская железная дорога, протянувшаяся через всю Западную Сибирь. Это была одна из самых технически оснащенных дорог Сибири и Дальнего Востока. От Ачинска до Иннокентьевской завершили укладку второго пути. Здесь уложили рельсы типа Ша и лишь 5% непропитанных шпал. Вес поездов увеличился до 68 300 пудов. На станции Нижнеудинская действовало устройство по механической загрузке угля в тендер. Водоснабжение позволяло пропускать от Новониколаевска до Иркутска 48 пар поездов в сутки. Использовались в основном грузовые паровозы типа *О* и *Ч*, *θ*, пассажирские – *К* и *С*. На станциях Зима и Тайга формировались маршрутные поезда для движения в западном направлении.

В результате всех предпринятых мер удалось увеличить скорость движения товарных поездов от Владивостока до Петрограда (через КВЖД) с 9 до 16 верст в час и сократить время в пути с 35 до 19,7 суток.

Министерство реконструировало отдельные участки выходных магистралей из Сибири. Так, на участке Екатеринбург – Пермь – Вятка пропускная способность увеличилась с 232 до 348 вагонов в сутки, Вятка – Вологда с 234 до 390, Вологда – Тихвин с 336 до 416, Тихвин – Обухово с 588 до 756, Вологда – Ярославль с 279 до 360, Ярославль – Рыбинск с 296 до 407 (12, с. 50–51)¹.

¹ См. также отчеты о поездках по дорогам в 1916 г. военного инженера барона Е.Э. Роппа. Следует подчеркнуть, что средняя скорость рассчитывалась с учетом простоя

С 1913 г. Общество Ачинск-Минусинской ж. д. вело строительство линии к Абакану. В связи с началом Первой мировой войны сооружение дороги замедлилось. И все же к концу 1917 г. на всем протяжении трассы (485 верст) было подготовлено к укладке рельсов земляное полотно, построено большинство искусственных сооружений (мостов, тоннелей, водопропускных труб), установлены семафоры, подвешены телеграфные и телефонные провода. С 1916 г. в работах принимали участие военнопленные. Рельсы были уложены только до станции Глядень (85 верст).

Поскольку большинство грузов в Петроград поступало по Николаевской железной дороге, она была усилена. Реконструкция пути и станций позволила обеспечить пропускную способность на участке Москва – Бологое с 1035 до 1200 вагонов в сутки и на участке Бологое – Петроград с 1125 до 1500 вагонов (12, с. 52).

В 1916 г. велись работы по сооружению второго пути от Данилова до Александрова на Северных железных дорогах, от Рыбинска до Бологое Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги, от Рузаевки до Инзы Московско-Казанской железной дороги, от Саратова до Ртищево Рязанско-Уральской железной дороги. Строились вторые пути на одном из горных участков Самаро-Златоустовской железной дороги. Из-за нехватки средств министерство неоднократно откладывало сооружение ряда намеченных линий: Верхнеудинск – Кяхта, Керченской портовой ветви, Доргобужской ветви, дороги Червоная – Кривой Рог, Старицкой ветви¹.

На дорогах фронта к лету 1916 г. построили свыше 500 верст новых и вторых путей. Еще около 300 верст уложили на расширенных станциях. Фронтную дорогу Островец – Надбржезе длиной в 50 верст построили за 67 дней, а линию Варшава – Цеханов в 82 версты – за 61 день. Возведено более 300 искусственных сооружений, в том числе большой мост через Вислу. Следует отметить, что русские войска пользовались этим мостом и вновь построенной 50-верстной линией Островец – Надбржезе всего три дня. 25 апреля 1915 г. ее открыли для движения, а 29 апреля в связи с отступлением ее разрушили, а мост через Вислу сожгли (12, с. 59).

В годы войны продолжалось строительство Черноморской железной дороги, призванной соединить Туапсе с Потийской ветвью Закавказских железных дорог². Пропускная способность дороги составляла две пары товарных и три пары местных дачных поездов в сутки. Дорогу строили

при смене паровозов, техническом осмотре составов, стоянок в пунктах передачи поездов с одной дороги на другую и т.п. Следовательно, на отдельных участках средняя скорость была значительно выше.

¹ РГИА. Ф. 1278. Оп. 7. Д. 849. Л. 406–5, 8.

² Устав Общества Черноморской железной дороги был утвержден 24 августа 1912 г. Длина дороги 322 версты. Учредителями общества были Н.П. Перцов, А.И. Путилов и С.С. Хрулев (31, с. 181).

вдоль побережья Черного моря. Линия была преимущественно однопутной, включая тоннели. В 1916 г. на участке Туапсе – Сочи открылось рабочее движение поездов. Окончательно этот участок достроили и сдали в постоянную эксплуатацию только в 1929 г.

15 февраля 1917 г. Особое совещание по перевозкам заслушало доклад Управления железных дорог МПС о постройке новых линий и ветвей. Отмечалось, что в январе завершилась укладка рельсов на линии Буй – Данилов Северных железных дорог. Были построены вторые пути на линии Данилов – Александров (236 верст), ветви к артиллерийским складам от станции Можайск и от казарм на Ходынском поле к станции Пресня Московской Окружной железной дороги. Началось строительство линии Венев – Узловая. Продолжались изыскания вдоль будущей линии Орехово – Киржач. Строился участок Егорьевск – Ильинский погост¹.

Всего за 1915–1916 гг. было введено в эксплуатацию 8530 верст железных дорог. К концу 1916 г. протяженность железнодорожной сети достигла 72 279 верст (в том числе 45 518 казенных железных дорог и 26 761 – частных)² (11, с. 89, 91; 28, с. 91).

Мурманская железная дорога

Блокада портов Балтики и Черного моря вынудила руководство МПС вернуться к идее строительства дороги к Баренцеву морю.

Впервые вопрос о строительстве железных дорог в Карело-Мурманском крае был поставлен общественностью в начале 70-х годов XIX в. Но тогда все закончилось изысканиями по трассе предполагаемой Вытегорско-Онежской железной дороги. В 1894 г. вопрос о дороге до города Кемь с последующим продолжением до Мурманского побережья Баренцева моря обсуждался в Комиссии по строительству железных дорог на Севере под руководством председателя Инженерного совета МПС и товарища министра путей сообщения Н.П. Петрова. Однако под различными предложениями дело ограничивалось изысканиями по намечаемым трассам. Годы шли, а Карелия оставалась без надежных транспортных связей. Только в 1914 г. Общество Олонецкой железной дороги приступило к строительству дороги протяженностью 265 верст до Петрозаводска (35, с. 3–9). Осенью 1914 г. МПС решило продолжить ее к Сорокской бухте на Белом море. Однако выяснилось, что бухта мелковата для захода океанских судов. Тогда приняли решение построить головной участок от Мурманска до Кандалакши, а на участке Кандалакша – Сорокская бухта использовать водный путь с перегрузкой грузов на суда с небольшой осад-

¹ РГИА. Ф. 268. Оп. 5. Д. 325. Л. 202–212.

² В это число верст не вошла КВЖД (1619 верст) и железные дороги Великого княжества Финляндского (3866 верст, из них лишь 102 версты частных железных дорог).

кой. После оценки всех видов работ водно-железнодорожный путь был отвергнут – было решено строить на всем протяжении железную дорогу.

В конце 1914 г. в Петрозаводске сформировали Управление по постройке Мурманской железной дороги. Его начальником назначили инженера путей сообщения В.В. Горячковского, а главным инженером – профессора Института инженеров путей сообщения Б.А. Крутикова. 1 января 1915 г. строители приступили к прокладке трассы.

Строительство велось в тяжелейших условиях. Никогда ранее железные дороги не строились в столь северных широтах. В суровую полярную зиму температура здесь опускалась до -40° . Труднопроходимые леса чередовались с глубокими болотными топями и «полями» ледникового происхождения, сплошь покрытыми огромными валунами. Из всей длины (1056 верст) около 270 проходили по заболоченной местности, а участок дороги от Сороки до Кеми пришлось прокладывать по сплошным болотам. Повсюду встречались каменные нагромождения. Скалы строителям приходилось обходить кривыми участками пути. Огромные валуны ледникового происхождения взрывали. Мешало множество озер, рек, речек и ручьев, предопределивших строительство мостов и водопропускных сооружений. А в зимнее время строителей накрывала долгая полярная ночь, и работы приходилось останавливать. Лишь изыскатели продолжали изучать трассу, освещая дорогу факелами. Грузы для стройки доставлялись конными обозами из Петрограда и Званки на расстояние свыше 400 верст. При этом часть груза составлял фураж для прокорма самих лошадей. Гужевым транспортом можно было пользоваться только 2,5 месяца (с января до середины марта). Затем наступало бездорожье. В летнее время строительные материалы подвозили по Неве, приладожским каналам, Свири и Онежскому озеру, где были устроены пристани для разгрузки судов. Неожиданные трудности возникли с доставкой паровозов. В Петрограде не нашлось судна с небольшой осадкой. После долгих поисков решили использовать старое днище от бывшего броненосца береговой обороны «Чародейка». На нем удалось перевезти в Кондопогу и Медвежью Гору 20 паровозов (35, с. 11, 14).

Мурманская дорога строилась хозяйственным способом, так как подрядчиков, желавших участвовать в ее сооружении, не нашлось. Для ускорения работ правительство согласилось с предложениями англичан и канадцев поручить строительство головного участка длиной около 130 км канадскому предпринимателю лорду Френчу. Он прибыл в Мурманск с 500 рабочими, совершенно не представляя трудностей прокладки трассы в необжитых местах. За целый месяц они уложили только 10 км трассы при совершенно неудовлетворительном качестве работ. В результате иностранным мастерам и рабочим пришлось покинуть стройку, а Френч заявил, что русские никогда эту дорогу не построят.

Руководство МПС приняло решение перебросить с Амурской железной дороги в Карелию около 10 тыс. рабочих и инженеров, имевших опыт работы в аналогичных условиях. Военное ведомство направило на стройку три железнодорожных батальона, а затем несколько тысяч военнопленных австрийцев и немцев. Но производительность труда пленных была на 25% ниже вольнонаемных рабочих. К строительству привлекались беженцы из прибалтийских и западных губерний. 5 тыс. финских рабочих специализировались на расчистке трассы от валунов. 10 тыс. китайских рабочих показали хорошую сноровку при устройстве земляного полотна. Все рабочие в зимнее время жили в бараках, летом перебирались в шалаши и землянки. Рабочий день в летние месяцы длился 12,5 часов, в зимние – 8 часов. Тяжелый климат, перебои с продовольствием, отсутствие квалифицированной медицинской помощи приводили к массовым заболеваниям. Так, в середине 1916 г. цингой болели 12 тыс. строителей.

В ходе строительства было использовано немало изобретений инженеров путей сообщения. Например, через Кандалакшский залив по предложению инженера В.П. Ивашева впервые в мире построили фильтрующую насыпь, отсыпанную из крупных камней. При приливах она могла пропускать огромные массы воды. Это значительно сокращало время и материалы, поскольку обход залива удлинил бы трассу более чем на 8 верст и был связан с постройкой нескольких мостов через мелкие речки, впадавшие в залив. Своеобразно решили задачу доставки подвижного состава на станцию Оленья. Строители использовали разницу уровня воды, колебавшуюся в пределах 5,5 метров между приливом и отливом. В прибрежной полосе Кандалакшского залива уложили путь, поставили и закрепили железнодорожные платформы. Когда приливная волна их затопила, над ними встал буксир с баржами. При отливе суда сели на платформы и их перевезли по железнодорожному пути на пристань в Старый Зашеек и спустили в озеро Имандра. Затем уже на эти суда погрузили платформы, паровоз и различные материалы. Караван ушел к месту назначения. Следует отметить высокие темпы сооружения дороги – по 2 версты в день. Инженер Б.В. Сабанин писал: «Видимо, только русские рабочие, русские инженеры могли успешно противопоставить свой разум, свою волю сопротивлению дикой природы» (цит. по: 8, с. 438).

Здания вокзалов, жилые дома, паровозные депо, ремонтные мастерские и даже водонапорные башни строились исключительно из дерева, вокзалы и жилые дома сооружали и украшали в традициях северного деревянного зодчества. На небольших станциях служебные помещения располагались в одних домах с жилыми квартирами. Для удешевления строительства первоначально применялись упрощенные нормы. Например, высоту производственных и жилых построек сократили до 2,75 метров. Гражданские и пассажирские здания строили без внутренней штукатурки. Во-

донапорные башни располагали непосредственно у источника. Используя рельеф местности, на некоторых остановочных пунктах тендеры паровозов заправляли водой самотеком из ручья.

В годы войны инфляция вынуждала неоднократно пересматривать сметы строительных работ. Так, первоначально на сооружение линии Кандалакша – Кола было выделено 20 626 088 руб. В феврале 1917 г. стоимость строительства оценивалась уже в 65 979 000 руб. Помимо расходов на сооружение Мурманской железной дороги МПС несло большие расходы на строительство города Романова на берегу Баренцева моря. 30 ноября 1916 г. Комитет Управления по сооружению железных дорог рекомендовал выделить на первоочередные строительные работы в Романове 416 750 руб.¹

3 ноября 1916 г. на 537-й версте от Петрозаводска встретились две бригады укладчиков пути. Так был завершен первый этап строительства новой магистрали. Магистраль протяженностью 1445 км была построена в условиях войны за 20 месяцев. Товарное движение на условиях временной эксплуатации было открыто с 1 января 1917 г. (14, с. 42). Б.А. Крутиков вспоминал: «Не раз казалось, что начатое дело должно быть брошено, что нет сил, которые могли бы преодолеть преграды. Но сверхчеловеческими усилиями удавалось двинуться вперед, напрягая силы, знания и находчивость инженеров и рабочих, и то, что было сделано за два первых года постройки, без преувеличения будет признано работой титанической и найдет справедливую оценку» (цит. по: 35, с. 22).

Амурская железная дорога

В 1915–1916 гг. завершилось строительство ряда железнодорожных магистралей, начатых еще в довоенное время. Среди них такие линии, как Новониколаевск – Семипалатинск (613 верст), Жлобин – Каменец-Подольский (592 версты), Каган – Термез (480 верст), Нарва – Псков – Полоцк (471 верста), Екатеринбург – Тавда (336 верст), Крымская – Кушцевка (253 версты), Коканд – Джалалабад (248 верст), Армавир – Туапсе (225 верст) и др. Наиболее крупной из построенных магистралей стала Амурская железная дорога.

К началу Первой мировой войны был построен западный участок новой магистрали и начато сооружение ее восточного участка. Он шел по району вечной мерзлоты и болотам, что создавало значительные трудности. Использовалась самая передовая для того времени техника: экскаваторы², бетоно- и растворомешалки, камнедробильные установки, конные

¹ РГИА. Ф. 229. Оп. 5. Д. 1263. Л. 2об., 4–4об.

² С 1902 г. на Путиловском заводе выпускались паровые неполноповоротные экскаваторы – по три в год (25, с. 55).

колесные скреперы и многое другое. При строительстве применялись новаторские решения водоснабжения. Так как в зимнее время реки и озера глубоко промерзали, пришлось строить шахтные колодцы и галереи для забора грунтовых вод. Прокладывали трубопроводы с подогревом воды и непрерывной ее циркуляцией (9, с. 276). Был построен первый в мире тоннель в вечномёрзлом грунте с применением теплоизолирующего слоя между отделкой тоннеля и породой. Начало военных действий внесло серьезные коррективы в ход строительства. Многих рабочих мобилизовали в армию, сократились кредиты, не поступило оборудование, заказанное на бельгийских и польских заводах. В то же время Владивосток становился важнейшим торговым портом, и КВЖД не справлялась с вывозом поступающих сюда импортных товаров. МПС прилагало все усилия, чтобы завершить сооружение Амурской магистрали.

Наиболее серьезным испытанием стало возведение моста через Амур у Хабаровска. На стройке ежесуточно трудились до 900 человек. Металлические фермы по проекту профессора Л.Д. Проскуракова изготавливали на заводах Варшавы, перевозили в Одессу, а затем на кораблях доставляли во Владивосток. Пролетные строения монтировали на деревянных подмостках или на плаву с барж. После начала войны судно, перевозившее две фермы, было потоплено германским крейсером в Индийском океане. Новые металлоконструкции пришлось заказывать в Канаде. Всего на постройку моста израсходовали 18 тыс. т металла, 14 тыс. м³ бутового камня и щебня. Стоимость строительных работ составила 13,5 млн. руб. По свидетельству руководителя стройки А.В. Ливеровского, 2600-метровый железнодорожный мост был одним из крупнейших сооружений на континенте. Он стал гордостью отечественного мостостроения. О качестве расчетов инженеров и работ строителей можно судить по следующему факту. Мост был рассчитан для пропуска поездов массой до 400 т с паровозами серий Э и Е с нагрузкой на ось 17 т. Фактически поездная нагрузка значительно превысила проектную. В СССР по мосту шли поезда массой до 3 тыс. т и с нагрузкой на ось локомотива 23 т. Только в самом конце XX в. началась замена износившихся пролетных строений.

Первый сквозной поезд по Амурской железной дороге проследовал 20 декабря 1915 г. 5 октября 1916 г. состоялось официальное открытие Алексеевского моста через Амур, а в начале 1917 г. Амурскую железную дорогу протяженностью в 2165 верст приняли в постоянную эксплуатацию (24, с. 63).

Проектирование новых железнодорожных линий

В 1915–1916 гг. МПС неоднократно рассматривало проекты строительства железных дорог в северной и центральной частях России. Основ-

ной их целью было разгрузить Московский железнодорожный узел и работавшую на пределе своих возможностей Николаевскую железную дорогу. Прежде всего речь шла о строительстве железнодорожной линии Петроград – Рыбинск. Военное ведомство настаивало на первоочередном сооружении ветви Мга – Овинище (373 версты), так как через Сонково можно было проехать в Рыбинск, минуя Бологое. Общая длина линии Петроград – Рыбинск 531 верста. До Февральской революции на этой трассе преимущественно велись лишь земляные работы.

Комиссия о путях сообщения Государственной думы рассмотрела проекты строительства железной дороги от Верхней Волги до Петрограда. Один из проектов предложила группа частных лиц. Он предусматривал сооружение линии Петроград – Максатиха (станция Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги на линии Бологое – Рыбинск) с продолжением до Савелово и далее через Александров до Саратова. Существовали проекты строительства линий к Весьегонску, Устюжне, Шапкам (конечной станции ветви Тосно – Шапки). Комиссия отклонила эти проекты как несвоевременные в условиях войны. В то же время получила поддержку идея строительства Краснохолмской ветви (Сонково – Красный Холм). Эта ветвь при сооружении линии Кашин – Савелово давала еще один выход на Москву и несколько разгружала Николаевскую железную дорогу. Представитель МПС сообщил, что группа частных предпринимателей взялась построить линию Кашин – Сонково. Но если строительство будет идти медленно, то министерство подготовит законопроект о сооружении этой линии за счет средств государства. Комиссия о путях сообщения заявила о поддержке проектов строительства линий и ветвей, связывавших столицу с центральным промышленным районом (5, с. 182–184).

21 и 24 июля 1915 г. Комиссия о новых железных дорогах рассматривала проект строительства дороги Муром – Меленки – Елатьма – Шацк – Моршанск – Тамбов. Участки Муром – Моршанск проявило готовность строить Общество Московско-Казанской железной дороги, а последний участок – Общество Рязанско-Уральской железной дороги. Комиссия признала желательным реализацию этого проекта¹.

Совет министров одобрил представление Министерства путей сообщения о сооружении Обь-Беломорской железной дороги. Она начиналась у Архангельска, пересекала Пинегу, Ухтинский район, Печору и от села Троицко-Печерское направлялась к одной из пристаней на реке Обь (предположительно в районе Чемашевского поселения) с ответвлением после перехода Уральского хребта до станции Надеждинский завод Богословской железной дороги. Общая длина новой дороги – 1510 верст (16, с. 10).

¹ РГИА. Ф. 560. Оп. 26. Д. 1336. Л. 63.

В 1915 г. Общество Ачинск-Минусинской железной дороги обратилось в Совет министров с просьбой о предоставлении концессии на постройку линии в Урянхайский край. Рельсовый путь предлагалось проложить до г. Белоцарска (с 1918 г. Хем-Белдыр, с 1926 г. Кызыл, ныне столица Тувы), географического центра Азии. Правление считало строительство этой дороги стратегически и экономически выгодным для России, поскольку открывало удобный и дешевый путь к Монголии (в перспективе Правление было готово довести линию до монгольского г. Улясутая). Было подготовлено экономическое обоснование строительства, но осуществить этот проект тогда не удалось.

15 марта 1916 г. Управление железных дорог МПС представило в Особое совещание по обороне доклад о начале первоочередных работ по переустройству Петроградского железнодорожного узла. Прежде всего предполагалось построить южную линию. Она должна была соединить проектировавшуюся Предпортовую сортировочную станцию со станцией Рыбачьей Николаевской железной дороги. Предпортовая станция создавалась для сортировки вагонов по местам выгрузки в Новом Порту, в Пушкине, Автово, на Морской пристани и др. Протяженность южной линии – 13 верст. Несмотря на незначительную длину, ее строительство было дорогостоящим в связи с устройством пересечений с линиями Санкт-Петербургской – Варшавской, Царскосельской и Николаевской железных дорог на разных уровнях. Затем южную линию предстояло соединить короткой веткой с Царскосельской дорогой, чтобы направлять на ее станцию в Петрограде поезда с Николаевской железной дороги.

Станцию Охта-товарная после реконструкции решили сделать крупным сортировочным пунктом. Предусматривалось строительство третьего и четвертого путей на участке Обухово – Тосно (40 верст). Авторы проекта предполагали перевести на них все пассажирское пригородное движение. Позднее этот участок предстояло электрифицировать. Проект одобрили, но его реализация затянулась в связи с недостатком средств, квалифицированной рабочей силы и грянувшей революцией¹.

В 1916 г. Особое совещание под председательством товарища министра путей сообщения И.Н. Борисова разработало план железнодорожного строительства на предстоящие пять лет. Все включенные в план линии делились на две группы. К одной относились линии, призванные разгружать уже имевшиеся дороги. Первоочередными среди них были признаны магистрали Москва – Донецкий бассейн (1000 верст), Харьков – Пенза – Инза (900 верст), Александров Гай – Эмба и Кунград – Чарджуй (1100 верст). Первая из них должна была ускорить доставку угля в Московский и Пет-

¹ РГАЭ. Ф. 1884. Оп. 36. Д. 7. Л. 5–6об. В 1916 г. работы по укладке третьего и четвертого путей на участке Обухово – Тосно начались (РГИА. Ф. 268. Оп. 5. Д. 187. Л. 163об.).

роградский промышленные районы. Ее намечалось строить по кратчайшему расстоянию, применив наиболее простые технические решения. Сопределение высказалось за переустройство или перешивку узкоколейной линии Рязань – Владимир, для направления угля во Владимирский промышленный район минуя Московский узел.

Следующая магистраль должна была облегчить эксплуатацию линии Харьков – Балашов – Пенза, не справлявшейся с потоком переселенческого движения из Малороссии и юго-западных губерний в Поволжье и Прикамье. Предполагалось, что новая дорога будет обслуживать высокоразвитые экономические районы. Наконец, третью магистраль намечалось провести в районы нефтедобычи и хлопководства.

В план включили строительство несколько «пионерских линий», предназначенных для обслуживания отдельных отраслей промышленности и способствовавших освоению окраин империи, развитию курортного дела, некоторые подъездные пути и т. п. Среди них можно назвать такие линии, как Обь-Беломорская (1500 верст), Котлас – Сороки (800 верст), Рязань – Тула – Барановичи (1000 верст, включена в план по требованию военного ведомства), Ленская (612 верст в Якутии), Уральск – Царицын (550 верст), Троицк – Стерлитамак (550 верст), Заволжская (Оренбург – Галич, 1213 верст), Южно-Сибирская (Орск – Барнаул, 1850 верст) и т.д. (26).

В печати развернулась дискуссия о том, кто сможет осуществить столь грандиозное строительство. И даже такой сторонник частных дорог, как инженер путей сообщения А.А. Бубликов, признал, что не стоит надеяться «на пышный расцвет частного строительства». Строить будет государство. Но должна быть полная ясность в расходах огромных средств. Бубликов призывал установить на казенных железных дорогах «настоящую коммерческую бухгалтерию» (2).

Совет министров одобрил финансирование строительства новых железных дорог в 1917–1921 гг. из расчета 600 млн. руб. ежегодно (всего 3 млрд. руб.). Никогда ранее государственное финансирование на эти цели не было столь щедрым (18, с. 3).

В 1916 г. Комиссия о новых железных дорогах и о путях сообщения рассмотрела ряд конкретных проектов. Специальное заседание было посвящено проблеме соединения железнодорожным путем Приленского края с Сибирской магистралью. После детального обсуждения финансовых затрат на строительные работы и экономической выгоды от развития этого региона Комиссия рекомендовала проложить железную дорогу от одной из станций Сибирской магистрали между Тайшетом и Тулуном через Братск в направлении на Усть-Кут и далее до Бодайбо для массовых перевозок грузов горной и золотодобывающей отраслей. В последующем предполагалось развитие путей сообщения с Якутией, включая строительство узкоколейных рельсовых путей (9, с. 301).

4 ноября 1916 г. в Комиссию о путях сообщения поступил проект сооружения линии Александров Гай – Чарджуй. Министерство путей сообщения просило выделить на строительные работы в 1917 г. 774 тыс. руб. Основной целью этой магистрали было «более тесное единение центра России и ее столицы со столь ценными окраинами, каковые представляют из себя Хива и Бухара». По мнению авторов проекта, эта линия в будущем могла стать частью пути из Европы в Индию. Местным значением линии считалось обслуживание богатых Эмбенских нефтяных месторождений и развитие производства хлопка в районах, близких к Чарджую. Эмбо-Гурьевское месторождение и месторождение у озера Дос-Сор давали 15 млн. пудов нефти. Строительство железнодорожного пути обеспечивало значительное увеличение добычи нефти. Далее на юг рассчитывали взять лес, в котором так нуждались Хива и Бухара. Всю дорогу предполагалось строить за государственный счет¹.

19 ноября 1916 г. в Комиссию о путях сообщения поступило представление МПС о сооружении линии Москва – Донецкий бассейн. О ее сооружении ходатайствовали еще в конце XIX в. земские и городские органы самоуправления, а перед войной Московский, Воронежский и Харьковский порайонные комитеты. Донбасс давал 80% всего добываемого в стране минерального топлива, что покрывало 60% общего потребления угля в России. В центральный и северо-западный промышленные районы этот уголь везли по Московско-Курской железной дороге. Ее пропускная способность была исчерпана в полной мере. К тому же растущие пассажирские перевозки требовали сокращения грузового движения. Комиссия поддержала представление МПС о строительстве этой магистрали².

Усовершенствование подвижного состава

В связи с разработкой планов ускоренного строительства железных дорог после окончания войны (до 6 тыс. верст ежегодно) экономист П.П. Мигулин высказался за сооружение новых заводов по изготовлению рельсов и подвижного состава. Он поддержал предложение председателя Правления Владикавказской железной дороги В.Н. Печковского о строительстве крупных металлургических заводов в районе открытых залежей угля в Кузбассе и у Магнитной горы на Южном Урале. Предполагалось строительство железной дороги Челябинск – Троицк – Орск (около 100 верст) к Магнитной горе. Печковский предлагал немедленно закупить оборудование для заводов, не останавливаясь перед переплатой за его поставку. По его словам, это было оправданно, так как страна получала выгоду, сократив зарубежные заказы. Мигулин настаивал на немедленном

¹ РГИА. Ф. 1278. Оп. 7. Д. 888. Л. 3–4об.

² Там же. Д. 904. Л. 3–9.

строительстве домен и плавильных печей. Стремительное расширение сети железных дорог за чужой счет невозможно. Иностранцы в этом не помогут. «Нельзя вечно жить чужим умом и чужими капиталами», – писал профессор Мигулин (17, с. 3).

С началом военных действий на дороги фронта были направлены 21 тыс. вагонов и 725 паровозов. Помимо этого для перевозок различного имущества, вооружения, боеприпасов на театр военных действий, по состоянию на 1 января 1915 г., использовалось 97 100 вагонов. 19 тыс. вагонов не вернулись с фронтовых дорог. Их временно приспособили под склады на колесах. Итого за неполные шесть месяцев с начала войны дороги Восточного района не смогли использовать для перевозки коммерческих и хозяйственных грузов 137 400 вагонов (12, с. 18).

В последующие годы Ставка продолжала запрашивать все новые и новые паровозы и вагоны. К августу 1915 г. на фронтовых дорогах насчитывалась почти половина подвижного состава страны: 8 тыс. паровозов и 218 тыс. вагонов. Кроме того, ежедневно из тыла на фронт направлялись 150–170 поездов с различными военными грузами. В дни Брусиловского наступления в 1916 г. на фронт каждый день подавали 6,5–6,7 тыс. вагонов¹ (32, с. 33). Поэтому с первых дней войны в тылу ощущалась острая нехватка подвижного состава. МПС заказало отечественным заводам сначала 390 паровозов и 8350 вагонов, а затем по смете 1915 г. еще 282 паровоза и 15 968 вагонов. Очень скоро выяснилось, что они не могут оперативно выполнить этот заказ из-за перевода промышленности на выпуск военной продукции. Паровозостроительные заводы уже в 1914 г. стали ощущать недостаток металла и различных изделий из него. На оборону страны работали также предприятия ведомства путей сообщения.

В докладе Николаю II министр путей сообщения А.Ф. Трепов указал, что отечественная промышленность не располагает свободными мощностями для выполнения заказов министерства. Так, за период с 1 ноября 1915 г. по 1 ноября 1916 г. в России удалось разместить заказы на изготовление 20 млн. пудов рельсов и креплений, 620 паровозов, 17 500 товарных вагонов (еще 7000 строили железнодорожные мастерские) и 870 пассажирских вагонов. Министр, впрочем, сомневался в своевременном выполнении этих заказов.

Неудовлетворительная работа многих отечественных предприятий, выполнявших заказы железнодорожников, вынудила А.Ф. Трепова во всеподданнейшем докладе Николаю II в ноябре 1916 г. поставить вопрос о

¹ Генерал Н.Н. Головин считал, что одной из причин того, что наступление Юго-Западного фронта в 1916 г. не дало тех стратегических результатов, на которые можно было рассчитывать, стала слабость железнодорожной сети. Требуемые для развития успеха оперативные перевозки войск «оказались совершенно не под силу нашим железным дорогам» (4, с. 278).

сооружении казенного металлургического завода, который бы обслуживал ведомство путей сообщения и «ослаблял бы его зависимость от частных предприятий»¹. Следует отметить, что инициатива в постановке этого вопроса принадлежала инженер-генералу Н.П. Петрову еще в мае 1916 г. Совет министров предоставил МПС кредит в 100 тыс. руб. на подготовку технико-экономического обоснования и проекта сооружения крупного металлургического завода для обслуживания ведомства путей сообщения².

Комиссия о путях сообщения рассмотрела представление МПС по этому вопросу. Общая стоимость проекта была определена в 70 993 000 руб. На 1917 г. министерство просило предоставить 20 млн. руб. Необходимость в сооружении этого предприятия мотивировалась резким ростом спроса на металл. Его нехватка ощущалась еще накануне войны, а с началом военных действий возник острый дефицит. Железнодорожный транспорт получал металл в ограниченных количествах и по высокой цене. Комиссия поддержала проект МПС, но из-за революционных событий 1917 г. он в Государственной думе не обсуждался³.

Паровозостроительные заводы, безусловно, делали все, что позволяли возможности. За 1914–1917 гг. они передали железнодорожникам 2690 паровозов. Наиболее крупные заказы министерства (630 локомотивов) выполнил Харьковский паровозостроительный завод (29, с. 127).

Все эти предприятия в годы войны вели большую работу по постройке новых типов паровозов и усовершенствованию конструкции уже находившихся в эксплуатации. Так, Путиловский завод проектировал паровоз типа 0-5-0 серии **Ъ**, Коломенский завод – паровоз типа 1-5-0 для Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги. На Брянском заводе разработали проект паровоза с колесной формулой 0-5-1. На базе этого проекта уже легко было сделать первый шаг к проекту товарного паровоза типа 0-6-0. Однако военные условия диктовали необходимость производства уже проверенных в эксплуатации локомотивов.

Пожалуй, единственной новинкой стал паровоз серии **Л**⁴, изготовленный на Путиловском заводе по заказу Владикавказской железной дороги. Эскизный проект нового локомотива разработал В.И. Лопушинский, а рабочее проектирование выполнено под руководством А.С. Раевского. В его конструкции применялось много технических изобретений, позволявших развить на испытаниях мощность 1500–1600 л. с., а скорость до 120 км/ч. Паровоз серии **Л** стал самым мощным пассажирским локомотивом в дореволюционной России. Паровоз предназначался для курьерских

¹ РГИА. Ф. 229. Оп. 4. Д. 414. Л. 179–179об.

² Там же. Ф. 1276. Оп. 20. Д. 410. Л. 99.

³ Там же. Ф. 1278. Оп. 5. Д. 476. Л. 9об.

⁴ Назван по фамилии конструктора, инженера Владикавказской железной дороги В.И. Лопушинского.

поездов, двигавшихся с большой скоростью, но состояние пути в годы войны не позволяло использовать все его преимущества. К тому же его паровая машина была сложна в изготовлении. Всего Путиловский завод построил 15 паровозов типа *Л* (29, с. 244–245).

Острая нехватка подвижного состава вынудила специалистов ведомства путей сообщения обратить внимание на более эффективное использование имевшихся паровозов и вагонов. Прежде всего приняли решение использовать специальный подвижной состав, который в осеннее и зимнее время простаивал без работы. Примерно у 15 000 платформ нарастили борта, приспособив для перевозки угля. Было разрешено грузить в вагон 1200 пудов вместо 1000. Одновременно изменили тариф. Отныне плата устанавливалась за действительный вес груза, независимо от существовавших повагонных норм погрузки. Для низкобортовых платформ установили специальные тарифные ставки. МПС приняло решение о принудительной аренде подвижного состава у частных лиц и предприятий, у обществ, строивших дороги.

В 1915 г. стали использоваться маршрутные поезда. Это транзитные поезда дальнего следования, составленные из вагонов с одним и тем же грузом и следовавшие на одну станцию, например, состав с углем из Донбасса, предназначавшимся Петрограду. Такие поезда позволили ускорить перевозку грузов и улучшили оборот вагонов. Провозную способность дорог постарались улучшить путем введения более тяжелых поездов, что стало возможным после появления на дорогах более мощных паровозов типов 1-4-0, 0-5-0 и 1-5-0. На некоторых участках с трудным профилем стали применять подталкивающие паровозы. В качестве толкачей использовали вышедшие из употребления слабые паровозы старых типов. Впервые этот метод в виде опыта применили на Екатеринбургской и Южных железных дорогах. Затем его стали распространять на других дорогах.

Добиться эффективного использования вагонов старались сократив их простой на станциях в ожидании разгрузки или погрузки, затем в ожидании отправки. Статистика показывала, что простой вагонов достигали 60–70%. Наибольший успех в сокращении простоя был достигнут на Южных железных дорогах в результате применения метода уплотнения работ.

1 февраля 1915 г. были введены должности вагонных ревизоров и вагонораспределителей (диспетчеров). В их обязанности входило изучение условий работы подвижного состава, а также сведение к минимуму простоя вагонов. По состоянию на 1 января 1916 г. на 20 дорогах работали старшие и младшие ревизоры (всего 112 человек). В Управлении железных дорог МПС были введены две должности старших ревизоров. При начальниках отделений движения появились вагонораспределители. Помимо телеграфных проводов началась установка специальной диспетчерской связи. Вагонораспределитель должен был иметь связь с любой стан-

цией своего отделения и своевременно получать информацию о работе подвижного состава.

Для мелкого ремонта вагонов при деповских станциях были организованы «летучие артели». Они устраняли небольшие повреждения при кратковременной остановке поезда, тем самым способствуя увеличению срока эксплуатации вагона. Отправка же его в вагоноремонтные мастерские, подчас за несколько сот верст, надолго выводила вагон из рабочего парка.

Для более эффективного использования паровозов МПС решило ввести сменную (американскую) систему. Традиционно в России локомотив закреплялся за одной паровозной бригадой, что обеспечивало хорошее знание его состояния при эксплуатации. Это позволяло, во-первых, беречь локомотив, во-вторых, лучше контролировать действия паровозной бригады по содержанию паровоза, в-третьих, наладить учет расхода топлива и других материалов, отпускавшихся по утвержденным нормам.

Американская система предполагала езду на паровозе минимум двух бригад, а чаще – всех имевшихся в депо бригад по очереди. Она обеспечивала выполнение заданного объема работ меньшим числом паровозов, поскольку они не простаивали во время отдыха бригад. Работа локомотива форсировалась, детали и механизмы его изнашивались быстрее. Срок службы такого паровоза в США составлял 12 лет, вдвое меньше, чем в России, после чего он подлежал замене на новый.

Для уменьшения простоя локомотивов Особое совещание по перевозкам 30 мая 1916 г. приняло решение ввести на российских железных дорогах горячую промывку паровозов¹. Кроме того, были удлинены сроки освидетельствования котлов, отменены при обмене вагонов требования к качеству срочного осмотра, за исключением тех, что способствовали безопасности их движения². Из-за нехватки металла для ремонта котлов паровозов использовалось старое железо. Часто ремонт одних вагонов шел за счет разукрупнения других. В результате увеличивалось количество «больных»³ паровозов и вагонов. В августе 1914 г. ремонта требовали 3,7% вагонов от их общего количества, в августе 1916 г. – 5,6, в январе 1917 г. – уже 6,9%.

¹ РГИА. Ф. 273. Оп. 6. Д. 3142. Л. 19.

² Общее соглашение между российскими железными дорогами о взаимном пользовании товарными вагонами было заключено в 1888 г. Вагоны товарного парка осматривались дорогами-собственниками один раз в три года. Исключение составляли вагоны для перевозок фруктов и вагоны-ледники. Их осматривали ежегодно. Поврежденный товарный вагон ремонтировала та дорога, где он вышел из строя (27, с. 1). Срочный осмотр предполагал подъем вагона, снятие боек с осей, разбор буферов, окраску крыши и всех новых деревянных частей и т. п. (33, с. 14).

³ Под «больным» понимался подвижной состав, который требовал капитального, среднего или текущего ремонта (больше одних суток простоя).

Размещение и выполнение железнодорожных заказов

Отечественные заводы отказывались принимать новые заказы, поэтому МПС было вынуждено размещать их за границей. В марте-апреле 1915 г. министерство стало ходатайствовать перед правительством о предоставлении кредитов для закупки 400 паровозов и 40 тыс. вагонов. Ни в Швеции, ни в Японии такой заказ разместить не удалось из-за недостаточной производительности заводов. Например, Швеция соглашалась изготовить только 200–300 вагонов. Американские заводы выдвинули невыгодные условия: срок исполнения шесть месяцев, оплата заказа только золотом по высокой цене. К тому же заводы брались поставлять подвижной состав в разобранном состоянии. Сборка должна была производиться в России¹. Тем не менее заказ был сделан. Американские заводы взяли за изготовление 13 160 четырехосных вагонов грузоподъемностью 2400 пудов каждый (равных 26 320 вагонам отечественного производства). Крытые четырехосные вагоны именовались в России пульманами, по названию выпускавшей их фирмы. США согласились поставить в Россию в разобранном виде 400 паровозов типа 1-5-0 «Декапод»² (12, с. 57–58). Эти локомотивы имели наибольшую мощность на единицу веса среди американских и русских паровозов. Заказ предложили хорошо известному в России заводу Балдвин в Филадельфии, американской паровозостроительной компании АЛКО в Скенектади, а также Канадской паровозостроительной компании в Кингстоне (недалеко от Оттавы). По месту изготовления паровозы получили название E^{ϕ} , E^c , E^k . Следует отметить, что руководитель Конторы опытов над типами паровозов Ю.В. Ломоносов предлагал тогда заказать за границей паровозы типа 0-5-0 серии Э, разработанные отечественными инженерами. Однако, чтобы названные предприятия смогли ускорить выполнение заказа, выбрали локомотив, выпускавшийся для американских железных дорог.

Первые паровозы из США прибыли во Владивосток уже в октябре 1915 г. После сборки в харбинских мастерских они поступили на Пермскую, Забайкальскую, Самаро-Златоустовскую и Екатерининскую железные дороги. С самого начала их эксплуатации выявились серьезные конструктивные недостатки и эти мощные локомотивы подолгу простаивали в

¹ Отчасти эти условия связаны с тем, что вагоны в собранном виде трудно было перевезти на пароходах по океану. К тому же из-за различия в ширине колес по территории самой Америки доставить собранные вагоны в порты было довольно сложно.

² Впервые американские паровозы типа 1-5-0 «Декапод» появились в России в 1895 г. на Закавказской железной дороге. Однако при проходе кривых радиусом 150 м происходили сильные толчки, возникал недопустимый износ рельсов, гребней, расстраивался путь. Паровозы имели большую склонность к буксованию на таких участках пути. Поэтому локомотивы, получившие в 1912 г. обозначение E , эта дорога больше не заказывала (29, с. 190–191).

ремонте. Инженеры Пермской железной дороги, в частности, настаивали на замене их отечественными паровозами *Э*, *Щ* и даже *О*. Начальник Службы пути и сооружений Сызрано-Вяземской железной дороги сообщил 25 февраля 1916 г. в технический отдел Управления железных дорог, что пропуск по дороге американских паровозов «Декапод» невозможен из-за слабости мостов¹.

Большегрузные вагоны из США в конце 1915 г. стали поступать во Владивосток, где их собирали в железнодорожных мастерских. В основном это были цельнометаллические четырехосные крытые вагоны и полувагоны грузоподъемностью в 40–50 т. США поставляли в Россию вагоны без деревянных частей. Поэтому в мастерских Владивостока значительно перестроили имевшиеся и открыли новые столярные, рамные, сушильные и прочие цеха. Общая стоимость этих работ составила 1 138 755 руб.²

В 1916 г. под руководством профессора Ю.В. Ломоносова провели испытания американских локомотивов и составили перечень требуемых конструктивных изменений. Учитывая, что отечественные заводы не могли предложить серийный товарный паровоз, способный на подъеме тащить состав массой 1150 т, заказы в США пришлось возобновить. В ноябре 1916 г. в Америке заказали 80, а в декабре еще 220 паровозов серии *Е* (28, с. 194–195)³.

Таблица 1

Сравнительная характеристика русских и американских паровозов*

	Щ	Э	Е
Вес в рабочем состоянии (т)	77,2	80,5	91,0
Наибольшая нагрузка на ось (т)	16,3	16,2	16,2
Вес угля в тендере (т)	5,0	5,0	8,0
Длина паровоза с тендером (м)	20,78	20,47	21,48

* См: 13, с. 13.

Поставки отечественных заводов и поступление паровозов и вагонов из-за рубежа способствовали временному росту подвижного состава и позволили в целом удовлетворительно справиться с перевозками в 1915 г. Однако напряженная работа выводила паровозы и вагоны из строя. Летом

¹ РГИА. Ф. 273. Оп. 6. Д. 361. Л. 123.

² Там же. Д. 3142. Л. 24.

³ В подготовке чертежей для модифицированных паровозов «Декапод» принимал участие инженер А. И. Липец, поэтому поступающие в 1917 г. в Россию американские паровозы получили наименование *Ел*.

и осенью 1916 г. паровозостроительные и вагоностроительные заводы уже не успевали компенсировать потери. Одна из причин заключалась в эвакуации из Прибалтики вагоностроительных предприятий общей производительностью до 2 тыс. вагонов в месяц. Например, Русско-Балтийский завод разместился в Твери и объединился с Верхне-Волжским вагоностроительным заводом, а завод «Феникс» строил временные цеха в Рыбинске. Железнодорожные предприятия стали выпускать продукцию по заказам военного ведомства. Например, вагоностроительный завод в Твери в 1916 г. построил 5181 военную повозку и изготовил 11 500 снарядов к бомбметам.

Таблица 2

Подвижной состав российских железных дорог в 1914–1916 гг.*

Дата	Паровозы	Вагоны
На 31 декабря		
1914 г.	20 071	539 549
1915 г.	20 731	575 601
1916 г.	16 837	463 419

* См.: 32, с. 40.

Организация перевозочного процесса

С каждым месяцем ухудшалось обеспечение железных дорог металлами и изделиями из них. В частности, недостаток рельсов с первых же дней войны был обусловлен передачей военному ведомству 10 млн. пудов рельсов для устройства блиндажей и укрепления крепостей. Кроме того, от командования фронтов стали поступать требования рельсов, стрелочных переводов и шпал для постройки новых стратегических линий. Невозможность своевременно менять износившиеся рельсы и шпалы вынуждала снижать скорость движения поездов, а подчас запрещать использование паровозов определенных серий. Так, в ходе реконструкции на Путиловском заводе паровозов с колесной формулой 2-3-1 в стенки топki был уложен тяжелый огнеупорный кирпич. В результате нагрузка на ось превысила все допустимые пределы. Технический отдел Управления железных дорог МПС запретил эксплуатацию этих паровозов почти на всех железных дорогах России. Их направили на Владикавказскую железную дорогу для обслуживания линии Ростов – Минеральные Воды. При этом технический отдел Управления железных дорог потребовал осуществить перевозку паровозов по Николаевской и другим железным дорогам до Ростова в холодном состоянии, т.е. без загрузки тендера топливом и водой, а

Владикавказской железной дороге рекомендовал заменить в топках кирпич более легким¹.

Основной задачей министерства являлась организация перевозок грузов и пассажиров. Рассмотрим некоторые ее аспекты. Увеличение объема работы фронтовых дорог и рост военных перевозок был вызван постоянным ростом состава действующей армии. Если ее численность в первой половине 1915 г. колебалась между 3 и 4 млн., то в начале 1916 г. достигла 6 млн., а в конце года – 7 млн. человек. С вступлением в войну Румынии значительно увеличилась протяженность фронта. По наблюдениям Головина, именно рост численности армии и протяженности фронта выявил основные недочеты в организации транспорта, незаметные в начале войны. 18-месячный опыт службы в должности начальника штаба 7-й армии позволил ему утверждать, что эта армия недополучала в среднем 25% полагавшегося ей снабжения (4, с. 276, 277).

На состоянии транспорта сказывались некоторые особенности нашей интендантской и военно-медицинской службы. Передача войскам вещевого снабжения часто производилась в глубоком тылу. Войска, опасаясь – и не без оснований – недополучить положенное, командировали в тыл на склады сотни и тысячи чинов для самостоятельных закупок или сопровождения различных военных грузов. Это привело к тому, что по железным дорогам ежедневно ехала масса командированных «серых шинелей». Войсковые обозы русской армии использовали конную тягу, что требовало доставки на фронт фуража для сотен тысяч лошадей конных транспортов, а также перевозки их при любом перемещении крупных войсковых соединений. Для перевозки такого транспорта корпуса требовалось не менее десяти поездов (4, с. 272, 279–280).

Условия военного времени вызвали необходимость в поездах-банных, поездах-прачечных, поездах-столовых. Вагоны также передавались под склады имущества, жилье, магазины, аптеки и т.п. В них размещались авиационные и другие мастерские. Подвижной состав использовался для организации бронепоездов. На все это потребовалось большое количество паровозов и вагонов².

При использовании вагонного парка, по сведениям Н.Н. Головина, допускались очевидные злоупотребления. Штабы армий и фронтов всегда стремились иметь в своем распоряжении штабные поезда. Их приспособляли для проживания офицеров. В них размещались различные военные учреждения. В результате значительная часть вагонов использовалась не по прямому назначению. Вот что писал по этому поводу начальник военных сообщений при Ставке Верховного главнокомандующего генерал-майор С.А. Ронжин: «Нельзя сказать, чтобы в лице старших войсковых

¹ РГИА. Ф. 273. Оп. 6. Д. 361. Л. 68.

² РГАСПИ. Ф. 133. Оп. 1. Д. 7. Л. 34.

начальников законные требования по железнодорожной части встречали надлежащую поддержку. Недостаточное знакомство с природой железных дорог некоторых из них и излишнее стремление к удобствам салон-вагонов со стороны других – были одинаково тяжелы для железных дорог и отрицательно влияли на персонал штабов и управлений, отношение которого к железнодорожному имуществу иногда нельзя было не признать по меньшей мере легкомысленным» (цит. по: 4, с. 280).

12 марта 1915 г. министр путей сообщения в докладе Николаю II впервые признал наличие существенных проблем с перевозками различных грузов. Прозвучала ссылка на недостаток подвижного состава, нехватку топлива, задержку вагонов и паровозов на дорогах фронта.

МПС решило прибегнуть к совмещенным водно-железнодорожным перевозкам некоторых грузов. Так, уголь из Донбасса доставляли к Волге. На Сарепской пристани у Царицына его грузили на баржи и везли до Нижнего Новгорода или до Рыбинска и далее по железным дорогам развозили потребителям. Всего за сезон таким образом перевозили до 25 млн. пудов; 0,5 млн. пудов угля по Оке и Москва-реке доставляли прямо в Москву; 21 млн. пудов по Днепру везли до Херсона, Николаева и Одессы или до Киева, Мозыря, Бобруйска.

Осуществить быстрый переход к таким перевозкам было не так просто. Рассмотрим вопросы транспортировки донецкого угля в район Киева. Чтобы разгрузить Киевский железнодорожный узел, 12 марта 1915 г. местный порайонный комитет решил прибегнуть к помощи речников. Однако эксплуатационный отдел Управления железных дорог МПС направил постановление Киевского порайонного комитета на решение Общего тарифного съезда представителей путей сообщения. Выяснилось, что ни один из трех намеченных маршрутов перевозки угля не обслуживался конвенционными пароходствами или был не выполним технически. Днепровские пароходства не имели соглашений с железными дорогами на перевозку угля, а у черноморских и азовских отсутствовали суда, оборудованные для угольных перевозок. К тому же судовладельцы жаловались на неравномерность подвоза угля в Мариуполь, что затрудняло его перегрузку в порту на баржи.

Тарифный съезд, идя навстречу Киевскому порайонному комитету и судовладельцам, согласился установить исключительно низкий тариф на перевозку каменного угля. После этого Киевский округ путей сообщения подписал договоры с Обществом пароходства по Днепру и его притокам и Вторым пароходным обществом по Днепру и его притокам о перевозке 11 млн. пудов угля. Общества взяли на себя все погрузочно-разгрузочные

работы. Согласно договорам, естественная убыль при перевозке была установлена в размере 2% от перевозимого объема¹.

Для восстановления поврежденных участков пути и мостов были организованы горемы – головные ремонтные поезда. В январе 1916 г. на Екатерининской железной дороге был изготовлен первый в России вагон-путеизмеритель. Измерительный прибор («самопишущий измеритель ширины, возвышения и профиля пути») изобрел инженер Н.Е. Долгов в 1913 г. Рост движения на железных дорогах требовал постоянного контроля за состоянием верхнего строения пути. Однако при ручном контроле нужно было промерять путь в нескольких местах рельсового звена, примерно через каждые 0,66 сажен. Это означало, что дорожному мастеру приходилось на своем околотке с утра до вечера мерить путь 13 дней в месяц. Вагон-путеизмеритель двигался со скоростью 20–30 верст в час и осуществлял непрерывный надзор пути. Производительность труда увеличивалась в десятки раз. 8 марта 1916 г. на участке Екатеринбург – Верховево Екатерининской железной дороги прошли успешные испытания этого вагона. В отличие от проверки ручными шаблонами путеизмеритель Долгова показывал состояние пути под динамическим воздействием вагона и учитывал упругие деформации колеи, зависящие от просадки шпал из-за неудовлетворительного состояния балласта, прогиб рельсов на прогнивших шпалах и в стыках, отжим рельсов вследствие неплотного прижатия их костылями и т.п. Расширение и сужение пути показывалось в натуральную величину. Все записи были доступны для специалистов и в любой момент можно было остановить вагон и проверить данные самописца вручную. А 8 мая началась его эксплуатация в рабочем режиме. В тот день путеизмеритель проверил состояние пути на участке Пятихатки – Синельниково перед пропуском императорского поезда. Путь длиной в 160 верст проверили за 9 ч. (8, с. 37).

Для преодоления кризисных явлений на транспорте в 1916 г. намечалось установить одинаковый график движения поездов с соблюдением наиболее выгодных скоростей. При этом упразднялось понятие старшинства поездов и вводилась живая очередь отправлений со станций в порядке их прибытия на станции (10, с. 4).

Начальник Южных железных дорог Б.Д. Воскресенский и ряд инженеров этой дороги предложили использовать метод уплотнения работ. Упор был сделан на устранение межоперационных простоев за счет ускорения обработки поездов, сокращения времени на технический осмотр и текущий ремонт. В результате удалось сократить простой вагонов на станциях в среднем с 6–10 до 4–5 ч. (9, с. 280).

¹ РГИА. Ф. 285. Оп. 1. Д. 64. Л. 130об.–131, 134, 136–148.

В отдельные периоды по требованию военного ведомства для скорейшей доставки войск на театр военных действий применялось одностороннее движение. Так, на выходных магистралях из Сибири два раза прекращалось встречное товарное движение и устанавливалось движение воинских поездов по одному направлению от Челябинска через Самару до Вязьмы. Разумеется, накануне в Сибирь направлялось большое количество порожних вагонов. Использовался такой прием перевозки: поезда шли с интервалом в 15 мин. друг за другом. На однопутных линиях задерживали встречные поезда.

На отдельных перегонах между Курском и Москвой, на участках с трудным профилем, в помощь ведущему паровозу на случай остановки на некотором отдалении от хвоста поезда шел паровоз, который выполнял роль толкача (как правило, паровозы устаревших типов). Из-за сложного профиля дороги подталкивание приходилось использовать на 28% пути.

Инженер Л.М. Леви предложил временно установить одинаковую скорость движения всех поездов и пассажирские вагоны включать в состав товарных поездов. На Николаевской железной дороге составили расписание, позволившее пропускать 35 товарных поездов в сутки вместо 20–22 поездов (21, с. 12).

Для ускорения вывоза со станций прибывавшего груза стали применять очень жесткие требования к грузополучателям. Так, в 1916 г. Северные дороги для некоторых категорий груза установили срок хранения на станциях после выгрузки вагонов всего 6 часов, увеличили плату за хранение в зависимости от категории груза в 2, 4, 6, 8 и даже в 40 раз, периодически закрывали станции для приема грузов (30, с. 181). Некоторые направления из-за большого движения воинских поездов приходилось объявлять закрытыми для перевозок коммерческих грузов.

В 1916 г. Особое совещание по обороне государства несколько раз высказывалось за составление общегосударственного плана перевозок. В апреле на этом настаивал военный министр Д.С. Шуваев. Он указал, что, сообразуясь с таким планом, ведомства будут распределять грузы, что и «явится наилучшим, в условиях текущего времени, решением вопроса о перевозках» (цит. по: 32, с. 54). А.Л. Сидоров, подробно изучавший состояние железнодорожного транспорта в годы войны, справедливо сделал следующий вывод: «Внедрение элементов плановости перевозок и маршрутизации поездов все-таки позволило железным дорогам удовлетворять наиболее острые военные и хозяйственные потребности страны» (32, с. 53).

Предпринятые МПС меры помогли значительно улучшить все показатели работы железных дорог. Если в мае 1914 г. средняя суточная работа всей сети составляла примерно 72 тыс. товарных вагонов, то в мае 1916 г. она достигла 90 тыс. (20, с. 20). В 1916 г. количество поездов на сети дорог по сравнению с 1913 г. увеличилось на 5%, обмен вагонами вырос на 31%,

число пассажиров, оплативших свой проезд, – на 20, пробег паровозов – на 15,6, а вагонов – на 22%. Особая нагрузка выпала на сибирские и Северные железные дороги. Так, на Северных железных дорогах пробег паровозов увеличился вдвое. Средняя скорость движения поездов на Южных железных дорогах составила на линии Курск – Белгород 22,7 верст в час, на линии Белгород – Харьков 22,4 версты в час, линии Лозовая – Славянск – 17,9 верст в час (3, с. 29, 30)¹.

В годы войны на строительстве железных дорог, погрузке и разгрузке вагонов использовался труд военнопленных. С проблемой нехватки рабочей силы первыми столкнулись железнодорожные строительные управления. Призыв в армию ополченцев и новобранцев сократил контингент рабочих на некоторых участках строящихся железнодорожных линий на 40%. Поэтому уже 7 октября 1914 г. правительство утвердило «Правила о порядке предоставления военнопленных для использования на казенных и общественных работах в распоряжение заинтересованных в том ведомств». Осенью 1916 г. на железных дорогах России трудилось около 110 тыс. военнопленных².

Средняя стоимость одного рабочего-военнопленного не превышала 1 руб. 50 коп., в то время как один вольнонаемный рабочий на земляных работах обходился железным дорогам в 2 руб. 30 коп. в день, а на всех других работах – не менее 3 руб. Автор исследования о работе военнопленных на железных дорогах отметил, что наиболее успешно работали «коновозчики-славяне, весьма хорошо обходящиеся с лошадьми, и немцы на каменных работах, которые были ими весьма умело распределены и поставлены» (1, с. 2, 8).

Таблица 3

Работа станций в первой половине июля 1916 г.*

Узлы	Прибыло вагонов	Разгружено вагонов	Отправлено вагонов	Осталось не вывезено и не выгружено
Московский железнодорожный узел	2044	2074	2079	7058
Петроградский железнодорожный узел	1929	1958	2016	6325

* См.: РГВИА. Ф. 2004. Оп. 2. Д. 885. Л. 217 об.

¹ РГИА. Ф. 229. Оп. 3. Д. 935. Л. 2.

² РГИА. Ф. 229. Оп. 4. Д. 414. Л. 180.

Таблица 4

**Среднее количество вагонов, проследовавших в сутки
по железным дорогам***

Название дорог	1914 г.	1916 г.	Рост в %
Московско-Курская	654	1286	97
Николаевская	749	1569	110
Северные	241	556	135
Самаро-Златоустовская	331	473	430
Томская	173	251	45

* См.: 20, с. 12.

Таблица 5

**Среднее количество поездов, проследовавших в сутки
по Николаевской железной дороге***

Месяц, год	Количество поездов	Количество в них вагонов
Январь 1914 г.	14	773
Январь 1916 г.	26	1416
Февраль 1916 г.	32	1600
Март 1916 г.	34	Ок. 1700

* См.: 20, с. 12.

Человеческий фактор и транспортный кризис

К 1917 г. у железнодорожников начала накапливаться усталость. По мнению Э.Б. Войновского-Кригера, крайне напряженная и нервная работа без отдыха стала одной из причин возникших трудностей в работе путей сообщения (19, с. 13). Согласно мобилизационному плану, на дороги фронта было командировано 9613 человек. Затем с дорог Восточного района на театр военных действий направили еще 13 568 служащих. Это значительно ослабило контингент работников железных дорог тыла и усложнило работу, ибо заменить их служащими высокой квалификации было невозможно.

Средняя зарплата железнодорожников до войны достигала 37,9 руб. в месяц. Наибольшую зарплату получали работники управлений железных дорог, наименьшую – путейцы. В годы Первой мировой войны номинальная зарплата рабочих железнодорожных мастерских и депо выросла до 64,2 руб. в месяц, но из-за резкого увеличения цен реальный месячный заработок снизился. 24 января 1917 г. Э.Б. Войновский-Кригер принял ре-

шение увеличить оплату труда паровозных бригад, если паровоз совершал в месяц пробег в 2000–2500 и более верст (9, с. 305)¹.

И все же наиболее подготовленные работники предпочитали уходить на фабрики и заводы, где оплата труда вдвое, а кое-где и втрое превышала зарплату железнодорожников. Нехватка квалифицированных работников вынуждала во все больших масштабах использовать на железных дорогах труд женщин, подростков и военнопленных.

5 января 1916 г. прикомандированный к Штабу Верховного главнокомандующего генерал-лейтенант, барон Е.Э. Ропп составил доклад, в котором указал на участвовавшие случаи нарушения служащими, мастерами и рабочими дисциплины, уклонения от исполнения служебных обязанностей. Он предложил существенно усилить права начальников дорог и служб. По его мнению, начальник (управляющий) дороги должен иметь право подвергнуть нарушителя дисциплины аресту на 30 дней, а начальник Службы дороги – до 14 дней. Однако быстро осуществить эти предложения не представлялось возможным, так как пришлось бы отменить соответствующие статьи ряда законов.

На почве начавшегося кризиса транспорта стало распространяться взяточничество. Возникла особая профессия «толкачей». Эти люди брались за известное вознаграждение доставить груз в сохранности до станции назначения. Генерал от инфантерии Н.А. Данилов вспоминал, что к услугам «толкачей» стали прибегать не только отдельные лица или торговые фирмы, но и государственные учреждения (6, с. 62). Злоупотребления допускали и сами чиновники МПС. Весьма информированная газета «Новое время» писала 17 января 1916 г., что в ходе проверки 39 800 телеграмм, отправленных Управлением железных дорог, было выявлено 45 с поддельными подписями. В частности, девять телеграмм даны о предоставлении права на внеочередную отправку 667 вагонов с грузами. По этому факту арестовали трех чиновников министерства (21, с. 20–21). Расследование злоупотреблений должностных лиц на железных дорогах А.Ф. Трепов поручил члену Совета министров, действительному статскому советнику Савичу². Летом 1916 г. на 43 железных дорогах страны были преданы суду за различные преступления 57 железнодорожников. Трепов считал это «усукокоительным» показателем³.

Чрезвычайная ситуация на транспорте зимой 1916–1917 гг.

Зима 1916/17 г. принесла железнодорожникам России немало неприятных сюрпризов. В декабре 1916 г. температура выше –30° на Том-

¹ РГИА. Ф. 273. Оп. 6. Д. 3142. Л. 4.

² РГВИА. Ф. 2004. Оп. 2. Д. 112. Л. 2.

³ РГИА. Ф. 229. Оп. 4. Д. 414. Л. 182.

ской железной дороге не поднималась, что резко ухудшило все показатели работы дороги: повышенный расход топлива, ухудшение оборота паровозов и вагонов, уменьшение составов и скорости движения. Чаще обычного приходилось использовать паровозы для подталкивания поездов. Отмечались случаи примерзания паровозов у гидравлических колонок после набора воды. Резко выросла заболеваемость паровозных бригад.

Во второй половине декабря 1916 г. наибольшие затруднения в движении поездов возникли из-за снежных заносов на Московско-Казанской и Московско-Киево-Воронежской железных дорогах. Плохая погода, несвоевременная подача вагонов, перегруженность отдельных линий явились основными причинами снижения отгрузки угля из Донецкого бассейна. Так, за период с 16 по 31 декабря вместо 3742 вагонов по плану отгрузили лишь 3186 вагонов, недогруз – 556 вагонов. Погодные условия оказали влияние на перевозку нефтяного топлива. Недогруз составил 2405 цистерн. Из-за холодов мазут застывал в цистернах, и в результате они возвращались, например, в Грозный, с остатками топлива¹.

К концу декабря 1916 г. на сибирских дорогах свирепствовал мороз уже $-45^{\circ 2}$. Холод сопровождался сильными метелями и снежными заносами, вызвавшими на ряде дорог почти полное прекращение движения. На станциях южного и юго-восточного направлений застряли в снегу свыше 50 тыс. груженых вагонов. Московско-Курская железная дорога была вынуждена ограничить прием несколькими десятками вагонов в сутки. Управление железных дорог МПС предложило железнодорожной администрации принимать меры для борьбы со снегом, не считаясь с расходами.

22 января 1917 г. под председательством Э.Б. Войновского-Кригера состоялось экстренное совещание руководителей ведомства путей сообщения. Было констатировано тяжелое положение на ряде железных дорог, в том числе Московско-Киево-Воронежской, Московско-Курской, Рязанско-Уральской. Совещание решило обратиться к морскому министру с просьбой в первой половине февраля организовать снабжение Петроградского района из запасов английского угля, с тем чтобы временно снизить нагрузку на Северо-Донецкую железную дорогу. Ставке Верховного главнокомандующего была адресована просьба сократить с 1 по 14 февраля перевозку на фронт пополнения и части интендантских грузов. Рекомендовалось в будущем в большей степени использовать не Московско-Киево-Воронежскую, а Александровскую железную дорогу. Решили в эти дни полностью прекратить перевозку хозяйственных грузов для железных дорог и материалов для строящихся линий. Управлению железных дорог предложили рассмотреть вопрос о сокращении пассажирского движения³.

¹ РГИА. Ф. 268. Оп. 5. Д. 325. Л. 97–100.

² РГВИА. Ф. 2004. Оп. 2. Д. 885. Л. 439об.; РГИА. Ф. 273. Оп. 10. Д. 3463. Л. 65.

³ РГИА. Ф. 273. Оп. 10. Д. 3677. Л. 1–1об.

24 января 1917 г. Войновский-Кригер направил начальнику Штаба Верховного главнокомандующего, военному министру и командующему Черноморским флотом телеграмму, которой оповестил о сокращении движения пассажирских поездов до одного или двух в сутки из-за тяжелых погодных условий. Речь шла о Московско-Киево-Воронежской, Южных, Екатерининской, Московско-Курской, Рязанско-Уральской, Юго-Восточных, Северо-Донецкой железных дорогах. В тот же день Войновский-Кригер направил донесение Николаю II о том, что МПС вынуждено сохранить сокращенное движение пассажирских поездов на южных дорогах империи до 7 марта¹.

4 февраля из-за снежных заносов фактически было прервано движение на Московско-Киево-Воронежской железной дороге. К вечеру 6 февраля мороз достиг -30° . Не работали поворотные круги, гидравлические колонки, стрелки. В эти дни на станциях этой дороги остались без паровозов 47 товарных поездов².

Для борьбы со снежными заносами привлекалось местное население. На очистке путей Московско-Киево-Воронежской железной дороги в отдельные дни работали около 23 300 человек, а на Московско-Казанской железной дороге до 11 600 человек. Особенно сильные морозы и метели 24 и 25 февраля 1917 г. фактически парализовали работу Рязанско-Уральской железной дороги. Застрявшие на перегонах пассажирские поезда с трудом доставлялись на станции двойной тягой.

На Московско-Курской железной дороге 23–25 февраля ветер достиг такой силы, что у многих вагонов на станциях и в пути сносило крыши. В основном стихия буйствовала между Курском и Орлом. Метель не позволяла своевременно очищать стрелки. В результате движение было остановлено. Даже на станциях пришлось прекратить маневровые работы³.

* * *

Следует указать на высокий профессиональный уровень работников отрасли, благодаря знаниям, опыту и мужеству которых дорожный транспорт продолжал функционировать в военное лихолетье. За три года войны на железных дорогах были проведены работы, во много раз превосходившие все, что было сделано за предвоенное пятилетие. Однако наверстать упущенное накануне войны так и не удалось. В результате железные дороги оказались наиболее уязвимым звеном в экономике страны.

¹ РГИА. Ф. 273. Оп. 10. Д. 1041. Л. 1; Д. 3677. Л. 4.

² Там же. Ф. 268. Оп. 5. Д. 325. Л. 345–346.

³ Там же. Л. 344об., 346об.

Список литературы

1. Баталин А.М. Труд военнопленных на постройке железных дорог. – Пг., 1916. – 10 с. – [На правах рукописи].
2. Биржевые ведомости. – Пг., 1916. – 15 марта. – С. 3
3. Вестник путей сообщения. – Пг., 1918. – № 10. – С. 27–32.
4. Головин Н.Н. Военные усилия России в Мировую войну. – Жуковский; Москва: Кучково поле, 2001. – 440 с.
5. Государственная дума: Обзор деятельности комиссий и отделов. Четвертый созыв, сессия IV: 3 сентября 1915 г. – 20 июня 1916 г. – Пг., 1916. – 277 с.
6. Данилов Н.А. Влияние великой мировой войны на экономическое положение России. – Пг.: Госиздат, 1922. – 93 с.
7. Железнодорожная техника и экономика. – М., 1919. – № 1. – С. 87
8. Инженеры путей сообщения / Ред. В.Г. Ряскин, С.В. Любимов. – М.: Путь Арт, 2003. – 453 с.
9. История железнодорожного транспорта России / Под общ. ред. Красковского Е.Я., Уздина М.М. – СПб., М., 1994. – Т. 1: 1836–1917. – 335 с.
10. Короткевич М. Проблемы планомерного восстановления транспорта. – [М., 192-]. – 14 с.
11. Краткие сведения о развитии отечественных железных дорог с 1838 по 2000 г. / Сост. Афонина Г.М. – М.: МПС, 2002. – 232 с.
12. Краткий очерк деятельности русских железных дорог во вторую Отечественную войну. – Пг., 1916. – Ч. 1. – 61 с.
13. Липец А.И. Паровозы типа «Декапод» (1-5-0), построенные в Америке для русских казенных железных дорог / Русская миссия Министерства путей сообщения в Америке. – Нью-Йорк, 1920. – 13 с.
14. Люди дела: Вклад железнодорожников в социально-экономическое развитие России / Под ред. В.В. Фортунатова. – М.: ГОУ УМЦ ЖДТ, 2007. – 289 с.
15. Минц И.И. История Великого Октября: В 3-х т. – М.: Наука, 1977. – Т. 1. – 784 с.
16. Новый экономист. – Пг., 1916. – № 17. – С. 10.
17. Там же. – № 20. – С. 3.
18. Там же. – № 25. – С. 3.
19. О путях сообщений и условиях перевозок в третий год войны. – Пг., 1917. – 22 с. – [На правах рукописи].
20. О работе железнодорожной сети в условиях настоящей войны. – Пг., 1916. – 31 с. – [На правах рукописи].
21. Обзор состояния транспорта и рынков за январь 1916 года: По данным периодической печати / Всероссийский союз городов. – М., 1916. – Вып. 1: Состояние транспорта. – 24 с.
22. Образцов В.Н. Проекты и идеи развития русских станций в период мировой и гражданской войн. – [Б.м., б.г.] – 593 с.
23. Пайпс Р. Русская революция: В 2-х т. – М.: РОССПЭН, 1994. – Т. 1. – 397 с.
24. Пак Б.Б. Строительство Амурской железнодорожной магистрали (1891–1916). – Иркутск.: Иркутск. гос. пед. ин-т, 1995. – 131 с.
25. Першин С.П. Развитие строительного-путейского дела на отечественных железных дорогах. – М.: Транспорт, 1978. – 296 с.
26. План железнодорожного строительства, составленный Советом под председательством товарища министра путей сообщения И.Н. Борисова. – Пг., 1916. – 20 с. [На правах рукописи].

27. Правила срочного периодического осмотра дорогами-собственниками их вагонов товарного парка. – Пг.: МПС, 1916. – 30 с.
28. Пути сообщения России. – Пг., 1917. – № 1. – С. 90–95.
29. Раков В.А. Локомотивы отечественных железных дорог, 1845–1955. – М.: Транспорт, 1995. – 564 с.
30. Сенин А.С. Московский железнодорожный узел, 1917–1922 гг. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 573 с.
31. Сидоренко В.Т. Выбранные места из истории Северо-Кавказской железной дороги. – Ростов н/Д: Новая книга, 2002. – 202 с.
32. Сидоров А.Л. Железнодорожный транспорт России в первой мировой войне и обострение экономического кризиса в стране // Исторические записки. – М., 1948. – Т. 26 – С. 17–55.
33. Сокович В.А. Вагонное и паровозное хозяйство: Курс лекций. – М.: НКПС, 1923. – 186 с.
34. Ушаков К. Подготовка военных сообщений России к мировой войне. – М.; Л.: Госиздат, 1928. – 193 с.
35. Харитонов С.Ф., Звягин Ю.К. Мурманская, Кировская, Октябрьская. – 2-е изд. – Петро-заводск: Карелия, 1996. – 157 с.

Т.И. ХОРХОРДИНА**РОССИЙСКИЕ АРХИВЫ И ОБЩЕСТВО
В РЕВОЛЮЦИЯХ НАЧАЛА XX ВЕКА**

В конце лета 1937 г. в Саратове несколько местных чекистов распечатали двери недавно арестованного университетского библиотекаря и начали сваливать его рукописи, книги, фотографии и все бумаги из письменного стола на пол. Потом их охапками закидывали в топку обычной русской печи. Чтобы горело лучше, чекисты старательно рвали на клочки книги, разминали сапогами груды картонных папок, бумаги жгли кипами... Работа оказалась трудной. Импровизированное аутодафе XX в. длилось несколько часов. В конце концов не выдержала печка – она раскалилась и треснула от пола до потолка. Но приказ был выполнен – к утру от бумаг не осталось и следа. Пепел был выброшен на свалку (24, с. 144).

А вскоре был расстрелян и владелец архива – политический ссыльный, академик с 1929 г., лишенный звания в связи с арестом в 1931 и восстановленный в нем посмертно в 1991. Его звали Давид Борисович Рязанов (Гольденбах) (1870–1938). Тот самый Рязанов, который летом 1917 г. вернулся в Россию из эмиграции и возглавил борьбу за спасение от революционных пожаров бесценного достояния молодой Республики – ее архивов.

Так жутко – от пожара до пожара – закольцевала история жизненный путь первого руководителя советского архивного дела. Но вопреки приговору несправедного суда сегодня мы много знаем о составе погибшего саратовского архива, а также о жизни и смерти осужденного властями на забвение Д.Б. Рязанова. Изучив оставшиеся «следы» его архива в разных местах хранения, можно во многих случаях реконструировать даже содержание испепеленных бумаг.

Так творится многовековая история архивов и отечественного архивного дела в периоды смут и революционных пожаров (в прямом и переносном смысле).

Историки и архивисты: Между отчуждением и сотрудничеством

В этой статье нам хотелось бы показать, как в эпохи социокультурных «перестроек» в России рождались, гибли и возрождались архивы, а вместе с ними и особое племя людей – профессиональных архивистов или, по выражению О. Манделштама, «архивян».

Предварим рассказ двумя оговорками. Во-первых, мы ограничиваемся периодом 1917–1919 гг., хотя концептуально аналогичный материал содержат все революционные («смутные») эпохи – всегда и везде история архивов была прежде всего историей подвижнического труда архивистов и историков. И второе: в рамках такого подхода следует отрешиться от слишко тесных оков традиционного определения архивов.

«АРХИВ (от латинского *archium, archivum*) – учреждение или структурное подразделение организации, осуществляющее хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, принадлежавших государству, обществу, отдельным лицам. Архивные документы могут быть использованы в качестве исторических источников для научных исследований, практических нужд хозяйства и государственного управления» (32, с. 92). Существуют и более сложные конструкции, но все они акцентируют внимание именно на учрежденческо-утилитарной, внешней стороне архивов, на их *полезности*. И ни в одной из общепринятых дефиниций пока не говорится о *самоценности* архивного документа.

Вещность побеждает *вечность* – увы, это неистребимые рудименты *казенного* подхода к *казенным* архивам, которые с прагматической точки зрения являются всего лишь складом бумаг, обладающих (или не обладающих!) определенной товарной стоимостью. Внешне безобидная цепочка слов «*могут быть использованы*» служит тем бикфордовым шнуром, который тлеет под каждым архивохранилищем. Ведь если архивные документы «не могут быть использованы», значит, они бесполезны, их можно употребить для хозяйственных нужд – для растопки печей или в качестве макулатуры для нужд бумажной промышленности. Это не фантазия автора – в смутные годы, когда за одну ночь менялось представление о ценности не то что бумаг, а человеческой жизни, именно на такую участь обречались уникальные, но ненужные «властям предрержащим» документальные собрания. Они становились «лишними» – с точки зрения администраторов Системы.

Мы ни в коем случае не отрицаем правильности приведенной выше академической дефиниции, которая, видимо, переживет еще не одно поколение. Однако подчеркиваем: в основе современной фундаментальной науки об архивах, которую мы предлагаем назвать архивософией, лежит другое представление о сути архивов. Прежде чем перейти к его изложе-

нию, разберемся в одном недоразумении, испокон веков порождающем смуту в отношениях между историками и архивистами.

Обычно историки клянутся в искренней любви к архивам и архивистам. И тут же жалуется на отсутствие взаимности с их стороны. Но дело в том, что в большинстве случаев Архив представляется им неким Островом сокровищ, а архивисты – бездушными стражами, стерегущими именно те документы, в которых они под любым предлогом отказывают историкам в выдаче.

Я утрирую, но не слишком; вы можете убедиться в этом, обратившись хотя бы к текстам выступлений на Международной научной конференции «Историки и архивисты: сотрудничество в сохранении и познании прошлого в интересах настоящего и будущего» (Москва, ноябрь 1997 г.). На этом форуме историки (А.О. Чубарьян, С.П. Карпов, А.Г. Голиков, М.И. Семиряга и др.) практически единодушно сетовали на «чрезмерное засекречивание архивных документов», называя это «признаком опасных деформаций общества» (28, с. 115). С тех пор прошло уже больше десяти лет, но суть претензий к архивистам со стороны историков изменилась мало.

Что думают архивисты об историках – тема отдельного разговора. Прежде всего – это чувство незаслуженной обиды. Ведь архивистам вверена историческая память человечества, т.е. ключ к его самосознанию. И поэтому их профессиональный долг состоит в скрупулезном соблюдении законности, в следовании всем внутриархивным правилам, инструкциям и требованиям.

Архивист не имеет права на ошибку, на импровизацию под влиянием чувства симпатии или антипатии. Если от него требуют во имя каких-либо посторонних интересов вторжения в живое целое, которое на профессиональном языке называют *архивным фондом*, он страдает. И не страх перед юридическими последствиями нарушения должностных правил и инструкций является здесь определяющим. Видя пострадавшие по причине невежества или по злому умыслу недобросовестного пользователя архивные «единицы хранения», архивист испытывает почти физическую боль. Потому что архив и архивист вместе олицетворяют собой ту самую целостность живого и неживого, материального и духовного, **полезного и ценного**, что саморазвивается по законам комплементарности. Поясним эту мысль.

Дело в том, что архивный документ – это, с одной стороны, отдельная материальная уязвимая частица, корпускула, «единица» хранения. Но в то же время это еще и неуловимая, неистребимая энергетическая волна, фотон культурного потока, квант рукотворного света, который живет, пока живо самосознание человека.

Нам кажется отнюдь не случайным, что практически одновременно с открытием и развитием «принципа комплементарности» («сочетания

несочетаемого») физиками Нильсом Бором, Вернером Гейзенбергом, Эрвином Шредингером, в России в недрах Союза российских архивных деятелей разрабатывалась «новая архивная доктрина», суть которой сформулировал в 1904 г. А.П. Воронов – последователь и популяризатор идей основателя отечественной науки об архивах Н.В. Калачова: «Все, что жило самостоятельно в прошлом, должно жить самостоятельно и в архиве. Распознать эти организмы в архиве есть первая задача каждого истинного архивариуса... Библиотека есть *ничто*, тогда как архив есть *некто*, а потому архив не может расчленяться произвольно, как библиотека...» (8, с. 16).

По существу, о той же необходимости соблюдения принципа комплементарности, т.е. «сочетания несочетаемого», говорит и Ю.С. Пивоваров, когда выдвигает требование сочетать «две стратегии – признания и уважения “нормативности фактического” и разумного стремления к должному» (см.: 19, с. 165). Перефразируя еще одно его концептуальное положение, касающееся исторического процесса, можно сказать: архивы творятся так же, как творится индивидуальная жизнь; архивы по своей сути – результат принципиально открытого процесса; и наконец, архивы творятся человеком (19, с. 160, 164, 165).

Вот почему к функционально-учрежденческой основе общепринятого определения архивов и, соответственно, оценки работы архивиста мы бы добавили еще и эфемерную категорию этики, чувства профессиональной ответственности, в конечном счете – человеческой совести. Ее осознание в периоды революций/смут рождает героев среди архивистов, которые жертвуют собой во имя спасения Памяти. К сожалению, эта истина открывается только в моменты природных катастроф или социальных потрясений, когда зачастую гибнут и архивы.

Но вряд ли случайно и то, что именно в годы социальных катаклизмов архивы раскрывают свою глубинную, сокровенную сущность, а архивное дело испытывает муки радикальных реформ. Действительно, архивная система радикально перестраивалась в основном в периоды грандиозных социальных сломов, в которых можно обнаружить черты смут: при Петре Великом, затем в «славную эпоху Калачова» (во времена реформ Александра II), в предреволюционные годы (проект архивной реформы Д.Я. Самоквасова, деятельность губернских ученых архивных комиссий) и, наконец, в ходе революционных потрясений начала прошлого века (Союз российских архивных деятелей, декрет «О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР» от 1 июня 1918г.).

* * *

К сожалению, философы и культурологи, архивоведы и историки явно избегают глубоких исследований на тему историческая память и социокультурные преобразования. Как пишет Л.А. Орнатская в статье «Фи-

лософия и революция», «в современной культуре налицо тактика избегания слова «революция», которое совсем недавно, еще в 60–70-е годы, украшало названия многих модных теорий. Оно не исчерпало полностью свой позитивный ресурс, в частности, довод от революции часто используется в пропаганде для оправдания негативных последствий реформ («А вы что хотели? Это же революция!»). Однако оправдание революцией, уместное иногда, когда оправдана революция, сменилось в конце века новым призывом: «Никаких революций!» (18, с. 142). И далее: «Из современной философии ушло чувство сопричастности к большому миру и ответственности за него. Отказ от идеи революции можно понимать и как осознание бессилия современной философии перед лицом действительности» (18, с. 144).

Отсутствие научного осмысления феномена революций восполняют публикации в СМИ, в которых их объявляют, цитируя классиков, то «локомотивами истории», то результатом бесовской одержимости, массового умопомешательства, то плодом чудовищного по масштабам заговора мирового закулисья. Одним словом, как справедливо указывают Ю.С. Пивоваров и А.И. Фурсов в исследовании «Русская Система: Генезис, структура, функционирование (Тезисы и рабочие гипотезы)», «в XX в. Смуты именуются революциями и до сих пор представляют собой камень преткновения для большинства исследователей» (20, с. 62). Мы придерживаемся точки зрения авторов, предлагающих оценивать русские революции как сложное явление и рассматривать их в контексте эпохи коренных перемен (1861–1923/1933) (там же).

Буквально в канун нового, 2008 г., окончилась дискуссия историков, материалы которой под рубрикой «Уроки Октября: взгляд из XXI века» регулярно публиковались на страницах «Литературной газеты». Отметим, что ни один профессиональный архивист не принял участия в дискуссии, в ходе которой затрагивались вопросы об истоках революции, ее движущих силах и роли в мировой истории. В результате дискуссия вполне предсказуемо завершилась признанием: «Октябрьская революция так и не стала нашим прошлым. Она по-прежнему присутствует в наших самых злободневных проблемах – духовных, социальных, политических» (31, с.4). Многомесячный спор, продолжавшийся с № 28 по № 52 «Литературной газеты», завел в лабиринт обсуждения дилеммы «социализм или модернизация». Речь, по существу, пошла о том, как соизмерить допустимые пропорции в смеси идеологических целей и политических средств. Каждая газетная полоса была поделена на две половины: с одной стороны публиковались материалы «адвокатов» революции, с другой – ее «прокуроров». Участники затянувшейся схватки остались каждый при своем мнении. Впрочем, газета пообещала продолжить дискуссию...

Архивисты отметили 90-летие Октября по-своему. В Выставочном зале федеральных архивов была открыта историко-документальная выставка «1917 год. Мифы революций». Цель экспозиции, подготовленной Историческим музеем, Государственным архивом Российской Федерации и несколькими другими российскими архивами, заключалась в том, чтобы опровергнуть легенды, сложившиеся вокруг революционных событий 1917 г. Посетители кружили по февральским желто-черным залам, красно-черным залам Октября. Построенные в залах выгородки загоняли их в фанерные ловушки-ящики, где они оставались один на один с документами.

Вот, например, сюжет о пресловутых «германских деньгах» на революцию. На выставке был представлен документ, свидетельствующий: Ленин провел два дня в здании германского посольства в Берне, что якобы зафиксировано заграничной агентурой Департамента полиции в декабре 1916 г. Тут же комментарий архивистов – это фальшивка, неясно, кем изготовленная. Поддельны и показания некоего прапорщика, что и он сам, и Ленин являются германскими агентами. Однако из того, что эти документы сфабрикованы, не следует, что у Ленина не было связей с немцами. Брал Ленин деньги или не брал, связывал он себя при этом какими-то обязательствами или нет – ответы на эти вопросы не найдешь на выставке. И после нее, по отзывам большинства посетителей, «неясность осталась». Интернет бесстрастно зафиксировал общее впечатление: «Что мы знаем о 1917 году? Вроде бы все. А может, почти ничего»¹.

С нашей точки зрения, и дискуссия в «ЛГ», и юбилейная «революционная» выставка в ГАРФ – это наглядные примеры того, что ни историк не может провести плодотворных и полноценных изысканий в области прошлого без опоры на архив, ни архивист не может считать свой профессиональный долг выполненным, если не помог *добросовестному* исследователю в поисках истины. Вывод очевиден: нужно, чтобы историк и архивист понимали свое место в Системе, ценили друг друга и *добросовестно* выполняли профессиональный и моральный долг. Казалось бы, просто до банальности. И тем не менее можно буквально пересчитать те короткие периоды, когда удавалось достигнуть такого взаимопонимания. Почти всегда это происходило в чрезвычайных ситуациях (стихийные бедствия, войны, предреволюционные кризисы, революции) либо по воле уникальных личностей, оказавшихся в руководстве Системы.

Так, в частности, случилось в 1917–1919 гг. Тот исторический миг, в который спрессовалась революционная эпоха, стал поистине «медовым месяцем» в отношениях между российскими историками и архивистами. Они вместе спасали от гибели архивы. Выдающийся теоретик и историк

¹ Отзывы в «Живом журнале» посетителей выставки «1917 год: Мифы революций» в Выставочном зале федеральных архивов РФ. – Режим доступа: <http://www.chibisovite.livejournal.com/116323.html>

отечественного архивного дела В.Н. Автократов имел все основания называть то время героическим (1, с. 330). Правда, не хотелось бы, чтобы взаимопонимание вновь достигалось такой дорогой ценой. Этому, в частности, учат нас события 1917–1918 гг.

«Взросление» общества и проблема национальной памяти

Для начала – небольшая интрига. Попробуйте, не заглядывая в сноску, определить авторов следующих цитат и время, о котором в них идет речь.

1. «Все более или менее согласились называть нынешнее время переходным. Все, более чем когда-либо прежде, ныне чувствуют, что мир в дороге, а не у пристани, не на ночлеге, не на временной станции или отдыхе. Всё чего-то ищет, ищет уже не вне, а внутри себя. Вопросы нравственные взяли перевес и над политическими, и над учеными, и над всякими другими вопросами... Мысль о строении как себя, так и других делается общею... Всяк более или менее чувствует, что он не находится в том именно состоянии своем, в каком должен быть, хотя и не знает, в чем именно должно состоять это желанное состояние... Я убежден, что теперь всякому тому, кто пламенеет желаньем добра, кто русский и кому дорога честь земли русской, должен так же брать многие места и должности в государстве, с такой же ревностью, как становился некогда из нас всяк в ряды противу неприятелей спасать родную землю» (9, с. 307–308, 314).

2. «До сих пор нашему обществу не удается достигнуть духовного равновесия в своем национальном самочувствии... В вопросах культуры, где пора бы проникнуться стремлением к национальному самоопределению и самосознанию, мы проявляемся космополитическими и западническими настроениями, напротив, в вопросах государственности и политики, где давно уже пора выходить на путь свободы и равноправия народностей, мы опять вступили на путь реакционного национализма... Однако в этом отношении за последние годы обозначается некоторое улучшение. В образованном обществе как будто начинает пробуждаться национальное самосознание. Ему приходится прокладывать себе дорогу среди предубеждений, воспитанных нашим официальным национализмом и космополитическими и западническими предрассудками, главной же трудностью при этом остается все-таки слабость нашей культурной традиции... Только искренне любя родное и стремясь быть ему верными, можем мы плодотворно работать для создания национальной культуры и, насколько есть сил, подготавливать постановку высоких задач, для которых, мы верим, призван наш великий народ» (6, с. 208–209).

Первая цитата принадлежит Н.В. Гоголю и относится к 1847 г. Вторая – выдающемуся русскому мыслителю С.Н. Булгакову и относится к

1910 г. Мы привели их, так как они являются ключевыми для понимания того, как российские архивы удерживались на краю гибели в смутные времена и возрождались в пожаре революций начала прошлого века. Каждая из приведенных цитат по времени совпадает с рождением идеи коренной реформы архивного дела.

В периоды социально-политических потрясений и катаклизмов просыпаются неведомые доселе резервы источников самосохранения, которые помогают отдельному человеку и человеческому сообществу справиться с энтропийными процессами «временности» – с необратимой тенденцией к аннигиляции прошлого, растворению его в небытии. В такие эпохи появляются идеи создания своеобразного дополнительного «оборонительного пояса» из параллельных, неофициальных структур, которые в конечном счете обеспечивают выживаемость Системы, работая на сохранение государственности и национальной идентичности. Напршивается аналогия с тем, как в человеческом организме в стрессовые моменты пробуждаются древние, «резервные», дремлющие структуры из парных систем – скажем, левого и правого полушария мозга, которые взаимно принимают на себя функции поврежденных участков.

Так историки и архивисты – вольно или невольно, сознательно или спонтанно подстраховывая отжившие или разрушенные элементы государственного аппарата, – организуют «совместные операции» по спасению документальных свидетельств о прошлом, ведя осознанную борьбу с тотальным забвением. По нашему мнению, желание охранить, отвоевать память у забвения лежало в основании попыток реформирования архивного дела в России. Отсюда – преемственность идейно-теоретических основ всех архивных реформ. Кстати, феномен преемственности до сих пор остается на периферии внимания историков-архивоведов.

Во времена смут, т.е. отсутствия жесткой властной Системы, понятие памяти, раздвигая психофизиологические границы, превращается в важнейшую категорию общественного сознания. С этим самым прямым и непосредственным образом связано понимание Архива как института структурированной памяти, материализованной преемственности поколений, народа, страны, т.е. в конечном счете культуры, которая создается и воспроизводится человеком в истории. Конечно, затем, в строгом соответствии с принципом внешней дополненности, Система берет свое, и политика – в ее русском изводе – оттесняет героев-подвижников за кулисы. У кормила становится Власть, *номенклатура* – и все повторяется сначала.

Но в короткие смутные эпохи этический смысл профессиональной работы российских архивистов становится высшим, над-Системным стимулом к восстановлению искусственно разрываемой в ходе социально-политических катаклизмов связи времен. Лучше других архивисты-профессионалы сознают, что моральная основа памяти является единст-

венным способом сохранить способность к пониманию фундаментальности различия добра и зла. Так архивист получает важный личный опыт переживания истории.

Не случайно при всем разбросе мнений относительно личностных характеристик главных протагонистов этой эпохи практически все исследователи сходятся в одном – наука и этика были в их сознании неразделимы. В качестве примера расскажем о создании в периоды системных реформ и социальных смут совершенно нетипичных для нашей истории общественных институтов – Губернских ученых архивных комиссий (ГУАК) и Союза российских архивных деятелей (Союз РАД).

Губернские ученые архивные комиссии: Преодоление «болезней» архивов в пореформенной России

Начнем с истории ГУАК. Их создатель и идейный вдохновитель Н.В. Калачов (1819–1885) был активным участником крестьянской и судебной реформ Александра II. Одновременно он завоевал научный авторитет глубокими исследованиями по истории России. Но была в его деятельности еще одна важная сторона: в юности он работал в Археографической комиссии, затем библиотекарем в Московском главном архиве Министерства иностранных дел и, наконец (с 1865 г. и до последних лет жизни), – управляющим Московским архивом Министерства юстиции (знаменитого МАМЮ). Таким образом, о болезнях архивов в пореформенной России он знал не понаслышке. В 1869 г. на форуме историков Н.В. Калачов выступил с призывом превратить архивы из «складочного листа покойников» и «лабиринтов» в научные учреждения и «богатые сокровищницы, из которых исследователи будут черпать сведения, дающие жизнь и плоть их идеям и воображениям» (см.: 14, с. 207). Его не услышали и не поняли. На собственные деньги он основывал первый в России институт для подготовки широко образованных специалистов в области архивного дела. Первые занятия проходили на его квартире. Н.В. Калачов разработал и прочел курс лекций «Основания науки об архивах».

Главной и самой неприемлемой для бюрократического клана, на котором покоилась Система, была следующая его идея: «Перечень бумаг или дел, подлежащих уничтожению, должен быть категорически и ясно изложен. Лучше лишних сто дел хранить, чем уничтожить десять нужных» (подробнее см.: 33, с. 145–177). Ведомства не желали возиться с ненужным, с их точки зрения, бумажным хламом, а правительство в ответ на отчаянные призывы Калачова покончить с варварством и дикостью чиновников лицемерно вздыхало и разводило руками. И тогда, убедившись в бессилии Системы, Калачов обратился с призывом ко всем, как мы сейчас сказали бы, «внесистемным» слоям общественности. Он просил об одном:

пусть ведомства перед уничтожением архивов дадут свои бумаги на просмотр членам Губернских ученых архивных комиссий (так они стали называться с 1885 г.), чтобы они успели отобрать все, что могло представлять научную ценность для передачи в губернские исторические архивы.

И произошло чудо, которое, пожалуй, могло случиться только в России и только в критические моменты ее истории: без всякой поддержки властей, в том числе финансовой, на строго добровольной основе, во имя спасения архивов на штурм чиновных бастионов ринулись культурные губернские деятели. Нет, далеко не все из них были «лишними» людьми, которым нечего терять. Наоборот, большинство занимало прочное положение в Системе. Однако они добровольно «выламывались» из нее, поскольку не могли оставаться в стороне от гибнущего духовного достояния России. В этом смысле они вместе составили несословный, внесистемный институт свободных граждан.

Вот, например, типичный перечень членов руководства Тамбовской ученой архивной комиссии (УАК), созданной в 1884 г.: председатель комиссии – директор Екатерининского учительского института И.И. Дубасов, правитель дел – преподаватель гимназии В.В. Соколовский. Непременным попечителем комиссии изъявил согласие стать сам губернатор А.А. Фредерикс. Среди членов Тамбовской комиссии – «помощник классного наставника гимназии», «врач», «старший нотариус окружного суда», «председатель Тамбовской земской губернской управы» и т.п. По образованию это были в основном выпускники духовных семинарий и академий или местного учительского института (см.: 3, с. 34, 35, 68 и др.). Этим «разночинным» людям приходилось, по воспоминаниям одного из учредителей Рязанской УАК С.Д. Яхонтова, не только преодолевать равнодушие и высокомерие чиновников, а «прямо-таки бороться и не с равными силами, с вандализмом XIX века, с тщеславием и тупым упрямством» (цит. по: 3, с.67).

В ходе «красной смуты» начала XX в. миссия ГУАК по спасению памятников старины как основы русского самосознания, вне зависимости от политических взглядов и убеждений, была продолжена их преемниками – членами Союза российских архивных деятелей. С нашей точки зрения, без ГУАК не было бы Союза РАД. Оба института были порождением кризисных, перестроечных времен, реакцией общества на бессилие властей спасти одну из важнейших составляющих российской культуры и государственности – архивы.

Формула «архивной защиты» начала XX в.

В 1917–1918 гг. другие «нелишние» люди оберегали отечественные архивы от физической гибели, объединившись в Союз российских архив-

ных деятелей. Именно они – профессиональные историки и архивисты с примкнувшими к ним «любителями», еще со времен Н.В. Калачова работавшими на общественных началах в губернских ученых архивных комиссиях, – закрыли пробину безвластия в днице Системы в февральско-октябрьские штормы 1917 г.

Судьба Союза РАД в целом, как и большинства его учредителей и членов – от председателей-академиков А.С. Лаппо-Данилевского и С.Ф. Платонова до С.В. Рождественского, М.К. Любавского, князя Н.В. Голицына, Д.Н. Егорова, В.В. Снигирева, В.К. Клейна и многих десятков других, – оказалась трагичной. Большинство из них были подвергнуты репрессиям. Некоторые – А.С. Николаев, князь Н.С. Щербатов, А.И. Лебедев, К.Я. Здравомыслов, А.Н. Макаров и др. – в послереволюционные годы умерли в безвестности. Немногие (А.Ф. Изюмов, Б.И. Николаевский) доживали свою жизнь в эмиграции. Но, повторяем, все они были рыцарями науки и архивного дела, учеными из племени подвижников. Лишь сравнительно недавно, благодаря рассекреченным архивным материалам, удалось документально установить, что так называемый «ленинский» Декрет о реорганизации и централизации архивного дела от 1 июня 1918 г. (этот «манифест прав науки в архивах», как называли его современники) был подготовлен на основе проектов, разработанных членами Союза РАД задолго до октябрьских событий.

Впрочем, роль и место Союза РАД в истории спасения архивов в годы «красной смуты» – уникальная страница не только российской истории, но и истории мировой культуры. Попробуем прочитать ее повнимательнее.

Но сначала приведем один малоизвестный пример неординарного, провидческого мышления членов Союза РАД. Немногим сегодня что-то говорит имя умершего от голода и болезней молодого ученого-архивоведа, входившего в «интеллектуальное ядро» Союза Виктора Владимировича Снигирева (1885–1921). Недавно в одном из тверских архивов была найдена его рукопись, относящаяся к 1919 г. В ней выделен лейтмотив деятельности историков и архивистов в смутные времена. Сегодня формулу «архивной защиты» В.В. Снигирева следовало бы включить в программу ЮНЕСКО «Память мира» в наидание человеческому сообществу.

Ученый считал необходимым предоставить архивам, библиотекам и музеям право «пользоваться флагом и защитой Красного Креста со всеми вытекающими отсюда последствиями». Он настаивал на «крайней важности непрерывной пропаганды на случай возможных народных движений идеи величайшей государственной и культурной ценности архивов и их материалов, долженствующих рассматриваться как некие аполитичные и экстерриториальные единицы. Для такой пропаганды считается существенным издавать листовки, плакаты и брошюры, разъяснять в школах на

уроках истории вопрос о значении архивов для нации, широко агитировать об этом на съездах, собраниях и т.д.»¹.

Современный политолог скажет – наивная утопия. Но именно благодаря «наивным утопистам» в России произошло то, чем до сих пор восхищаются, скажем, представители почтенного французского сообщества историков и архивистов. Как сказал, ознакомившись с состоянием московских архивов в 1928 г., генеральный директор архивов Франции, знаменитый историк Шарль Ланглуа: «Ваша революция оказалась мудрее нашей» (см.: 30, с.134).

Знал бы он, какой ценой заплатили профессионалы архивного дела за сохранение каждой из этих ненужных и даже вредных, с точки зрения классовой идеологии, бумаг.

Впрочем, судите сами.

Итак...

«О положении архивного дела» в позднесамодежравной России

К началу XX в. необходимость радикального преобразования архивной системы осознавалась практически всеми учеными-историками и архивистами. В известных проектах архивных реформ Н.В. Калачова (см.: 13) и Д.Я. Самоквасова (см.: 26) можно найти почти текстуальные совпадения с теми положениями, которые составили основу декретов по архивному делу, принятых в первые годы советской власти. Более того, в отечественных архивах можно встретить документальное подтверждение поразительного – на первый взгляд – факта: личную заинтересованность в радикальном переустройстве российской архивной системы проявлял сам император Николай II. Во всяком случае, именно с такого утверждения начинается записка во ВЦИК академика С.Ф. Платонова, в которой изложена история создания Центрального архивного управления РСФСР. Выдающийся историк, один из руководителей послереволюционной архивной реформы, информировал высший орган советской власти: «новым духом» реформ в отечественном архивном деле впервые ошутимо повеяло в 1911 г., когда на годичном собрании Русского исторического общества под председательством Николая II «бывший император поднял вопрос об усилении мер к охране исторических документов от уничтожения». «Он и поручил Историческому обществу разработать вопрос о положении архивного дела в России и способах его улучшения», – свидетельствовал Платонов.

¹ Спигирев В.В. Важнейшие достижения западноевропейской теоретической мысли и практики в области постановки архивной работы: Доклад Московскому съезду архивных деятелей. Рукопись // Тверской областной объединенный музей. Ф. Р-1. Оп. 1. Папка № 431. Л. 33.

В соответствии с «высочайшим поручением» сообщество российских историков (которое, кстати, возглавлял великий князь Николай Михайлович¹) попыталось сплотить патриотические силы в борьбе за «наступление лучших времен для архивного дела». Однако, по словам Платонова, «государственные старцы» и всякого рода бюрократические «рептилии» тормозили выработку проекта вполне назревших реформ. Практические шаги в этом направлении были сделаны только спустя три года, когда на состоявшемся в мае 1914 г. Первом съезде представителей губернских ученых архивных комиссий архивная «провинциальная братия» попыталась дать открытый бой высокопоставленным бюрократам-ретроградом, внося в третий (и последний) день работы съезда обширную программу архивных реформ. Попытки «начальствующего состава» удержать съезд «в рамках приличия и сдержанности», вспоминал Платонов, не удались². Однако путь преобразований был перекрыт Первой мировой войной, а затем революционными событиями 1917 г. С.Ф. Платонов подчеркивал: в момент, «когда стали выясняться первые признаки научной деятельности архивов, нас застигло то, что называется русской революцией» (22, с.5).

Так, в сжатом изложении, выглядят у Платонова перипетии борьбы за радикальную реорганизацию российских архивов. Конечно, это субъективная оценка. Вряд ли можно, например, полностью согласиться с утверждением С.Ф. Платонова: «неуспех» предыдущих проектов преобразований следует отнести на счет «московского профессора Д.Я. Самоквасова», поскольку «прямолинейный и парадоксальный, грубый и сварливый его ум плодил гораздо большее число зоилов и антагонистов, чем сторонников и последователей», а порождаемые в связи с этим «ученые распри... давали удобный повод правительственным ведомствам откладывать практические мероприятия до лучшего выяснения дела».

Сегодня мы должны рассматривать причины «неуспеха» в широком социальном контексте. Но важно прежде оценить добросовестность и человеческое мужество историка, который не считал себя вправе умолчать о положительной роли «б[ывшего] императора» и «б[ывшего] великого князя» в архивной реформе, хотя он и был осведомлен об их трагической судьбе. С учеными, обладавшими такой памятью, советской власти уже с

¹ Николай Михайлович (1859–1919) – великий князь, внук Николая I, двоюродный дядя Николая II, расстрелян в Петропавловской крепости в январе 1919 г. Следует иметь в виду, что С.Ф. Платонов (1860–1933), академик (1920), преподавал историю великому князю Михаилу Александровичу, брату Николая II, который был убит в Мотовилехе 13 июня 1918 г., а также великой княгине Ксении Александровне, сестре Николая II (1875–1960), умершей в эмиграции. Сам Платонов после революции 1917 г. работал в Главархиве, затем был директором Библиотеки АН. Репрессирован в 1930 г. по «делу академиков». Умер в Самарской ссылке.

² См.: ГАРФ. Ф. 5325. Оп. 9. Д. 408. Л. 2-5. ВЦИК – ЦАУ. Докладная записка С.Ф. Платонова об организации Центрального архивного управления (машинопись).

середины 1920-х годов окажется не по пути. Академик будет репрессирован. А вместе с живыми людьми из нашей истории вырвут и целые страницы правды об идейных предтечах архивных революционных преобразований. «Дореволюционных» архивистов вскоре объявят «буржуазными специалистами», разделят на «поддержавших большевистскую революцию» и ее «противников». Иначе говоря, попытаются развести по разные стороны политических баррикад. Но это будет позже.

Необходимо подчеркнуть: *накануне революционных событий практически все ученые-историки и архивисты-профессионалы выступали за реформирование архивной системы, против всевластия ведомств*. Парадоксально, но наиболее резко выразил эти настроения задолго до 1917 г. директор архива Священного Синода – одного из самых закрытых и привилегированных архивов дореволюционной России – А.Н. Львов: «...сколько бы мы теперь ни жаловались и ни возмущались, до изменения существующего законодательства и строя, не признающего за архивами исторического научного значения, решительно ничего не выйдет»¹. Здесь выражено противоречие между общественным настроением в пользу радикальных реформ и неспособностью ведомственного бюрократического аппарата решить проблему быстро, эффективно и мирным способом. Не поняв этого, нельзя объяснить причину единодушного выступления историков и архивистов во время февральских событий 1917 г., завершившегося созданием Союза российских архивных деятелей (Союза РАД)².

Анархическая стихия Февраля и проблема спасения архивов

Прежде всего, следует учесть чрезвычайные, «форсмажорные» обстоятельства, вызвавшие появление Союза РАД. В первый же мартовский день 1917 г., когда Временное правительство едва объявило о своем существовании, в Петрограде и Москве почти одновременно запыхали огромные костры во дворах зданий упраздненных новой властью органов полиции и жандармской охраны. Толпы неизвестных жгли кипы документов, которые кто-то выбрасывал прямо из окон или выносил в охапках, импровизированных сумках и мешках. Как вспоминал спустя десять лет очевидец поджогов, «трудно было понять, кого в этой толпе было больше – любителей или бывших охранников, стремившихся, пока не поздно, по возможности скрыть в огне костров следы своего участия в охране самодержавия» (16, с.29). Погромам – под прикрытием «стихийных» выступлений народных масс – целенаправленно подверглись фонды Третьего отделения собственной е. и. в. канцелярии, департамента полиции, гу-

¹ РГАДА. Ф. 1628. Оп. 1. Д. 28. Л. 1 об., 4–4 об.

² См.: ГАРФ. Ф. 7789. Оп. 1. Д. 1–56; Ф. 7798. Оп. 1. Д. 1–173; Ф. 5325. Оп. 9. Д. 8; РГИА. Ф. 1686. Оп. 1. Д. 25.

бернского жандармского управления, судебной палаты, дворцовой комендатуры, генерал-губернатора и т. д.

Однако следует иметь в виду и другое. Уже 4 марта 1917 г., когда дымились костры из архивных документов и мародеры рылись в канцеляриях брошенных учреждений в поисках ценностей, на петроградской квартире А.М. Горького собралась группа видных представителей столичной интеллигенции (А.Н. Бенуа, И.Я. Билибин, Ф.И. Шаляпин, С.К. Маковский и др.). После официальных визитов в оба органа власти – во Временное правительство и в Петросовет – «горьковская группа» добилась опубликования первого в послереволюционное время «Воззвания», в котором говорилось: «Граждане! Старые хозяева ушли, после них осталось огромное наследство. Теперь оно принадлежит народу... Граждане, не трогайте ни одного камня, охраняйте памятники, здания, старые вещи, документы – все это ваша история, ваша гордость».

Это воззвание, напечатанное в «Известиях Петроградского Совета рабочих депутатов» 8 марта 1917 г., стало первой акцией общественности в защиту памятников прошлого. Как установили современные исследователи, вплоть до настоящего времени в научной и популярной литературе появление воззвания относят к октябрьским дням (12, с.284. Сведения о воззвании см. также: 4, с.10, 64, 65; 29, с.116–117). Это был, может быть, первый по времени, но не последний пример фальсификации фактов и документов, относящихся к Февральской революции. Все негативное целенаправленно взваливалось на Временное правительство, все положительное приписывалось советской власти. Вот почему сегодня приходится скрупулезно разбираться в подробностях тех дней.

А правда заключается в том, что *особая заслуга в спасении архивных документов с первых же дней принадлежала не столько «горьковскому комитету», который вскоре распался, но сообществу историков и профессионалов-архивистов.* Они не остались равнодушны к зрелищу разрухи и актам вандализма. Винить персонально любого из министров или других ответственных чиновников Временного правительства трудно. Вина лежала на том хаосе и сумятице или, если угодно, на «революционном вихре», который обрушился на старую государственную систему, неотъемлемой частью которой являлись ведомственные делопроизводства и архивохранилища. По всей России непрерывно упразднялись прежние органы власти и создавались новые. Из одних зданий спешно выезжали прежние чиновники, в другие тут же въезжали новые. Бесперывно сочиняло новые законопроекты образованное в марте Юридическое совещание, ставшее своего рода промежуточной инстанцией между правительством и другими ведомствами и учреждениями (включая министерства, которые плодились чуть ли не в геометрической прогрессии). Только в мае было образовано четыре новых министерства: труда, продовольствия, государственного

призрения, почт и телеграфа. В августе к ним прибавилось Министерство исповеданий. Весной и летом государственный аппарат пополнился Экономическим советом и Главным экономическим комитетом, Комитетом обороны, Главным управлением по делам милиции, Кабинетом военного министра, Главным управлением пограничному снабжению, Всероссийской книжной палатой.

На местах в спешке формировались губернские, уездные и волостные земельные и продовольственные комитеты, а число других «самодеятельных» органов местной власти не поддается учету, тем более что зачастую они возникали так же быстро, как и прекращали свое существование. Очевидец первых послефевральских месяцев вспоминал: «...привычная размеренная поступь сменилась колебательным движением, все бродит, сталкивается, перекрещивается... Нет ничего устоявшегося, и разрушена всякая связь и зависимость между различными и ближайшими частями прежде единого целого» (5, с.5).

Как должны были воспринимать эту ситуацию образованнейшие люди своего времени – историки и архивисты, посвятившие жизнь изучению и хранению документальных свидетельств о прошлом России? Они, может быть, раньше других увидели, что начавшаяся утрата «немых, хотя и красноречивых памятников старины», становящихся жертвами «стихийного пренебрежения и столь же стихийной ненависти», больше всего напоминает возвращение того времени, когда «разинцы XVII века уничтожали с особым ожесточением приказные документы как основу ненавистного режима». Это напоминало и «эксцессы» революции XVIII в. во Франции.

Профессионалы сумели вовремя разглядеть и другую сторону разрушительного процесса – *новые чиновники не только не препятствовали толпе, но иногда превосходили ее в вандализме*. Бесчисленные «новые учреждения и общественные организации, часто временные и эфемерные», въезжая в одни здания и тут же переезжая в другие, выбрасывали из шкафов, с полок и из стеллажей все казавшиеся им ненужными бумаги буквально на улицу или в «лучшем случае» в коридоры, подвалы, просто на пол... Гибло текущее делопроизводство, на пороге гибели были архивохранилища... Специалисты воспринимали это почти как безвозвратную гибель беззащитных живых существ – свидетелей прошлого и настоящего. И одновременно они понимали свой долг по «собираанию и хранению всего, что возможно, как крупное государственное дело». Так рассуждал в написанных зимой-весной 1918 г. воспоминаниях петроградский профессор, историк А.Е. Пресняков (см.: 23, с. 206–207). Вот почему, считал он, в марте 1917 г., «встрепенулись лучшие силы работников на ниве исторического изучения и архивного дела». К сожалению, в последующих версиях воспоминаний (а в архивных фондах сохранилось по меньшей мере еще

два их рукописных варианта¹ (см.: 23, с. 1–8)) постепенно исчезали эти живописные детали.

К середине 1920-х годов все меньше оставалось упоминаний о февральских событиях, все больше внимания стало уделяться периоду строительства архивов, который начался после принятия декрета «О реорганизации и централизации архивного дела» 1 июня 1918 г. Эйфория была такой сильной, что все время «до декрета» будущие историки архивов поначалу просто обходили вниманием (А.С. Николаев в 1919 г. посвятил ему всего несколько строк, повторив ряд оценок А.Е. Преснякова почти дословно (см.: 17, с. 2–3)), а затем перекрасили это время в сплошной черный цвет. На самом деле именно в 1917 г. – задолго до декрета – началась, можно сказать, героическая и патриотическая эпопея спасения отечественных архивов. Началась достаточно буднично.

Первое профессиональное объединение архивистов

В первые же дни марта флотский офицер, начальник архива Морского министерства А.И. Лебедев разослал известным ему столичным архивистам и близким к ним историкам персональные приглашения на собрание. Оно намечалось на 18 марта 1917 г. и должно было выработать совместную программу деятельности в тот переломный период. Текст приглашения открывался патетическими фразами: «Велик народ только тот, который знает и любит свою историю, который на уроках прошлого создает свое будущее, не забывая и основы духа своего народа. Но для того, чтобы изучение истории было успешно, необходимо, чтобы архивы, музеи, библиотеки, эти хранилища источников прошлого, работали с наибольшей энергией и по определенной программе».

Далее формулировались положения, которые отражают не только личную точку зрения А.И. Лебедева, но и взгляды всех, кто первым откликнулся на идею создания профессионального объединения архивистов. В документе указывалось: старое правительство не выработало никакой общей политики в архивном деле, в результате чего «архивы, разбитые по отдельным ведомствам, владели жалкое существование. В свободной России этого быть не должно». Поэтому прежде всего необходимо «определенно поставить вопрос» о судьбе архивов упраздняемых, отживших учреждений и ведомств. Все архивисты должны обратиться к новому правительству с рядом решительных требований, основными из которых являются: «...объявить государственной национальной собственностью все материалы и следы деятельности официальных лиц прежнего режима, дабы не приходилось в будущем скупать на рынках у антиквариев и за границей

¹ См.: ГАРФ. Ф. 5325. Оп. 9. Д. 480. Л. 17–25; Пресняков А.Е. Реформа архивного дела. – М., 1923. – С. 1–8.

то, что должно храниться в русских государственных архивах». И еще одно: немедленно выработать планомерную программу архивного строительства в связи с «возможностью централизации архивных государственных фондов»¹ (см. также: 2, с. 11).

На первом собрании выступил А.И. Лебедев. Он повторил содержание выработанного совместно с единомышленниками приглашения и поставил ряд конкретных и неотложных задач по охране архивных материалов «от случайностей переживаемого времени» – прежде всего по спасению архивов упраздняемых учреждений и усадебных архивов, а также архивов прифронтовой зоны в условиях приближения германской армии. Был поставлен и более общий вопрос: о будущем архивов и централизации управления ими². Итогом первого (учредительного) собрания 18 марта 1917 г. стало официальное объявление о создании Союза РАД и образовании Особой комиссии для выработки устава новой организации.

С апреля 1917 по май 1919 г. деятельность Союза РАД направлялась А.С. Лаппо-Данилевским, который был избран его председателем. Именно он старался придать деятельности Союза поистине общероссийский размах. Дело не только и не столько в его личных связях с двумя министрами народного просвещения – А.А. Мануйловым и сменившим его С.Ф. Ольденбургом, его единомышленниками по кадетской партии. Главным было то, что за Лаппо-Данилевским все признавали помимо научных заслуг высокие нравственные достоинства. Перу И.М. Гревса, известного русского историка-медиевиста, принадлежит статья о Лаппо-Данилевском, которая озаглавлена «Опыт истолкования души» (см.: 10). Главная идея этой работы: Лаппо-Данилевский был бескомпромиссен в науке и в жизни, поскольку в его сознании наука и этика неразделимы.

Таким был человек, вокруг которого объединились члены Союза РАД – от консерваторов-монархистов до радикальных либералов. Его неокантианская приверженность «абсолютным ценностям» помогала избегать во время теоретических дискуссий и тем более в практической работе бесплодных политических распрей и междоусобиц.

Характерным для Лаппо-Данилевского было категорическое неприятие в составе Союза РАД любого непорядочного человека. Так, он изгнал из своего окружения председателя Петроградской окружной архивной комиссии М.К. Соколовского, слишком быстро перекрасившегося после Февральской революции из яркого монархиста в демократа. Показательно, что в 1920-е годы Соколовский организовал травлю военного архивиста Г.С. Габаева, который во многом из-за его доносов попал впоследствии в

¹ ГАРФ. Ф. 7789. Оп. 1. Д. 42. Л. 5–6. Обращаем внимание на ключевые требования документа: две его базовые установки – о создании государственных архивных фондов и необходимости их централизации – войдут в декрет от 1 июня 1918 г.

² ГАРФ. Ф. 7789. Оп. 1. Д. 43 Л. 6.

сталинские лагеря. Аналогичную позицию занял академик и по отношению к известному публицисту и историку В.Л. Бурцеву, так как категорически осуждал его методы добывания разоблачительных документов (например, прямой подкуп чиновников архива Департамента полиции). Лаппо-Данилевский выступал за преимущественный прием в Союз архивистов-профессионалов. Вот почему до самого конца 1917 г. он оставался единственным бесспорным лидером и непререкаемым авторитетом Союза РАД.

В Союзе работали подвижники, которые, так и не дождавшись реальной помощи от властей, делали все на общественных началах. В какой-то степени они повторили печальную (и в то же время героическую) судьбу деятелей губернских ученых архивных комиссий, в трудные годы революционной разрухи спасавших в провинции гибнущие и разграбляемые архивы. А плоды деятельности Союза, как часто бывает, пожали другие учреждения и другие люди. Как и почему это случилось?

Чтобы разобраться в этом, следовало бы разделить деятельность Союза РАД на две составляющие: научно-методическую и организационно-практическую. Однако нужно оговориться, что сделать это сложно, поскольку придется нарезать разграничительные линии буквально по живому. Иначе и быть не могло: теоретические дискуссии в Союзе велись с конкретно-прикладными целями. Ведь участники заседаний приходили на них не для бесплодного умствования, а с практическими вопросами, уличив свободное от основной работы время. Возвращаясь же на места своей службы, они использовали предложения коллег как практические рекомендации к действию.

Следует учитывать, что состав Союза РАД постоянно расширялся. Сформировавшись как объединение петроградских архивных деятелей, Союз постепенно включил в свой состав представителей провинциальных ученых архивных комиссий и научной общественности из Москвы, Киева, Харькова, Одессы, Тифлиса, Саратова, Астрахани, Тихвина и т.д.

Союз российских архивных деятелей: Теория и практика архивного строительства

22 марта 1917 г. при Временном правительстве создали Комиссию по разработке политических дел г. Москвы (известная в литературе также как Архив политических дел Москвы), которую возглавил С.П. Мельгунов. Кроме того, была учреждена Комиссия по ликвидации дел политического характера бывшего Департамента полиции во главе с В.Л. Бурцевым, а после ее ликвидации в июне 1917 г. – Особая комиссия для обследования деятельности бывшего Департамента полиции и подведомственных ему учреждений за время с 1905 по 1917 г., работавшая при Чрезвычайной следственной комиссии для расследования противозаконных по

должности действий бывших министров, главноуправляющих и прочих высших должностных лиц, под руководством П.Е. Щеголева.

Сразу после Февраля предпринимались *попытки создания новых архивов* по горячим следам революционных событий. 22 июня 1917 г. министр народного просвещения официально поручил Совету Союза РАД выработать проект постановления Временного правительства о создании специальной организации «для планомерного и систематического собирания материалов русской революции 1917 г.». Тем самым новые власти стремились как-то объединить под эгидой Союза и скоординировать «самодеятельность» самых разных стихийно возникавших общественных организаций (Союз солдат-республиканцев, Общество по изучению революции 1917 г., Дом-музей борцов за свободу и др.), выступавших одновременно как собиратели и хранители историко-революционного архива и «летописцы потрясающей современности». Однако многочисленные кружки, объединения, «исторические комиссии» и отдельные лица продолжали действовать по своим планам, а главное – в соответствии с собственными политическими пристрастиями и антипатиями.

После безуспешных усилий по сплочению этих политизированных, автономных «субъектов архивного дела» Союз вынужден был 4 октября 1917 г. указать Временному правительству на две важные причины, которые препятствовали выполнению поставленной задачи. Во-первых, основные события революционного времени отразились в документах центральных и местных органов власти, каждый из которых формировал собственные архивы по действующим в нем правилам. Во-вторых, нельзя было приступать к формированию единого архива, пока не существовало законодательной основы, предоставлявшей Союзу соответствующие юридические полномочия. Лаппо-Данилевский и его единомышленники намеревались как можно быстрее устранить на законной основе ведомственное неустройство и создать централизованную архивную систему в общегосударственном масштабе во главе с центральным правительственным органом по управлению российскими архивами – Управлением архивами или Высшей ученой архивной комиссией. Это ведомство должно было стать единым координирующим центром, объединяющим деятельность исторически сложившихся архивов как «ученых» учреждений, выполняющих прежде всего научно-исследовательские функции.

Кандидат в члены Совета Союза РАД К.Я. Здравомыслов (начальник архива и библиотеки Св. Синода) в конце сентября 1917 г. составил обширную записку, в которой обобщил все идеи и предложения по вопросу о том, как следует поступать в государственном масштабе с архивами подразделяемых Временным правительством учреждений и ведомств. В записке было сформулировано базовое, фундаментальное положение: «необхо-

димось с научной точки зрения сохранения архивных фондов в целом»¹ (сейчас мы называем это принципом неделимости фондов).

По поручению Совета Союза РАД товарищ (заместитель) председателя князь Н.В. Голицын (директор Государственного и Петроградского главного архивов МИД) составил на основании записки проект закона, который открывался словами: архивы упраздняемых или существенно реформируемых учреждений и ведомств должны сохраняться в полном составе. Обратите внимание на четкую формулировку: «Никакие дела из них не могут быть изъяты или уничтожены чьим-либо распоряжением». В объяснительной записке, приложенной к законопроекту, обосновывался принцип централизации архивного дела: «Отсутствие централизации управления архивами донныне постоянно давало себя чувствовать и влекло за собой целый ряд нежелательных для архивов явлений ввиду того, что каждое ведомство считало себя вправе бесконтрольно распорядиться принадлежавшими ему архивными фондами, не учитывая того обстоятельства, что со сдачею в архив эти фонды становятся научным достоянием всего государства».

Союз РАД предлагал конкретную программу переустройства архивного дела на твердой основе закона. Подготовленные бумаги с пометкой «Спешно» были посланы на рассмотрение Временного правительства. И не вина Союза, что теперь мы находим эти документы только в архивах и анализируем их исключительно как факт истории архивоведческой мысли, проявление общественной самостоятельности в разработке архивного права. Дни Временного правительства к осени 1917 г. были уже сочтены, и инициативы Союза РАД, к сожалению, так и не перешли из стадии научно-теоретической в практически-организационную, оставшись фактом сугубо умственной работы.

Более печальная судьба постигла идею сослуживца Лебедева по архиву Морского министерства, еще одного учредителя Союза РАД – Г.А. Князева. На двух общих собраниях членов Союза, в апреле и мае 1917 г., он выступал с докладами, в которых *поставил вопросы об отмене категории секретности на большой объем архивных дел* и об облегчении процедуры допуска исследователей для научных занятий в архивах. Лаппо-Данилевский предложил избрать для дальнейшего рассмотрения и окончательного решения этих вопросов комиссию, которая должна была разбраться в существе понятия секретности для трех категорий архивных материалов. Речь шла об официально секретных документах, о «лично секретных» документах частных лиц и о «частных собраниях» (коллекциях), содержащих бумаги обеих категорий. К сожалению, вопрос тогда не был

¹ ГАРФ. Ф. 7789. Оп. 1. Д. 18. Л. 13 об.; Там же. Оп. 1. Д. 1. Л. 250.

решен и, похоже, не поддается однозначному и простому решению даже сегодня.

Единодушный и горячий отклик членов Союза вызвала *идея упорядочения системы допуска к архивам*. На общем собрании было высказано мнение о недопустимости превращения архивов в «проходные дворы» для искателей дешевых сенсаций и «жареных фактов», но одновременно предлагалось сократить излишние формальности для тех, кто действительно занимался научной работой. Для тех, кто был «лично знаком архиву», предлагался допуск без всяких ограничений, для других требовалось предъявление удостоверения личности вместе с «достаточной» рекомендацией (предпочтительнее от Союза РАД)¹. Как и в предыдущем случае, по предложению Лаппо-Данилевского, Союз ограничился рекомендацией: разработать на заседаниях комиссии общие для всех архивов правила допуска, а затем разослать их ведомствам. Все упиралось в необходимость издания закона о единой государственной архивной службе; до этого конкретные предложения откладывались в копилку научных идей. Эти вопросы, так или иначе решавшиеся в дальнейшем, сохраняют свою актуальность и сейчас.

Больше всего нареканий в адрес Союза РАД в советской историографии вызывала его деятельность во время *эвакуации архивов осенью 1917 г.*, когда, как говорилось в резолюции ЦК партии большевиков от 10 октября 1917 г., «русская буржуазия и Керенский с К^о решили сдать Питер немцам». По какой-то нелепой логике, представленной в документе, судьба архивов все-таки крайне беспокоила «буржуев, Керенского и компанию», и они поручили Союзу РАД «срочно подготовить» эвакуацию важнейших архивохранилищ из Петрограда в глубь страны. Что могли сделать архивисты-общественники в этих условиях? Ведь шла война – бедствие, которое можно сравнить только с революцией. А.Е. Пресняков оставил ставшее хрестоматийным описание этой первой, осенней эвакуации архивов, предпринятой по указанию Временного правительства: «Спешно стали упаковывать и грузить в баржи, часто вовсе не приспособленные к подобному грузу, для отправки водным путем либо в вагоны ящики, а то и просто тюки архивных дел; вывозили то, что считалось более ценным и важным, но вывозили необдуманно, без учета технических условий, без какого-либо общего плана. Часть этого груза погибла, части пришлось зимовать в обледенелых бараках. Дошедшие до места назначения архивные грузы не находили подолгу соответствующего помещения, оставались без всякого надзора и учета. И теперь мы еще далеки от сколько-нибудь точного представления о результатах этих первых бурь, по-

¹ См.: ГАРФ. Ф. 7789. Оп. 1. Д. 1. Л. 36–44, 61–62 (Приложение к протоколу шестого собрания).

стигших наши архивные фонды, разорванные на части и разбросанные по разным местам» (23, с.207).

Драматическое описание составлено по горячим следам событий, но стоит обратить внимание на один нюанс: в нем акцентируется внимание на том, что трагедия происходит в разгар зимы («обледенелые баржи») и после прибытия «архивного груза» на «место назначения». А эвакуация происходила в октябре 1917 г. Между этими хронологическими точками лежит роковая дата – 25 октября (7 ноября) 1917 г. В момент смены власти архивы на какое-то время вообще остались без хозяина.

Во имя восстановления исторической справедливости вспомним аналогичные эвакуации, которые производились чуть позже, в марте 1918 г., уже при советской власти, или десятилетия спустя, в 1941 г., когда существовали полномочные правительственные органы управления архивным делом. Даже при наличии «твердой власти» фонды дробились, а документы гибли в больших количествах. Какое же мы имеем право возлагать ответственность за беды архивов осенью 1917 г. на общественную организацию, состоявшую из подвижников-интеллигентов, не располагавших ни материальными средствами, ни юридическими правами для руководства таким сложным и масштабным делом?

У архивистов сердце обливалось кровью, но приказы о сроках и порядке эвакуации принимали не они. Постоянно, начиная с весны 1917 г., архивисты обращали внимание органов власти на необходимость заблаговременно готовить мероприятия по эвакуации архивных материалов из «прифронтовых зон», но ведь, по существу, действовать они могли только словом. Осенью 1917 г. в Петрограде царила паника в связи с развалом фронта и наступлением немцев по всем направлениям. Всех охватило, вспоминал Лебедев, «модное национальное переживание», и Лаппо-Данилевский в этих условиях «категорически склонялся к мысли о необходимости вывоза из Петрограда крупнейших архивов и даже дел архивов ученых обществ, несмотря на все доводы о возможности гибели их в пути: лишь бы они не попали в руки врага» (2, с. 16).

Впрочем, деятели Союза РАД до последнего момента надеялись на намечавшийся на осень 1917 г. Всероссийский съезд архивных деятелей, на котором они рассчитывали получить дополнительные полномочия по реформированию архивов. Лаппо-Данилевский явно видел аналогию между съездом и Учредительным собранием (он являлся членом Комиссии по его созыву) и ждал от съезда конституирования на демократической основе единого общегосударственного органа управления архивами на базе, естественно, Союза РАД. Однако из-за наступления немцев и резкого обострения внутриполитической обстановки в России дата съезда была перенесена на декабрь 1917 г., а октябрьские события окончательно перечеркнули надежды. Так что в условиях полного паралича органов власти Союз

РАД делал максимум возможного для спасения отечественных архивов от внешних и внутренних вандалов в полном соответствии с собственным пониманием профессионального и патриотического долга.

«Союзники» практически взяли на себя задачу Временного правительства по спасению архивов России, которому в короткий срок, отпущенный ему историей, было не до памятников духовной культуры. Кроме того, они подготовили идейно-теоретическую базу будущей реорганизации и централизации архивного дела, которая в мифологизированной истории отечественных архивов долгие десятилетия будет связываться исключительно с «ленинским» декретом от 1 июня 1918 г.

В архивном деле Октябрь «повел к полному хаосу»

С первых же дней после захвата власти большевиками Союз РАД предпринял решительную *попытку остаться вне политики*. Это была естественная для ученых и профессионалов того времени позиция, продиктованная прежде всего стремлением уберечь ценности духовной культуры России от перипетий разрушительной борьбы за власть. Можно сказать, что историки и архивисты первоначально пытались проигнорировать происходящее, временно прервав свои «ученые занятия». Надо иметь в виду, что многие из них разделяли весьма распространенное среди российской интеллигенции (и гораздо шире) мнение о том, что большевики продержатся у власти в лучшем случае до созыва Учредительного собрания, которое в конце концов расставит все по своим местам путем мирного и демократического свободного волеизъявления народа.

Однако «отсидеться» им не удалось. Опять, как и в первые дни после Февральской революции, архивы оказались на пороге гибели. Нельзя доверять позднейшим официальным оценкам, согласно которым большевистское правительство встало на защиту «покинутых и беззащитных» документов, подлежащих «вечному хранению», и материалов текущего делопроизводства. Переживший эту вторую катастрофу Пресняков добавил в описание трагической панорамы очередной чехарды с упразднением старых и появлением новых учреждений иной, теперь уже «классовый» элемент: «Новые люди, которые вступили в покинутые помещения, были враждебны, по крайней мере, равнодушны ко всякой исторической традиции и обычно весьма далеки от сознательного, культурного отношения к документам прошлого. Архивные фонды казались им никому не нужным бумажным хламом... В тех – еще лучших – случаях, когда документы не подвергались опасности уничтожения, а только перемешались, делалось это нетерпеливо, небрежно, наспех... И там, где архивы и документы оставались на прежнем месте, они месяцами оставались без надзора... В итоге получился такой разгром многих ценнейших архивных фондов, который

грозил гибелью многим из них... И та же разруха коснулась жутко и нетерпимо старых архивных хранилищ, разбитых на части, вытесняемых из прежних помещений, выбрасываемых на произвол любой случайности, иной раз осужденных на уничтожение» (23, с. 208–209). В рукописном варианте статьи приводятся выпавшие из печатного текста подробности: например, о том, как архивные документы «с наступлением холодов шли на топку времянок, рвались на обертку, на самокрутки и т.п.»¹.

Свидетельство очевидца нуждается в некотором пояснении. Говоря о «новых людях», Пресняков явно имел в виду не просто новых служащих, а носителей иного мировоззрения, в соответствии с которым залежи «бумажного хлама», оставшиеся от прошлого, следовало вместе со старым строем разрушить «до основания». Даже спустя шесть лет Платонов прямо писал в цитировавшейся уже докладной записке во ВЦИК: «В архивном деле октябрьский переворот повел к полному хаосу»². Одновременно свидетели, очевидцы и участники событий тех лет не могли не упомянуть некоторые «счастливые исключения». Иногда, как писал Пресняков, «при делах оставались прежние их хранители, хотя бы и из низшего персонала – служителей, и делали что могли для их охранения. Бывали и случаи трогательного архивного героизма, когда архивариусы, не получая ниоткуда ни поддержки, ни вознаграждения, не покидали поста и берегли вверенное им архивное имущество» (23, с. 208). Не склонный к патетике Платонов, возглавлявший в те дни ученую комиссию при архиве Министерства народного просвещения, подтверждал эти сведения: «С большим удовлетворением я узнал, что учащая молодежь... настолько прониклась желанием сохранить архив, что установила непрерывное дежурство в архиве. Дежурным не без труда приходилось отводить всякого рода покушения на помещения архива. Простодушное понимание созданной переворотом обстановки соблазняло кое-кого поселиться в комнатах архива; другие желали воспользоваться мебелью архива, третьи обсуждали вопрос о ненужности архива»³.

В Москве захват власти большевиками, как известно, не обошелся без вооруженных столкновений с защитниками Временного правительства. Сотрудник Московского архива Министерства юстиции (ММЮ) Н.П. Чулков сообщал 15 декабря 1918 г. в Петроград члену Совета Союза РАД Б.Л. Модзалевскому: «Пришлось пережить жуткие дни, около недели день и ночь быть под обстрелом... Едва прозвучал последний оружейный выстрел, в архив явился военный отряд и реквизирует часть помещения... Если междоусобица возобновится, нам грозят неприятности вплоть до ги-

¹ ГАРФ. Ф. 5325. Оп. 9. Д. 480. Л. 19.

² Там же. Л. 5.

³ Там же. Л. 6.

бели всего, нами охраняемого»¹. При обстреле и после захвата Кремля были повреждены помещения и частично сожжены солдатами документы московского отделения Архива императорского двора и губернского Архива старых дел, хранившиеся в Троицкой, Никольской и Арсенальной башнях². Архивисты МАМЮ больше месяца ждали ответа на просьбу к московским властям помочь в выселении из архива непрошенных «поселенцев» – и в конце концов все-таки дождались. Им была выдана «охранная грамота» – та самая, на основании которой впоследствии был создан миф: чуть ли не все архивные учреждения обзавелись соответствующими документами. Как писал Автократов, об отношении большевиков к архивам прежних лет говорит то, что в ночь на 28 октября 1918 г., когда им показалось, что восстание обречено на провал, они тайно сожгли архив советственного Военно-революционного комитета (см.: 1, с. 32).

Иначе говоря, *после ноября 1917 г. интеллигенция столкнулась с массовым вандализмом особого рода – на «идеологической основе»*. Если после Февральской революции можно было говорить о проявлениях стихийной ненависти масс к «бумагам угнетателей», то теперь ненависть получила «классовое» обоснование. «Как вы можете придавать такое значение тому или иному старому зданию, как бы оно ни было хорошо, когда дело идет об открытии дверей перед таким общественным строем, который способен создать красоту, безмерно превосходящую все, о чем могли мечтать в прошлом?» Такими словами успокаивал А.В. Луначарского, подавшего в отставку с поста наркома просвещения под влиянием сообщений о московских разрушениях, В.И. Ленин (7, с. 46).

В обстоятельной, построенной на архивных документах, публикации В.О. Седельникова «После обстрела Московского Кремля» (27) вскрыт факт целенаправленной фальсификации партийными историками сведений о потерях, которые понесли архивы в результате артиллерийского обстрела и последующего захвата Кремля. Исследователь приводит «Акт осмотра», подписанный архивистами С. Кологривовым и Б. Пушкиным, которые посетили Троицкую башню Кремля спустя две недели после вооруженного восстания в Москве (28 октября – 3 ноября 1917 г.). Обследуя размещавшееся здесь Московское отделение Общего архива бывшего Министерства двора, они установили, что «все запертые двери... взломаны и все помещения носят следы самого грубого, самого варварского обращения с документами отделения... Всего более пострадали описи к делам XVIII в. ...Вообще же определить потери, понесенные Московским отделением, до производства общей проверки всего состава архива невозможно. Одно только можно констатировать в заключение: та культурная ценность – в смысле описания документов, составления к ним карточек, алфа-

¹ ГАРФ. Ф. 7789. Оп. 1. Д. 18. Л. 17–17 об.

² См.: Там же. Д. 27. Л. 44–44 об.

витных указателей и тому подобного, – которую бережно в течение почти полувека выращивал архив трудами своих служащих от сторожа до начальника на благо просвещение всех русских граждан, в корне разбита, разрушена; те документы, на которых строились по всей Руси известные труды И.Е. Забелина по описанию быта русской жизни с древнейших ее времен, теперь лежат поруганные и буквально загаженные, т. к. разрушители и грабители в нескольких местах дворцового архива поустроили отхожие места» (27, с.448). Этот документ, а также другие аналогичные сообщения с мест направлялись «для памяти» в Петроград членам Союза российских архивных деятелей.

Вторым ударом по наивной попытке архивистов подождать благоприятного поворота событий стала известная акция большевистских властей. Решив взять архивы под собственный контроль, они *направили в крупные архивохранилища комиссаров* с самыми обширными полномочиями. В настоящее время можно определенно назвать имена двух таких деятелей – легендарного матроса-большевика Н.Г. Маркина и И.А. Залкинда.

Первый в апрельские дни 1917 г. входил в отряд по охране Ленина, как делегат Балтики активно участвовал в работе I съезда Советов, затем работал в следственной комиссии Петросовета, а сразу после большевистского переворота был назначен секретарем народного комиссара иностранных дел в первом составе Совнаркома Л.Д. Троцкого. Вместе с уполномоченным по НКВД дипломатом И.А. Залкиндом и лингвистом, полиглотом Е.Д. Поливановым (1891 – расстрелян в 1938 г.) Маркин в первые же дни ноября 1917 г. объехал, запасшись «ордерами на арест», всех чиновников МИД, требуя их явки на службу. Далее, как вспоминал Троцкий, события разворачивались следующим образом: «Маркин арестовал [за саботаж] [директора канцелярии МИД] Б.А. Татищева, чиновника МИД В.В. Таубе и привез их в Смольный, посадил в комнату и сказал: “Я ключи достану через некоторое время”. На вопрос о ключах Таубе отослал к Татищеву, а Татищев куда следует». Далее, через запятую, Троцкий бесстрастно продолжает: «Когда Маркин вызвал меня дня через 2, то этот Татищев провел нас по всем комнатам, отчетливо показал, где какой ключ, как его вертеть и т.д.» Остается только догадываться, какие «революционные методы убеждения» применял героический матрос (Троцкий отмечает две его характернейшие черты: «величайшую энергию» и «некоторую угрюмость»), но результаты были налицо. Дипломаты бывшего МИД со своей стороны ограничивались лаконичной оценкой его качеств: «из ряда вон энергичный», «человек очень умный, с большой волей, но писал с ошибками». С ноября 1917 по февраль 1918 г. Маркин «издал» семь сборников тайных дипломатических документов, которые имели большое политическое значение (см.: 15, с. 25–26, 70, 73–74; см. также: 2, с. 18–19).

Другим образцом архивного комиссара явился «очень аккуратный и вежливый латыш», который «совсем не понимал архивного дела». Больше всего Залкинд известен тем, что по подсказке некоего «сторожа-мальчишки» выгонял со службы архивистов-профессионалов. В частности, он разогнал Ученую комиссию и создал невообразимый хаос в собирании дел, брошенных в различных кабинетах и в канцелярии. Правда, вскоре он получил новое назначение.

Известны и другие архивные инициативы большевиков. В архиве Министерства земледелия командовал матрос, который с порога объявил документы «ненужным» хламом, подлежащим сожжению. Здание Синодального архива предполагалось передать авиационной школе. Многие полковые архивы подверглись погромам и разграблению. И т.п.

В официальной историографии направление комиссаров в архивы связывалось прежде всего с начавшейся сразу после 25 октября (7 ноября) всеобщей забастовкой чиновников. Однако, во-первых, стоит разобраться в ее причинах, во-вторых, прекратить ее методами матроса Маркина было невозможно, что власти осознали буквально через считанные недели, а в-третьих, архивисты как раз меньше всего участвовали в этой акции.

Чем была вызвана забастовка? Версия о предварительномговоре, которым руководили банки и «блок всех буржуазных и мелкобуржуазных партий во главе с партией кадетов», впервые появилась в исторической литературе в середине 1930-х годов и продержалась почти полвека. На самом деле главной причиной «саботажа» послужил естественный человеческий страх за свою жизнь. И еще обида. Ведь большевики с первых дней после прихода к власти в речах, в печати, в лозунгах призывали смерть на голову классовых врагов пролетариата – «капиталистов, помещиков и царских чиновников». Была и еще одна причина для страха: «Вернутся те, что ушли, и вы ответите за службу большевикам так, что если жизнь и оставят, то не обрадуешься!» Керенский, а также «обосновавшиеся на юге сенаторы» разослали телеграммы с угрозами предать суду после возвращения «законного правительства всех служащих, оставшихся в должностях после прихода большевистской власти».

Тем не менее в архивах, не получая зарплаты, дежурили добровольцы, которых в одном из официальных докладов Луначарскому некий его личный посланец презрительно именовал «допотопными архивариусами» и регистраторшами. Кстати, как отмечает Автократов, среди «допотопных архивариусов» были управляющий архивом Министерства народного просвещения А.С. Николаев и его помощник И.Л. Маяковский, которым едва исполнилось по 40 лет, а другие сотрудники (В.В. Снигирев, А.Н. Макаров, Л.И. Полянская, Ю.А. Оксман) были еще моложе! Все они являлись членами Союза РАД.

Страх за судьбу архивов пересилил личный страх. Как писал Платонов, «люди, стоявшие у архивного дела, архивисты и историки, не могли долго оставаться бессильными зрителями происходившей на их глазах гибели исторических ценностей». Поэтому 28 января 1918 г. члены Союза РАД собрались на первое после падения Временного правительства общее собрание. На нем по предложению Лаппо-Данилевского было решено принять ряд экстренных мер «по ограждению архивов от разрушений, разграблений, захвата их помещений и т.п.».

Главную идею постановления сформулировал сам председатель Союза РАД А.С. Лаппо-Данилевский. Она состояла в том, чтобы обратиться к новому правительству с требованием решить наконец в практическом плане вопрос о создании объединенного Союза всех ученых (научных и научно-исследовательских) установлений (учреждений) и высших учебных заведений «для защиты внепартийных научных интересов», обеспечения «возможности нормальной научной работы и автономии всех ученых учреждений», к которым относились и архивы. С этим предложением, как напомнил на общем собрании Лаппо-Данилевский, он уже обращался к министру Временного правительства Мануйлову и на заседании созданной по этому вопросу специальной комиссии во главе с товарищем (заместителем) министра академиком В.И. Вернадским получил принципиальное согласие. Но теперь – новая власть и нужно начинать хлопоты снова. На имя наркома просвещения Луначарского было составлено соответствующее письмо, для вручения которого направлялась делегация Союза РАД во главе с Голицыным. Одновременно члены Союза РАД приняли документ, в котором просили архивистов вернуться на свои рабочие места.

На следующем собрании (30 января) Союз РАД поручил Совету дополнить письмо «мотивированным заявлением», с которым должна обратиться к Луначарскому делегация, возглавляемая Голицыным. В письме содержалось требование предоставить каждому крупному архиву внутреннюю автономию, а «в случае возбуждения вопроса об образовании Совета по архивному делу как органа Центрального управления указать, что этот вопрос подлежит рассмотрению на съезде архивистов и делегация не уполномочена Союзом к его обсуждению». Здесь Союз держался принципиальной позиции, продиктованной прежде всего Лаппо-Данилевским. Однако в чем-то даже ему пришлось уступить. В результате в инструкции по переговорам появился такой красноречивый пункт: «При обсуждении с Луначарским вопроса об организации отношений Союза к современной власти допустить возможность введения правительственного комиссара в общее собрание Союза с правом решающего голоса, но отклонить назна-

чение комиссаров в сами архивы»¹. Мы можем только догадываться, какой протест вызвало это решение общего собрания, означавшее шаг навстречу советской власти, у непреклонного противника политизации архивного дела Лаппо-Данилевского.

Он отказался подписать протокол, включавший этот пункт, и предостерег архивистов от прямых контактов с Совнаркомом. Неизвестно, что произошло дальше, но на заседании 23 марта 1918 г. Лаппо-Данилевский объяснил членам Совета, что встреча делегации с Луначарским не состоялась из-за начала эвакуации советского правительства и «в связи с общим ходом политических событий»². Как справедливо указывает Автократов, «первая часть объяснения не выдерживает критики: решение об эвакуации было принято только 26 февраля (нового стиля): правительство выехало в Москву еще через две недели, а Луначарский вообще Петрограда не покидал» (2, с.23). Вероятно, решающую роль играло другое обстоятельство. Последние политические события внушили Лаппо-Данилевскому и его сторонникам надежды на то, что советская власть рухнет под натиском внешних врагов (германское наступление), внутренней контрреволюции (белое движение) и разброда внутри самого правительства, отчетливо проявившегося в ходе трудного процесса заключения Брестского мира. Однако образовавшуюся под влиянием прагматически настроенной части Союза РАД брешь в стене самоизоляции от органов власти не удалось заделать. Жизнь брала свое. Аполитизм Лаппо-Данилевского тоже становился политикой; его позиция уже угрожала судьбе архивов, так как обрекала специалистов на «выжидательное бездействие» в условиях, когда над архивами опять нависла опасность.

Архивные «спецы» и «комиссар» Рязанов

Весной 1918 г. СНК принял решение об эвакуации крупнейших архивов из Петрограда в Москву и о назначении в связи с этим уполномоченного Совнаркома Петроградской коммуны «по ликвидации и реорганизации архивов». Им стал Д. Б. Рязанов.

С нашей точки зрения, настала пора развеять миф о мудрости большевиков, с первых дней революции проникнувшихся идеей привлечь на свою сторону «буржуазных» историков и архивистов. Новая власть относилась к архивным «спецам» едва ли не презрительно. Так, М.Н. Покровский, будущий всемогущий «комиссар» архивного дела, сменивший в 1920 г. на посту руководителя Главного управления архивным делом Д.Б. Рязанова, иначе, как «допотопными», их не называл. Да и сами ученые отнюдь не стремились к сотрудничеству с большевиками. Академик

¹ ГАРФ. Ф. 7789. Оп. 1. Д. 1. Л. 95–98 об.

² Там же. Л. 259 об.

Лаппо-Данилевский, первый руководитель Союза РАД с апреля 1917 г. и до своей смерти в мае 1919 г., в дни большевистского переворота вместе с другими академиками (М.А. Дьяконовым, С.Ф. Ольденбургом, М.И. Ростовцевым, А.А. Шахматовым и Н.С. Курнаковым) подписал официальное заявление Российской академии наук, которое начиналось так: «Великое бедствие постигло Россию: под гнетом насильников, захвативших власть, русский народ теряет сознание своей личности и своего достоинства». До самой смерти в голодном и холодном Петрограде Лаппо-Данилевский отказывался идти на контакт с представителями советской власти. В последние дни он разрабатывал проект создания Института социальных наук в противовес Социалистической академии, пытаясь защитить научные, внепартийные интересы ученых и обеспечить им условия для независимой от Системы исследовательской работы. Он умер, не предав своих убеждений, отвергнутый властями, но не побежденный.

Но во имя спасения архивов большинство членов Союза РАД в главе с С.Ф. Платоновым нашли для налаживания контактов с властями компромиссную фигуру в лице Д.Б. Рязанова. О его трагической судьбе мы упоминали, но сейчас важно охарактеризовать его позицию в первые послереволюционные месяцы. Рязанов осудил разгон Учредительного собрания и Брестский мир. Он был типичным представителем научного марксизма, социал-демократом западноевропейского типа. После выхода в свет монографии Я.Г. Рокитянского и Р. Мюллера «Красный диссидент» (24), большую половину которой представляют рассекреченные документы из Центрального архива ФСБ, можно считать доказанным, что Д.Б. Рязанов совпадал с членами Союза РАД в главном – до трагической смерти он остался человеком чести и добросовестным архивистом-исследователем.

Полным совпадением «ментальностей» можно объяснить тот факт, что ему поверили такие разные люди, как академик С.Ф. Платонов, князь Н.В. Голицын и флотский офицер-архивист А.И. Лебедев. Повторим еще раз – ход последующих событий показал, что Рязанов не лукавил, когда сразу же заявил собравшимся ученым, что пришел на заседание руководства Союза РАД не как представитель «большевистских кругов» и не с целью захвата власти, а по личному приглашению авторитетных представителей российской интеллигенции тех лет (П.Е. Щеголева, В.И. Срезневского, Б.И. Николаевского и др.). Он доказывал, что его единственная цель – добиться принятия и проведения в жизнь проекта закона о централизации архивного дела, разработанного членами Союза, поскольку только на этой легальной основе можно спасти повсеместно гибнущие архивы. Вот почему даже негибаемый, непримиримый по отношению к большевикам А.С. Лаппо-Данилевский присоединился к голосованию, поддержав пред-

ложение «приветствовать назначение Рязанова» на историческом заседании Союза РАД 27 марта 1918 г. (подробнее см.: 25, с. 237).

Поэтому-то и Рязанов, и его соратники были уничтожены Системой, как только в них отпала необходимость. Архивы были спасены и приведены в порядок, но руководить ими назначили других людей, созданных Системой по своему образу и подобию. Произойдет это после смерти А.С. Лаппо-Данилевского, отстранения от руководства архивами Д.Б. Рязанова и самоликвидации Союза РАД.

В деле спасения архивов и строительства архивной системы на новой, демократической и подлинно научной основе Рязанов сумел сплотить практически всех ведущих архивистов и историков. В своих показаниях арестованный по «академическому делу» С.Ф. Платонов писал в апреле 1930 г., что только благодаря сближению с Рязановым он «вышел в разумение свершившегося, признал власть и стал работать в Главархиве», созданном в 1918 г. (21, с. 265). Как отмечает один из первых исследователей роли Рязанова и Платонова в строительстве новой архивной системы С.О. Шмидт, «никогда не было столь близкого и результативного творческого сотрудничества архивов и исторической науки – и, пожалуй, не только в России» (34, с. 40).

По настоянию Д.Б. Рязанова центральное ведомство по управлению создававшимся Единым государственным архивным фондом – Главархив – было включено в систему Наркомата просвещения и поставлено на фундамент государственного финансирования. Так *реализовался проект, который российские архивисты предлагали с середины XIX в.*

Однако при первой же возможности долго зревший конфликт между политикой власти в архивной сфере, персонифицированной М.Н. Покровским, с одной стороны, и Рязановым – с другой, был разрешен. В результате административного вмешательства летом 1920 г. Рязанова сместили с поста руководителя архивного ведомства. Его место заняла коллегия во главе с М.Н. Покровским, который заявил, что отныне перед старыми специалистами должна быть гостеприимно открыта дверь ЧК. С отстранением Рязанова началась новая эпоха в истории отечественных архивов, связанная с их политизацией и возрождением тотального господства принципа ведомственности, который русские историки-архивисты с таким трудом пытались преодолеть в 1918–1920 гг.

Этическое измерение памяти

Деятельность ГУАК и Союза РАД, этих внесистемных объединений культурных сил России, наглядно демонстрирует, как в смутные времена актуализируется *этическое измерение Памяти* (термин Ю.Н. Давыдова) (см. подробнее: 11). В периоды социальных катастроф становится почти

невозможно обозначить устойчивый центр этической жизни, вокруг которого строится общепринятое понимание добра и зла, свободы и ответственности, человеческого и профессионального долга. Этический абсолютизм уступает место этическому релятивизму. Временное одерживает верх над вечным, непреходящим. Стремительные изменения внешних принципов и символов дезорганизуют внутренний мир человека, способствуя расщеплению человеческого существа, ставит личность и общество на грань «морального инфаркта».

Архивы как глубинная опора и фундамент исторической памяти первыми начинают чувствовать на себе разрушительные тектонические напряжения в недрах государства. Система, т.е. власть, стремительно теряет к ним интерес. И автоматически, как спасательная подушка, срабатывает «принцип внешнего дополнения», согласно которому недостаточность любой системы низшего порядка может быть преодолена путем перехода к системе управления высшего порядка (метасистеме).

Если центральная власть не может или не желает заниматься архивами, ее функции принимают на себя культурные силы общества – подвижники, находившиеся до наступления социально-политических кризисов на периферии внимания государства. Но принцип внешней дополнительности работает не в статике, а в динамике: по мере стабилизации Системы внешнее постепенно превращается в ее внутреннее свойство, с тем чтобы на более высоком уровне вновь превратиться во внешнее и положить начало новому циклу разрушений и восстановлений.

Такова принципиальная модель архивов в период смут и революций, которая была положена нами в основу концепции данного исследования. Повторится ли вновь эта вечная карусель? И что будет на очередном витке системного кризиса с архивами?

Вместо меня на эти вопросы уже ответили представители поколения, которое сформировалось на пике последнего кризиса Системы – в «лихие» 1990-е. В моем личном архиве, который сложился за годы преподавания историко-архивоведческих дисциплин в РГГУ, – целая коллекция студенческих работ.

Приведу несколько выдержек из сочинений 1996–1997 гг., в которых студенты-старшекурсники историко-политологического отделения Факультета архивного дела (ныне Факультет истории, политологии и права РГГУ) отвечали на вопрос «если бы руководителем государственной архивной службы был я, то...». Вот несколько цитат без комментариев (сохранен авторский стиль и несколько неловкая манера изложения):

«Я бы попытался сделать Архив независимым от государства, но ни в коем случае не исключил бы государство из процесса нового архивного строительства, так как архивы – духовная память людей, живущих в рамках определенной исторической системы» (4 курс, Лупенко Ф.).

«Я бы исходил из тезиса о том, что архивы – это особая историко-культурная ценность, генетически связанная с деятельностью человека, которая никогда больше не повторится. Главная задача – сохранить эту ценность в наиболее приемлемом виде, т.е. чтобы комплектация, подборка фондов наиболее приближалась к естественной. Независимость архивов – главный залог сохранения документов как духовного завешания прошлого» (5 курс, Росляков А.).

«Необходимо, чтобы архивы составляли самостоятельную единую структуру и чтобы в этом едином пространстве все документы были взаимосвязаны между собой, а не разделены по ведомствам. Но для этого нужно соответствующее архивное сознание, которого у нас в стране после господства тоталитарного режима еще, в сущности, нет, и надо, чтобы было соответствующим образом поставлено архивное образование, чтобы будущие архивисты осознали свою профессию не просто как чиновники в госсистеме, а как люди, на которых лежит ответственность за сохранение и неискажение истории нашей страны. Только интеллигентные образованные люди должны осуществлять экспертизу и работать в архивах, потому что все-таки вместить все количество документов трудно» (4 курс, Голубова Д.).

И наконец, последнее рассуждение: «В первую очередь необходимо реально сделать архивную систему России централизованной. Для этого надо создать строго иерархическое подчинение всех архивов России центрархиву, что может быть достигнуто лишь в том случае, если все архивы окажутся равными по отношению к нему. Лишь будучи строго организованной системой, архивы могли бы эффективно функционировать как культурные явления, имеющие бесспорную самоценность... Совершенно неприемлем подход к документам учреждений, которые иерархически стоят более высоко по отношению к остальным, как к документам, являющимся наиважнейшими... Только при понимании роли архивов в обществе как целостного культурного явления можно заставить его (общество. – Т.Х.) взглянуть на них (на архивы. – Т.Х.) по-новому. Только при таком подходе можно говорить о цивилизованном уровне архивного дела» (4 курс, Петрусенко Н.).

Приятно удивляет и даже поражает несомненная преемственность взглядов на существо архивов представителей трех поколений – поколения Калачова, поколения Союза РАД и, наконец, современных молодых людей. Это обнадеживает. Жаль только, что, насколько мне известно, никто из респондентов 1990-х годов так и не занял руководящего поста в архивной системе. И даже вряд ли в ней работает...

Список литературы

1. Автократов В.Н. Из истории централизации архивного дела в России, (1917–1918 гг.) // Автократов В.Н. Теоретические проблемы отечественного архивоведения. – М., 2001. – С. 313–393.
2. Автократов В.Н. Из истории централизации архивного дела в России, (1917–1918 гг.) // Отечественные архивы. – М., 1993. – № 3. – С. 9–35.
3. Адленова В.А. Историческая наука в российской провинции в конце XIX – начале XX вв.: Тамбовская ученая архивная комиссия. – Рязань: НРИИ, 2002. – 375 с.
4. Аполлон. – Пг., 1917. – № 2/3.
5. Архив русской революции: В 22-х т. – М., 1991. – Т. 1. – 312 с.; Т. 2. – 226 с.
6. Булгаков С.Н. Из философии культуры // Героизм и подвижничество. – М., 1992. – С. 173–210.
7. В.И. Ленин и А.В. Луначарский: Переписка, доклады, документы // Лит. наследство. – Т. 80. – М., 1971. – 610 с.
8. Воронов А.П. Архивоведение: Конспект лекций, читанных в Санкт-Петербургском археологическом институте. – СПб.: Тип. П.П. Сойкина, 1904. – 31 с.
9. Гоголь Н.В. Авторская исповедь // Духовная проза. – М., 1992. – С. 279–323.
10. Гревс И.М. А.С. Лаппо-Данилевский (Опыт истолкования души) // Русский ист. журнал. – Пг., 1920. – № 6. – С. 44–81.
11. Давыдов Ю.Н. Этическое измерение памяти // Этическая мысль: Науч.-публ. чтения. – М., 1990. – С. 165–200.
12. Жуков Ю.М. Становление и деятельность советских органов охраны памятников истории и культуры, 1917–1920 гг. – М.: Наука, 1989. – 301 с.
13. Калачов Н.В. Архивы, их государственное значение, состав и устройство. – СПб.: МА-МЮ, 1877. – 37 с.
14. Калачов Н.В. Архивы, их государственное значение, состав и устройство // Труды I Археологического съезда в Москве. – М., 1869. – Т. 1. – С. 207–218.
15. Лопухин В.Б. После 25 Октября // Минувшее: Исторический альманах. – М., 1991. – Т. 1. – С. 9–98.
16. Макасов В.В. Архив революции и внешней политики XIX и XX вв. // Архивное дело. – М., 1927. – Вып. 13. – С. 27–41.
17. Николаев А.С. Главное управление архивным делом в России // Исторический архив. – Пг., 1919. – Кн. 1. – С. 1–64.
18. Орнатская Л.А. Философия и революция // Социальный кризис и социальная катастрофа: Сб. материалов конференции. – СПб.: Санкт-Петербургское филос. об-во, 2002. – С. 142–146.
19. Пивоваров Ю.С. Русская политика в ее историческом и культурном отношениях. – М.: РОССПЭН, 2006. – 168 с.
20. Пивоваров Ю.С., Фурсов А.И. Русская Система: Генезис, структура, функционирование: (Тезисы и рабочие гипотезы) // Русский ист. журнал. – М., 1998. – № 3. – С. 13–96.
21. Платонов С.Ф. Автобиографическая записка // Академическое дело 1929–1930 гг. – СПб., 1993. – Вып. 1. – С. 256–288.
22. Платонов С.Ф. Речь, произнесенная при открытии Петроградских архивных курсов 31 августа 1918 г. // Архивные курсы. История архивного дела: Лекции, чит. слушателям Архивных курсов при Петроградском археологическом институте в 1918 г. – Пг., 1920. – Вып.1 – С. 1–9.
23. Пресняков А.Е. Реформа архивного дела в России // Русский исторический журнал. – Пг., 1918. – Кн. 5. – С. 205–222.

24. Рокитянский Я., Мюллер Р. Красный диссидент. Академик Рязанов – оппонент Ленина, жертва Сталина: Биограф. очерк. Документы. – М.: Асадемия, 1996. – 464 с.
25. Ростовцев Е.А. Деятельность А.С. Лаппо-Данилевского в Российской Академии наук // Источник. Историк. История: Сб. науч. работ. – СПб., 2001. – Вып. 1. – С. 135–249.
26. Самоквасов Д.Я. Проект архивной реформы и современное состояние окончательных архивов в России. – М.: МАМЮ, 1902. – 48 с.
27. Седельников В.О. После обстрела Московского Кремля // Звенья: Исторический альманах. – М., 1991. – Вып. I. – С. 439–450.
28. Семиряга М.И. Чрезмерное засекречивание архивных документов – это признак опасных деформаций общества // Историки и архивисты: Сотрудничество в сохранении и познании прошлого в интересах настоящего и будущего: Материалы междунар. конф. Москва, ноябрь 1998 г. – М., 1998. – С. 115–119.
29. Сенин А.С. Либералы у власти: История повторяется? // Кентавр. – М., 1993. – № 2. – С. 109–121.
30. Старостин Е.В., Хорхордина Т.И. Архивы и революция. – М.: РГГУ, 2007. – 179 с.
31. Уроки Октября: Взгляд из XXI века // Лит. газета. – М., 2007. – 26–31 дек.
32. Ханпира Э.И. Архивоведческое терминоведение: Учеб. пособие по спецкурсу. – М.: МГИИ, 1990. – 136 с.
33. Хорхордина Т.И. Российская наука об архивах: История. Теория. Люди. – М.: РГГУ, 2003. – 535 с.
34. Шмидт С.О. К юбилею Д.Б. Рязанова // Археограф. ежегодник за 1995 г. – М., 1997. – С. 35–48.

**ВЗГЛЯД
СО СТОРОНЫ**

В.М. ШЕВЫРИН

***РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА: ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ
В ЗАРУБЕЖНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ***

(Обзор)

Российские революции оставили глубокий след в истории нашей страны и всего мира. Ученые всегда признавали и признают этот факт. В 1917 г. очевидец революционных событий в России американский профессор Ф. Голдер называл этот год «великим», открывавшим новую страницу в истории (94, с. XVI). И ныне для многих ученых на Западе российская революция «без сомнения является центральным событием в истории России XX в., а также одной из основных тем современной мировой истории» (9, с. 92). Профессор Р. Уэйд (США) подчеркивает, что «русская революция, несомненно, остается одним из самых важных событий мировой истории» (91, с. 9). Но лучше всего свидетельствует о таком значении революции неизменно повышенное внимание зарубежных специалистов к ее истории. Как отмечает английский профессор М. Миллер, в настоящее время «существует огромная литература о происхождении, движущих силах и последствиях революции в России», работы о социальной, экономической, политической, дипломатической, интеллектуальной истории, истории культуры (89, с. 5).

В этом огромном массиве литературы отразилось множество различных, часто полярных, точек зрения на русскую революцию. Это понятие – история России начала систематически разрабатываться уже с послевоенного времени, а в ходе реализации программы по научному обмену, начатой в 1960 г., появилась профессиональная историография России, в том числе и история революций 1917 г. Время «холодной войны» наложило на нее свой негативный отпечаток. Тогда в историографии господствовало либеральное направление, которое ассоциировалось с именами Р. Пайпса, Б. Вольфа, Зб. Бжезинского, М. Малиа и др. С 1960-х годов их начали теснить «социальные историки», или «ревизионисты», во главе с

Л. Хеймсоном, совершившие по сути целый переворот в историографии революции. Они исследовали прежде всего социальные факторы революции и, в частности, пришли к выводу, что она была неизбежна, независимо от вступления или не вступления России в Первую мировую войну. Таким образом, «социальные историки» заявили о себе как о «пессимистах» в то время, когда в историографии господствовала иная точка зрения на Октябрь, «оптимистическая» – Россия могла бы избежать революции, если бы не Первая мировая война. Но в 1990-е годы «ревизионисты» уступили лидирующие позиции представителям «новой культурной истории»¹.

«Лингвистический поворот», постмодернизм проявились во многих науках, в том числе и в истории. Их влияние ощутимо и в историографии Октября. Поэтому в целом она и являет ныне причудливую амальгаму различных представлений о русской революции. И никогда раньше не сказывалось с такой силой стремление зарубежных историков пересмотреть написанное о революциях и по-новому взглянуть на события 1917 г. (74). Можно даже утверждать, что попытки всестороннего пересмотра оценок этих событий стали «массовым явлением» в зарубежной историографии и вызвали большой прилив новой литературы о революциях в России. Мысль о том, что «пора по-новому посмотреть на значение 1917 г. для России и мира» (89, с. 2), что «назрело время попытаться реинтерпретировать Россию и ее историю» (74, с. 6), кажется, действительно глубоко вошла в сознание многих современных ученых. Ее стимулирует и тот факт, что история революции 1917 г., несмотря на постоянное внимание к ней зарубежных исследователей, все еще, по их собственному признанию, представляется туманной, упрощенной и даже мифологизированной.

Но сама мысль о необходимости реинтерпретации революции стала прежде всего результатом «практики» – произошедшего «обвала»–распада Советского Союза, о чем откровенно пишут и сами зарубежные историки (3; 34; 48; 76; 89; 92 и др.). Судьба СССР оказала самое непосредственное и сильное воздействие на зарубежную историографию. Окончилась идеологическая конфронтация и сникли ветры «холодной войны», а с ними пожухло либеральное течение в историографии, жестко противостоявшее «советскому тоталитаризму» с его истоками в Октябре. Претерпело изменение и «ревизионистское» течение, разрабатывавшее социальную исто-

¹ Это не означает, что «ревизионизм» начал «сходить со сцены». Известный американский историк Ф. Вчисло свидетельствует, что «социальная история» в исследованиях не только продолжает существовать, но и развивается (см.: Slavic rev. – 2008. – Vol. 67, N 1. – P. 241). В 2008 г. журнал «Slavic Review» организовал дискуссию о «ревизионизме». Ведущая представительница этого направления Ш. Фицпатрик, высоко оценивая значение «ревизионизма» для науки, закончила свою статью словами: «Да здравствует ревизионизм (и постревизионизм тоже!») (Slavic rev. – 2008. – Vol. 67, N 3. – P. 704). И это не только слова: выходят в свет новые работы «ревизионистов», переиздаются старые и, в частности, известный труд Ш. Фицпатрик о российской революции 1917 г. (30).

рию, в первую очередь рабочего класса, и воспринявшее некоторые подходы к проблематике революции из советской литературы. Неожиданным для специалистов было резкое сокращение финансирования научных исследований в университетах США, соответственно сократился преподавательский штат. Появились даже безработные доктора наук, которые, защитившись в таких университетах, как Гарвард и Стэнфорд, не могли найти себе работу в вузах (3, с. 30–31). Социальные историки вносили коррективы в свои исследования (48; 74, с. 8). Беспристрастность в некоторых работах сменилась обвинительным тоном. Впрочем, их же коллеги вовремя заметили это и критически отозвались о такой метаморфозе. С. Смит считал, что если «подходить к русской революции с явной враждебностью», то понять ее будет трудно (89, с. 263). У большинства публицистов, как русских, так и иностранных, отношение к революции было полностью отрицательным, как к «абсолютной моральной катастрофе» (9, с. 93). Однако такая позиция, с точки зрения профессионального историка на Западе, является слишком упрощенной и подразумевает взгляд на революцию как на сознательные действия, которые изначально не принимают во внимание различные исторические обстоятельства.

Обывательское представление о революции, свойственное публицистике, с давних пор очень простое: революция – дело фанатичных заговорщиков, захватывающих власть, чтобы навязать утопическую программу обществу, которое ее не желает, и действующих далее в целях сохранения власти со все возрастающей жестокостью, пока общество не восстанет против своих мучителей и не свергнет их. Такая картина, хотя внешне и правдоподобна, на самом деле глубоко ошибочна в силу того, что абсолютно не учитывает подлинную природу, причины и следствия революции. Революция не просто сознательный захват власти, хотя такие действия имеют место в процессе ее развития. Это объективный процесс, и он начинается и развивается постепенно, независимо от воли отдельных личностей, хотя последние могут тешить себя иллюзиями, будто они полностью контролируют и направляют ситуацию. Так, император Наполеон заявлял, находясь уже в ссылке, что «революцию нельзя ни начать, ни остановить». А Ленин в январе 1917 г. считал, что «мы, старики, может быть, не доживем до революционных битв этой грядущей революции» (9, с. 93). Личность может влиять на формы, сроки и другие детали революционного процесса на том этапе, когда она находится у власти. Поворотные события, которые зависят от решения вождей, возникают в критические моменты революционного процесса. В октябре 1917 г., несмотря на требование Ленина начать вооруженное восстание, его окружение (включая Троцкого), надеясь на мирный захват власти съездом Советов. И только вялое противодействие правительства Керенского ускорило действия боль-

шевиков и дало Ленину предлог для силового захвата власти, к которому он так долго призывал (9, с. 95–96).

Для зарубежных историков с 1991 г. история русской революции стала историей «в новом смысле». Теперь они могут, во-первых, видеть систему, порожденную Октябрем, в перспективе (ее начало, середину и конец) и, во-вторых, испытывать меньшее влияние современной политики, уйти от советологической проблематики и трактовки революционных событий в России. Но это вовсе не означает, что история русской революции перестала быть объектом политических споров и страстей или что она «кончилась» в том смысле, который имел в виду Ф. Фюре, говоря о французской революции (89, с. 263). «Новой» история русской революции для зарубежных историков стала и потому, что они могут теперь судить о ней во всеоружии фактов, впервые получив доступ в архивы на равных с их российскими коллегами. Впервые сотрудничество западных и отечественных ученых приобрело впечатляющие масштабы: устраиваются совместные конференции, публикуются совместные сборники документов, статей, монографии, частыми стали переводы и переиздания зарубежных работ в России, выступления в нашей периодике известных специалистов (1; 3; 7; 8; 9; 10; 19; 28; 76; 89 и др.).

Триумф «новой культурной истории» и реинтерпретация революций 1917 г.

Современная историография отмечена и триумфальным шествием «новой истории» (т.е. истории интеллекта, менталитета, дискурсов и семантики). Это научное направление зародилось давно, но в российедении широкое обращение к нему началось со времени развала СССР и именно на его основе – подходов к познанию прошлого и методах исследования – и происходит интенсивная «реинтерпретация» революций 1917 г.

Основополагающие принципы новой истории: тотальная широта охвата тематики, нестесненность догмами позитивизма и марксизма, первостепенное внимание к человеку и его культуре, синтезирующий универсализм, – включение в орбиту исследования достижений других гуманитарных наук и, конечно же, особая «техника» работы с источником, с текстом, предполагающая его «дешифровку» изнутри, на «языке» оригинала (отсюда «лингвистический поворот» в социальных науках), – все это действительно открывает перед учеными широкие горизонты минувшего и объясняет широкое распространение «новой истории». Ныне все чаще употребляется термин «новая культурная история». Исследователи обращают пристальное внимание на человека и процессы развития культуры, происходящие в «своем времени» и в «своей» обстановке, что дает возможность изучать изменения ментальности, идентичности, материальной

культуры, экономической, социальной и политической истории и, таким образом, увидеть в ретроспекции действие «культурной пружины» исторического процесса.

Все чаще в исследованиях по истории России используется и термин «постмодернизм», созвучный «новой культурной истории» прежде всего своим универсализмом, всеохватностью тематики и обращением к культурному измерению социального, к анализу всего многообразия языков культуры. Одно из проявлений перехода историков к постмодернизму – «лингвистический поворот». Зарубежные историки революции 1917 г. отнюдь не все и далеко не всё принимают в постмодернизме, но тем не менее с большим оптимизмом смотрят на использование его методов, полагая, что в ближайшие десятилетия наиболее серьезные труды создадут именно те ученые, которые к дискурсам истории отнесутся как к дисциплине, подчиняющейся воздействию языка. По крайней мере у его представителей есть убеждение, что постмодернизм – объективно существующая реальность и необходимо «использовать все лучшее», что есть в нем, позволяющее изучать сюжеты, прежде не затрагивавшиеся в науке, и пересмотреть, по-новому интерпретировать историю (81, с. 261–262, 268).

Имеется и другой аспект современной востребованности «новой культурной истории» – она вобрала в себя то «перепроизводство» специалитов по России, которое вдруг обнаружилось после распада СССР.

Многое подвергается сомнению и переделке. Прежде всего это относится к самому 1917 г. и термину «русская революция», прижившемуся в зарубежной литературе. Во-первых, в 1917 г. произошло два события (одно – в Феврале, другое – в Октябре), традиционно называемые революциями. Во-вторых, в этих переворотах участвовали не только русские, но и представители других народов. И (вероятно, это самое важное) многие историки серьезно сомневаются, было ли то, что произошло в 1917 г., революцией. Исследователи по-разному определяют начало и конец революционного процесса. Датировать ли его начиная с голода 1891 г.? Как рассматривать время от Февраля до Октября? Можно ли отодвигать хронологическую грань Гражданской войны до 1924 г. (и даже до 1930-х годов)? И потом, какой критерий использовать при датировке (89, с. 1–2)?

Ученые, несмотря на многие расхождения в оценках развития истории России в ее роковые годы, по-прежнему делятся в историографии на «оптимистов» и «пессимистов». «Оптимисты» считают, что царизм мог мирно развиваться в процветающую капиталистическую демократию. Экономика переживала рост, зерна демократии проросли в Государственной думе, общество все более становилось независимым от государства. Для «оптимистов» революции в Феврале и Октябре 1917 г. были результатом несчастливого стечения обстоятельств, проявившихся главным

образом в ходе Первой мировой войны. В 1917 г. Россия вместо предстоявшего ей блестящего будущего окунулась в десятилетия бедствий.

«Пессимисты» же полагают, что уже до 1914 г. царизм находился в состоянии назревающего революционного кризиса, общество и режим разделила пропасть. Царя презирали. Правительство не имело никакой поддержки. Напряжение между царем и народом усиливали экономические и социальные изменения. Города были центрами недовольства, застрельщиками всеобщего натиска на самодержавие. Для «пессимистов» не столько важен был вопрос о том, стоял ли Николай II перед революцией, сколько вопрос о том, какого типа революция его сметет: дворцовый переворот, оппозиция в парламенте или социалистическая революция на улице (48, с. 1). Но «пессимисты» и «оптимисты» могут вполне мирно ужиться на страницах, например, сборника статей. Так, в одном из них, изданном в честь Р. Маккина, говорится, что его авторы (оптимисты) и пессимисты разделяют пессимизм Маккина относительно того, что «позднеимперская Россия могла эволюционировать в стабильную конституционную монархию» (48, с. 8).

Многие приоритеты историографии русских революций, находящейся в развитии и интеллектуальном поиске, уже определились или по крайней мере их контуры хорошо обозначились. С. Смит, видимо, прекрасно знал о ее состоянии десятилетие тому назад, если современное ее развитие на удивление «близко к тексту» того «сценария», который он написал в виде долговременной, на двадцать лет, программы («Повестки дня») предстоящего изучения русской революции на Западе и оказавшейся столь пророческой (81, с. 261–282). Абсолютно точным был его «прогноз» о грядущем широком применении в исследовании истории революции методов «лингвистического поворота» и все большей приверженности историков к «новой культурной истории». И даже тогдашние его пожелания коллегам вносить в свои работы свет теории, видеть свою тему в контексте перипетий революции и выходить на серьезные обобщения, а также быть точными в терминологии («государство», «власть», «демократия», «государственность», «революционная демократия») актуальны и ныне.

«Повестка дня» включает десять пунктов. В начале этой «десятки» речь, в сущности, идет о социальной идентичности (термин, впервые употребленный применительно к России Л. Хеймсоном) – классовой, гендерной, а также национальной и этнической, по которым разделяется общество. Смит считал, что социальные исследования следует расширить, изучая прежде всего эти идентичности в духе постмодернизма, не ставя акцент на анализе социальных групп. Рассматривая вопрос о классовой идентичности, он подчеркивал, что формирование класса как «субъекта истории» было не только следствием социально-экономических изменений, но и реконфигурацией дискурса, в котором класс стал организующим

центром для перестройки социальной действительности. Обращаясь к истории рабочего класса, автор ставил будущим исследователям вопросы: что было специфического в русском рабочем классе, действительно ли он приобрел после 1905 г. революционное классовое сознание? Или у русских рабочих просто были обычные устремления, которые уже не могли быть реализованы в 1917 г. без глубокого изменения в балансе власти (81, с. 264)? Смит считал, что надо исследовать комплекс взаимоотношений между «классом» и «народом» в 1917 г. для того, чтобы ответить на вопрос, проходил ли тогда основной водораздел между классами или между народом в целом и правящими кругами. В этой связи он усиленно рекомендовал изучать язык классов.

Обращаясь к гендерной истории, автор показывает, что она дает новые возможности для изучения политической истории. Например, мобилизация мужчин на фронт вызвала резкий рост численности женщин-работниц, сыгравших свою роль и в революции.

По мнению С. Смита, национальная идентичность, как и классовая идентичность, не представляет собой результата непосредственных социальных и политических изменений, причем эти идентичности не отменяют и не взаимоисключают друг друга. Война и революция вели к более четкому проявлению национальной и этнической идентичности, особенно в национальных регионах страны. В традиционных обществах она стабильна и малоизменчива, в современных обществах – подвижна, множественна, саморефлективна. Трансформация идентичности в русской революции, по мысли Смита, – весьма благодатная тема для исследования.

Последующее содержание «Повестки дня» – о власти, политической истории, языке, о культурной истории и сравнительном исследовании. Власть, как подчеркивал Смит, не только грубая сила принуждения. Она многообразна по своим проявлениям и проникает во все сферы социальной деятельности. Если так рассматривать власть, можно понять ту смесь энтузиазма, надежд, страха, насилия, апатии, которая в итоге позволила консолидироваться большевистскому режиму.

Как полагал С. Смит, много бы дало для понимания политической истории и исследование бюрократии в 1917 г.: коррупции, произвола, отсутствия четкой системы административных правил и невозможности добиться быстрого рассмотрения дела, приоритета чрезвычайных мер перед законом. Эти черты оставались весьма важными для политической культуры России. История гражданского общества в России тоже ждет своего исследователя. Пока эта история в зародыше. Надо изучать корни обществственности – и не только ее требования представительного правления, но и новые институты, дискурсы и т.п. Изучение прессы и читательского восприятия, новых форм общения показало бы, что столичная бюрократия была более далека от понимания общественности, чем местная.

И, конечно, историки должны знать, каким языком говорила революция – язык «дал форму русской революции» (81, с. 277). В революционных ситуациях язык существовавшего строя, как и сам строй, рушится. Такие ситуации вызывают «экстраординарность» – дискурс, способный дать систематическое выражение хаосу происходящего. В революциях появляются новые языки и символические практики, через которые могут осуществляться политические требования. Детальное исследование политических дискурсов 1905–1920-х годов может дать более глубокое объяснение того, что происходило в России тех лет, ответить на вопросы: почему социализм становится предпочтительной идеологией политики в 1917 г.? Что различные социальные группы понимали под демократией? Что способствовало демократизации социальных структур? Почему антипатия к буржуазии была так широко распространена в российском обществе?

С. Смит отмечает также необходимость изучения истории рыночных отношений и предпринимательства, влияние экономического развития на социальные связи и необходимость выяснить, в частности, причины враждебности в России к кулакам-мироодам, скупщикам, мешочникам, нэпманам. Не написана еще и история процесса развития массового потребления в России.

Автор особое внимание обращает на культурную историю. Она, по его мнению, станет центральной для понимания исторических перемен. Одним из методов, который поможет ученым многое пересмотреть в истории русских революций, – сравнительное исследование. Сравнительная история будет способствовать, как надеется автор, пониманию уникальности революции 1917 г. Двоевластие, например, было сугубо российским явлением. И Советы нигде не сыграли такой роли, как в России. То же самое можно сказать и о фабзавкомах. Вместе с тем прошлое России надо видеть в контексте европейской и мировой истории, «вписать» ее в этот контекст. И слово автора не расходится с делом: он сам, например, применяет сравнительный анализ при изучении российской революции (80). Его коллеги тоже не чуждаются такого анализа (22; 54; 56).

Разумеется, «Повестка дня» С. Смита не была «руководством к действию» для западных историков. Но, вероятно, совпадение программы и намеченных в ней перспектив с действительным изучением революции в историографии объясняется собственными потребностями развития этой области науки. Исследователь лишь зафиксировал то, что уже «носилось в воздухе». И при этом учтены отнюдь не все его рекомендации и указания на нерешенные и важные вопросы. По-прежнему малоизученными остаются, например, голодные бунты, степень спекуляции и хищений во время Первой мировой войны, дворцовые заговоры накануне Февральской революции, значение Учредительного собрания и т.д.

Но в целом переосмысление истории приобрело такие впечатляющие масштабы, что захватило не только всё «пространство» революции, но и практически всё прошлое России. Западные историки освобождаются от наследия «холодной войны» и от вольного или невольного следования за «нарративами» советской историографии. С. Смит, «кающийся» социальный историк, признающий определенную наивность своих коллег из лагеря социальной истории и правильность критики в их адрес, пишет о том, что, поддерживая социальную интерпретацию российской революции, они не всегда помнили о вездесущности власти в российской и советской истории, влиявшей на формирование проблематики, приоритетов и терминологию западных ученых. Это происходило как бы в их подсознании, и потому даже тогда, когда они опровергали те или иные положения истории Октября, все же невольно следовали за советским нарративом (81, с. 267). С «падением коммунизма» в известной мере заново воссоздается история российских революций, хотя это вовсе не значит, что раньше проблематика работ западных ученых была ложной или что западная историография зашла в тупик, – просто стало очевидным, что «рассказчик» советской истории действительно их завораживал. Урок: главное не обновлять историю революции, а представлять ее читателям такой, какой она была в действительности.

Неудивительно, что в процессе пересмотра истории революции и в воссоздании ее нового облика советская литература об Октябре воспринимается весьма критически. Но не только потому, что легенды или мифы об Октябре не вписываются в истинную историю революции. Скорее потому, что, как поворотный исторический момент в рождении нового социалистического государства, революция и легенды о ней формировали основные принципы советской идеологии и идентичности.

Это отразилось и во взгляде на школьные учебники советского времени: «Октябрьская революция, или правильнее, легенда об Октябре, была главной темой исторического обучения в Советском Союзе», и эти учебники играли «важную роль в формировании советского человека и советской идентичности» (46, с. 100–112).

Но и противоположный, крайне негативный образ революции, как он отразился в учебниках ельцинской поры, а более всего в публицистике, был мало кому приемлем из западных историков, хотя они и понимали этот кондовый негатив как своеобразную очистительную реакцию российского общества на только что минувшее (89, с. 263).

Переосмысление истории революции идет в академической тональности с учетом первостепенной важности современного развития России. В литературе рефреном звучит мысль о том, что нынешние коллизии в России по социально-экономическим проблемам, демократии, автономии и независимости народов, статуса великой державы и т.д. подтверждают

необходимость изучения российской революции 1917 г., в ходе которой вставали те же проблемы (91, с. 9).

Россия начала XX в. в общеевропейском контексте

Революция 1917 г. в России, ее 70-летний коммунистический опыт, ошеломляющие события двух последних десятилетий, взятые в целом, дают основу «для полной переоценки современной российской истории», фактической интеллектуальной цензуры между тем, что произошло, и настоящим (76, с. 203). Наша страна воспринимается теперь частью научного сообщества за рубежом как европейское государство, продолжающее, несмотря на все трудности, развитие, прерванное революцией. Более того, существование новой России подвигнуло ученых к пересмотру ряда, казалось, незыблемых положений западной историографии России и ее революций. Авторы сборника статей с характерным названием «Россия в европейском контексте. 1789–1914. Член семьи», изданного в 2005 г. (76), поставили своей целью пересмотреть общепринятое положение о России как стране, чья особая исключительность фатальным образом уводила ее в сторону от европейского пути развития и обусловила все проблемы в XX столетии (76, с. 8, 97). Они приходят к выводу, что Россия при всех ее особенностях – «типичная европейская страна» (57, с. 6). Авторы сборника высказывают мнение о том, что, может быть, пришло время отказаться и от широко распространенного представления об «отсталости» России. По крайней мере, несмотря на безусловное удобство этого термина, им надо пользоваться осторожно и «четко объяснять, что мы решили обозначать им» (76, с. 9).

Статья одного из редакторов сборника, профессора М. Меланкона «Взгляды России на настоящее и будущее. 1910–1914: Что говорит нам пресса» (автор проанализировал более ста различных российских газет того времени) – попытка переосмысления прошлого России в русле новой культурной истории. В статье освещаются представления русского общества о политике, правах человека, экономическом развитии, гражданском сознании, его взгляды на рабочий вопрос в предвоенные годы. И хотя автор отмечает, что традиционная интерпретация углубляющейся пропасти между правительством и обществом верна, он, однако, видит и несходство между суждениями историков и российской действительностью тех лет (76, с. 203). По мнению М. Меланкона, российское общество считало, что во всех сферах деятельности страна развивается в соответствии с западными, европейскими моделями. О «специфическом русском пути», о «русской идее» во всех исследованных газетах не было и речи. Более того, пресса и другие общественные дискурсы уделяли мало внимания авторитарической культуре, темным массам и социальной фрагментации. У автора

есть некоторые сомнения в том, что высказанные в прессе соображения адекватно отражали реальность. Возможно, на страницах газет было и смешение отвлеченного философствования с реальной действительностью. Но он тем не менее констатирует: «Во всяком случае мы исследовали новое гражданское сознание до формирования каких-либо теорий о предреволюционной России» (76, с. 222). В том же ключе пишут и другие участники сборника. Так, немецкий историк Л. Хефнер, проведя сравнительный анализ различных русских обществ с европейскими, подчеркнул, что это сравнение не только не выявляет уникальности и отсталости страны, но, напротив, показывает быстрое развитие в стране буржуазной культуры (35, с. 151). Исследования России предвоенного времени, по заключению М. Меланкона, оттеняют роль Первой мировой войны как истинной разрушительницы империй, а событий 1917 г. – как объясняющих приход к власти большевиков (76, с. 222).

Проблемы русской исключительности пересматриваются и в связи с переосмыслением теории модернизации, занимающей одно из ключевых мест в объяснении предпосылок революции 1917 г. Книга американского ученого Дж. Гранта, новационная уже по избранной теме, первое исследование в зарубежной историографии персоналии одного из столпов российского бизнеса А.И. Путилова, справедливо аттестуется С. Маккеффри как бросающая вызов «принятым идеям о русском капитализме в конце старого режима». В унисон высказываются и другие специалисты. Так, в аннотации на эту монографию отмечалось: «С появлением капиталистической системы в Российской Федерации в 1990-х годах научные дискуссии о характере российского капитализма оживились». Вышедшая в свет книга Дж. Гранта – «главный вызов общепринятой мудрости о характере русской экономики в годы, предшествовавшие большевистской революции». О том, что это исследование вносит новое в дебаты о капитализме в России, пишет и американский профессор Т. Оуэн (34).

Дж. Грант высказывает мысль о том, что роль государства, даже в таком, казалось, зависимом от него предприятии, как Путиловский завод, преувеличивается (34, с. 5). Пример промышленного гиганта показывает, что эта акционерная корпорация действовала и развивалась в рыночных условиях так же, как крупное предприятие в Европе и США. Несмотря на различия в правовой сфере и политической системе с западными государствами, рыночные отношения определяли деятельность компании и в самодержавной России – она успешно функционировала и «процветала при самодержавном государстве» (34, с. 150, 151).

С этих позиций Дж. Грант и оценивает историографию российского предпринимательства, экономического развития страны. История российского бизнеса фактически еще не написана. А немногие исследователи, которые им занимаются, в основном изучают крах буржуазии в целом, по-

следовавший в 1917 г., а не конкретных ее представителей и их бизнес до революции. Историки заворожены этой трагической концовкой, и она сказывается на их изысканиях. Явное предпочтение в исследованиях отдается московским предпринимателям, их политической деятельности и амбициям, в ущерб петербургским, чья история заслуживает не меньшего внимания, учитывая их роль в модернизации России (34, с. 10, 11). Авторов даже новейших исследований Т. Оуэна и С. Маккеффри меньше интересует деловая практика предпринимателей, чем капитализм как система. Вписывая предпринимательство Путилова в эту систему, в экономическое развитие России, автор показывает эволюцию теории модернизации с ее «основоположника» А. Гершенкрона, считавшего, что индустриализацию в основном проводило государство и Россия являла собой пример не столько исключительности, сколько отсталости в индустриализации. Р. Гатрелл и П. Грегори показали, что А. Гершенкрон преувеличил роль государства в промышленном развитии. Дж. Маккей, выяснил, что частные предприятия играли заметную роль в привлечении иностранного капитала.

В настоящее время, после некоторого спада интереса к теории модернизации, она вновь в центре дискуссий о развитии России в позднимперский период. Ныне высказываются две основные точки зрения на модернизацию, вокруг которых и кипят споры. Представители первой убеждены, что развитие России с 1861 г. вело к модернизации экономики и общества. Они считают Россию современной, указывая на урбанизацию, рост грамотности, бурное развитие промышленности и снижение доли сельского хозяйства в экономике и т.д. Сторонники второй точки зрения утверждают, что российские предприниматели вели дело в иных, чем на Западе, условиях, другими были история страны и ее политический строй. Поэтому, как полагают, например, Ф. Карстенсен и Г. Гурофф, Россия не модернизировалась, не смогла модернизироваться, хотя и индустриализовалась. Их поддерживает и Дж. Брэдли. Автор рассматривает и позиции других ученых: А. Чендлера, Й. Кассиса, Р. Рузы, Дж. Кипа, работы советских историков (А.Н. Боханова и др.).

Фактический материал книги Дж. Гранта опровергает тезис Т. Оуэна о том, что «царское самодержавие и современная корпорация совершенно несовместимы» (34, с. 150). Своим содержанием книга спорит и с модификацией этого тезиса Т. Оуэном, считающим, что Р. Гатрелл «проник в логику самодержавного правления, которое одновременно и стимулирует экономическое развитие, и мешает ему» (74, с. 107).

В новейшей литературе указывается на «несовместимость» экономического развития страны, зарождение гражданского общества и т.д. с самодержавием, неспособным эффективно отвечать на эволюционные вызовы модернизации, требовавшей нового отношения государства к обществу (48, с. 9–10). Главным тормозом прогресса являлся самодержец (там

же, с. 9–25). В то же время в современной литературе отмечается, что принцип *laissez-faire* не был популярным в русском дискурсе (76, с. 220). Современная историография не ставит все точки над *i*: «Вопрос о русской модернизации остается» (34, с. 6). Проблема недостаточного распространения индустриализации и капитализма достойна серьезного анализа (76).

Проблема социальной стабильности и русское общество начала XX в.

Никто из историков не оспаривает, что модернизация и экономическое развитие страны оказывали сильнейшее влияние и на его социальную стабильность. Но о том, каким это было влияние и какую оно роль сыграло в «роковые годы» в России, всегда обсуждалось весьма активно. Проблемы социальной стабильности и поляризации общества и теперь, во время переосмысления историографии о революции, привлекают внимание ученых. Иногда у них возникают и неожиданные параллели и ассоциации. В основном они с разных сторон «щиплют» ту модель, которую Л. Хеймсон предложил еще в 1964–1965 гг. и скорректировал в 2000 г. (76, с. 221) и которую восприняли многие его коллеги. Современные авторы критикуют эту модель за то, что в ее интерпретации российское общество в предреволюционные годы было безнадежно расколото. Оно выступало против правительства в целом, и в то же время не было мира между его различными социальными слоями. Неудача деятелей Февральской революции, не сумевших утвердить либеральный конституционализм вела к дальнейшему обострению внутренних противоречий, и только радикальный авторитаризм, такой, какой был навязан большевиками, открывал перспективу сохранения государства от действия мощных центробежных сил, развязанных социальной борьбой (76, с. 203).

Профессор М. Меланкон и его коллега А. Пэйт показывают, что такого катастрофически резкого разделения в русском обществе не было (76, с. 223). И даже в своей книге о Ленском расстреле рабочих в 1912 г. М. Меланкон утверждает, что историю российского общества и государства можно лучше понять, исходя из модели «социального согласия», чем модели «общественной фрагментации» (60, с. 153). А. Пэйт отмечает растущее сознание рабочих, которые стремились сами устроить свою жизнь, не особенно склоняясь к политическим поводам, большевикам, например, как это проявилось при выборах в страховые кассы. Для А. Пэйт очевидно: рабочие верили, что государство и работодатели обеспечат их экономическое и социальное благополучие. В представлении рабочих индустриализация вела к политическим, социальным и экономическим изменениям, которые, как они считали, улучшат их жизнь. Только политическая борьба революционных интеллигентов, повлиявшая на ход страховой

кампании, лишила рабочих возможности действовать самостоятельно и понять свою роль в гражданском обществе (76, с. 198).

Р. Маккин считает, что большинство рабочих не обладали социалистическим мировоззрением до февраля 1917 г. Довоенные стачки были направлены на улучшение жизни и труда и не носили антикапиталистического характера. Политизация рабочих началась в месяцы, последовавшие за отречением Николая II (48, с. 3). Как сказано в одной из статей о царской охране, она действовала столь эффективно, что парализовала организованную оппозицию. Профессиональные революционеры не приняли участие в Февральской революции (48, с. 60). Я. Тэтчер замечает, что такая партия отличается от той, которая изображается в мифах о революционном рабочем классе. Впрочем и эти исследователи соглашаются в том, что дело эволюционного реформизма было проиграно еще до начала Первой мировой войны из-за рабочей политики самодержавия. Ограничения легальной деятельности рабочих организаций и репрессии вызывали недовольство мастеровых, подозрения и вражду к власти. А тяжелые условия жизни, которые усугубила война, сделали их восприимчивыми к радикальным лозунгам, и в 1917 г. они в большинстве своем поддержали социалистов (48, с. 4, 116–117).

Английский историк Д. Мун оценивает социальную стабильность на протяжении нескольких столетий и усматривает в веках три очага смуты: 1598–1613, 1905–1907, 1917–1921 гг. За исключением этих трех кризисов стабильность «была нормой» (63, с. 55). И в конце существования императорской России крестьяне начали медленно и постепенно создавать более новую и широкую идентичность, так как стремились приспособиться к меняющемуся миру, частью которого они были (48, с. 141). Собственно, неотзывчивости крестьян на революционную смуту, их стремлению жить законопослушно и решать возникающие спорные дела миром посвящена и работа Д. Бербанк о волостных судах, материалы которых говорили языком самих крестьян и на котором их пыталась понять исследовательница. И, как она полагает, не вина, а беда крестьян, что их втянули в кровавый кошмар революционного междоусобия (16).

По мнению Д. Муна, «самой впечатляющей чертой всех трех кризисов был не социальный конфликт, а разобщение внутри правящих элит и противоречия между потенциальными элитами» (63, с. 68). Существенный и, пожалуй, решающий фактор в падении Николая II и царского режима в феврале-марте 1917 г. – разброд, разъединение среди элиты. Именно генералы убедили Николая II отречься от престола перед лицом неминуемого военного поражения и восстания гарнизона Петрограда. Крах старого режима позволил недовольству, десятилетиями подавляемому, вылиться в социальную революцию. Главным в революционном кризисе 1917 г. и последующих событиях была борьба за власть между умеренными либера-

лами и социалистами, белыми и большевиками. Последние победили и просто уничтожили социальную революцию (74, с. 68). К аналогичному заключению приходит и У. Розенберг (75, с. 150, 176, 179).

В свою схему Д. Мун неожиданно встраивает и недавние события в России: «Непосредственной причиной краха партии и коллапса советского строя в 1991 г. было глубокое разногласие внутри партийной иерархии о продолжении все более радикальных и все более безуспешных реформ Горбачева» (74, с. 68–69). Отдал дань концовке этой схемы и видный английский ученый Дж. Хоскинг. Поставив вопрос о том, почему рухнул Советский Союз, он отвечает: «Частично из-за национализма, но только частично». По его словам, крушение Советского Союза было вызвано главным образом борьбой за материальные и другие блага внутри номенклатуры, борьбой, которую горбачевские реформы выпустили наружу (74, с. 222).

Так причудливо историческая мысль некоторых западных ученых связала воедино Смутное время, революции начала XX в. и распад СССР.

Крестьянство и Временное правительство: Культурный конфликт

В исследованиях О. Файджеса, одного из крупнейших современных историков российского крестьянства, ярко проявляется и его приверженность «новой культурной истории», что ясно даже из их названий (26; 27; 28). Автор, изучая взаимоотношения крестьянства и Временного правительства, подчеркивает, что судьба революции зависела от того, удастся ли вывести из культурной изоляции и интегрировать в государственную политическую структуру крестьян, – не только для того, чтобы они обеспечили страну продовольствием, но, чтобы, как сознательные граждане, приняли участие в выборах в Учредительное собрание. «Темнота» крестьян и ее опасность для революции были и постоянным рефреном демократических агитаторов в деревне в 1917 г. Автор пишет, что язык был ключом к культурной интеграции крестьянства. Но существовал разрыв между политическим языком городов и словами, в которых крестьяне выражали свои социальные и политические понятия: «Терминология революции была иностранным языком для большинства крестьян» (27, с. 76). Такое непонимание служило главным препятствием для демократического дела в деревне. Его пропагандистам приходилось преодолевать огромную лингвистическую пропасть, чтобы воздействовать на крестьянство. Демократическая революция в городах говорила на непонятном для крестьянства языке. Например, идея республики воспринималась как монархическая. Культура крестьян была препятствием между демократией города и деревней. Зато большевики нажили на этом политический капитал в деревне.

Их терминология находила отклик в крестьянских устремлениях, в их религиозных идеалах социальной справедливости (27, с. 100).

Язык оставался основной проблемой для демократической мысли в деревне даже после попыток в течение восьми месяцев создать там новую политическую культуру. Лидеры Февральской революции пытались проводить идеи демократии через газеты, брошюры и устную пропаганду. Но внести в деревню новые идеи мешал «скрытый переводчик» демократического дискурса, давая другое значение многим его терминам. Главной целью демократов было уничтожение классовых различий, решение социальных конфликтов и в конечном итоге создание нации граждан. Однако политика Временного правительства, идеи государственности и принудительной власти истолковывались крестьянами по-своему, в соответствии с их пониманием и интересами и потому на практике Временное правительство получало результат, противоположный его ожиданиям – социальное разделение только усиливалось. Язык, более чем что-либо другое, определял крестьянскую самоидентификацию и объединял их против образованных классов в городах (27, с. 102).

На одной из международных конференций справедливо говорилось о стабильном интересе историков к проблемному комплексу с условным названием «русский либерализм», чему действительно удивляться не приходится, так как он представляет собой один из ключей к раскрытию проблем модернизации России, тенденций и альтернатив развития, континуитета и разрыва преемственности в ее истории XIX–XX вв. (10, с. 405). И было бы, конечно, странно, если бы новые веяния в западной историографии русской революции не коснулись бы его, тем более что два вечных «почему» – почему рухнуло самодержавие и почему не удержалось Временное правительство и восторжествовали большевики, – напрямую связаны с либералами. Они пришли на смену старому режиму и оказались «калифами на час» (на восемь месяцев), уступив, в свою очередь, власть самой радикальной политической партии. Отсюда и перманентный интерес к российскому либерализму и у современных зарубежных историков. Некоторые из их новаций, например концепт «социально-моральной среды» для изучения либеральной субкультуры применительно к кадетской партии, уже опробованы отечественными специалистами (10, с. 406–407). Вместе с западными историками осваивается нашими учеными и «лингвистический поворот» – язык символов и символы языка в революции (28). О. Файджес исследует не только политические и экономические аспекты истории крестьянства, но также и ее культурные и символические составляющие, и все это при глубоком «погружении» в архивный материал. В результате он воссоздает «ясный портрет русского крестьянства в революции 1917 г. при Временном правительстве» (89, с. 74). Думается, однако, что при всем мастерстве «живописца» отсутствие диалога между

крестьянством и Временным правительством, оказавшимся для власти губительным, выписано слишком старательно, чтобы убедить, что именно так все и было и именно язык стоил головы российскому либерализму.

То, что «язык» подвел либералов, показывает и М.К. Стокдэйл. Исследовательница утверждает, что пропаганда патриотизма (через печать, лекции и т.п.), призывы к неустанной практической работе во имя победы светлого будущего, которое непременно настанет после войны и в котором не будет места самодержавию, – эта страстная пропаганда либералов сыграла с ними злую шутку – они помогли накоплению ожиданий перемен в обществе, преждевременно реализованных Февральской революцией (11, с. 290).

Общественные организации в годы войны и революций

Новизна исследовательского подхода здесь очевидна, но при этом все же не оставляет мысль, что что-то похожее уже было в литературе: либералы-де сами раскачивали лодку, в которой сидели, т.е. слышится все-таки в этом подходе шарканье Василия Алексеевича Маклакова, пост-фактум, в эмиграции, идущего пожурить Павла Николаевича Милкокова за излишний радикализм и бескомпромиссность, обернувшиеся для российского либерализма «красной бедой» 1917 г. Впрочем, М.К. Стокдэйл, написавшая книгу о П.Н. Милюкове, полагает, что в известном смысле он «никогда не был либералом» (83, с. 275).

Новизна проникла и в историю либеральных организаций – в изучение Всероссийского земского союза, Союза городов, Военно-промышленных комитетов и др. (3; 17; 24; 43; 45; 55; 68; 69). Земский союз характеризуется как форум для оппозиционных выступлений против существовавшего строя (45, с. 137).

П. Холквист, историк из Корнелльского университета, рассматривает деятельность общественных организаций через призму взаимоотношений общества и власти. Поляризация в обществе для него – непереносимый факт. Ее, однако, он понимает как нечто сублимное, легко приспособляемое под его общую схему видения войны и революции. В изложении П. Холквиста оппоненты самодержавия были все более склонны рассматривать сильное государство как политический идеал и как конкретный инструмент, с помощью которого можно покончить с отсталостью страны. Борьба шла не столько между «государством и обществом» вообще, сколько между самодержавием и образованным обществом по вопросу о том, как лучше использовать государство, чтобы изменить российскую действительность. Это государственничество было отличительной чертой русской политической культуры, и она более всего была присуща кадетам (43, с. 14–15). Возникшие в ходе войны общественные организации осу-

ществляли и государственные функции по оказанию помощи армии. Но они стали и центрами либеральной оппозиции, остро критиковавшими власть за недостаточное использование государственных рычагов в урегулировании экономических проблем и прежде всего в снабжении населения продовольствием. Они ратовали за более жесткое государственное регулирование. К февралю 1917 г. либеральные бюрократы и общественные деятели «выдавили» частных торговцев зерном с рынка. Но когда режим рухнул, они сами столкнулись с проблемами, которые вызвали. Либеральные деятели использовали политику военного времени не для ведения войны, а для перестройки политической системы и общества. К осени 1917 г. политика приобрела милитаристский и мобилизационный характер, который был унаследован советским режимом (43, с. 100–101) и стал как бы прелюдией тоталитаризма.

Но вопрос о том, какую роль сыграли общественные организации в годы войны и революции, остается спорным, и в ходе дискуссии возникают новые взгляды на эту проблему.

Как достижение в современной историографии рассматривается сборник статей под редакцией М. Конрой «Нарождающаяся демократия в позднейимператорской России» (24). Шесть из девяти его статей посвящены земствам.

Сборник не представляет какого-то общего мнения авторов, а, скорее, нацелен на сопоставление разных мнений о возможности мирной модернизации и демократизации России. Мнения его участников разделяются по двум вопросам. Во-первых, можно ли считать развитие земского движения после 1905 г. показателем развития общественных сил вообще? Во-вторых, «усиливало ли развитие прагматического земского движения управляемость страной в целом и тем самым способствовало ли мирной модернизации страны и выживанию режима в тотальной, мировой войне?» (24, с. 35, 58).

Т. Портер и У. Глисон на эти вопросы отвечают утвердительно, на второй – в статье, посвященной Всероссийскому земскому союзу (ВЗС) («Демократизация земств во время Первой мировой войны») (68). По их мнению, история Земского союза показывает начало гражданского общества, которое могло привести к политическому и экономическому росту страны. К концу 1916 г. Земский и Городской союзы не только олицетворяли инициативу и гражданское сознание общества, но и представляли законные требования и чаяния российского либерализма (68, с. 235, 239). Правительство же было расколото между МВД и хозяйственными ведомствами, по-разному смотревшими на работу земств. Кризис управления возник из-за страха правительства перед ВЗС, полицейского вмешательства МВД в дела тотальной мобилизации ресурсов, а также инертности Государственной думы, которая не смогла осуществить реформу местных

учреждений, ядром которой явилось бы введение волостных земств. Таким образом, Т. Портер и У. Глисон «придерживаются вполне классической точки зрения» (24, с. 35–36).

К. Мацузато в статье «Межрегиональные конфликты и крах царизма: Настоящие причины продовольственного кризиса в России осенью 1916 г.» выражает совершенно противоположную точку зрения (55, с. 243–300). Как пишет М. Конрой, К. Мацузато «отвергает теорию, что поляризация между правительством и обществом вызвала революции 1917 г.» (24, с. 20). По мнению К. Мацузато, правительство уже в начале войны сумело создать инфраструктуру для мобилизации ресурсов, используя земство. Но за это пришлось «платить», передавая земствам часть государственных полномочий, допуская их к регулированию железнодорожного транспорта. А беспорядок здесь стал причиной продовольственного кризиса, возникшего из-за местнического использования железных дорог земскими изготовительными органами. «Если говорить коротко, – пишет К. Мацузато, – царизм пал из-за межрегиональных противоречий» (4, с. 146; 24, с. 22–23). Взяв «периферийную» тему, казалось бы, частный сюжет, японский исследователь показывает, что земства своим местничеством, своим хлебно-железнодорожным эгоизмом привели к политическому инфаркту столицу империи, а с ней и все романовское государство. Неосмотрительно «купившись» на легкость и быстроту, с которой можно было мобилизовать местные ресурсы на военные нужды, государство расплатилось потерей традиционного контроля над местным самоуправлением. Это самоуправление фактически получило «на откуп» часть важных государственных функций «по хлебу и транспорту». В условиях разрухи, дороговизны и продовольственного кризиса земства, не усмиряемые властной государственной уздой, при недальновидной правительственной политике по закупке зерна, дали волю всегда дремавшим в них местническим инстинктам, используя свои новые полномочия, чтобы удержать хлеб «для себя» в пределах своей губернии и использовать железную дорогу прежде всего в «собственных видах». В результате – продовольственный тромб, так сказать, «продогенная» (по аналогии с техногенной) катастрофа, приведшая к омертвлению всего государственного организма. Но это произошло и потому, что престиж власти стремительно падал, и она не могла контролировать местнические тенденции земств, связанные с защитой ими своей экономики путем блокирования границ губерний (3, с. 36).

Таким образом, в зарубежной историографии выявился новый подход к освещению отношения земства к правительству – не в рамках политической оппозиции, а как сотрудничества, хотя еще и незрелого и негативного по своему основному результату. Вместе с тем здесь затронута и проблема ослабления власти.

Маховик революции: От краха царизма – до краха демократии

В литературе есть и традиционные версии краха старого режима: Россия упустила время реформ, характер и убеждения последнего монарха, противодействовавшего преобразованиям, как то считает, например, Ш. Галай (2, с. 282), разобщенность в элите, жесткая оппозиция либералов, неукорененность конституционализма в стране, тяготы войны (48; 73; 92; 93 и др.). К этому добавляются и новые «штрихи». В годы войны, как считает У. Фуллер, дело Мясоедова и последующая «шпиономания» подорвали авторитет царской власти, стали чуть ли не важнейшей причиной падения старого режима (32). Даже «невинная» деятельность театральных работников, артистов в годы войны способствовала приближению краха царизма (45, с. 149).

И обращение исследователей к региональной истории революционной России во многом обусловлено тем, что это, как пишет С. Бэдкок, изучавшая Казанскую и Нижегородскую губернии за март–ноябрь 1917 г., «может изменить наши представления о революционном годе России» (15, с. 2). Автор считает, что революционный процесс протекал в «глубинке», разительно отличаясь от его проявлений в столицах. Основываясь на местном материале, С. Бэдкок попыталась выяснить причины «краха демократической партийной политической системы в России» (15, с. 86) и победы большевиков.

Более широкая панорама событий развернута в книге американского профессора Р. Уэйда. Его монография «Русская революция», изданная в серии «Новые подходы к европейской истории» (91), – это общая, очень четкая и сбалансированная работа, в которой действительно есть новые взгляды на историю революции, рассматриваемой в книге в хронологических границах 1917–1918 гг. Он и сам упоминает о том, что заново продумал содержание и интерпретацию ее событий.

Новизна книги состоит прежде всего в том, что в ней делается акцент на истории создания и функционирования различных политических блоков, сыгравших в революции во многих отношениях более важную роль, чем партии. Поэтому столь значительное внимание автор уделяет истории революционного оборончества, умеренного социалистического блока, лидировавшего в революции в течение первых месяцев после Февраля, и радикального левого блока (а не только большевиков) – в последующие месяцы и в Октябрьской революции. Это дает автору возможность выявить все многообразие политических сил, участвовавших в Октябрьской революции, и ту степень, в которой она была частью истинно народной борьбы «за власть Советов», позже известной под названием «большевистская революция». Показывая это, Р. Уэйд рассеивает многие мифы и представления, долго затемнявшие суть произошедшего перево-

рота, который не был ни циничной манипуляцией большевиков невежественными массами, ни тщательно проведенным захватом власти под руководством Ленина, что так часто изображалось в традиционной мифе об Октябре. Рассматривая социальную историю революции, автор подчеркивает важность народной активности и социально-экономических проблем в ходе и результатах революции. Эта революция была рядом параллельных и слившихся выступлений против старого режима: рабочих против экономического и общественного строя, солдат против старой системы службы и войны, крестьян за землю и собственное устройство их жизни, среднего класса и образованного общества за гражданские права и конституционную парламентскую систему, за право наций на самоопределение, большинства населения против бесконечной войны и ее тягот. Все это несло с собой социальную анархию и экономический крах, создавало хаос, в который погрузилась страна.

Революция 1917 г. быстро переходила от одного своего этапа к другому – сначала торжествовали либералы, затем – умеренные социалисты, осенью – радикальные социалисты. Маховик революции в конце концов привел в действие крайних левых в российском политическом спектре. Широкая социальная революция сопровождалась быстро развивавшимся политическим движением. Историки в последние годы противопоставляли социальную и политическую историю революции. Автор же считает, что они были неразделимы. Никакое понимание революции не полно без рассмотрения народных стремлений в их взаимосвязи с деятельностью политических партий. Р. Уэйд пишет также о людях, оставивших свой след в истории революции, и о том, как она протекала в различных местностях страны. Не игнорируя Петроград как центр событий, он рассматривает революцию в губерниях как ее важную и неотъемлемую часть. В особенности это касается национальных меньшинств. Он пишет о значении революции для них и национальных меньшинств для революции. В книге анализируется история крестьянства, фронтовиков, женщин, различных организаций в провинциальной России – всего, что так часто изучается весьма поверхностно.

Таким образом, автор пытается воссоздать как можно более полную картину русской революции. Он серьезно обсуждает и проблему датировки революции. Ее периодизация в различных книгах варьировалась и имела свои резоны, связанные с их тематикой. Время совершения Октябрьской революции традиционно было популярной датой, но это, по мнению автора, преувеличивает значение события, так как большинство современников не считали Октябрь резкой переменой в их жизни. Кроме того, подобная датировка не учитывает значения политических событий в Петрограде и других местностях страны, происходивших в течение двух последующих месяцев, в преобразовании революции для «советской власти» – в

большевистский режим, что мостило путь к Гражданской войне. Популярная дата окончания революции – 1921 г. Эта точка зрения имеет свою логику. Но так или иначе в этом случае нет четкого водораздела между революцией и Гражданской войной. Называются и другие конечные даты революции. Автор же предлагает в качестве таковой 6 января 1918 г. – время разгона Учредительного собрания. Важен не только самый факт разгона – к нему вело множество тенденций, обращавших борьбу за будущее России в форму Гражданской войны. Это будущее уже решалось армией, а не политикой. Революция точно определила свое окончание, Гражданская война началась (73, с. 72–85; 93).

Большевизм и личности вождей большевистской революции по-прежнему привлекают большое внимание современных ученых (50; 51). До сих пор много пишут о Л. Троцком, считая, что именно ему принадлежит «заслуга» захвата власти в Октябре 1917 г. Но эта точка зрения давно укоренена в историографии. Ныне высказывается мнение и о том, что теория перманентной революции Троцкого, выработанная им в 1905 г., «стала руководящим принципом для большевиков в 1917 г.» (88, с. 10). Вместе с тем существует мнение, что революция 1905 г. больше повлияла на Ленина и Троцкого, чем они на нее (88, с. 10, 238, 256). Дж. Свэйи показывает «неопределенной» отношение Троцкого к захвату власти в октябре 1917 г. и предпринимает попытку переосмыслить его роль в первые годы советской власти (73, с. 86–104; 86). Обращает на себя внимание и та серьезная дискуссия, которая развернулась в западной литературе о роли Ленина в истории революционного движения в России. В ней участвовали Р. Зельник, Л. Хеймсон и др. Завершала дискуссию статья Л. Хеймсона в журнале «Критика», в которой он выступил против преуменьшения роли Ленина в российской истории, подчеркнув, что он всегда был верен духу и букве марксизма, несмотря на эволюцию его взглядов, проистекавшую от изменения конкретной действительности, и преследовал свои цели с бешеной энергией и фанатизмом, которые, однако, дорого стоили народу (36, с. 75–79). Раздававшиеся в этой дискуссии голоса о необходимости создания в исследованиях более объективного портрета Ленина нашли отклик, в частности, у профессора К. Рида, написавшего в 2006 г. статью «Восстанавливая исторического Ленина» (73, с. 130–147), а годом ранее опубликовавшего книгу о Ленине. Борьба за «исторического» Ленина продолжается и в новейшей историографии (50; 51).

Проблемы «новой культурной истории»

Подводя итог, следует сказать, что переосмысление истории России и революций 1917 г. в зарубежной историографии в самом разгаре. И правит здесь бал «новая культурная история». Но при всем эйфорическом ув-

лечения ее возможностями, западные историки видят еще не взятые ею вершины и издержки ее применения.

Та всеохватность тематики, которую она щедро предоставляет ученым, уже являет некоторые признаки мозаичной фрагментарности, не воссоздающей цельной картины прошлого, и это «полотно» со временем может обратиться в набор исторических эскизов.

Нет и «скрепляющих» идей, теории, которая могла бы организовать источниковый материал, привести его в стройную систему, ни на йоту не ограничив при этом мысль и творчество ученых, цветущее многообразие их мнений. В литературе как заклинание звучит мысль о необходимости выработки общей теории, которая дала бы возможность воссоздать и новый облик революции (81).

Английский профессор С. Смит, анализируя историографию «русской революции», констатирует «общее недоверие» своих коллег к теории, господство эмпиризма в их работах, уклонение от дискуссий о больших проблемах, что связано с нежеланием делать выводы и привнести теорию в исследования. Все это, по его мнению, лежит в «корне недуга», который переживает историография революций, окутанная «облаком интеллектуальной инерции» (81, с. 265). Это резкое обобщение, но все же, как видно, нет дыма без огня...

Постмодернизм, появившийся как термин впервые – что знаменательно, – в 1917 г. (в книге Р. Паннвица о кризисе европейской культуры), знаменовал собой и тревожную реакцию на воцарившийся в мире хаос, и стремление преодолеть его своей всеобъятностью, в которой он растворил и провалившийся позитивизм, и неприемлемый ему марксизм. Но в нем нет теоретической тверди, и потому надежды историков «новой культурной истории», приверженцев постмодернизма, на выработку новой теории не есть ли своего рода надежда на второе пришествие, – надежда сколь спасительная, столь и бесплодная? И не потому ли так часто «второстепенные», далеко отстоящие от эпицентра событий сюжеты из истории российских революций, становятся «главными» в ее объяснении?

Объективности ради надо отметить, что в последние несколько лет постмодернизм стал подвергаться весьма острой критике со стороны немалого числа историков, философов, литераторов (1, с. 46; 5, с. 781–810; 21 и др.). Обозначилось и попятное движение от него. Один из патриархов россиеведения в США Р. Дэниэлс в рецензии на третий том «Кембриджской истории России» с удовлетворением констатирует, что только в статьях двух авторов из более чем двадцати, написавших эту книгу, используется «постмодернистская методология» с ее тарабарщиной – «дискурсом», «нарративом» и проч., – большая же часть тома «к счастью, свободна от этих инноваций» (21, с. 232).

Есть и «технические» трудности в применении «новой культурной истории» в исследовательском процессе, которые порой превращают в свою противоположность намерение историка познать прошлое, заговорив «на его языке». Совсе нет гарантий, что дискурс не обратится в собственный «нарратив» исследователя, искажающий историческую действительность. Этот сбой легко может произойти, если чрезмерно довериться какому-либо одному дискурсу, не поверяя его другими. Не так ли, например, получилось, когда О. Файджес исследовал причины неприятия крестьянством идей Временного правительства? И не так уж лишено оснований сомнение М. Меланкона, о котором уже велась речь?

Кроме того, не все историки стремятся овладеть первоисточниками, даже архивными, опасаясь, что фетишизация архива может заменить творческое, инновационное мышление (81, с. 266). Это отнюдь не радует некоторых их коллег. Как с грустью замечает японский профессор Кимитака Мацузато, теперь, когда двери российских архивов широко распахнулись перед западными учеными и открылось огромное источниковое пространство для изучения материальной и нематериальной истории России, «некоторые зарубежные коллеги предпочитают читать Мишеля Фуко, нежели архивы» (3, с. 31). «Мы, – продолжает К. Мацузато, – гордились количеством завоеванных архивов, как истребители гордятся числом сбитых самолетов. Подобная профессиональная культура, если и не потеряна совсем, то значительно ослаблена в посткоммунистической историографии. С этим невозможно примириться» (3, с. 10). Даже если К. Мацузато и сгущает краски, то слишком ли?

Еще о возможных терниях на триумфальном пути «новой культурной истории». Она содержит в себе в силу ее релятивизма и безграничной тематики некоторый соблазн для исследователя бросить в ней якорь, потому что это дает возможность улавливать ветер в свои паруса при любой перемене политических и идеологических ветров, которые еще в не столь отдаленные времена осязательно сказывались на историках (81, с. 265), да и теперь еще дают о себе знать. Но это «ойкуменная» и, так сказать, более гипотетическая сторона «новой культурной истории». Существенным же в ней многие считают то, что она открывает широкие перспективы для изучения минувшего.

Зарубежные историки также высоко оценивают потенциал своих российских коллег, прогнозируют дальнейшее расширение сотрудничества с ними. При этом не исключается настолько серьезное продвижение в России исследований по истории революций, что оно может оказать влияние и на их изучение на Западе уже в обозримом будущем (81, с. 280).

Список литературы

1. Биллингтон Д. Россия в поисках себя. – М.: РОССПЭН, 2005. – 224 с.
2. Галай Ш. The Kadet electoral success – a hollow victory // Русский либерализм: Исторические судьбы и перспективы: Материалы междунар. науч. конф., Москва, 27–29 мая 1998. – М., 1999. – С. 279–282.
3. Земский феномен: Политологический подход. – Саппоро: Slavic research center, 2001. – 200 с.
4. Мацузато К. Земство во время Первой мировой войны: Межрегиональные конфликты и падение царизма // Земский феномен: Политологический подход. – Саппоро, 2001. – С. 144–199.
5. Новейший философский словарь. Постмодернизм. – Минск: Современный литератор, 2007. – 816 с.
6. Пайнс Р. Струве: Правый либерал, 1905–1944. – М.: Моск. школа полит. исследова-ний, 2001. – Т. 2. – 680 с.
7. Российская империя в зарубежной историографии: Работы последних лет. Антология. – М.: Новое изд-во, 2005. – 696 с.
8. Россия и Первая мировая война: Материалы междунар. науч. коллоквиума. – СПб.: Дмитрий Буланин, 1999. – 563 с.
9. Россия на рубеже XXI в.: Оглядываясь на век минувший. – М.: Наука, 2000. – 342.
10. Русский либерализм: Исторические судьбы и перспективы: Материалы междунар. науч. конф., Москва, 27–29 мая 1998. – М.: РОССПЭН, 1999. – 567 с.
11. Стокдэйл М.К. Russian liberals and the contours of patriotism in the Great War // Русский либерализм: Исторические судьбы и перспективы: Материалы междунар. науч. конф., Москва, 27–29 мая 1998. – М., 1999. – С. 283–292.
12. Хеймсон Л. Развитие политического и социального кризиса в России в период от конца Первой мировой войны до Февральской революции // Россия и Первая мировая война: Материалы междунар. науч. коллоквиума. – СПб., 1999. – С. 17–33.
13. Хоскинг Дж. Россия и русские: В 2 кн. – М.: АСТ; Транзиткнига, 2003. – Т. 2. – 493 с.
14. Badcock S. Autocracy in crisis: Nicolas the Last // Late imperial Russia: Problems and prospects: Essays in honour of R.B. McKean. – N.Y., 2005. – P. 9–27.
15. Badcock C. Politics and the people in revolutionary Russia: A provincial history. (New studies in European history). – Cambridge: Cambridge univ. press, 2008. – XVIII, 260 p.
16. Burbank J. Russian peasant go to court: Legal culture in the countryside, 1905–1917. – Bloomington: Indiana univ. press, 2004. – XXIII, 374 p.
17. Christian D. Imperial and Soviet Russia: Power, privilege and challenge of modernity. – N.Y.: St. Martin's press, 1997. – VIII, 478 p.
18. Clements B.E. Bolshevik women // The Russian revolution: The essential readings. – L.; Toronto, 2001. – P. 180–205.
19. Commerce in Russian urban culture, 1861–1914. – Wash.; Baltimore; L.: The J. Hopkins univ. press, 2001. – XIII, 238 p.
20. Constructing Russian culture in the age of revolution. 1881–1940. – Oxford; N.Y.: Oxford univ. press, 1998. – XII, 358 p.
21. Daniels R.V. (Recensio) // Slavic rev. – 2008. – Vol. 67, N 1. – P. 231–232. – Rec. ad. op.: The Cambridge history of Russia. – Vol. 3. The twentieth century / Ed. by R.G. Suny. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2006. – XXIV, 842 p.
22. Daniels R.V. The rise and fall of communism in Russia. – New Haven: Yale univ. press, 2007. – XI, 481 p.

23. Duker P. Late imperial Russia in the imperial world // Late imperial Russia: Problems and prospects: Essays in honour of R.B. McKean. – N.Y., 2005. – P. 189–204.
24. Emerging democracy in late imperial Russia. Case studies on local self-government (the Zemstvos), State Duma elections, the tsarist government, and the State Council before and during World War I. – Niwot: Univ. press of Colorado, 1998. – IX, 316 p.
25. Fic V.M. The rise of the constitutional alternative to Soviet rule in 1918: Provisional government of Siberia and all Russia: Their quest for allied intervention. – N.Y.: Columbia univ. press, 1998. – XXVII, 481 p.
26. Figs O. A people's tragedy: The Russian revolution 1891–1924. – L.: Cape, 1996. – XXIX, 923 p.
27. Figs O. The Russian revolution of 1917 and its language in the village // The Russian revolution: The essential readings. – L.; Toronto, 2001. – P. 73–103.
28. Figs O., Kolonitskii S. Interpreting the Russian revolution: The language and symbols of 1917. – New Haven; L.: Yale univ. press, 1999. – 198 p.
29. Fitzpatrick Sh. Ascribing class: The construction of social identity in Soviet Russia // The Russian revolution: The essential readings. – L.; Toronto, 2001. – P. 206–235.
30. Fitzpatrick Sh. The Russian revolution. – Oxford: Oxford univ. press, 2008. – 224 p.
31. Frame M. Culture, patronage and civil society: The atrical impressarios in late imperial Russia // Late imperial Russia: Problems and prospects: Essays in honor of R.B. McKean. – N.Y., 2005. – P. 64–83.
32. Fuller W.C. The foe within: Fantasies of treason and the end of imperial Russia. – Ithaca: Cornell univ. press, 2006. – XIII, 286 p.
33. Gatrell P. Russia's First world war: A social and economic history. – Harlow: Pearson education Ltd., 2005. – XX, 318 p.
34. Grant J.A. Big business in Russia: The Putilov company in late imperial Russia, 1868–1917. – Pittsburgh: Univ. of Pittsburgh, 1999. – VIII, 203 p.
35. Häfner L. «The temple of idleness»: Associations and the public sphere in provincial Russia // Russia in the European context 1789–1914: A member of the family. – N.Y., 2005. – P. 141–160.
36. Haimson L. Lenin's revolutionary career revised. Some observations on recent discussions // Kritika: Explorations in Russian and European history. – Bloomington, 2004. – Vol. 5, N 1. – P. 55–80.
37. Haimson L. Russia's revolutionary experience, 1905–1917: Two essays. – N.Y.: Columbia univ. press, 2005. – XXXIV, 265 p.
38. Haimson L. The «Problem of political and social stability in urban Russia on eve of war and revolution» revisited // Slav. rev. – Wash., 2000. – Vol. 59, N 4. – P. 848–875.
39. Halfin G. From darkness to light: Class, consciousness and salvation in revolutionary Russia. – Pittsburgh: Univ. of Pittsburgh press, 2000. – 474 p.
40. Hanson St. Time and revolution: Marxism and the design of Soviet just. – Chapel Hill; L.: The univ. of North Carolina press, 1997. – XV, 258 p.
41. Hedda J. His kingdom come: Orthodox pastorship and social activism in revolutionary Russia. – DeKalb, Illinois: Northern Ill. univ. press, 2008. – X, 297 p.
42. Hillyar A., McDermid F. Revolutionary women in Russia 1870–1917. A study in collective biography. – Manchester; N.Y.: Manchester univ. press, 2000. – 232 p.
43. Holquist P. Making war, forging revolution Russia's continuum of crisis. 1914–1921. – Cambridge; L.: Harvard univ. press, 2002. – XIII, 359 p.
44. Hosking G. The Russian people and the Soviet Union // Reinterpreting Russia. – L., etc., 1999. – P. 214–223.

45. Imperial and national identities in pre-revolutionary Russia, Soviet, and post-Soviet Russia. – Helsinki: Suomal Kirjallisuuden seura, 2002. – 242 p.
46. Kelly A.M. Toward another shore: Russian thinkers between necessity and chance. – New Haven; L.: Yale univ. press, 1998. – 400 p.
47. Kingston-Mann E. Statistics, social science, and social justice: The Zemstvo statisticians of pre-revolutionary Russia // Russia in the European context 1789–1914: A member of the family. – N.Y., 2005. – P. 113–140.
48. Late imperial Russia: Problems and prospects: Essays in honor of R.B. McKean / Ed. by I.D. Thatcher. – N.Y.; Manchester: Manchester univ. press, 2005. – 208 p.
49. Lauchlan J. The okhrana: Security in late imperial Russia // Late imperial Russia: problems and prospects: Essays in honour of R.B. McKean. – N.Y., 2005. – P. 44–63.
50. Lih L.T. Lenin rediscovered: «What is to be done?» in context. – Leiden: Brill, 2006. – XIX, 867 p.
51. Lih L.T. (Recensio) // Slavic rev. – Wash., 2008. – Vol. 67, N 1. – P. 182–185. – Rec. ad. op.: Daniels R.V. The rise and fall of communism in Russia. – New Haven, 2007. – 481 p.; Service R. Comrades! A history of world communism. – Cambridge (Mass.), 2007. – 571 p.
52. Lohr E. Nationalizing the Russian empire: The campaign against enemy aliens during World War I. – Cambridge; L.: Harvard univ. press, 2003. – XI, 237 p.
53. Longworth Ph. Russia's empires: Their rise and fall: From prehistory to Putin. – L.: Murray, 2005. – XVII, 398 p.
54. Malia M. History's locomotives: Revolution and the making of the modern world. – New Haven: Yale univ. press, 2006. – X, 360 p.
55. Matsuzato K. Interregional conflicts and the collapse of tsarism: The real reason for the food crisis in Russia after the autumn of 1916 // Emerging democracy in late imperial Russia: Case on local self-government (the Zemstvos), State Duma elections, the tsarist government, and State Council before and during World War I. – Niwot, 1998. – P. 243–300.
56. Mayer A.S. The furies: Viols and terror in the French and Russian revolutions. – Princeton: Princeton univ. press, 2000. – XVII, 716 p.
57. McCaffray and M. Melancon. Introduction: A member of the family – Russia's place in Europe, 1789–1914 // Russia in the European context 1789–1914: A member of the family. – N.Y., 2005. – P. 1–10.
58. McDermid J., Hillyar A. Midwives of the revolution: Female bolsheviks and women workers in 1917. – Athens: Ohio univ. press, 1999. – 239 p.
59. Melancon M. Russia's outlooks on the present and future, 1910–1914: What the press tells us // Russia in the European context 1789–1914: A member of the family. – N.Y., 2005. – P. 203–226.
60. Melancon M. The Lena goldfields massacre and the crisis of the late tsarist state. – College Station: Texas univ. press, 2006. – XI, 288 p.
61. Miller M. Editor's introduction: The Russian revolution at the millennium // The Russian revolution: The essential readings. – L.; Toronto, 2001. – P. 1–6.
62. Moon D. Late imperial peasants // Late imperial Russia: Problems and prospects: Essays in honour of R.B. McKean. – N.Y., 2005. – P. 120–145.
63. Moon D. The problem of social stability in Russia, 1598–1998 // Reinterpreting Russia. – L., etc., 1999. – P. 54–74.
64. Morrissey S. Heralds of revolution: Russian students and the mythologies of radicalism. – N.Y.; Oxford: Oxford univ. press, 1998. – VIII, 288 p.
65. Owen T.C. Dilemmas of Russian capitalism: Fedor Chizov and corporate enterprise in the Railroad Age. – L.; Cambridge: Harvard univ. press, 2005. – XIV, 275 p.

66. Owen T.C. Entrepreneurship, government, and society in Russia // *Reinterpreting Russia*. – L., etc., 1999. – P. 107–125.
67. Pate A.K. St. Petersburg workers and implementation of the social insurance law of 1917 // *Russia in the European context. 1789–1914: A member of the family*. – N.Y., 2005. – P. 189–202.
68. Porter Th. and Gleason W. The democratization of the Zemstvo during the First World War // *Emerging democracy in late imperial Russia: Case on local self-government (the Zemstvos), State Duma elections, the tsarist government, and State Council before and during World War I*. – Niwot, 1998. – P. 228–242.
69. Porter Th. and Gleason W. The Zemstvo and the transformation of Russian society // *Emerging democracy in late imperial Russia: Case on local self-government (the Zemstvos), State Duma elections, the tsarist government, and State Council before and during World War I*. – Niwot, 1998. – P. 60–87.
70. Price M.Ph. Dispatches from the revolutionary Russia, 1915–1918. – Durham: Duke univ. press, 1998. – XIII, 181 p.
71. Rabinowitch A. The bolsheviks come to power // *The Russian revolution: The essential readings*. – L.; Toronto, 2001. – P. 104–146.
72. Read C. In search of liberal tsarism: The historiography of autocratic decline // *Historical journal*. – Cambridge, 2000. – N 45 (1). – P. 195–210.
73. *Reinterpreting revolutionary Russia: Essays in honour of J.D. White* / Ed. by I.D. Thatcher. – Basingstoke: Palgrave, 2006. – VII, 219 p.
74. *Reinterpreting Russia* / Ed. by G. Hosking, R. Service. – L., etc.: Arnold, 1999. – VII, 232 p.
75. Rosenberg W. Russian labor and bolshevik power: Social dimensions of protest after October // *The Russian revolution: The essential readings*. – L.; Toronto, 2001. – P. 149–179.
76. *Russia in the European context 1789–1914: A member of the family* / Ed. by S.P. Mcalfray, M. Melancon. – N.Y.: Palgrave, 2005. – X, 238 p.
77. Seregni S. Zemstvos, peasants and citizenship: The Russian adult education movement and World War I // *Slav. rev.* – Wash., 2000. – Vol. 59, N 2. – P. 290–329.
78. Service R. *Comrades! A history of world communism*. – Cambridge (Mass.): Harvard univ. press, 2007. – XVIII, 571 p.
79. Smith S.A. Popular culture and market development in late Imperial Russia // *Reinterpreting Russia*. – L., etc., 1999. – P. 142–155.
80. Smith S.A. *Revolution and people in Russia and China: A comparative history*. – N.Y.; Cambridge: Cambridge univ. press, 2008. – VIII, 249 p.
81. Smith S. Writing the history of the Russian revolution after the fall of communism // *The Russian revolution: The essential readings*. – L.; Toronto, 2001. – P. 259–282.
82. *Social identities in revolutionary Russia* / M.R. Palat. – N.Y.: Palgrave, 2001. – XV, 246 p.
83. Stockdale M.K. Paul Miliukov and the quest for liberal Russia, 1880–1918. – L.; Ithaca: Cornell univ. press, 1996. – XXI, 379 p.
84. Suny R. State building and national-making: The Soviet experience // *The Russian revolution: The essential readings*. – L.; Toronto, 2001. – P. 236–255.
85. Swain G. Late imperial revolutionaries // *Late imperial Russia: Problems and prospects: Essays in honour of R.B. McKean*. – N.Y., 2005. – P. 146–167.
86. Swain G. *Trotsky. Profiles in power*. – Harlow: Pearson education Ltd., 2006. – VI, 237 p.
87. Thatcher G.D. Late imperial urban workers // *Late imperial Russia: Problems and prospects: Essays in honour of R.B. McKean*. – N.Y., 2005. – P. 101–119.
88. *The Russian revolution of 1905: Centenary perspectives* / Ed. by F.D. Smelo, A. Heywood. – L., 2005. – XI, 284 p.

89. The Russian revolution: The essential readings / Ed. by M.A. Miller. – L.; Toronto: Blackwell, 2001. – X, 288 p.
90. Tomaszewski F.K. A Great Russia: Russia and the Triple Entente, 1905 to 1914. – Westport, L.: Praeger, 2002. – VIII, 190 p.
91. Wade R.A. The Russian revolution, 1917. – Cambridge, etc.: Cambridge univ. press, 2000. – XVII, 337 p.
92. Waldron P. Late imperial constitutionalism // Late imperial Russia: Problems and prospects: Essays in honour of R.B. McKean. – N.Y., 2005. – P. 28–43.
93. Waldron P. The end of imperial Russia, 1855–1997. – Basingstoke: Palgrave, 1997. – VIII, 189 p.
94. War, revolution and peace in Russia: The passages of Frank Golder, 1914–1927. – Stanford: Stanford univ. press, 1992. – XXVII, 370 p.

**НАСЛЕДИЕ –
НАСЛЕДНИКАМ**

АЛЕКСАНДР ИЗГОВЕВ О РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

В этом номере «Трудов по руссиеведению» мы публикуем малоизвестную работу А.С. Изгоева «Рожденное в революционной смуте (1917–1932)». Она была написана в 1932 г. (закончена 12 сентября), увидела свет в начале следующего года. Один из немногих сохранившихся экземпляров этой брошюры хранится в Фонде редкой книги Фундаментальной библиотеки ИНИОН РАН. На титуле дарственная надпись: «Павлу Николаевичу Милокову, одному из моих первых политических учителей от автора 12.II.1933».

Это небольшое по объему произведение (чуть более 1,5 печатных листов) представляет собой глубокий и трезвый анализ коммунистического порядка первых пятнадцати лет его существования. Одновременно автор рассматривает различные идейные течения русской эмиграции. Поэтому и название работы относится как к России большевистской, так и небольшевистской.

Сдержанное отношение Изгоева к эмиграции, ее политическому и творческому потенциалу хорошо известно. Но важно не это, а то, на чем оно основывалось. Корни слабости эмиграции мыслитель обнаруживает в дореволюционном периоде. Между 1905 и 1917 гг. партийно-политическая система страны не успела по-настоящему встать на ноги, сформироваться. Он называет русские партии «штабами без армий». И вот эти самые «штабы» (верхушки, активисты), да еще и изрядно потрепанные, оказались в изгнании. Ждать от них какой-то эффективной деятельности не приходилось.

Ответственность за слабое политическое развитие России Изгоев вполне традиционно возлагает на самодержавие, которое боялось всяческой общественной инициативы. То есть опасалось всего, что не исходило из самой власти. Во многом это, конечно, так. Но гораздо более важный вывод из изгоевских размышлений не этот. Причем сам мыслитель его не сделал. Сегодня же он очевиден. Партии и сопоставимые с ними движения только тогда становятся устойчивыми и дееспособными, обретают статус социальных институтов, когда общество (общественные силы) «договорилось» (внутри его достигнут консенсус) по поводу **что** (что должно быть) и полемика ведется о том, **как** (как этого достичь). В России до 1917 г.

этого не случилось. Не успели. Видимо, задачей эмиграции и была выработка этого идейного консенсуса. Повторю: относительно **что** (имеется в виду устройство политической системы в самом общем виде). Далее следовало понять, каковы рамки **как**, определить формы и методы этого как (пределы допустимого и недопустимого).

Несколько слов об Александре Соломоновиче Изгоеве (Аарон Соломонович Ланде). Кстати, по древнерусской этимологии «изгой» – выжитый из рода, ограниченный в правах и возможностях. Но «Изгоев» – также выходец из еврейской среды. Родился в 1872 г. (скорее всего, в Вильно, однако есть и другие данные – Одесса, г. Ирбит Пермской губернии). Отец – учитель в раввинском училище, затем нотариус.

Александр Изгоев заканчивает гимназию, учится пять лет на медицинском факультете Томского университета. Однако из-за участия в студенческих волнениях вынужден оставить учебу (впервые арестован еще в последнем классе гимназии). Уезжает во Францию, где около трех лет изучает право и экономику. В 1896–1900 гг. – студент юридического факультета Новороссийского университета (Одесса). Женится, переходит в православие. В юности увлекается Н.К. Михайловским, народниками, толстовством. С 1893 г. – марксист; до конца своей жизни он с уважением относится к этому учению. До середины 1904 г. – пишет в легальные марксистские журналы, сотрудничает с социал-демократами (членом РСДРП никогда не был). Участвует в создании южнорусского отделения либерального «Союза освобождения». В 1905 г. вступает в кадетскую партию, вскорости надолго становится членом ее ЦК (1906–1918).

Был профессором права Новороссийского университета, известным и влиятельным публицистом. С 1906 г. живет в Петербурге. Возглавляет отделы в газете «Речь» (орган партии Народной свободы) и журнале «Русская мысль». Выпускает несколько книг – научных и публицистических. Принимает участие в «Вехах». Между Февралем и Октябрем Семнадцатого один из наиболее последовательных противников набирающих силу большевиков (еще в 1909 г. он назвал Ленина «безнадежным политическим слепцом»).

После Октября бескомпромиссно выступает в печати против победителей – коммунистов. Один из известных примеров – его статья в сборнике «Из глубины». Арестован в ночь на 5 ноября 1918 г. по личному распоряжению диктатора Петрограда Г. Зиновьева. Выслан на Север возводить оборонительные учреждения против белых, затем его переводят в одну из московских тюрем. В начале января 1919 г. возвращается в Петроград после условного освобождения. Узнает, что от холода и недоедания умерла его младшая дочь. Жена и старшая дочь находились на грани смерти. В августе 1919 г. снова арестован (тюрьмы, концлагеря) и освобожден лишь в 1921 г. Работает научным сотрудником Публичной библио-

теки (Петроград). В конце лета 1922 г. проводит восемь дней в Доме предварительного заключения питерской ЧК. Через несколько месяцев вместе со многими другими представителями русской интеллектуальной элиты выслан за пределы родины (16 ноября 1922 г. На «философском пароходе» «Пруссия»).

Поначалу живет в Берлине, затем в Чехословакии. Перессорился со многими бывшими единомышленниками, прежде всего со Струве. Призывал распустить кадетскую партию и начать строить новые либеральные структуры. Сохранил негативное отношение к белому движению. Переехал в Таллинн, много писал; к концу жизни оказался в полном одиночестве. Умер в Эстонии 11 июля 1935 г.

Изгоев – политический мыслитель, правовед, историк, публицист, общественный деятель. Наибольшее значение для русской науки имеют его работы, которые сегодня можно было бы отнести к «политической культуре» и «критике идеологий». В творчестве Изгоева органично сочетается научно-публицистическое отражение *Realpolitik* и аналитическое проникновение в природу «политического». Был ведущим теоретиком отечественного конституционализма, доказывая его возможность фактом необратимости (как ему казалось) экономических перемен – перехода от натурального (по преимуществу) к рыночному хозяйству. Основным субъектом необходимых преобразований полагал некий новый исторический блок, сердцевиной которого должна стать интеллигенция вкупе с прогрессистски ориентированными группами дворянства, рабочего класса, буржуазии.

Особое место в работах Изгоева занимает исследование самодержавия. Он приходит к выводу о властечетричности русской цивилизации и вместе с тем о принципиальной несовместимости русского кратоса и Современности. Наряду с неразвитостью гражданского общества это влекло страну в начале XX в. к катастрофе. Внес огромный вклад в изучение «переходной общины», важнейшего элемента социальной культуры России XVIII–XX вв. Первым в науке обнаружил то, что община покоится на непреодолимом противоречии между тенденцией к становлению частной собственности и необходимостью поддерживать принцип всеобщего эгалитаризма.

В идеях Изгоева отразилась сущностная трансформация русской мысли в начале прошлого века – переход от утопически-мифологического мышления к современному, от гетерономистского типа сознания (подчинение извне приходящим нормам) к автономистскому (самопорождающему нормы). Так закладывались предпосылки и современного русского либерализма, и современной социальной науки по-русски.

Ю.С. Пивоваров

А.С. ИЗГОЕВ**РОЖДЕННОЕ В РЕВОЛЮЦИОННОЙ СМУТЕ
(1917–1932)¹****I. Расколотые части**

Время от марта до ноября 1917 года было только предисловием к Русской Революции. «Настоящее» началось после того, как пришла в движение десятиmillionная армия и зашевелилось стомиллионное крестьянство. Хронологически это совпало с захватом государственной власти партией большевиков-коммунистов.

За истекшие 15 лет население России разбилось на три неравных части. Огромное, подавляющее большинство осталось под властью коммунистов. Три-четыре миллиона русских людей отошло ко вновь образованным окранным государствам. Около миллиона удалилось в качестве безотечественных беженцев и эмигрантов за границу.

Так называемые русские меньшинственные граждане остаются пока вне нашего поля зрения. Мы собираемся лишь обозреть, какие перемены произошли за 15 лет в духовно-политическом облике русских эмигрантов и русских в СССР.

II. Социальный состав эмиграции

Утверждения большевиков о специфически «дворянском» и «капиталистическом» составе русской эмиграции тенденциозно лживы. Родовитых дворян в России вообще было немного. Поскольку они не уничтожены Революцией, а, сохранив имущество, выехали за границу, они отошли от русской жизни и в делах эмиграции почти не принимают участия. То же самое надо сказать и о немногих уехавших за границу русских капиталистах. В основной своей массе эмиграция по социальному составу отражает ту среднюю грамотную Россию, которая лежала между миллионами безграмотных и десятками аристократов и капиталистов. Этот слой до сих пор еще существует и в России. Коммунисты не могли его уничтожить дотла не

¹ Печатается по изданию: Париж, 1933. – 32 с.

по отсутствию желания или жестокости. Они убедились, что без этой группы никак нельзя пустить в ход государственную и хозяйственную машину.

Коммунисты достигли лишь того, что этот слой русских грамотных людей тщательно прячет свое лицо и гримируется на всевозможные лады. По происхождению это в огромном большинстве дети разночинцев (горожан), духовенства, рабочих и крестьян. Среди эмигрантов, вероятно, больше людей, родившихся в семьях лиц с высшим образованием. Больше, вероятно, и бывших чиновников. Но и тут разница не велика. Можно считать установленным факт большого значения: грамотные русские, очутившиеся за границей и оставшиеся в СССР, принадлежат к одинаковому социальному пласту.

III. Русские политические силы в эмиграции

Утверждение о социальной «буржуазности» русской эмиграции неверно. Но верно и заслуживает внимания другое.

И в царские времена политическое сознание русского общества развивалось слабо. Деление на политические партии проходило не четко и не глубоко. Партии захватывали в свои ряды очень мало людей и слабо руководили их политической деятельностью. Само деление на партии шло не по линиям интересов или убеждений, а по настроениям. Настроения рождались и менялись либо под влиянием моментальных массовых всплесков, либо слагались под воздействием социальной среды и круга знакомств человека. Немногочисленные и невлиятельные были даже так называемые «политические штабы», из которых выходят «вожди нации». Ко времени Революции у русских правых партий, к которым мы причислим все группы правее партии Народной Свободы (иначе, кадетов, конституционных демократов), не было ни одного вождя в подлинном смысле слова. Только у кадетов был лидер П.Н. Милоков, но и он определял в большей мере мнения либеральной интеллигенции, чем ее действия. Приобретший в начале Революции значительную популярность А.Ф. Керенский до того времени не пользовался большим влиянием среди революционеров и социалистов и их вождем в действительности не был. Наконец, Ленин был действительным вождем, но только для очень небольшой, замкнутой, законспирированной, в подполье выросшей и развившейся группы.

Ответственность за слабое политическое развитие даже образованного русского слоя ложится, главным образом, на царскую самодержавную власть. Она боялась всякой организованности и сплоченности и в народе, и в обществе и считала опасным для себя выделение влиятельных вождей.

Как и во многом другом, коммунисты в России тысячекратно усилили этот политический грех царской власти. Они на десятки лет отбили у русского грамотного слоя охоту заниматься политической деятельностью, если не понимать под нею слепое либо корыстное прислужничество властвующей группе.

С момента захвата власти большевики поставили своей первой задачей физическое уничтожение всех лиц, активно участвовавших в политической деятельности, но не примкнувших к их сообществу.

Опасными и подлежащими искоренению признаются не только все другие организационные группы. Опасным объявляется всякое, не принадлежащее к партии лицо, авторитетное в какой бы то ни было области, в каких бы то ни было кругах. Оно опасно потому, что вокруг него может завязаться какая бы то ни было непартийная организация. Ему предоставляется на выбор: либо войти в коммунистическую партию, либо исчезнуть.

Естественно, что все сколько-нибудь активные деятели всех партий – от монархических до социал-демократов-меньшевиков – очутились за пределами России. Процент политически действенных людей в зарубежной России поэтому преобладающе высок по сравнению с оставшимися в СССР грамотными гражданами. Последние все вообще вынуждены притаяться и закопаться как можно глубже.

В этом, а не в социальном происхождении главное отличие состава русской образованной массы, ушедшей из России, от живущей в СССР.

IV. Слабость политических партий

Это обстоятельство очень ярко вскрывает слабость всех, существовавших до Революции, партий.

Все они, без исключения, представляются ныне штабами без армий. Они не только не проявляют никакой организованной политической работы. Они утратили даже и вербовочную силу. Молодежь, очутившаяся в эмиграции, а тем более выросшая в ней, в старые партии, ни в правые, ни в левые, не идет.

А вне молодежи, особенно в эмиграции, у руководителей и вождей нет тех проводов, по которым они могли бы войти в соприкосновение с массами и вызвать действия.

Количеством таких проводов объяснялись относительные слабость и сила русских дореволюционных партий. С 1905 года они получили некоторую возможность работать. За 12 лет, до Революции, они не смогли ни набрать сил, ни создать прочные организации. Они обнаруживали жизнь и проявляли деятельность только в той мере, в какой имели политически работоспособную интеллигенцию.

По программам кадетская партия, в сущности, ничем не отличалась ни от мирно-обновленческой, ни от «партии демократических реформ», ни от прогрессистов и радикалов и очень мало отличалась от октябристов. Но только у кадетов имелись, хотя и небольшие, но качественно довольно ценные группы политически работоспособной интеллигенции. Только кадетская партия и удержалась поэтому на поверхности, как до Революции, так и в ее начальный период. Все остальные в 1917 году растаяли бесследно. У октябристов были деньги – очень важный нерв политической работы. Но отсутствие своей интеллигенции и необходимость пользоваться наемными перебежчиками из других партий не дали октябристам возможности развить даже простую пропагандистскую работу, хотя бы создать серьезную, влиятельную и распространяемую печать.

Некоторая популярность партии социалистов-революционеров объяснялась не только демагогичностью их программы, отвечавшей сокровенным желанием крестьянских масс и смелостью террористической молодежи.

К эсерам тяготело большинство разночинной и второсортной интеллигенции, работавшей в земствах, в кооперативных союзах, в учреждениях.

Социал-демократы-меньшевики держались своими группами работников в профессиональных союзах, рабочих клубах, страховых кассах и так называемой «рабочей аристократией».

Полное бессилие дореволюционных правых монархических партий объясняется и полным отсутствием у них подобных проводов к массам. Монархисты возлагали в этом отношении большие надежды на Православную Церковь. Но быстро выяснилось, что на их стороне стоит только высшее духовенство, только архиереи, да и то не все. Симпатии и настроения низшего и среднего духовенства тянули его на левую сторону. Помещик-дворянин за два века своего господства в провинциальной России не привлек к себе сердец духовенства. Наиболее талантливые и яркие представители его неудержимо тянули влево. Печальные опыты с Григорием Петровым, Гапоном, протоиереями Тихвинским, Огневым, иеромонахами Иллиодором, Михаилом, епископом Антонином и другими доказали, что старые наши монархисты не нашли в служителях Православной Церкви приводных ремней к народным массам.

Другое орудие правых партий – многочисленные купленные агенты тайной полиции, очень часто провокаторы и предатели из рядов других партий, оказались скорее опасными, чем полезными для монархии сотрудничками. Они не только не пользовались каким-либо уважением и авторитетом среди населения. В огромном своем большинстве все эти люди оказались и предателями. Они первые отошли от монархии и переметнулись к большевикам, наиболее отвечавшим их духовному складу. До сих пор коммунистическая партия не может очиститься от густо ее облепивших и пронизавших ее ткани тайных политических агентов и бывших шпионов.

V. Крах правых идеологий

В эмиграции, кроме этой основной причины слабости старых русских партий, вскрылся и выявленный Революцией крах их идеологий.

Особенно ярко сказалось это на правых монархических партиях. Как будто для них наступало время расцвета. Все их самые мрачные предсказания сбылись. Ни один из противников бывшего царского режима не спорит, что при коммунистах жить хуже, чем при Александре III. Среди русских эмигрантов очень сильны идеализация прошлого, естественное тяготение мыслью к временам силы и славы России, поиски «виноватых», антисемитские и националистические настроения. Казалось, имеется почва для создания больших и прочных правых партий.

Но в действительности и на чужбине до последнего времени мы видели то же самое, что было до Революции в России. Правые группы не только не создали прочных и солидарных организаций. Они не выдвинули вождей. Они не создали даже своей влиятельной и распространенной печати. В печати они представлены крипто-монархистами, тайно-монархистами, прячущими свой монархизм, а до войны очень часто сотрудничавшими в социалистических и революционных изданиях. Сколько погромщиков в душе вынуждено ради Европы и ради своих соотечественников в изгнании притво-

ряться культурными и просвещенными людьми, протестующими против «насилия большевиков»!

Туманом покрывалась вся идеология правых. Когда-то она отчетливо выражалась тремя лозунгами: православие, самодержавие, народность.

Православие переживает, быть может, самое тяжелое время своей истории в России. Государственная власть, еще так недавно охранявшая Православную Церковь всею своею мощью и даже принуждавшая неверующих выполнять ее обряды (например, обязательный церковный брак), обрушилась на Церковь и ее служителей гонениями неслыханной силы. Духовенство и в СССР, и вне его раскололось на много групп. Нет единого авторитета, и никто не может с несомненностью сказать: где Церковь? Устоит ли она? Выдержит ли этот напор? Все понимают, что устоять и выдержать она может, только обнаружив в СССР силу мученичества исповедников первых веков христианства, шедших на крест и на гибель. Еще в XVII веке русские староверы добровольно шли на костер, борясь против патриарха Никона и петровской Синодальной Церкви. Но и костры не помогли. При содействии светской власти победила Синодальная Церковь. Что будет теперь? Готова ли она идти на костры или смиренно ждет какой-либо новой светской власти, которая опять возьмет ее под свое покровительство? Могут ли люди, готовые жертвовать своею жизнью ради Церкви Христовой, связать свою последнюю жертву с возвратом низверженным группам их социальных и политических привилегий? Не ясно ли всякому, что если Православной Церкви суждено родить мощное мученическое движение, то оно не пойдет под стягом ни возвращения земель и фабрик их владельцам, ни призыва дворян на губернаторские посты.

VI. Царское и красное самодержавие

Еще хуже со вторым звеном правого мирозерцания: самодержавием. В сущности, оно вовсе не исчезло из русской жизни. Оно не только осталось, но стократно в ней уплотнилось. Разве Ленин – не самодержец? Разве Сталин не самодержец? Разве в их власти не чувствуется наряду со светским элементом насилия и примеси иного, «сакрального», («духовного»), элемента, какого-то посвящения? Даже чистокровные марксисты начинают обонять в Ленине и Сталине запах татарско-византийского цезаро-папизма. Ленин и Сталин, конечно, не только повелители и тираны. Они и первосвященники марксистской церкви, единые, точно знающие волю божества, «пролетариата», способные ее правильно истолковать. Их слово прекращает поэтому всякие споры.

Конечно, для искренно верующих христиан сопоставление посвящения, даруемого Православной Церковью, с марксизмом, есть само по себе кощунство. Но разве из истории Рима мы не знаем, что языческие религии, которые не грешно сопоставлять с марксизмом, давали посвящение римским императорам? А ислам? Разве, наконец, в Православной Церкви и среди наиболее искренно верующих не было людей, чувствовавших кощунство и в освящении Церковью самодержца из дома Романовых? А в Петре Великом миллионы православных старообрядцев разве не видели прямо Антихриста?

Лопнуло и второе звено правого мирозерцания. Опираясь на самодержавие, нельзя восставать ни против Ленина, ни против Сталина. Таким путем никого нельзя подвинуть на политическую борьбу. Если нет власти еще не от Бога, то... выводы отсюда сделать не трудно. Борьбась со страшным насилием Сталина во имя самодержавия царя – это просто несерьезная шутка. Такой борьбы не было и ее не будет. Геройские акты самопожертвования отдельных офицеров, погибавших во имя дисциплины, повиновения начальству и сохранившего чувства долга, не составляли и не составили политической борьбы. И действительно, надо наконец откровенно признать, что после крушения белых армий в 1921 году подлинной политической борьбы с красным самодержавием не велось.

Что касается третьего звена правого мирозерцания, «народности», то здесь прошлые ошибки охотно признавались и самими монархистами, сплошь и рядом готовыми идти теперь даже слишком далеко в противоположном направлении. Многие из них согласны ныне на всякие национальные сепаратизмы, активно им помогают и готовы отдать любой («клочок») родной земли за возвращение старой власти.

VII. Крах левых идеологий

Не только правую, но и левую идеологию постиг крах. И здесь нам придется говорить лишь об общих линиях мировоззрения, не вдаваясь в частности групповых и партийных взглядов.

Три положения можно было считать столпами мировоззрения левой русской общественности.

Во-первых, универсализм, противопоставимый узости национализма.

Во-вторых, защита прав и свободы личности.

В-третьих, «социализм», в котором насильственное революционное преобразование общества в социалистическую общину не отделялось от системы социальных реформ в духе приближения к имущественному равенству и кооперативной организации хозяйственной жизни.

Революция потрясла до основания все эти три столпа.

Универсализм, приняв форму космополитизма и интернационализма, оказался роковым для русской государственности и русского национального бытия. Их крушение не привело к торжеству всеобщего братства. За счет русского восторжествовали иные национализмы, не менее эгоистичные, но часто менее культурные. Элементарное национальное чувство русского человека, хотя бы и левого по убеждениям, запротестовало.

Небывалое в истории попираание коммунистами человеческой личности заставило русских левых глубже продумать, на чем покоятся основы человеческих прав и свободы. До сих пор не замечаемая многими иная сторона личной собственности, часто смешиваемой с правом эксплуатации других людей, заставила наконец и русских задуматься о «палладиуме свободы». Конечно, проживание в Европе, особенно в годы кризиса, не могло превратить русскую интеллигенцию в поклонницу капитализма и плутократий. Но оно заставило русских социалистов начать поиски иных, чем ранее, основ для своего «социализма». Одних конституционных провозглашений, «деклараций прав человека и гражданина» для ограждения их в действитель-

тельной жизни оказалось недостаточным. Надо было найти настоящие гарантии. Где их взять? В какую сторону направить свои поиски? В настоящее время уже определилось, куда пошла русская левая мысль.

VIII. Политическое творчество правой эмиграции

Неоднократно и настойчиво подчеркивая слабость русских политических партий эмиграции, я ни в малейшей степени не думал указывать этим на ее политическое ничтожество. Напротив. Бессильная пока для действий эмиграция выполнила и выполняет большую политико-теоретическую творческую работу. А эта творческая работа, несомненно, в скором времени приведет и к действию. Творчество проявилось и в правом, и в левом лагере.

Ни один беспристрастный добросовестный человек не станет отрицать, что изо всей идеологической работы, проделанной русской мыслью за последние 15 лет в эмиграции, наиболее крупным делом было создание «евразийства», точнее «евразийских течений». Их несколько, евразийских течений, даже довольно много. Евразийство П.П. Сувчинского и кн. Д.П. Святополк-Мирского, почти вплотную подошедших к большевикам-сталинцам⁸, не то, что евразийство П.Н. Савицкого и кн. Н.С. Трубецкого. Но и взгляды кн. Н.С. Трубецкого на религию и православие совсем не те, что исповедует или исповедовал раньше зачинатель всего движения П.Н. Савицкий, талантливый молодой ученый-географ. Евразийство профессоров А.П. Карсавина и Н.Н. Алексева опять-таки резко расходится и с откровенной демагогией ушедших к большевикам, и с научными теориями П.Н. Савицкого и кн. Н.С. Трубецкого. Глубоко скрытая иезуитская двусмысленность проф. А.П. Карсавина в свою очередь сильно различается от юридических, в существе тяготеющих к прусской государственной школе, построений проф. Н.Н. Алексева. Я назвал главных теоретиков движения. Оно выдвинуло еще несколько интересных публицистов, в основных вопросах тоже глядящих в разные стороны. Но ныне, когда евразийство, как и все новые русские течения, не вышло еще из области теории в сферу практической политики, этим разногласиям можно и не придавать чрезмерного значения. Они, конечно, уже сказываются (были прямые уходы евразийцев к коммунистам). Будут сказываться еще резче. Но в чувствах и настроениях есть пока нечто общее, позволяющее говорить и об «евразийстве» и об «евразийских течениях».

Мировоззрение автора этой статьи целой пропастью отделено от евразийского признанием наличности в каждой культуре общечеловеческих элементов и стремлением через национальные культуры прийти к единой мировой и общечеловеческой. Евразийцы противопоставляют этому взгляду извечную особенность национальных культур, стремящихся не к единству, а к обособлению, следовательно, к борьбе.

С моей точки зрения было бы не трудно раскритиковать евразийство по шаблонному приему. В нем-де есть верное и новое, но верное не ново, а новое – не верно. Это замечание, как увидим ниже, во многом соответствует правде. Но исторически оно не вполне справедливо.

⁸ Кн. Святополк-Мирский уже сотрудничает в «Известиях».

IX. Заслуги евразийских течений

В области теории имеются, пожалуй, только два пункта, понимаемые всеми евразийцами более или менее одинаково. Это, во-первых, первые слова первого параграфа первого раздела версии евразийской «формулировки» (попросту, программы) 1927 года: «Россия представляет собой особый мир».

Во-вторых, пункт, касающийся организации государственной власти путем отбора особой группы людей, объединенных общностью если не взглядов, то настроений (идеократия). Но уже по этому второму пункту нет единства во мнениях о составе и пределах власти этой группы.

Конечно, утверждение, что «Россия – особый мир», не ново. Оно высказывалось с XVI века, от старца Филофея и Юрия Крижанича через славянофилов до Герцена, Н.Я. Данилевского, Н.Н. Страхова и др. Но евразийцы не ограничились простым высказыванием этой мысли. Они вложили много духовных сил в ее обоснование с географической, антропологической, лингвистической, исторической и социологической точек зрения. Этой работой евразийцы очень обогатили содержание русской консервативно-националистической мысли. Она совсем уже, было, засыхала в песках погибавшего царского самодержавия и безыдейного беспочвенного самодержавства.

Но у евразийцев есть заслуга и чисто политическая. В момент, казалось, полного крушения русской национальной государственности, когда исчезал самый («субстрат») ее, русский народ, заменяемый (интернациональным пролетариатом) с «диктатурой» и с верой во всемирную коммунистическую революцию, евразийцы указали на новый («субстрат») для обновленной государственности.

Пусть старая Россия исчезла – говорили они, – но разве вы не видите, что территория, захваченная коммунистами под флагом СССР, и есть место развития того («особого мира»), который под разными названиями уже много веков строит свою самобытную «евразийскую культуру»? Мы присутствуем при одной из ее мутаций. Не малодушествуйте! Сознание своей особенности дает возможность евразийским народам преодолеть смертоносный («романо-германский») коммунизм и восстановить («субстрат») своей самостоятельной («государственности большого стиля»). Должны измениться лишь формы государственной жизни. Место узкого обрусительного централистического национализма займет широкий федерализм, уважающий, подобно татарам, язык, веру и обычаи входящих в государство народов. Оно не погибнет, но приобретет под собой широкую народную основу.

Этот призыв евразийцев не только возродил государственный патриотизм во многих усталых, почти отчаявшихся, русских душах. Он встретил сочувствие и у многих инородцев России. Конечно, тут не без лицемерия с разных сторон. Говоря одинаковые слова, люди вкладывают в них разное содержание. Евразийский федерализм иногда очень напоминает коммунистический, позволяющий каждому народу на его языке («славить») не «Бог-Вседержителя», как говорилось в наших старых законах, а единоспасающий («коммунизм»). Двоятся мысли евразийцев и о свободе религии, и о православию. Для многих православие ближе к исламу, чем к католицизму и лю-

теранству. По не высказываемому, но достаточно явно пробивающемуся наружу, учению умелый «правительственный отбор» при «идеократии» призван исправить многое, чему может повредить евразийский федерализм, демотизм, антикапитализм и т.д.

X. Тактическая наивность евразийцев

Евразийцам ставили в упрек упразднение самого понятия «России» и замену его «Евразией». Совершенно основательно указывали при этом и на ненужность такой замены. «Россия» и «российское» и прежде имели более широкий смысл, чем «русский» и «русское». Свое содержание нового патриотизма евразийцы могли бы отлично вложить и в слово «российский». Конечно, их «Евразия» только псевдоним России, несколько урезанной, сильно ослабленной, вынужденной долгие годы залечивать свои раны, держаться в стороне от чересчур активной европейской политики.

Но, как и все слабосильные политики, евразийцы хотели недостаток сил заменить мудрой тактикой. Им хотелось отказом от имени «Россия» купить полное доверие инородцев и облегчить коммунистам сделку по сдаче или разделу власти с «евразийским отбором». Как часто бывает, «тактические мудрецы» оказались в политике наивными детьми. Они не понимали, что без длительной и самой ожесточенной борьбы никакая «конверсия коммунизма» невозможна. Стимулов для борьбы с коммунистами евразийцы не рождали. Напротив, их теории «отбора», «монополюльной власти единой партии», открывая дорогу к возврату царского самодержавия, в то же время идейно укрепляли и коммунистическое самодержавие. Даже когда многие евразийцы и поняли неизбежность и неустранимость жестокой борьбы с коммунистами и высказали это печатно, они все еще до сих пор не облекли этой мысли в зачаток дела. Сделать это, конечно, не легко.

XI. Новая основа патриотизма

Теоретически-политическая заслуга евразийцев бесспорна. Они возродили русскую консервативную, правую политическую мысль. И если ныне из консервативных кругов, кроме бессмысленного кровавого бреда, раздаются иногда слова, содержащие мысли, эти последние всегда берутся из евразийских писаний, хотя часто без связи и смысла. Из монархических организаций следует особо выделить «младороссов», имеющих некоторый успех среди эмигрантской молодежи. Своей относительной популярностью младороссы обязаны решимости действительно поработать над объединением политически и житейски беспризорной заброшенной русской эмигрантской молодежи. Она ответила «младороссам» порывом благодарности. Но в идейном смысле «младороссы» не создали ничего. Они только понахватали из разных мест обрывки евразийских мыслей и присоединили к ним, как своего главу, легитимного императора-самодержца. Евразийско-младоросский салат доставил Кириллу Владимировичу не одни только радости, но и немало огорчений. Но самый факт – характерная иллюстрация того, как нынешняя русская правая общественность не может сделать ни

единого шага вне круга евразийских идей. В них будущие правые русские политические группировки приобрели фундамент для своих идеологий.

XII. Политическое творчество левой эмиграции

Творческий процесс среди левых русских течений уже тоже обозначился достаточно ясно. Он сводится, говоря в общих формулах, одновременно и к «одухотворению», и к «материализации» указанных выше трех основ русского либерально-социально-демократического мировоззрения.

И универсализм, и требования охраны свободы и прав личности должны получить более прочный, чем доселе, фундамент. Русская прогрессивная мысль, отдаляясь от материализма, ищет этот фундамент в идеализме и в религии, то надеясь остаться в ограде существующих церквей, то уходя из нее. Наиболее твердой основой для защиты человека, его лица и прав, оказывается при этом евангельское христианство с его учениями о богосынстве и богочеловечестве. Здесь новые русские прогрессивные течения и ищут духовных сил, необходимых человеку для предстоящей ему неизменно тяжелой борьбы за свою свободу с коммунистическими и иными государственными самодержавиями.

Сообразно с этим пересматривается вопрос о социализме, не столько о его содержании, сколько о путях его осуществления. Все резко и резко подчеркивается «духовный» момент в причинах неудачи и чисто экономических коммунистических планов. Сами коммунисты начинают понимать, что без внимания к личности человека ничего добиться нельзя. И в социальном переустройстве человек, а не внешнее насилие над ним, имеет решающее значение.

Отсюда возникает множество разнообразных социалистических построений. Общее для них тяготение к идеализму и к религиозным основам человеческой жизни, стремление защитить личность и найти место для ее свободной работы при неотвратимо расширяющейся области государственного воздействия на экономический строй. Отсюда и большое внимание к национальному, так как переход к международному социально-экономическому общению мыслим только через стадию национального укрепления отдельных организмов.

Очень интересны отношения, возникающие при этом у свободомыслящей русской интеллигенции с Православной Церковью. Завязывается своеобразный – да простится мне это выражение! – роман с Церковью. Что русская прогрессивная интеллигенция, обращаясь к идеализму и религии, ищет сил для предстоящей, неизмеримо более тяжелой, чем в предыдущие десятилетия, борьбы с коммунистическим и всяким иным государственным всемогуществом, едва ли может оспариваться. Найдет ли она в этой борьбе поддержку в организованных христианских церквях, и в частности в Православной Церкви? Вот вопрос, который тревожит, хотя еще и не вполне сознательно, очень многих. Действительность чрезвычайно противоречива. Казалось бы, наиболее непримирима к коммунистическому господству часть православного духовенства на деле является политически и социально реакционной, мало способной к борьбе, требующей личного самопожертвования. Грубо говоря, реакционное православное духовенство просто ждет

чужих, даже иностранных, иноверных, языческих (японских) штыков, которые и готовятся благословить на борьбу с коммунизмом. Священники, социально-политически более чуткие, по личному ли малодушию, по другим ли причинам, склонны подчиниться коммунистическому насилию, надеясь обойти и пересидеть его. Тщетные надежды!

Если Православной Церкви суждено с достоинством пережить новую, еще более страшную, чем предыдущие, эпоху гонений, то возможность какого-то содружества ее с левыми передовыми течениями перестает казаться утопией. Надо сказать, что и на Западе жизнь все настойчивее и яснее ставит перед католицизмом задачу охраны человечества от истребительных войн и свободы человека от государственного насилия. Человечество переходит к какой-то новой эпохе, когда положение Церкви, ее служителей и верующих будет во многом отличаться от того, что было.

Русские политически и социально правые круги до сих пор слабо шли на жертвы ради своих идей. По-видимому, это не изменится и впредь. И в дальнейшей нашей истории самопожертвование будет уделом идущих налево. Так и в древних сказках говорилось и писалось на придорожных камнях. При гонениях на Церковь со стороны атеистической власти это могло бы повести к неожиданным и своеобразным сочетаниям... Но нельзя не видеть, что для XX века в идее союза иерархии Православной Церкви с борцами за свободу человека много утопического и нереального. Вернее, что и в России защиту духовной и бытовой свободы человека возмут на себя не служители прежде господствовавшей, ныне гонимой, Церкви, а вольные религиозные диссиденты.

XIII. Почему исчезли стимулы к революционной борьбе?

Белые армии были последней попыткой отстоять Императорскую Россию от задвивших ее волн народной смуты. Трагический героизм этих защитников великой культуры, осужденных на поражение за чужие грехи, вдохновит в будущем не одного писателя и мыслителя. Но ныне надо иметь мужество признать и поражение, и конец этой эпохи, связанной с белым движением. С 1922 года серьезная политическая борьба с коммунистами, т.е. борьба революционная, прекратилась. Акты героической гибели отдельных личностей были либо единичными актами замаскированных самоубийств, либо действиями, совершаемыми в порядке воинской дисциплины, поисками разведчиков, а не актами сознательных революционеров.

Для сознательной революционной борьбы требуется, прежде всего, революционная идеология. Ее не было ни справа, ни слева. Ее не могли дать правые. Нелепо во имя самодержавия бороться против самодержавия. Коммунистическое самодержавие явилось логическим следствием прошлого, опиралось на ту же народную темноту, на отсутствие у народа воли к свободе и сознания своих прав. В старом мировоззрении старого русского лагеря не было никаких элементов, которые могли бы поднять людей против ленинско-сталинского самодержавия. Власть всегда говорила: не рассуждать – повиноваться! Церковь ей вторила: властям предрержавшим повинойся!

Но и люди левого лагеря, бывшие революционеры времен царского самодержавия, оказались неспособными к революционной борьбе с коммунистическим самодержавием. Революция из глубины народных недр выбросила на поверхность политической борьбы множество энергичных, действенных элементов демократизма, так сказать, 96-й пробы. Вопреки ожиданиям и надеждам русской революционной и социалистической интеллигенции, эти-то подлинные выходы из народных низов и помогли коммунистам растоптать все свободы. Ошеломленная своим бессилием, интеллигенция, не видя пути к этим народным низам, не находила в себе ни решимости, ни стимулов к борьбе с большевиками, как-то лавившими со стихией.

В настоящее время, спустя 15 лет, эта духовная растерянность и в правом, и в левом лагере начинает проходить. Вырисовываются и те новые фронты, на которых завяжется новая подлинная борьба с коммунистическим самодержавием.

Если вдуматься глубже в происходящие события, то ясно, что вести борьбу против коммунистического самодержавия возможно лишь тем же самым оружием, которое русская интеллигенция сто лет оттачивала против царского самодержавия. Только на сей раз это оружие будет и резче отточено, и горздо более правдиво. Сатира Шедрина, во многом чрезмерно несправедливая к властям императора Александра II, пожалуй, не поднялась еще до действительного уровня злобного насильничества и пошехонского головотяпства коммунистической администрации.

Как только эти новые настроения справа и слева проникли в эмиграцию, сейчас же прекратились острые споры о роли («зарубежных») и («подъяремных») в освобождении России. Всякие надежды на чужую помощь пришлось сдать в архив, когда выяснилось, что предстоит тяжкая и длительная борьба своими силами с коммунистическим самодержавием. Роль эмиграции, как большой и важной, но не решающей, а подсобной силы, стала очевидной для всякого мыслящего политика.

Все взгляды устремились «туда». Знать, что делается «там», – таково первое требование от русского политика. Что же «там» происходило за эти страшные 15 лет?

XIV. Три стадии коммунистического завоевания

Историю завоевания России коммунистами можно разделить на три периода.

Период первый, с 1917 по 1921 год. Обычно его называют периодом военного коммунизма. За это время стихийными и сознательными силами, внутренне-революционными и внешними вражескими, разрушался старый политический и социальный строй Российской Империи. Процесс творился, поскольку им руководили интеллигенты, под знаменем социализма. Очень часто этот «социализм» был лишь просто защитным цветом. Но не редко то были творческие попытки, продиктованные подлинными стремлениями осуществить ту или иную социалистическую систему.

Второй период с 1921 по 1928 год окрещен названием «НЭП». Он характеризуется окончанием вооруженной борьбы и внезапным сознанием

Ленина, что военный коммунизм, докатившийся тогда до «посевкомов», желавших бюрократически регулировать хозяйство каждого из 25 миллионов крестьянских дворов, привел страну к голоду, а коммунистическую власть на край пропасти. Ленин дал сигнал: «отступить!». Коммунистическая партия решила оттянуть свои главные силы на «командующие высоты», временно предоставив крестьянам самостоятельно обрабатывать свою землю и торговать. «Командующими высотами» были объявлены органы государственной власти, народное просвещение, крупная промышленность и торговля, вся внешняя торговля. Все внимание победителей устремилось на организацию своего партийного, государственного и хозяйственного аппаратов. Крестьянство до некоторой степени предоставлялось самому себе. Это время было годами наиболее интенсивной творческой работы русского крестьянства и ждет еще своего исследователя. Первый период и начало «НЭП» прошли всецело под руководством Ленина. С его сумасшествием и смертью заколебался и «НЭП». Краткий, приблизительно двухлетний, промежуток борьбы Сталина с главным своим врагом Троцким был временем некоторого междоусердия и шатания и в области социально-экономической политики коммунистов.

С 1928 года властью окончательно овладел Сталин, и тогда начинается длящийся и по сей день третий период, период «генеральной линии», «генерального плана», оформления коммунистической власти. Это, пожалуй, важнейший период во всей истории коммунистического овладения Россией. Теперь уже кое-что начинает проясняться. Открываются перспективы.

XV. Революционный коммунизм и царская «охранка»

До 1825 года русское политическое движение оставалось чисто дворянским, сильно окрашенным в цвет дворцовых переворотов XVIII века. С 40-х и в особенности с 60-х годов XIX столетия в политику массой врывается разночинная интеллигенция. Почти полвека идет движение, носящее все черты детского романтизма «розовой юности», как сказал на суде над убийцами Александра II Желябов. Только с начала XX века русское революционное движение принимает серьезные политические формы. И лишь в двух, относительно небольших, кругах можно встретить ясное понимание грядущих событий: у русских марксистов и на верхах тайной полиции.

Если отбросить в сторону десятка два по-настоящему европейски образованных либералов, причастных в то же время к земской работе, то лишь у марксистов мы встретим понимание социального строения России и роли в политике общественных сил. Плеханов первый провозгласил, что русская революция восторжествует как движение рабочего класса либо вовсе не восторжествует. Ленин еще реалистичнее понял положение, твердо усвоив, что в России только «пролетариат», сплоченный условиями жизни и совместной работой в производстве, способен перенять от дворян власть, организовавшись в лице своего «сознательного авангарда» в революционную рабочую партию.

Параллельно с этим только на верхах тайной полиции было ясное сознание, что дворянское самодержавие превращается в труп и что, по видимости, столь сильный царский трон на самом деле лишен всякой опоры.

Чрезвычайно интересно с этой точки зрения зародившееся в «Охранном отделе» и связанное с именами Зубатова, Льва Тихомирова, г-жи Вильбушевич, Шаевича, Гапона, полковника Васильева и др. течение, ставившее себе целью дать старому самодержавию новую опору в лице рабочего класса.

Когда-нибудь подлинно объективный историк выяснит поистине удивительную картину взаимодействия в России тайной политической полиции и революционных организаций, в особенности большевистских. Но уже теперь можно считать бесспорно установленным, что организации массовых рабочих стачек русские социал-демократы научились у охранников (Ростовна-Дону, Одесса, Баку, Гапон в Петербурге). Лидером большевистской парламентской группы IV Государственной Думы был охранник Малиновский. Речи для него сочинял Ленин, а исправлял их директор департамента полиции Белецкий. В знаменитой горьковской «рабочей школе», сначала на Капри, затем в Париже, большинство слушателей состояло из лиц, командированных туда тайной полицией. В момент взрыва Революции во главе центрального большевистского органа печати («Правда» находился охранник Черномазов. По общему признанию, большевистские организации были насквозь пронизаны «провокаторами», т.е. агентами тайной полиции. Все это бесспорно установлено уже теперь. А что еще откроется в будущем? А что и никогда не раскроется ввиду уничтожения коммунистами множества неприятных документов!..

XVI. Коммунистическое самодержавие

Сила Ленина заключалась в том, что он был марксистом и главой единственной прочной подпольной организации в стране. Как марксист, он яснее многих рассценивал строение России и возможную роль «пролетариата» в возникающем хаосе. Как глава подполья, он обладал некоторым запасом энергичных, дисциплинированных партийных работников и умел ими маневрировать. Нет поэтому ничего удивительного, что во время развала власть захватили большевики*. Трезвый ум Ленина знал и основной (закон русской истории): самодержавие всегда поддается натиску и отступает под влиянием неудачной войны. Как видно из писем Ленина к Максиму Горькому**, большевистский вождь еще в 1910–1912 году жаждал войны, на нее делал свою главную ставку, жгорбел, что «Николаша нам этого удовольствия не доставит...».

В нескольких тысячах рабочих, организованных в большевистскую партию и привлеченных к ней, Ленин получил незаменимые щупальца для скло-

* Исключительно для защиты себя от обвинений в том, что я «крепко задним умом», укажу, что с 1907 года в московском журнале «Русская Мысль» в ряде статей, в полемике с Г.В. Плехановым, А.Н. Потресовым и другими, я постоянно указывал, что в России только большевики и являются подлинной революционной силой и что они во время Революции поставят перед собой на колени все другие социалистические группы.

** В бытность мою библиотекарем в Петербургской Публичной Библиотеке я читал в рукописи эту переписку.

нения на свою сторону огромных крестьянских масс. Во время Революции можно было наблюдать, как орудовали эти московские, петербургские, уральские, костромские, владимирские рабочие. Все большею частью великороссы, имевшие лишь советниками по финансовой и литературной части интеллигентов и инородцев. Способы их («трудовых») и («имущественных») («мобилизаций»), походов за хлебом, реквизиций и обысков, облав и расстрелов очень походили на «работу» татарских баскаков, царских опричников, петровских гвардейцев. Оспаривать в этом отношении («национальный») характер русской революции могут только люди, не видевшие ее в действии. Сколько раз на митинге такой рабочий своей натасканной, скудной, штампованной речью побивал ораторов-интеллигентов! Толпы («рабочих и крестьян») видели в нем «своего», человека с «мозолями на руках». Толпы верили ему, какие бы зверские глупости он ни говорил, а не барину, («в галстук») или гуманной барыне («в шляпке»).

Власть взята. Неприятели разгромлены. Во имя кого она взята? Официальная теория двоятся или даже троится, являя картину полного хаоса и сумбура. То говорят о «диктатуре пролетариата», то о «диктатуре пролетариата и крестьянства», то лишь «пролетариата и беднейшего крестьянства». Сегодня СССР объявлен «страною строящегося социализма». Завтра – это уже «социалистическая страна», в которой только еще нет («полного коммунизма»). Оповещение, что «колхозы» – «социалистический сектор», в котором уже нет («классовой борьбы»), сменяется противоположным, что в колхозах она по-настоящему только и разгорается. «Буржуй», («классовый враг») проникает даже в «коммуны», выставляя там странные требования («уровниловки») в вознаграждении, («обезлички») в труде, обобществления последней коровы и мелкой птицы. Если «буржуй» облачается в «коммунистические» одежды, («пролетариату») ничего не остается, как надеть на себя («буржуазный») наряд. Ко всеобщему изумлению основами («социализма») в СССР уже провозглашены: сдельщина, цены, складывающиеся на рынке, соревнование, ударничество и величайшая индивидуализация рабочей платы, хозяйственный расчет, борьба с уровниловкой и «едоцким принципом». Впрочем, все это («социализм») – в одном случае, а в другом – за это можно и расстрелять, как за («буржуиство»).

Весь этот явный вздор, возможный только при полном уничтожении всякой неказенной печати, предназначен лишь для семилетних («пионеров»), двенадцатилетних («комсомольцев») и безнадежно темных безграмотных простаков. Их не мало. Но огромное большинство отлично понимает, что произошло.

Власть взята именем («пролетариата») коммунистической партией. Руководящие ее мозги сосредоточены в трех сотнях членов и кандидатов Центрального Комитета (ЦК) и Центральной Контрольной Комиссии (ЦКК). Воля партии выражена в одном-двух десятках лиц, входящих в состав Организационного Бюро (Оргбюро), Политического Бюро (Политбюро) и Генерального Секретариата Партии. («Оргбюро») ведает замещением должностей. («Политбюро») дает содержание и направление работ. («Генеральный Секретариат») указывает («генеральную линию»), ведает личным составом партийных верхов и направляет к исполнению (либо тормозит) принятие решения. Есте-

ственно, что фактически полная верховная власть оказалась в руках возглавившего Секретариат Генерального Секретаря, т.е. (товарища Сталина).

Оба – и Ленин, и Сталин – цари-самодержцы. Власть обоих носит не только светские, но и духовные черты. Повиноваться их власти сам Бог посылает не только за страх, но и за совесть. Только Ленин и Сталин подлинно знают, чего хочет («Бог»). Их слово поэтому прекращает всякие споры. Кто пытается возражать, да будет предан в руки Чеки (или ГПУ).

Нет ничего мистического в том, что Революция, уничтожив вековую русскую культуру, вернула страну к истокам государственного развития, дала самодержавие, столь напоминающее московское, насыщенное византийской теорией и татарской практикой. Практика по-прежнему осталась татарской. Византийская теория сменилась марксистской. Русская интеллигенция понесла свою кару за нежелание и неумение организовать постепенный переход от абсолютизма к правовому строю. Камень скатился обратно к подножию горы. Интеллигенции, как Сизифу, надо снова вкатывать его наверх.

XVII. Аппарат коммунистического самодержавия

Этот новый строй коммунистической олигархии с партийным самодержцем во главе сложился стихийно, в хаосе, не без колебаний, борьбы, всяческих зигзагов. Весь процесс шел постоянно под прикрытием («социалистической» и «коммунистической») словесности. Коммунисты, вообще, обратили внимание к словам и чрезвычайную их боязнь. Менее кого бы то ни было эти «материалисты» верят, что «от слова не станется». Византийские («номиналисты»), они в своей практике оказались татарскими («реалистами»). В («социалистическом строительстве»), («генеральной линии»), («генеральном плане»), («коллективизации») и («пятилетке») Сталин нашел все нужные ему («слова»).

Коммунистическая олигархия, приблизительно несколько тысяч семей, на развалинах дворянско-царской России утверждает ныне свою власть над ее населением.

Для этого, сводя все к общему, созданы три основных аппарата, возглавленных духовно-светским самодержцем, коммунистическим императором и марксистским папой, («тов. Сталиным») (*servus servorum* – подписывались и римские папы).

Невероятный по величине, созданный наподобие гигантского капиталистического треста, хозяйственный аппарат должен под видом («социалистического строительства») добывать с населения средства, не давая ему возможности сделаться в какой бы то ни было степени независимым от власти.

В помощь этому аппарату для защиты («территории»), на которой строится коммунистическое здание, для вооруженной борьбы с внешними и внутренними врагами создана Красная Армия.

Для надзора надо всеми и за всеми, над хозяйственным аппаратом, Красной Армией, партией, самой олигархической верхушкой и населением существует ГПУ (бывшая Чека).

Возглавляет все Сталин. В его руках знамя с надписью: («мировая социалистическая революция»). Еще не так давно в ее возможность верили.

Ради нее не только призывали к жертвам, но и приносили их. Теперь это – уже дело прошлое. В «мировую революцию» никто не верит. Она, как второе пришествие, отложена надолго. Но все же, если во имя «мировой революции» можно добиться увеличения «территории» присоединением Маньчжурии, Монголии, Китайского Туркестана, кусков Персии, воссоединения Бессарабии, отторгнутых кусков Малой и Белой России, прибалтийского побережья, если при помощи этой «революции» можно хотя бы просто хорошо организовать военное шпионство и поделиться за «кредиты» результатами его с другой державой, – с какой стати отказываться и от подобных «малых дел»?

Но главное – «самосохранение». И если для этой цели надо отдать не то, что Маньчжурию и дальневосточные железные дороги, но и Забайкалье и куски западных территорий, – есть ли тут над чем колебаться? Самосохранение коммунистической олигархии – верховный закон сообщества. Сталин унаследовал от Ленина понимание того, что означает для «самодержавия» проигранная война.

XVIII. «Социализм в одной стране»

Кроме этого внешнего идеологического знамени – «мировая социалистическая революция» – есть у Сталина и свой особый императорский «штандарт». Беспощадный личный враг Сталина Троцкий давно уже вскрыл это двурушничество и дал новому сталинскому знамени его настоящее имя. Конечно, «социализм в одной стране» не что иное, как национал-социализм. Не гитлеровский, в котором на 95% национализма приходится едва 5% социализма, и то подмоченного. У Сталина на 95% социализма едва 5% национализма, да и то смутного, неискреннего, вынужденного необходимостью защищать «территорию», с которой кормится коммунистическая олигархия.

Сущность, впрочем, и у Гитлера, и у Сталина одинакова. Долой буржуазную эксплуатацию вольнонаемных рабочих работодателем, владельцем капитала, на который покупаются сырье и орудия производства! И да здравствует эксплуатация рабочих, обязанных принудительно работать по указанию и в интересах группы лиц, захвативших государственную власть! Эта группа стала единым, не знающим никакой конкуренции, капиталистическим трестом. К арсеналу буржуазных средств борьбы с непокорными вплоть до угрозы голодной смертью прибавилось непосредственное принуждение и насилие вплоть до расстрела.

Вот в чем единый действительный смысл сталинского («коммунизма»), как он осуществлялся, и гитлеровского («национал-социализма»), буде он осуществится. Полное бесправие отдельного человека перед властью. Ни у кого никаких незыблемых прав. Права только у тех, кто наделен властью, и по отношению лишь к тем, кто стоит ниже на ступенях общественной лестницы.

XIX. Коммунистический капиталистический трест

Коммунистическое государство – это капиталистический трест, монополизировавший все средства производства и принуждения, поработивший

все население и эксплуатирующий его колониальными методами вне всяких экономических соображений.

Несмотря на вороха громких («социалистических») слов, ни одна отрасль хозяйства не ведется в интересах ни рабочего, ни потребителя, а только государственной власти, реально осуществляемой верхушкой коммунистической партии.

Недостаток места не позволяет нам проанализировать все советское хозяйство. Остановимся только на одной, на самой важной для России, отрасли: на хлебе. Это имеет еще и то значение, что как раз на «хлебе» Сталин впервые, в 1928 году, ясно осознал смысл возводимой им постройки. До того она шла стихийно, самостоком. В середине 1928 года Сталин призвал к себе цвет своего «молодняка» и в беседе со студентами Коммунистической Академии (рассадника будущих профессоров) и «Свердловки» поделился с ними своими мыслями. Он показал и прокомментировал красным студентам и ту действительно интересную, «Немчиновскую таблицу», размышление над которой уяснило ему весь смысл коммунистического строительства. Эта беседа Сталина со студентами является одним из крупнейших событий в истории коммунистического самодержавия и заслуживает величайшего внимания.

XX. Немчиновская таблица

Вот что сказал Сталин студентам*.

До войны Россия производила около 5000 миллионов пудов хлеба. Из них государство и рынок (т.е. экспорт, промышленность и города) получали (по рыночной цене в полноценной золотой валюте. – А.И.) 1300 млн. пудов. Помещики собирали со своих полей 600 млн., «кулаки» (т.е. зажиточные крестьяне) – 1900 млн., а «средняки и бедняки» – 2500 млн. пудов. Больше всего доставляли хлеба на рынок зажиточные крестьяне (650 млн., третью часть своего производства). Помещики продавали (главным образом за границу) – 282 млн., немногим меньше половины своей продукции. Бедняки и середняки отуждали 369 млн. пудов, одну седьмую всего своего запаса. Государство, и тогда нуждавшееся в получавшейся от хлеба иностранной валюте, промышленность и города снабжались до Революции преимущественно помещичьим и «кулацким» хлебом.

Пришла Революция. Исчезли помещики. Раздробилась земля. Значительно увеличилось число крестьянских дворов. Для 1926/27 года, по Сталину, «Немчиновская таблица» рисует положение такими чертами.

Сбор хлебов упал до 4750 млн. пудов. Государство, промышленность и города получили (Сталин забыл прибавить: по смехотворно-низкой принудительной цене советскими бумажками) 630 млн. пудов, менее половины того, что получали до войны. Пришлось поэтому почти совершенно отказаться от заграничного вывоза. В 1925/26 году еще вывезли 123 млн. пудов вместо 600–700 довоенных. В 1926/27 году вывоз упал до 27 млн. пудов, т.е. почти до

* Все излагаемое ниже Сталин преподавал, конечно, студентам на обычном коммунистическом жаргоне и в своем освещении. Точно излагая сталинские факты и цифры, я сопровождаю их, понятно, совершенно иным толкованием.

нуля. Призванные заменить помещиков («совхозы и колхозы») добились всего только 80 млн. пудов, из которых отдали государству 37,8 млн. пудов. Заметим, что объединение («совхозов») и («колхозов») в одну группу совершенно неправильно и в дальнейшем исчезло. («Совхозы») – действительно государственное хозяйство, которым коммунистическое государство могло распорядиться по своей воле. («Колхозы») же объединение, хотя и не добровольное, вопреки фразеологии, отдельных крестьянских хозяйств, но все же такое, при котором нельзя не считаться с миллионами крестьян. Но даже и соединив совхозы с колхозами в одно, нашли, что рынку они дали едва девятую часть по сравнению с тем, что поставляли помещики.

(«Кулаки»), т.е. зажиточные крестьяне, к тому времени, несмотря на «НЭП», уже изрядно пощипанные, добились 617 [млн.] пудов (меньше трети того, что производили до войны). Из этого хлеба коммунистическое государство смогло отобрать у них только 126 млн. пудов. Пришлось поэтому налечь на «средняков и бедняков». Они произвели 4052 млн. пудов, из которых удалось взять 466 млн. Три четверти хлеба, нужного государству, промышленности и внегородскому населению, пришлось по мелочам выколачивать из 25 миллионов хозяйств («бедняков и середняков»).

Так идти дальше не может – заявил Сталин. Коммунистическое государство останется без хлеба, если не найдет замены («помещикам») и («кулакам»). Нельзя выколачивать хлеб по фунтам из десятков миллионов хозяйств. Необходимо восстановить крупное хозяйство. Спаси советскую власть может только «коллективизация».

XXI. «План» и «коллективизация»

Из этих сталинских размышлений над Немчиновской таблицей и родились («генеральный», «народно-хозяйственный план»), («пятилетка»), («коллективизация»). Над народно-хозяйственным планом работал Госплан. История его работы еще неизвестна и едва ли скоро будет написана, хотя это тоже один из самых интересных и драматических моментов в жизни России последних лет. Через два года после торжества генеральной планировки, разразился знаменитый процесс о («вредителях») в Госплане, закончившийся смертными приговорами. Если считать с судебными прениями, измена осужденных сводилась к медленным («темпам») индустриализации. На самом деле в центре стояло иное. Несомненно, что в 1927–1929 гг. частью коммунистов и оставшейся в России интеллигенции предпринята была наиболее серьезная и глубоко продуманная попытка спасти народное хозяйство России от окончательного разгрома.

Как мы видели, основным условием построения гигантского хозяйственного аппарата наподобие капиталистического треста было то, чтобы он не давал населению возможности сделаться в какой бы то ни было степени независимым от власти. Вот против этого основного условия и погрешил первоначальный госплановский план. Усиливая промышленность, удовлетворяющую потребности народа, и оставляя до 80% этого народа в категории мелких самостоятельных сельскохозяйственных производителей, («план») готовил элементы («свободного рынка») и воссоздавал призрак независимого или полунезависимого человека. Вот эту-то («измену») госплановцев и разо-

блачили ГПУ и Сталин, доказавший, что он достоин предоставленного ему трона.

Весь народно-хозяйственный план был сведен, в сущности, к одной только сплошной («стопроцентной») коллективизации.

Впоследствии Сталин несколько раз сваливал вину за истребление скота и недосевы на неразумных исполнителей. Все это было лишь лицемерием. На самом деле приказ гнать («коллективизация») во что бы то ни стало оставался в силе. В середине 1932 года один из наиболее близких к Сталину министров Каганович с торжеством провозгласил полную победу: «мы имеем 61% коллективизированных хозяйств, 80,4% посевной площади ярового клина».

XXII. Истинный смысл «коллективизации»

Посмотрим на дальнейшее развитие «Немчиновской таблицы». Возьмем план на 1931 год, потому что мы имеем уже некоторые данные об его выполнении. Для 1932 года и сталинские статистики еще не сочинили никаких цифр.

Торжество коллективизации должно было необычайно поднять производительность сельского хозяйства. Для 1931 года насчитали сначала урожай в 5970 млн. пудов. Но этого показалось мало. Прибавили, вышло 6270 млн. пудов. Из них государство должно было получить 1905 млн., в том числе 300 млн. от совхозов, 918 млн. от «колхозов» и все же 686 млн. от «индивидуальных» крестьян. Про помещика забыли и думать. «Кулак» исчез из новых вариантов таблицы. Хлеба было изобилие... на бумагах.

Сколько на самом деле собрано было в 1931 году хлеба, коммунисты в точной цифре не сообщили и до сих пор. В ноябре 1931 года, после окончательного сбора, председатель Совнаркома Молотов совершенно неожиданно, ко всеобщему изумлению, заявил, что СССР в текущем году пострадал от засухи (никто о ней раньше и не заикался), лишившей его (несколько сот миллионов пудов хлеба). Точность, как видим, весьма относительная. Однако Молотов добавил, что сбор хлеба будет не ниже прошлогоднего. В 1930 году урожай выдался перворазрядный, дозволивший снова вывезти за границу 250 млн. пудов (больше трети довоенного вывоза). Поверим Молотову (хотя он доверия не заслуживает, так как ранее для размеров посева дал ложную цифру в 113 миллионов гектаров вместо 137). Допустим, что в 1931 году собрали также 5244 млн. пудов. По плану ведь ожидали 6270 млн. Просчитались более чем на миллиард. Но, конечно, и эта цифра неверна. Там, где случайно оказывается возможной проверка, это выясняется сразу. Например, с «совхозов» коммунистическое государство ожидало получить 300 млн. пудов. Получили всего 108 млн., почти в три раза меньше. А казалось бы, тут все зависело от власти. Вся совхозная земля принадлежит государству. Назначение точной цифры посева в его полной воле. В совхозы направлено половина всех тракторов и все лучшие машины. И, несмотря на все эти условия, такой провал: план не выполнен и на 40%. Но если с «колхозов», находившихся всецело в ее распоряжении, коммунистическая власть не могла взять более трети предположенного, зато она отыгралась на крестьянах, согнанных в колхозы. Если не в производстве хлеба, то хоть в деле

его отчуждения государству, «колхозная» система всецело себя оправдала. Для этого ведь в сущности она и назначалась. Все остальное было лишь социалистической словесностью.

Простая, но красноречивая таблица, составленная по советским данным, показывает, в чем тут дело.

Годы	Сбор хлебов	Взято у населения
		(в миллионах пудов)
1927	4415	596
1928	4399	576
1929 (начало коллективизация)	4305	660
1930	5244	1350
1931	около 5200	1475 (в том числе 108 млн. от совхозов, остальное от крестьян)

Коллективизация помогла коммунистам содрать с крестьян буквально вместо одной две с половиной шкуры, несмотря на то, что общее производство, даже по их цифрам, сравнительно с довоенным почти не возросло, а при расчете на засеянный гектар заметно упало. Они хватают, что за один год, с 1930 по 1931, число тракторов на полях с 900 000 лошадиных сил возросло до 2 057 000, а посевная площадь сравнительно с довоенной увеличилась на 15–20 млн. гектаров. Пусть так. Значит, лишь при помощи таких грандиозных усилий им и удалось удержаться на довоенном уровне. Иначе было бы совсем плохо.

И в «колхозах», и в одиночных хозяйствах советские «тракторы» не столько помогали обрабатывать землю и снимать хлеб, сколько появлялись при молотье, когда надо было «прямо из-под молотилки» отбирать у крестьян зерно и спешно отвозить его в государственные амбары.

«Коллективизация» реальнейшим образом возродила круговую поруку. Нынче вместо того, чтобы иметь дело с 15 млн. отдельных дворов, коммунисты собирают хлеб и налоги с 250 000 колхозов. В каждом имеется свой, головой за других ответственный, поводырь и все отвечают всем своим имуществом друг за друга.

Это и называется «строительством социализма» в деревне. Это же называется «строительством социализма в одной стране».

XXIII. Хозяйство коммунистического треста

Какую отрасль советского хозяйства ни проанализировать, вывод получается тот же. Всюду мы найдем капиталистическое предприятие коммунистического треста. В последние годы от этих предприятий усиленно требуется самоокупаемость. Так как при коммунистическом хозяйствовании это требование нелепо по существу, то в реальности оно сводится к требованию превышения всех собственных планов, («к перевыполнению»). Иначе, как за счет эксплуатации рабочих и потребителей (понижение качества) этого достичь нельзя. Третий выход, наиболее употребительный – обман. Обман, эксплуатация и понижение качества и составляют три основных свойства каждого коммунистического предприятия. Оно не знает конкуренций, но

зато вечно пребывает в страхе от невежественного, глупого и корыстного начальства. Велики ли у него преимущества перед капиталистическим предприятием?

Но и все хозяйство в целом ведется вовсе не в интересах страны и народа, производителей и потребителей, а все того же коммунистического треста, захватившего власть над Россией. Почему самым хищническим образом гонится, с явным вредом для страны, добыча нефти? Потому что нефть ценнейший валютный товар, а коммунистический трест до зарезу нуждается в иностранной валюте. Снабжение топливом русской промышленности стоит на десятом месте, а думать о снабжении светом крестьянской избы никому из начальства не приходит и в голову. Добыча нефти в 2^{1/2} раза увеличена против довоенного. Но поднять хотя бы на довоенную высоту производство сахара до сих пор не могут, хотя технически это сделать не трудно, а сахарная промышленность была нормирована и даже национализирована еще до октябрьской революции. Какой интерес коммунистическому тресту хлопотать об усиленном снабжении сахаром русского мужика? Валютное же значение сахара ныне сильно упало и даже на знаменитом кормлении русским сахаром английских свиней нельзя более разжиться. Так повсюду и везде в «царстве социализма»...

XXIV. Люди в СССР

Создан гигантский хозяйственный аппарат наподобие колоссального капиталистического треста. Существует Красная Армия. Лихорадочно работает ГПУ. Миллионы образованных русских людей, как старого, так и нового воспитания, включены в эти аппараты. Коммунисты очень заблуждались, думая, что они искоренили старые русские традиции, старый «русский дух». Эта задача непосильна и для них с их энергией. Стоит только пропустить в печать мало-мальски талантливое художественное произведение, и они убеждаются в этом. Они, вообще, недооценили страшной силы бытового начала не в русской жизни, а в русской психике. Разве лишь полвека коммунистического истребительного режима смогли бы этот дух уничтожить... вместе с самой Россией и с коммунистами.

Среди включенных в коммунистические аппараты людей много негодяев, уголовных преступников, всяких проходимцев и злобных дураков. Есть известный процент людей душевнобольных и дегенератов. Но большинство – обыкновенные русские люди, иногда очень умные, образованные, по своему честные, иногда даже тонко чувствующие, не лишённые идеалистических стремлений. Словом, русские люди того же духовного склада, что их братья, очутившиеся на чужбине в эмиграции.

Они усвоили «социалистический» жаргон и говорят, а иногда и мыслят, («техническими терминами») («коммунистического режима»). Но они видят ясно и даже точно в подробностях, что происходит. Их культурное развитие, конечно, страшно тормозится необходимостью постоянно вести двойную жизнь, тратить множество сил на постоянный перевод действительности на коммунистический язык и на преодоление опасностей, связанных с роковой забывчивостью в этом деле. И все же они живут, приспособляются, создают в

оттенках коммунистических терминов зачатки какого-то общественного мнения.

Они видят неустранимое противоречие между режимом и требованием от всех развитием производительных сил. Они ясно понимают основной вопрос режима: забыли человека, не знают и не хотят его знать, хотя только сломить человека. Но и сломанный человек не будет послушной американской машиной. Он превратится лишь в грязную тряпку, засорит и испортит и хорошую машину.

Они даже передают это свое знание свои жестоким рабовладельцам. Совсем недавно ближайший к Сталину его бурмистр Коганович на собрании московского партийного комитета обмолвился опасной фразой: «Надо понять, что главный наш рычаг – люди». До сих пор они искренно верили, что их главный рычаг пулеметы и машины, а люди – только добавление к ним. Теперь и в их мозги начинает проникать сознание, что пулеметы и машины тогда лишь «рычаги», когда за ними стоят «люди». Отсюда борьба с «уравниловкой», сознание необходимости «стимула» к труду, отрицание «обезлички». Но при таких («клонах») – от «коммунизма» ничего, кроме ГПУ, не остается.

Да и политические опасности положения бьют в глаза. Возрождение террора, бойня, полное обесценение денег, гражданская война, походы за хлебом – все эти ужасы снова стучатся в советские двери. Не один умный, образованный коммунист (а есть и такие!), вероятно, уже повторяет, пока про себя, – знаменитые слова Александра II: «лучше приступить к освобождению крестьян сверху, чем ждать, пока движение начнется снизу». А оно начнется...

Как в самые тяжкие годы реакции Николая I в России росли и готовились будущие деятели «освобождения», Милютины, Кошелев, Черкасский, Кавелин, Самарин и другие, так и теперь в таких, неприметных уголках формируются под сталинским обручем будущие освободители. А там и «общий закон русской истории». Неудачная внешняя война – и колеблется трон самодержца. На выбор – реформа или взрыв с последующей расправой и уничтожением всех ревностных «прислужников старого режима».

XXV. Настроения и чувства «подъяремных»

Создание «Красной Армии» с самого начала внушало много тревог коммунистической головке. Регулярная армия не может не быть национальной, какие бы лозунги ни писали на ее знаменах. Постоянная армия может защищать только «свое отечество». Остается назвать его «социалистическим». Много ли поможет одно это слово? В России постоянная армия не может, к тому же, не быть крестьянской. В крестьянстве – лучший человеческий материал. Конечно, хорошо поставленный сыск оказывает огромные услуги. Все же «крестьянские настроения» проникают в армию. А коммунистическая учеба и пропаганда преломляются в крестьянских мозгах своеобразным национализмом и патриотизмом евразийских оттенков. «Европа – буржуазна. Мы – новый особый мир. Французские и английские капиталисты готовят против нас войну... Польские паны утесняют русских рабочих и крестьян». А в офицерских, несколько более образованных и размышляю-

щих, кругах («социализм в одной стране») становится фундаментом или псевдонимом патриотизма.

Такого же рода настроения складываются и среди штатской армии советских «спецов». Тут уже сама «национализация промышленности», объединяя все предприятия одной отрасли, разбросанные в разных концах страны, способствует расширению мировоззрения до пределов Империи и окрашиванию его в («евразийские») цвета. Еще во время Революции множество русских рабочих из центральных и северных губерний только на опыте, во время хлебных и военных походов, открывали, почему («нам нужна») Малороссия с ее пшеницей и сахаром, Донецкий бассейн – с углем, Баку – с нефтью и проч. В связи с многоплеменностью населения, вдруг громко заговорившего на всевозможных языках (пока лишь коммунистические речи, но темы изменчивы), имперское сознание у русских людей, действительно, начало приобретать своеобразные («евразийские») оттенки.

Все эти выброшенные Революцией в «хозяйственный аппарат» люди, конечно, не желают отказываться от («национализации») промышленности и, вообще, от строя, давшего им место, заработок, положение. С этой точки зрения они – («социалисты») и («коммунисты»). Но в то же время они ясно видят, что («машина») работает плохо, идет к краху, что презрен главный «рычаг» – («человек»). Едва ли многие из этих («хозяйственников») знакомы с теориями («функциональной собственности») и с другими модными учениями реформирующего социализма. Но нельзя не видеть, что стихийно, под давлением жизни, в их умах складываются мысли, довольно близкие к тем, к которым заглянувшей русские эмигранты подходят дорогой теоретических размышлений.

Преследования религии, идущие очень глубоко и грозящие принять еще более крайние формы, оскорбляющие каждую, сколько-нибудь возвысившуюся над чисто животной жизнью, душу, нигде невиданные преследования каждого независимого слова – все это делает СССР страной мучеников, в которой мученичество за веру будет, как и в первые десятилетия революционного подполья, окружено ореолом святости.

Человек, донесший безропотно через все мучения свою веру (а легенды бывают нередко и очень снисходительны!), если он доживет до лучших времен, приобретет в населении чрезвычайный авторитет. Огромны будут в народе уважение и почитание Православной Церкви, если она благополучно и с достоинством переживет эти годы лихолетья. Праздником из праздников будет для верующих и неверующих тот день, когда вновь зазвонят умолкнувшие церковные колокола. Дело Православной Церкви, пусть на один момент, тесно связало себя с делом человеческой свободы.

По свидетельству многих, разные секты и теперь ведут усиленную пропаганду среди народа. Не только крестьян, но и рабочих, не удовлетворяют душевные сушь и духовная мелочность коммунизма и экономического материализма.

XXVI. Объединение «подъяремных») и «эмигрантов»

Исходя из разных источников, под действием различных причин одни и те же чувства и мысли пробивают себе дорогу в душу русских людей в эмиг-

рации и в СССР. И там и тут зародыши нового патриотического сознания, более сложного, чем до Революции, хотя еще смутного и малодейственного. И там и тут общая тяга к свободе, не как к оформленной государственной системе, например, парламентаризма, но как к реальной гарантии для личности жить независимой жизнью.

Возрождение, сначала у отдельных передовых, наиболее мужественных личностей, идеализма и религиозности. Преклонение перед людьми духовной доблести, сильной веры, которым можно верить и на которых можно положиться. Сознание, что «пулей» и «стенкой» нельзя построить всеобщего счастья, что только духовное просветление может привести людей к построению совершенного общества.

Вот фонд идей, которые одинаково овладевают русскими людьми и на родине, и в изгнании. Из этих идей в будущем родятся те действенные течения, которые и вступят в подлинную борьбу с коммунистическим самодержавием.

Какие формы получит эта борьба? Когда она разразится явно для всех? Каковы будут ее течения и исход? Кто решится это предсказать? Многого зависит от международного положения, совершенно неясного. Вспыхнет новая европейская война – события быстро пойдут катастрофическим ходом. При замирении Франции и Германии в СССР начнется тяжелая, затяжная борьба за освобождение от красного самодержавия, в общих линиях сходная с той, которая велась с 1825 по 1917 год.

Рождающееся ныне духовное единство двух частей разорванного народа и делает возможным совместную борьбу. Каждая из половинок русского мыслящего и образованного общества разными путями приведена к некоей общей платформе.

Те мысли и требования русской интеллигенции, которые в дореволюционное время могли казаться слишком теоретичными, не вполне справедливыми, чрезмерными, ныне при господстве коммунистического самодержавия стали вполне жизненными, трезвыми, правдивыми, отвечающими простейшим требованиям разумной государственной жизни.

Россия будет свободна. Ее население из стада рабов превратится в общество равноправных граждан.

12 сентября 1932 года

**МАТЕРИАЛЫ СЕМИНАРА
ЦЕНТРА РОССИЕВЕДЕНИЯ**

СЕМИНАР

РЕВОЛЮЦИЯ КАК ПРОБЛЕМА РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ (18 декабря 2008 г., ИНИОН РАН)

И.И. Глебова, ИНИОН РАН: Тема сегодняшнего семинара Центра руссиеведения – «Революция как проблема русской истории». Докладчик, Владимир Прохорович Булдаков, уважаемые коллеги, вам известен; в специальном представлении он не нуждается. Нашу работу предлагаю построить в традиционном варианте: доклад – около получаса, затем – вопросы и обсуждение.



В.П. Булдаков, ИРИ РАН:

Хотя на предложенную тему мне не раз приходилось говорить, не уверен, что смогу уложиться в 30 минут. Вряд ли помогут предложенные тезисы – они кажутся мне самому довольно корявыми. Поэтому хотел бы на всякий случай отослать заинтересованных лиц к моей одноименной статье в «Вопросах философии» (2009, № 1) и будущей более объемной публикации «Революция как миф и проблема российской истории», подготовленной для ежегодника нашего Центра. Сегодня на проблеме революционного мифа останавливаться не буду – это отдельная, весьма путанная, хотя и по-своему веселая тема. Нет смысла разбирать существующие теории, концепты и концепции – они слишком тесно сопряжены с мифами. Рассказ об историографии революции также получился бы непомерно объемным. Попробую поэтому сфокусироваться на существе проблемы.

Всякий посторонний человек, взявшийся разбираться в проблемах революции, сразу же погрязнет в эмпирическом материале. Я постараюсь дистанцироваться от привычного набора фактов и их интерпретаций. Речь пойдет не о конкретной революции – Февральской, Октябрьской – я буду говорить *о системном кризисе сложноорганизованной имперской системы, его повторяемости в российской истории*. Где истоки такой кризис-

ности, носит ли она генетически предопределенный, врожденный характер? Или, может быть, Россия действительно оказывается жертвой периодических заговоров, как принято считать в известных кругах? Вот об этом и пойдет речь.

На мой взгляд, проблема революции (системного кризиса) – это проблема стабильности (или нестабильности) исторического существования определенного типа государственности. Хочу подчеркнуть, что я начинаю именно с власти, государственности, хотя давно предпочитаю заниматься социальной историей – историей людей, человека.

Что же такое российская государственность с точки зрения ее уязвимости? Представляется, что проблема революции, или, точнее сказать, смуты (я эти понятия разделяю, но в данном случае это не имеет принципиального значения), может быть сведена к поиску в социальном пространстве России элементов, так или иначе провоцирующих и продуцирующих социальный хаос. Тех самых элементов, которые обеспечивают рост так называемых малых возмущений, приобретающих в конечном счете антисистемный масштаб.

Анализ особенностей российской государственности я начал бы с призвания варягов (или, что точнее, соответствующего мифа). Постараемся представить, что власть в России, несмотря на откровенно патерналистский характер ее самопрезентации (и соответствующее восприятие снизу), на самом деле изначально являлась внешней – инородной – для российского социального пространства силой и уже поэтому особенно упорно пыталась казаться «своей», «отеческой», отличной от всякой другой. Строго говоря, «чужая» династия – обычное в истории дело, но в России момент внешнего воздействия играл особую роль. Вспомним слова Владимира Соловьева о русском государстве, которое «было зачато варягами и оплодотворено татарами». Можно сказать в связи с этим, что византийско-православный проект приобрел неадекватную ему монгольскую «кочевническую» систему приказного управления. Говоря об «инородности» российской власти, стоит вспомнить и о том, что со временем бюрократический строй империи стал рекрутироваться из немцев (сначала в широком, затем в узком смысле слова), которые даже во внешнеполитическом ведомстве и армии занимали весьма основательные позиции (символично, что этот фактор столь мощно сработал накануне 1917 г.). Хотел бы обратить внимание еще вот на что. Как бы мы ни относились к власти, мы постоянно испытываем колебания амбивалентного ее восприятия: какая она – «наша» или «чужая», «хорошая» или «плохая», «настоящая» или «подменная»? Мы постоянно чего-то ждем от власти: то хорошего, то дурного. Это психология «ожидания чуда», отчетливо ориентированная на власть. А представления о власти как механизме, который действует от нашего

имени в наших интересах (а по-другому и быть не должно), у нас так и не сложилось.

Стоит задуматься и о другом. Для российской государственности, возникшей на необъятных просторах, которые требовалось так или иначе упорядочить, всегда колоссальное значение имел самый что ни на есть прозаический фактор: наличие свободных средств для оперативного реагирования на те или иные угрожающие ей события или явления. Попросту говоря, для России, как тысячу лет назад, так и сейчас, колоссальное значение имела проблема сбора налогов: народ беден, а расходы для его защиты непомерно велики. И здесь татары сыграли весьма конструктивную роль: эту проблему они решили, как успешно (для своего времени) решили и проблему коммуникаций. Для такого рыхлого демотерриториального пространства, как Россия, эти два фактора – основательный бюджет и развитые коммуникации – всегда имели колоссальное значение. И в связи с этим постоянно возникали трудности, которые могли приобрести системный (точнее антисистемный) характер.

Здесь присутствует мой давний знакомый Сергей Алексеевич Королев, известный философ... В свое время он высказал простое, но принципиально важное соображение. Задача российской власти состояла в том, чтобы превратить пространство территорий и социальное пространство в контролируемое и управляемое пространство власти. Иногда это удавалось, иногда эти пространства выходили из-под контроля. На мой взгляд, именно неустойчивое равновесие между крайностями (от застоя к смуте) лежит в основе исторического существования российской государственности, ее временных успехов и периодических кризисов. В той мере, в какой удавалось контролировать эти пространства – территории и пространства людских душ, – удавалось добиваться стабильности системы. Россия всегда балансировала на грани «застоя» и «смуты» – достичь динамичного инновационного развития не удавалось.

Смута – это не совсем революция (или совсем не революция), во всяком случае, любая революция в России вписывается в более длительную полосу «смутного времени».

В связи с этим возникает вопрос: есть ли аналоги такой государственности? На мой взгляд, в современной истории их нет. Если говорить об отдаленном прошлом, то их можно обнаружить. Я имею в виду самую архаичную, самую примитивную форму государственности – государство-склад. Это когда власть забирает весь прибавочный, точнее, произведенный продукт, а затем раздает его по закону первобытной справедливости (в первую очередь, естественно, тем, кто обслуживает процесс сбора-распределения). На мой взгляд, наше государство до сих пор строится на таких архаичных основаниях: собирает (или обирает), а потом раздает.

Понятно, что далеко не всех такая государственность устраивает в формажорных обстоятельствах.

Из государства-склада естественно вырастает так называемое патерналистское государство (или, что точнее, его образ). Это также весьма архаичная форма господства над людьми – та, которая делает вид, что всех кормит. Она напоминает нечто знакомое по истории восточных деспотий, где все блага жизни воспринимаются как персональный дар правителя. Своего апофеоза «социалистический» патернализм у нас достиг во времена Сталина, но и без него образ «кормящей власти» в российском псевдополитическом пространстве неизменно доминировал и доминирует. Соответственно этому, для самосохранения государства-склада требуется особый тип веры. По сути дела государственность в России сама превратилась в веру. Конечно, можно рассуждать о православии, относительной веротерпимости имперской власти, но над всем этим, на мой взгляд, довлела вера в саму власть – государственность (относительно независимо от конкретного правителя) подспудно превращалась в объект религиозного почитания.

Каковы исторические ипостаси этого явления, думаю, объяснять не надо, – присутствующим это понятно. Патерналистские системы порождают амбивалентность оценок власти. В любом случае такие специфически иллюзорные представления о ней обычно оборачиваются надеждами на возможность мгновенного преображения – в частности, в связи с заменой правителя своего рода переворотом.

Хотел бы обратить внимание на еще один принципиально важный момент. В России общества как такового вообще не могло сложиться. Современные разглагольствования о «гражданском обществе» – это типичный российский этатистский блеф. Дело не только в том, что государство само формировало либо «служилые», либо «тягловые» сословия, либо их гибриды. В российских пространствах общества, как такового, объективно сложиться не могло. Могли сформироваться социумы общинного типа, всевозможные сообщества, «светское общество» (как эрзац-общество), «добровольно-принудительные» общества (вроде ДОСААФ), но общества как такового, основанного на гражданской независимости от власти, на мой взгляд, нет до сих пор (назначение сверху Общественной палаты – отличное тому свидетельство). Нынешние разговоры о гражданском обществе – это обычная для нас попытка выдать желаемое за действительное. «Потемкинские деревни» – это тоже наше фирменное know-how. Лично я не вижу никаких оснований принимать всерьез подобные симулякры.

Власть, которая пытается контролировать всю, ею же выстраиваемую социальную систему, сама провоцирует непременные приписки и всеохватывающую коррупцию. Если все делается через власть, то всякий избыточно (по понятиям власти) активный служилый человек с несколько

пошатнувшимися моральными устоями (а к этому подталкивает аморализм самодержца и его ближайшего окружения) испытает соблазн обмана этой самой власти. Если приказная бюрократически-полицейская государственность вызывающе тупа, то искушение надуть ее неистребимо.

Кстати сказать, в последнее время приказную систему основательно идеализируют, упирая на то, что она основывалась не на безличностно-формальных, а на «человеческих» взаимосвязях. Да, действительно, в некоторых случаях приказная система могла быть эффективной. Но для этого необходимы два условия: либо «подмазать» снизу («подъячий любит калач горячий»), либо «надавить» сверху («взять на контроль»). Вот тогда эта система работает относительно эффективно. В иных обстоятельствах ее преимущества сомнительны. Конечно, в силу своей «асимметрии» она порой оказывалась более гибкой, чем министерская регулярная система. Но это не является свидетельством ее исторической перспективности.

Хотелось бы обратить внимание и на другой момент. Существует, как известно, представление о соборном устройстве российской государственности. Я считаю, что это один из мифов, созданных то ли самой властью, то ли ее идеологами. На мой взгляд, наличие стремление романтических холуев власти выдать желаемое за действительное.

Когда нет альтернативы, когда в низах отсутствует представление о возможности иного устройства власти, возникает именно такая социально-психологическая ситуация. Выдавать нужду за добродетель нам очень и очень свойственно. Соответственно этому власть постоянно выдает желаемое за действительное.

Надо учитывать и то, что обслуживание государства-склада порождало жажду идеала «дающей» или даже «отдающей» власти. Происходила подмена реального воображаемым, чреватая «смутой в умах». В таких условиях жизнеспособность государства могла поддерживаться только особой этатизированной верой. Но такая вера в критические моменты не обеспечивала конкретного правителя остро необходимой сакрализующей подпиткой. Вакуум веры всегда восполняется всевозможными суевериями – к этому мы тоже очень склонны. Всевозможных слухов и домыслов относительно власти у нас всегда было в избытке. Как правило, в критических обстоятельствах россиянин начинает бунтовать и против опостылевшей государственности, и против казенной веры, каких-то ближних «препятствий» – во имя некой идеальной власти и веры, не говоря уже о сообществе земных ангелов, ради которых можно уничтожить «чужого». В современных условиях мы это также хорошо ощущаем.

Уже не раз было сказано, что наиболее революционным слоем в России была, есть и остается российская интеллигенция. Насколько уникален этот феномен? Наверное, уникален: российская государственность попросту не допускает существования независимого от нее человека. Лица сво-

бодных профессий неконтролируемы, а потому терпимы лишь в ограниченном количестве. В любом случае они кажутся «опасными». Лица, независимые от государства, российской власти не нужны.

Как зародилась российская интеллигенция? На этот вопрос ответить сложно (помимо традиционных экивоков относительно указа о вольности дворянству), но так или иначе *интеллигенция превратилась в фактор, провоцирующий российскую смуту*. Механизм возникновения смуты известен: маргиналы, диссипанты, диссиденты «сверху» провоцируют маргинализуемые низы. Кстати, Ленин это хорошо понял.

Конечно, когда мы говорим о возникновении революционной ситуации в России, возникает вопрос: с чего все это начинается, когда делается необратимым? Лично я исхожу из того, что искать пресловутую точку бифуркации, при прохождении которой возврат к прежней «стабильности» уже невозможен, – занятие безнадежное и ненужное.

В критических обстоятельствах система, подобная российской, становится слепой: не способна распознать опасности, которые ей угрожают. Она самоубийственно устремляется к собственной гибели. Но не видят этого и ее подданные. Мы, как всегда, не ведаем, что творим.

В российской смуте, в системном кризисе архаичной империи можно выделить лишь отдельные стадии или уровни ее протекания. Об этом я писал не раз.

Прежде всего, я обращал внимание на этический компонент кризиса, за которым следует идеологический, затем политический (точнее псевдополитический) этап развала системы. Принципиальное значение приобретает организационный хаос, за которым следует социальный этап кризиса. И, конечно, после прохождения точки бифуркации наступает полоса господства толп – охлократическая составляющая кризиса империи.

Что случается после этого? Всем известно – ничто так не провоцирует автократию, даже тиранию, как охлократия (явление всегда переходящее). Перебесившиеся массы могут произвести только нового вождя, нового деспота. С этого начинается рекреационное восстановление системы.

В итоге власть (с нашей помощью) воспроизводит самое себя в новом обличье. В этом, на мой взгляд, состоит *суть и проблема русской революции*, проблема *хаотичного самовоспроизведения сложившегося типа государственности*. В XX в. мы уже пережили две такие революционные метаморфозы, но никак не можем поверить, что по природе своей они однотипны.

Конечно, сегодня многие авторы соглашаются, что Россия пережила три системных кризиса – первый в начале XVII в., два последующих – в начале и конце XX в. Кстати, вялотекущий характер последней смуты связан со «старением» населения. В начале XX в. мы имели нечто противоположное: «омоложение» населения в результате демографического взрыва.

К этому надо добавить, что если кризис начала века был вызван Первой мировой войной, то в конце столетия более основательно сказались внутренние последствия ««холодной войны»». Россия, проиграв «холодную войну», все еще пребывает в состоянии непреодоленной смуты.

Можно последовательно показать однотипный характер протекания всех российских смут. В нескольких словах я попытаюсь это сделать.

Что такое этический кризис власти? Он начинается с того, что кто-то во всеуслышание заявляет верховному правителю: ты правишь не по-христиански, не по-людски. Тут можно выстроить ряд знаковых фигур, начиная с Андрея Курбского, включая Радищева, заканчивая Солженицыным (также призвавшим «жить не по лжи»). Разумеется, нравственный натиск на систему имел очень ограниченное конкретное «революционное» действие. Он мог сказаться в полной мере позднее, при определенных условиях. Вот тогда моральное обличение власти приобретает идеологическое качество. Затем власти представляется некий конкретный план ее трансформации. Происходит политизация нравственного императива. Мне трудно судить детально о том, что происходило в XVII в., но применительно к началу и концу XX в. картина ясна. Авторитаризму противопоставляется демократия, точнее – миф о демократии.

Кризис углубляется по мере того, как в борьбу вступают политические партии. Надо сразу заметить, что реальной альтернативы существующей власти они предложить не могут – им не на что опереться, кроме околовластных структур. Партии воспроизводят картину интеллигентского мировосприятия, а не жизненные реалии, не интересы несуществующего общества, а иллюзии разрушаемых сословий и мнимых классов. Но они выступают мощным катализатором организационного развала системы. Можно показать это на простом примере. В период Первой мировой войны территория Российской империи оказалась поделена на зоны военного и гражданского управления. Помочь власти были призваны Земский и Городской союзы, а также военно-промышленные комитеты. Возник парадокс: либералы за казенный счет начали критиковать систему управления изнутри нее. Конечно, в таких условиях государство со своими обязанностями не справилось.

Во время войны колоссальное значение приобрела сложнейшая для России проблема снабжения населения. Инфраструктура оставалась слабой. А между тем требовалось переориентировать основные (прежде всего хлебные) грузопотоки с востока на запад (раньше в европейской части империи они шли преимущественно по линии север–юг). Эта проблема осталась неразрешимой, что повлекло за собой продовольственные неурядицы. (Подобная ситуация, кстати, знакома нам по недавним временам – кризис распределения не случайно влечет за собой новый развал системы.) Реакция масс оказалась характерной. Последовала серия бунтов, обернувшихся

кризисом самой власти – в критический момент она не смогла ни накормить, ни защитить, ни даже создать иллюзию того и другого. Вслед за тем те или иные социальные слои пытались перейти на режим самообеспечения. Это не удалось. И вот тогда наступил охлократический период смуты, когда власть способна только имитировать свое присутствие (причем массы ей в этом невольны, но активно помогают).

И только когда энергия социального хаоса исчерпана, начинается рекреационный период смуты – власть набирает силу. Происходит «чудо власти». Связано это с тем, что интеллигенция творчески иссякла, массы исчерпали потенциал самоорганизации – и без того слабый. И когда массы обессилели, радикальные лидеры обескровили друг друга, власть постепенно вновь становится Властью.

Все это настолько напоминает 1990-е годы, что от комментариев можно воздержаться.

Можно сказать, что проблема российской революционности связана с «революционностью» самой власти – ее бесконтрольность оборачивается тем, что неосторожные шаги становятся шагами в пропасть; через интеллигенцию она невольны, но постоянно провоцирует народ на смуту. Возникает вопрос: есть ли этому альтернатива? На мой взгляд, она все еще не просматривается. Если нет общества, людям не на кого надеяться, кроме правителя.

Власть-диктатор, она же власть-хамелеон, лишенная нормальных общественных институтов, изначально неустойчива (хотя ей приписывают тоталитарные качества). Иной она быть не может, ибо соседствует с хаосом, а не ведет диалог с обществом. Система, о которой шла речь, может качественно преобразоваться – не важно, будет это революция или нет, – лишь на клеточном уровне. Только люди, которые знают, как можно организоваться помимо власти, независимо от власти, вопреки власти, могут постепенно создать структуры и иерархии, которые действительно станут опорой государственности.

На этом, пожалуй, все. Спасибо.

И.И. Глебова: Спасибо. Уважаемые коллеги, пожалуйста, вопросы.



О.Ю. Малинова, ИНИОН РАН:

• Спасибо большое за очень интересный доклад. Хотелось бы уточнить. Ваша схема – это видение ситуации, так сказать, изнутри: есть некий социальный организм – и мы прослеживаем логику его существования. Я бы даже не назвала это эволюцией: ведь получается, что *он воспроизводит одни и те же способы существования во времени. Что-то, конечно, меняется, но какие-то структуры вновь и вновь возобновляются.* Мой вопрос связан вот с чем. Хорошо, допустим, что в России есть такая тен-

денция к воспроизводству. Но ведь Россия существует не сама по себе. Это пространство, географическое и социальное, включено в сложные мировые связи. И совершенно очевидно, что на протяжении тех промежутков времени, о которых мы говорим, окружающая среда менялась. Как, по Вашему, происходившее в России и с Россией, связано с тем, что происходило вовне? Поясню вопрос. Мне-то кажется, что феномен русской революции может быть понят только в связи с тем, что она включена в определенные связи. Вне этого контекста очень сложно выявить природу именно данного социального явления.



В.П. Булдаков:

Я Вас понял. Спасибо за подсказку, этот момент в докладе я упустил. На мой взгляд, ответ довольно прост. Поскольку система строится на самодостаточных автаркистских принципах, любое внешнее воздействие изнутри нее воспринимается как «чужое». В этом есть доля истины: *инновации способны сыграть разрушительную роль в архаичной социальной среде*. Уцепившись за русскую почву, «чужие» идеи действуют подобно вирусу, против которого нет иммунитета. Воздействие окажется особенно разрушительным, когда система находится в ослабленном состоянии. Власть это всегда сознавала и сознает. Отсюда культивирование образа врага. Без образа врага – не только внешнего, но и внутреннего – российская власть существовать попросту не может. Если его нет, она его создаст. На эту тему можно привести массу примеров, включая курьезные, когда совершенно ничтожные явления воспринимаются как серьезная угроза – муха вырастает до размеров слона. Власть в России постоянно пребывает в напряжении, постоянно чего-то боится. Из чувства опасности со стороны она постоянно мимикрирует, копирует внешние образцы, чтобы скрыть свою примитивную природу. Конечно, правители хотят выглядеть и цивилизованными, и современными. Но это не меняет сущности власти. Я даже употреблял такой термин: государство-хамелеон, государство-симулякр. К этому остается добавить, что, если внешний кризис резонирует с кризисным ритмом российской истории – последствия будут катастрофичными.



И.И. Глебова:

Вы сказали, что власть (такой тип власти) постоянно находится в напряжении, не может существовать без образа врага. Но ведь запущенный властью образ врага находит какое-то встречное – изнутри социума – напряжение. Можно ли сказать, что властный образ врага не может существовать без типологически подобного народного образа врага – и наоборот? То есть это общие, объединяющие образы, позволяющие говорить о единстве социальной природы, о внутреннем подобии власти и народа? Ведь

народ тоже все время в напряжении, чего-то боится и способен мимикрировать. Что это – однопородные явления или власть симулирует эту однопородность? У нас ведь все время говорят: всё власть, власть плохая, она ведет – и известно куда заводит. И из этой ситуации совершенно вытеснен народ: он пассивен, объектен, безвиновен. А вся Ваша «Красная смута», Владимир Прохорович, – она о народе. И очень он некрасиво выглядит в той смуте, страшно, я бы сказала. И в 90-е, уже в другой смуте, он выглядел некрасиво. Так вот, мой вопрос: властные и народные образы врага – это единая система? И как такие образы формируются – снизу или сверху?



В.П. Булдаков:

Образ врага, конечно, формируется и снизу, и сверху, иначе быть не может. Он и без того перманентно присутствует внизу, в традиционном сознании. Наше «общество» (социальное пространство) до сих пор традиционно, в этом ничего самоуничужительного нет. Японское общество, к примеру, куда более традиционно, но оно высокоорганизовано, причем организовано на совершенно иных, неевропейских основаниях – через организацию пространства и этатизацию семейных связей. Это куда ближе патерналистским «идеалам». У нас такого нет. В любом традиционном или посттрадиционном обществе в большей или меньшей степени доминирует так называемое синкретичное сознание, в котором рациональное и магическое не отделены друг от друга. Отсюда образ врага, всегда изоморфный нечистой силе. Наше массовое сознание – это питательная среда для постоянного воспроизводства образа «чужого». Если образ врага в нужный момент подсовывается властью, большинство готово проявить себя в рамках известного сценария: «Не читал, но знаю». В этом ничего удивительного.

Относительно того, что в моей «Красной смуте» народ выглядит не очень прилично... Ну, кто и как в это дикое время будет прилично выглядеть? Одиночки-идеалисты? «В революции в человеке просыпается не только зверь, но и дурак» (П.Сорокин). И вовсе не удивительно, что на этом фоне произрастают самые «светлые» утопии. Синкретичное сознание это допускает – более того, требует существования рядом с Богом дьявола. Все это естественно и закономерно.

? **А.С. Сенин**, Историко-архивный институт РГГУ:

У меня два вопроса, разных. Вы, наверное, знаете, что Герберт Уэллс писал о России: если бы любая европейская демократическая страна оказалась в таких условиях (внутренних и внешних), как Россия, то правительство действовало бы точно так же. Я хотел просто комментарий услышать.

И другое, самое главное. Когда мы говорим – власть, то подразумеваем, что это какие-то конкретные люди. И мы видим, что накануне смут всегда появлялись люди из окружения власти, из бюрократии, которые четко предсказывали, как будут развиваться события. Так, например, накануне «смуты 90-х» собрались хозяйственники в Алма-Ате и буквально по месяцам расписали, как все будет происходить. Все так и случилось. Почему власть к своим не прислушивается, к своему кругу? Понятно, что людей из оппозиции можно проигнорировать. Но ведь свои же предупреждают, часть этой же элиты.



В.П. Булдаков:

Начну с проблемы предсказаний. Наша власть, конечно, обладает колоссальной инерционностью (под стать нашему собственному сознанию). Ну, допустим, сценарий дурного развития убедительно предсказан. Но что делать? И тут выясняется, что механизма ухода с предсказанного пути к определенному моменту уже не существует.

Да, сценарий 1917 г. был предсказан, все его знали. Во времена Горбачева было то же самое. Его предупреждали, но он гнул свое: мы на правильном пути, альтернативы нет, «верной дорогой идете, товарищи». И это не просто череда «мистических» совпадений. Действуют механизмы, слишком сложные для наших нынешних аналитических возможностей. Но можно сказать, что к определенному моменту власть уже не знает, как уйти от опасности, как объехать камень или мину на «верном» пути. Да и не может. Возникает ситуация «кролик перед удавом». Это состояние ступора власти, психосоциальный механизм которого для меня не ясен.

Что касается правительства (имеется в виду демократическое), которое действовало бы в определенных обстоятельствах на манер большевиков... Ничего удивительного: демократическая власть вырастает из более примитивной системы, и в «тупиковых» обстоятельствах, которые люди постоянно создают, требуется откат назад. Другое дело, что демократическая власть умеет себя ограничивать, лишь временно усиливая свою авторитарную составляющую. Выход из кризисной ситуации бывает примитивным, по преимуществу силовым, это естественно. Но, если в авторитарной системе на это согласятся из незнания иного выхода из кризиса, то в демократическом обществе авторитаризм терпят как нечто временное – вроде горького лекарства. Там возврат к демократии происходит словно сам собой. Напротив, наша система постоянно продуцирует новые формы авторитаризма или оттачивает старые. Вот так я мог бы ответить на этот вопрос.



Ю.И. Игрицкий, ИНИОН РАН:

У меня два вопроса. Один относится к ключевой, важнейшей теме – место России в мире. Один из аспектов темы – влияние мира на Россию.

Собственно, этот вопрос уже был озвучен и на него дан ответ. Второй, еще более важный аспект этой темы – соотношение, взаимосвязь процессов, которые происходят в России и в мире. Это проблема аналогов, которую Вы затронули, сказав, что в мире мало аналогов Российскому государству и общества у нас не было. Стало быть, было то, что условно можно назвать биомассой или чем-то еще, но это совсем не то общество, которое знает европейский мир. Это вопрос концепций, терминологии. Вообще говоря, это важнейшая терминологическая проблема. Более конкретный вопрос: а есть ли в мире аналоги смуты? Ибо если государство Российское не имеет аналогов, если не было еще смут таких, как в России, то где же мы оказываемся? И настолько ли мы уникальные и особенные, что к нам нельзя примерить никакие концепции и теории? Ведь если так, то теории революции и теории государства, которым нас учили, к нам просто неприменимы. Как быть?



В.П. Булдаков:

Действительно, как быть с терминами, порожденными иной социальной средой, в наших условиях? Вопрос «значения значения» возникал всегда и везде в любой культурной, особенно кросскультурной среде. Надо обладать определенными ментальными навыками, чтобы в обстановке терминологического словоблудия не растерять реальные смыслы. Можно говорить «революция», а подразумевать русскую смуту; можно говорить «общество», зная, что настоящего общества нет. Это скорее проблема гибкости мозгов, нежели проблема понятийная. К сожалению, мы склонны «материализовывать» то, что относится к области идеальных типов. «Цены метафоры» мы не ощущаем.

Относительно аналогов в истории. По-моему, западное Средневековье дает массу аналогов российским смутам. Возьмем большевистскую революцию – намного ли она отличается от богомильского эксперимента или анабаптистской ереси? Всем известный Андрей Платонов в сущности описал русскую революцию на языке анабаптистского экстремизма. Такие метафоры оправданы применительно к любой взбесившейся (с помощью утопии) архаике. Духовных «аналогов» русской революции очень и очень много, особенно применительно к западной истории XII–XVI вв. Другое дело, что надо постоянно иметь это в виду и мысленно корректировать понятия, которыми мы обычно оперируем. Вот и все.



А.В. Гордон, ИНИОН РАН:

А почему аналоги только средневековые? А Новое время? Французская революция – это не аналог?

**В.П. Булдаков:**

Русскую революцию постоянно сравнивали с Французской. Я пытался делать то же самое. На мой взгляд, Французская революция куда более рационалистична и целенаправленна. Различные сословия выстраивали свои собственные «революции», они куда лучше знали, чего хотят, и, главное, куда меньше надеялись на власть. При всей близости утопий верхов разница между конкретными лозунгами французских и российских низов весьма существенна. Во Французской революции идея нации совершенно не случайно родилась из перетряски сложившихся сословий. Напротив, российская революция – это смена декораций, прикрывающих тело традиционной империи. Убрали негодных помещиков и чиновников, дали землю крестьянам. Что изменилось? Советская номенклатура, как и колхозное крепостничество, – явления знаковые.



И.Л. Беленький, ИНИОН РАН: Разве интеллигенция не входила в состав служилого сословия?

**В.П. Булдаков:**

На мой взгляд, совершенно не случайно в советское время интеллигентов причислили к служащим. Рядом оказывались и парикмахеры, и официанты, и чиновники, и просто образованные люди. Так было удобно власти. На деле интеллигенция постоянно отпочковывалась от слоя образованных людей. И она по-прежнему делает это вопреки власти и даже собственному желанию. Тот, кто пытается мыслить независимо, независимо от образования уже рискует оказаться интеллигентом.

Ясное дело, писатель, который сочиняет романы, не принадлежит к чисто служилому сословию. Точнее – он не вполне служащий, ненадежный служащий, «потенциальный Пастернак». Я как-то писал, что интеллигент в России «челночит» между двумя состояниями: от наемника власти, восхваляющего ее с кафедры государственного вуза, до собственно интеллигента, пьющего чай на кухне и от души поносящего ту же самую власть. На службе он делает то, что ему положено, пусть ругая начальника, который заставляет это делать. Вернувшись домой, он превращается в «настоящего» интеллигента, который начинает обличать весь существующий строй, а не просто начальство. Очень известное состояние. Власть иногда это использует, ничего удивительного, так бывало всегда. Приглядев некоего «диссидента», сделает его губернатором, глядишь, получится неплохой служилый человек, который своих бывших товарищей быстро и умело скрутит в бараний рог. Обычная история, к сожалению. Но часто бывает наоборот: кому-то в известное время начинает надоедать служить негодной власти – сановник становится диссидентом.

❓ **В. Аксенов, МИРЭА:**

Вы в своих тезисах сказали о повторяющейся революции (или смуте). При этом, вносит ли российская история в каждую новую смуту что-то принципиально иное? И если что-то новое появляется, есть ли смысл у смуты и в чем он? На кого смута направлена? Кого она должна чему-то научить – власть, общество, какие-то средние слои? Спасибо.



В.П. Булдаков:

Что касается истории – не только нашей, но и вообще, – то, на мой взгляд, это обучающий процесс. Она «учит», но не находит достойных учеников, умеющих правильно прочесть предложенный текст. Во всяком случае – нужного их количества. И до сих пор история мало чему научила. Научит ли чему-либо в будущем – трудно сказать. Человеческий век очень короток – большое историческое время воспринимается с трудом. Существует наивная психологическая убежденность, что каждый живет в «особом» времени. Как вообще в быту руководствоваться критериями и понятиями большого исторического времени? Онтологически это кажется неразрешимым. А потому мы постоянно наступаем на грабли, притаившиеся в траве забвения. Не только мы, в России, – все и везде. Не хочешь получать по лбу – учись, учись и учись. Ленин правильно сказал. На мой взгляд, это единственное, что он сказал выдающегося. Разумеется, если взбрызнуть из известной фразы слово «коммунизм». Но как освоить весь предыдущий опыт человечества, если герменевтике в школе не учат?

❓ **В.П. Любин, ИНИОН РАН:**

В самом начале своего замечательного доклада Вы назвали параметры системного кризиса, который, наверное, представляет собой перманентное явление в российской истории. Естество берет свое, как тот же самый Андрей Платонов, процитированный Вами, сказал.

В отношении кризиса Вы предложили следующие определения: врожденный, случайный или заговор. Из вашего доклада получается, что врожденный. Значит, если говорить о 1917 г., мы отмечаем элемент случайности? Т.е. Ленин – это не случайная фигура и слишком просто все объяснять заговором, «золотым немецким ключом» большевиков?

И второе. Правда, коллеги уже задавали эти вопросы. Конечно, Россия существует не в пустоте, не в вакууме, поэтому интересен сравнительный анализ. Есть же сравнительная политология – можно и сравнительную историю методологически подключить к объяснению феномена революции. Скажем, бельгийская революция 1930 г., отделение Бельгии от Нидерландов – очень похожее явление. Или феномен патернализма, присущий европейским государствам – скажем, той же Италии, особенно южной ее части (в северной – другая история). Вот, в Италии сейчас очень

моден роман «Гомогга», где весь этот патерналистский контекст освещается. Наверное, скоро и до нас дойдет – частями он уже опубликован в «Иностранной литературе». Это анализ литератора – как существует и действует современная экономика, но анализ социологически очень интересный. Фильм по этой книге, кстати, уже какой-то первый европейский приз получил. Вот, интересно посмотреть, как в других странах задействованы те же самые патернализм и другие параметры, провоцирующие кризис. Как Вы думаете?



В.П. Булдаков:

Я могу прокомментировать все это очень просто. Наши мозги устроены по «принципу узнавания» – обращаясь к чужому опыту, мы находим больше аналогий, чем их существует в действительности. К тому же мы всегда скользим по внешней канве событий – аналогии оказываются поверхностными. То же самое относится к сфере соотношения случайного и закономерного. Я всегда говорил, что закономерность напоминает о себе через случайность. Случайность – это намек на возможность расшифровки всего сущностного текста истории. Случайность, что Ленин родился во вполне благополучной семье (мгновенно ставшей неблагополучной)? Скорее это не случайно, а символично. Он был востребован российским хаосом в качестве разрушителя, хотя от рождения ему было написано, казалось, совсем иное. На очень короткое время был востребован и Троцкий, человек также из состоятельной семьи. Оба они не столько маргиналы, как диссипанты, – люди, «отвязанные» от своей среды. В определенные времена едва ли не всех «среда заедает», в другие – появляется целая туча эмоциональных разрушителей окружающего социального пространства. За ротацией случайных, на первый взгляд, революционных лидеров (которые в своей среде смотрятся вовсе не случайно) скрывается некий объективный процесс.

Из этого возникает простой, но для нас «вечный» вопрос: а куда отнести заговорщиков и заговоры? Они всегда существуют, сомнений нет! Ну и что? План какого-нибудь антиправительственного заговора можно сочинить хоть сейчас. И что из этого получится? Киносценарий? В истории настоящие заговорщики должны быть востребованы (правда, тогда они уже больше не заговорщики). Перед Февральской революцией Россия кишела слухами о заговорах, но это было пустое сотрясение воздуха – крах подобрался к династии совсем с другой стороны. Тем не менее *нашему сознанию нужны коварные, вездесущие и всемогущие злодеи, как дикарю нужна нечистая сила*. Именно поэтому мы готовы из ничтожной фигуры исторически бесхозного инсургента сотворить всесокрушающее inferнальное существо. Я сам бы охотно подался в конспирологи (в нашей одурелой среде это выгодное занятие!), если бы не был убежден, что за

любой конспирологической «теорией» революции стоит доисторический испуг троглодита перед непонятным для него окружающим миром. Такова врожденная особенность, если не родовая травма нашего сознания. Пора от этого избавляться. А желающих перевернуть мир всегда хватает – человек так устроен.

Относительно исторических «пережитков» или «возвратов» патернализма везде и повсюду. Они неизбежны, как неизбежны откаты от цивилизационных (в том числе и формально-демократических) «переусложнений» к простым и более понятным отношениям власти–подчинения.

❓ **С.А. Королев**, Институт философии РАН:

• Можем мы более жестко дифференцировать государство и власть? И нужно ли это делать? Понятно, что это дело непростое. Естественно, любая власть стремится идентифицировать себя с государством. Это совершенно очевидно. Но в российской истории мы можем определить несколько точек, где очень четко фиксируется противоположность интересов власти и государства. Я назову три таких точки: причина, т.е. разрушение государства гипертрофированной властью, затем Ленин с Брестским миром и гипотетически, может быть, начало 1990-х, когда власть сумела сохранить себя ценою разрушения государства. Последнее гипотетично, поскольку это еще слишком близко, т.е. пока не история. Я могу предположить, что революция, помимо всего, – это отношения государства и власти. И в рамках этой темы, как мне кажется, есть какой-то исследовательский резерв. Для меня важна дифференциация этих вещей. Вот, Владимир Прохорович <Булдаков> говорил о пространстве власти. Но для меня этот термин имеет смысл только в том случае, если мы дифференцируем государство и власть. Потому что пространство власти – это территория, стратифицированная технологиями. В России это, прежде всего, локализация. Крепостное право – это технология локализации, которая применена на местности.



В.П. Булдаков:

Даже и не знаю, с чего начать. В российских условиях четко дифференцировать власть и государственность довольно сложно – в действительности все очень зыбко. Именно потому от сложностей реальной жизни мы зачастую прячемся за всевозможные абстракции и антитезы. И тем не менее я согласен, что за властью и государством даже у нас стоят более или менее фокусируемые смыслы. Если власть – это в основном ощущение силы, то государство – это главным образом технологии управления. Сравните английские *power* (сила, мощь, власть, держава) и *state* (состояние, положение, государство). Разумеется, эти понятия и у нас являются разноплановыми: проще сказать, что со времен князя Потемкина

мы имеем власть-театр и власть-аппарат. Но во времена, о которых идет речь, власть обычно воспринимается как идеал, а государство как ее несовершенное (и даже негодное) воплощение. Я не берусь судить, насколько власть и государство разошлись во времена опричнины – в конце концов, я не специалист по этой теме, а историков, которые бы четко ответили на этот вопрос, я не знаю. Но, боюсь, если бы мы заглянули под черепную коробку Ивана Грозного, у нас пропала бы охота разделять власть и государство. Мне кажется, что с точки зрения тогдашней власти опричнина была технологией укрепления государства. Это сегодняшним правоведам может показаться, что для тогдашней власти это был чистый раздрой, нелепость.

Надо учитывать и то, что в основе смуты, о которой я говорю, лежит синергетический процесс «смерти-возрождения» системы. А уместно ли самоорганизующийся хаос описывать на языке формально-юридических понятий?

Позволю себе несколько подробнее остановиться на ситуации Брестского мира. Возможно, это и есть пик русской революции: бунтующий охлок напоролся на российское историческое представление о власти. Конкретной же революционной власти (кстати, и в большевистском ЦК и СНК сидели одни и те же люди) пришлось решать уравнение с многими неизвестными. Ленин сделал ставку на сохранение государственности (и собственной власти) любой ценой. Идея власти с идеей мировой революции здесь основательно разошлась. Возможно, Ленин и Троцкий были уверены, что Германия непременно проиграет. Что делать в таких условиях? Продолжать держаться затратного курса на мировую революцию или очертить пространство собственной власти, т.е. не просто сохранить, но и усилить ее в тех же самых глобалистских интересах. К тому же надо учитывать, что тогдашняя власть мыслила себя не в категориях государственности, какого-то механизма – она ощущала себя в ином (революционно-разрушительном) измерении. Конечно, Брестский мир – важнейшее событие русской революции.

Что касается современности, то здесь гадать сложно. Во всяком случае, я не взялся бы утверждать, что власть сумела сохранить себя ценой разрушения государства. Можно сказать по-другому: для нашей власти государство – это аппарат ее самообслуживания, с которым можно поступать соответственно («назначенчество»). Современный российский правитель может быть крайне недоволен (на манер Ленина) аппаратом управления, т.е. государством. И этот – весьма сложный и болезненный – конфликт возникает постоянно. Российская власть (вместе с подпирющей ее государственностью) сама по себе внутренне конфликтогенна, о чем я уже, кажется, говорил. Что касается жесткого дифференциро-

вания власти и государства, боюсь, такие схемы в нашем псевдополитическом пространстве познавательного малопродуктивны.

? **С.А. Королев:**

Вы сказали, что очень сложно говорить о современности. Мне-то кажется, напротив. Предположим, мы принимаем положение: государство – это в значительной степени система институтов, а власть – это система технологий. Тогда мы увидим, как на протяжении последних десятилетий демонтируется вся система государственных институтов, которая как-то связана с гражданским обществом: выборы, парламентские институты, партийная система и т.д. С демонтажем государственности гипертрофируется власть, укрепляется политический режим. Это же очевидно. И что здесь такого сложного, о чем нельзя сказать достаточно определенно?



В.П. Булдаков:

Я только и делаю, что доказываю: наша власть постоянно занимается одной и той же процедурой – пилит сук, на котором сидит, полагая, что «укрепляет вертикаль». Откуда такие самоубийственные замашки? Как такое может быть? Может потому, что государство (аппарат), построенное сверху, всегда будет стремиться действовать в своих ближайших интересах. От однообразия процедуры постоянного обмана и самообмана, конечно, можно свихнуться. К тому же власть также предпочитает самообслуживание, полагая, что это вернейший способ служения интересам народа. Все точки недовольства могут сойтись на государстве. Наши правители говорили и говорят: «Аппарат у нас негодный!». Совершенно так же рассуждают обыватели по поводу чиновников. Строго говоря, и правитель, и народ хотели бы общаться без посреднического аппарата. Почему, откуда сей парадокс? Потому, что наша система, вновь подчеркну, выстроена *сверху* на крайне примитивных основаниях. Обществоведы, описывая ее на языке современных социологических понятий, занимаются самообманом.

И.И. Глебова: Коллеги, мы подменяем вопросы обсуждением. Давайте, завершим один этап работы, а потом перейдем к другому. Предлагаю выяснить, есть ли еще вопросы.

? **В.М. Шевырин, ИНИОН РАН:**

Доклад Владимира Прохоровича <Булдакова> имеет свои достоинства, а о его недостатках я могу сказать только самое хорошее. Он в лучшем смысле слова провоцирует на размышления. Поэтому, вероятно, задавалось так много теоретических вопросов. Говорят, нет практики без

теории. А последняя потому нас так тревожит, что практика «достает». Однако я вернусь к конкретике, к близкой мне теме. Мне очень импонировало то, что Вы упомянули Земский и Городской союзы. Это огромный пласт конкретной истории. Мне хотелось бы услышать, какую роль сыграли Земский и Городской союзы в той страшной катастрофе, которая произошла в 1917 г. Мне приходилось читать западные газеты того времени. Англичане, например, говорили: если бы у нас были такие Земский и Городской союзы, если бы вся власть поднялась до таких высот, которых достигла российская общественность, у нас все было бы иначе – мы гораздо раньше и с меньшим напряжением сил выиграли бы войну. Действительно, Земский и Городской союзы сыграли, на мой взгляд, огромную роль. Мне бы хотелось услышать мнение такого специалиста, как В.П. Булдаков, по этому вопросу.



В.П. Булдаков: Мне следовало бы переадресовать этот вопрос Вам: из чего состояли бюджеты Земского и Городского союзов?

Пожертвования – раз...



В.М. Шевырин:

Государственные средства, действительно, играли самую большую роль. Но это еще ни о чем не говорит. Ответственные за распределение этих средств говорили, что готовы дать в десять раз больше, лишь бы Земские и Городские союзы строились на принципах гражданского общества. Ведь это давало возможность создать административную систему, которая пользовалась бы автономией и была независима от губернаторов и пр.



В.П. Булдаков:

В своем ответе я могу опираться на труды самого В. Шевырина и еще, пожалуй, на работы нашего японского коллеги К. Мацузато. Последний детально проследил, как разрастался этот «гражданский» бардак. У меня несколько иной ответ на этот вопрос. Мне кажется, обладай Земский и Городской союзы много большими, а главное, не казенными средствами, тогда можно было бы говорить об альтернативе существующей государственности. А поскольку было с точностью до наоборот... Любят ли у нас тех, кто дает деньги на какой-то проект? Деньги любят, но дарителей...

Стоило бы учитывать и еще один весьма специфичный момент. Мы постоянно говорим о земском и городском *самоуправлении*. Но ведь оно в действительности было частью *государственного управления*. Самоуправление у нас было довольно специфичным – целиком и полностью находилось под контролем государства. Утверждать, что эта система была огосударствлена, как, например, большевики огосударствили профсоюзы, конечно, нельзя, но сходная тенденция ясно просматривается. Всю обще-

ственную самостоятельность государство всегда старалось поставить под собственный контроль и доводило это до абсурда. Земские и городские деятели прекрасно понимали, с кем имеют дело.

Со своей стороны, министры, которые давали деньги «общественности», искренне считали, что в союзах сидят либералы, заговорщики, антигосударственники – они ненавидели тех, с кем вынуждены были сотрудничать. В такой обстановке общественники, конечно, начинали работать против бюрократов, используя государственные деньги.

? **Ю.С. Пивоваров, ИНИОН РАН:** У меня два вопроса. Вы сформулировали тему доклада «Революция как проблема российской истории». При этом говорили в целом и о российской истории, и о наших революциях. А что, вся русская история настолько едина и неизменна, что о ней можно говорить как о некоей постоянной «величине»? Если она не менялась, тогда истории, собственно говоря, нет. Без изменений вообще ничего нет. О чем тогда говорить? Если все обусловлено и изначально циклично – революция и смута (имеются лишь какие-то разные их формы), – то что, собственно, тогда изучать? Мы ведь все уже знаем. Так ли это? Вот, говорят в ряд, через запятую: опричнина, Смутное время, смута 1917 г. – это что, всё одно и то же? Мой вопрос: меняется ли все-таки что-то в русской истории?

Второй вопрос, более мелкий. Революции в нашей истории – что, тоже одинаковые? Для меня, например, 1905 г. и Февраль 1917 г. – совершенно разные революции. А Октябрь 1917 г. – это вообще что-то совершенно другое. А когда еще была, кстати, революция в России? Имеет ли смысл вообще говорить о революции как вечной проблеме российской истории?

Причем революция – это же довольно опасный термин. Вот, мы сегодня говорили о государстве и власти. А почему государство должно быть парламентским или демократическим? Это касается и революции – на каком основании мы называем одним словом совершенно разные явления? Что тогда революция? Если революция – всегда одно и то же, зачем ее изучать – мы же знаем все. История и революция – это вечные и определенные формулы. Все. Вот, как Вы – Владимир Прохорович Булдаков, так русская история и революция – просто данность. Точка, приехали – просто не о чем рассуждать, нечего изучать. Заметьте: эти вопросы я задаю автору «Красной смуты» – не просто лучшей русской, но и вообще лучшей книги о революции.

? **И.Б. Чубайс, РУДН:**

Я из Центра по изучению России РУДН. Не могли бы Вы выделить хотя бы два типа революций? Если пользоваться Вашей терминологией,

получается, что один тип – это смута: государство нормально работало, но вдруг произошел какой-то сбой и механизм надо подтолкнуть. Вот, пресекалась династия Рюриковичей, а Романовых еще не было, – нужно было их избрать. Второй вариант – когда государство перестает работать; его не подталкивать надо, а производить какие-то радикальные изменения. Тогда то, что происходило в 1917 г., – это не продолжение того, что было. Вероятно, нужна была глубокая реформа, либо полный разрыв с прошлым. Если, конечно, не было альтернативы. На мой взгляд, была: если бы Столыпин (как явление) «победил», мы бы жили в другой стране.



В.П. Булдаков:

Юрий Сергеевич <Пивоваров>, в ответ на Ваш вопрос о том, что менялось и не менялось в результате революции, мне проще было бы процитировать М. Волошина («Северо-Восток»). «Знаки и заглавья» менялись – так и было. Я с ним солидарен. Возможно, он – безответственный поэт. Тогда я – безответственный исследователь. Но почему обществоведы имеют обыкновение убегать от метафор? Вероятно, потому, что они выходят за рамки их аналитических способностей. У нас постоянно меняется форма, но что касается существа... Конечно, проще верить в то, что форма соответствует содержанию. Но не принимаем ли мы при этом всерьез очередную «потемкинскую деревню»? Конечно, *трудно поверить, что все мы находимся (пока) во власти традиционной цикличности, хотя ее внешние проявления различны*. Менялись и меняются лозунги, но надо ли их прочитывать буквально? Российские смуты надо изучать и изучать, а мы вместо этого подменяем их хаотичные реалии химерами собственного (политологического, как раньше марксистского) воображения. Лично мне кажется, что *во всех российских смутах куда больше сущностного сходства, чем внешних различий*.

Конечно, хотелось бы верить, что мы сами все-таки меняемся – это единственная гарантия качественного развития. Однако исследователь былой смуты, пережив очередную смуту, вряд ли поверит в ближайшую возможность принципиальных политических изменений в России.

Что касается типов революций... В школе я учил, что бывают революции буржуазно-демократические, но лучше их – социалистическая. Занявшись изучением и той и другой, я понял, что события 1917–1920-х годов укладываются в некий единый процесс «смерти-возрождения» империи – нечто подобное случилось в XVII в. Падение самодержавия можно назвать той «точкой невозврата», после которой Октябрьская революция сделалась практически неизбежной. Впрочем, это даже Солженицын заметил.

Другое дело, что этот процесс мог развернуться по-разному. Не будь, к примеру, выступления Корнилова, спровоцированного самой властью

(как Горбачев своим поведением спровоцировал ГКЧП), возможен иной вариант раскрутки событий. Ясно, что после Корнилова непременно должен был прийти Ленин (как после ГКЧП – Ельцин). Кстати, и в том и в другом случае многие это видели и понимали.

? **М.С. Пальников, ИНИОН РАН:**

Каковы, с Вашей точки зрения, наши перспективы – Ваш, так сказать, прогноз на воспроизводство русской смуты? Почему я задаю этот вопрос? У нас очень плохая демографическая статистика – вымирает население. Официально – примерно 750 тыс. человек в год. В то же время все ведущие кардиологи страны утверждают, что смертность только от сердечно-сосудистых заболеваний составляет миллион триста человек в год. Это существенная разница. Так или иначе население стремительно исчезает. Появится ли в ближайшее время какая-то критическая масса, чтобы еще какую-то бучу устроить?



В.П. Булдаков:

Относительно «плохой» демографии хотел бы заметить следующее. Тут есть, чем себя утешить. После Гражданской войны последовал резкий рост рождаемости, хотя очень заметно выросла и суицидальность населения. То есть социальная среда ответила на потери и стрессы Гражданской войны действием неких компенсационных механизмов. Как они работают – ответа нет до сих пор. Между прочим, последствия революции (смуты) надо искать и в демографическом измерении. И они могут оказаться весьма неоднозначными. Ну, а нынешняя российская демографическая проблема – это часть проблемы всей современной цивилизации. Как ее решить, не знает никто, хотя создаются объемистые сочинения о том, как повысить рождаемость в России (мне они кажутся сборниками благих намерений). На что здесь уповать – я тоже не знаю. Вероятно, на естественные репродуктивные процессы – народ России пока не созрел для социального хосписа. Ждать от власти, что она будет вести стимулирующую демографическую политику, увы, не приходится. Формально она может проводить те или иные «правильные» мероприятия. Дело, однако, в том, что сейчас наступило время, когда она (в отличие от прошлого) стала независимой от количества и качества людей, которыми управляет. Объективно ей нужны только «мартышки», которые будут качать нефть, и «обезьяны», которые будут охранять трубу, по которой она потечет в обмен на продовольствие. Вот и все. Я об этом уже писал.

Казалось бы, воспроизвести очередной виток русской смуты некому. Но это не совсем так. Современная власть слишком «истончилась», несмотря на привычку «топать ножкой». К тому же власть у нас не столько свергают, как она рушится сама.

И.И. Глебова: Коллеги, мы все время срываемся в обсуждение. Давайте не будем себя ограничивать и наконец перейдем к нему. У кого-то есть реплики, суждения?



И.Б. Чубайс:

Я по поводу Брестского мира. Это не мое открытие, – это совершенно четко установил профессор Базаров. В чем причина Брестского мира? Россия была обречена на победу, потому что Антанта выиграла войну. Даже если бы Россия ничего не делала, – она все равно выиграла бы. То, что сделал Ленин, – это государственное преступление. Почему он это сделал? Две причины. Одна – откат немцам: он получал от них деньги и надо было что-то отдать им. А вторая причина в том, что Россия совершенно не принимала большевизм. Выборы в Учредительное собрание это показали: большевики на выборах проиграли. Опросы в армии свидетельствуют: несмотря на бесконечную пропаганду, армия не поддерживала большевиков. Две трети было против.

Армия угрожала не немцам. Она была угрозой Ленину, поэтому ее следовало распустить и создать новую, рабоче-крестьянскую Красную армию. И по Брестскому миру Россия должна была распустить армию (хотя реально приступила к этому еще до него).



С.В.Беспалов, ИНИОН РАН:

У меня полувопрос-полуремарка. Вы закончили свое выступление, сказав: если у нас когда-нибудь закончится смута, это будет связано с изменениями на клеточном уровне. С этим сложно спорить, если понимать общество на органическом уровне, как, судя по всему, Вы его понимаете. Но если фиксировать любой момент истории развития этого организма, мы, наверное, сможем увидеть какое-то количество клеток, которые пытались перерождаться, но отторгались системой. В начале XX в. таких переродившихся клеток было много. И, может быть, если бы не случилась Первая мировая война, процесс перерождения принял бы необратимые формы.

Как Вам кажется, что необходимо, чтобы по новой запустилось клеточное перерождение?

В.П. Булдаков: У меня нет таких рецептов.



А.А. Ильюхов, Государственный университет управления:

Я тоже занимаюсь проблемой революций, – в частности Октябрьской и вообще 1917 г. И пришел к выводу, который, собственно, не является открытием: в 1917 г. никаких двух революций не было. Я взял еще

лет 15 назад, сопоставил события Французской революции и посмотрел динамику революции российской. Мне показалось, что это совершенно одинаковые процессы. Что касается внутренней динамики, то она идет справа налево. Теперь о событиях Октября 1917 г. – была ли там альтернатива. У государства альтернативы не было – только диктатура: левая или правая – монархическая или военная. Скорее, даже военная, учитывая, что здесь были реальные силы. Вообще внутренняя диалектика революции прослеживается везде, хотя, конечно, обстоятельства разные. Например, между Жирондой и якобинцами – четыре года, а у нас между Февралем и Октябрем – всего шесть или семь месяцев. Так вот, я считаю, что была одна Великая революция 1917 г. Как ваше мнение, Владимир Прохорович?



В.П. Булдаков:

Я согласен – в 1917 г. была одна революция, которая вписана в более масштабный цикл смуты. Кстати, хотелось бы продолжить ответ на вопрос о Брестском мире. Я, конечно, завидую Игорю Чубайсу. С Брестским миром ему все ясно. А мне – нет. Деяния прошлого нельзя судить по современным законам.

Легче всего сказать, что Ленин совершил предательство из самых низменных (наиболее доходчивых для массового сознания) побуждений и горько сожалеть, что из-за него мы хороший кусок победителей в мировой войне для себя не оттяпали. Но он исходил из совершенно других, не всем нам известных, как оказывается, побуждений. Еще последний военный министр Временного правительства признал, что армия воевать больше не может. Даже солдаты, которые еще не сбежали с фронта, не могли, ударники также не могли противостоять немцам. Впрочем, Брестский мир состоит из многих неизвестных. Взять хотя бы проблему левых эсеров и левых коммунистов – они вели себя как «государственники»-самоубийцы, подталкивая Ленина и Троцкого к затягиванию (бесперспективному, как видно сейчас) переговоров. У нас забывают и о таком неожиданном и для Ленина, и для Вильгельма факторе, как украинская Центральная рада. Если уж говорить о «предательстве», то его, скорее, совершила она, а не Ленин. Хотя на деле все руководствовались логикой выживания в самих же затеянном хаосе.

Возможно, Ленин учитывал и другое: ту «разложившуюся» силу, которая работает на разрушение системы, нельзя повернуть вспять. Она помимо бегства с фронта способна только грабить и мародерствовать. Единственный способ умиротворить стихию – дать ей выдохнуться. Звучит цинично, но так и было. Разрушительные силы начали работать на самоистребление. Во Французской революции случилось то же самое; это общая социально-психологическая проблема, а не вопрос о принципиальном сходстве двух революций. В конечном счете российская историческая

власть выиграла от того, что маргиналы и диссипанты обескровили друг друга. Все это звучит не очень вдохновляющее, но случилось именно так.

И.И. Глебова: Еще какие-то мнения, вопросы?



О.Ю. Малинова:

У меня – короткая реплика в порядке дискуссии, которая в какой-то момент возникла при ответах на вопросы. Был задан вопрос о понятиях, к которым мы прибегаем для описания. В ответ было сказано: западными понятиями можно пользоваться с известной долей условности, как бы подставляя значения. *Мне кажется, что понятия – это очень большая проблема. Я не согласна с прозвучавшим тезисом, что эта проблема не онтологическая. На мой взгляд, совсем наоборот.* Вот посмотрите: у нас есть всего два варианта для описания, а много инструмента, кроме как найти слова и описать, у нас нет. Один вариант – это использование языка, на котором говорили участники событий: мы можем фиксировать тот язык, анализировать наши наблюдения и с помощью этих методик попытаться что-то понять. Второй способ – мы можем попробовать изобрести какой-то «наш» язык, основанный на неких абстракциях.

Здесь что-то говорилось о непригодности для нас того языка, который изобретен западной наукой. Но мы все равно им пользуемся. Это одно. Другое: давайте посмотрим, что получается, когда мы пытаемся обойтись без этого. Описывая события в России, мы очень активно используем язык метафор, причем эти метафоры, я бы сказала, двоякого ряда. Метафоры органического ряда – это метафоры антропоморфные: мы рассуждаем о процессе, как бы происходившем с живым существом – приписываем ему какие-то поведенческие практики, рациональность и описываем намерения, интенции. Второй ряд – это метафоры, которыми мы пользуемся, рассуждая как бы о стройном механизме со встроенным интеллектом. В том и другом случае мы пользуемся очень уязвимым языком: он не объясняет, а скорее, затуманивает очень многие вещи, не давая нам их понять.

Больше всего меня настораживает, когда мы начинаем рассуждать о социуме, т.е. большом количестве людей, по-разному проживающих свои жизни, – так, как будто это один человек, какое-то одно существо. Я – историк по образованию, но политолог по принадлежности к профессиональному научному сообществу. Я понимаю всю уязвимость западноевропейского языка, но в нем все-таки есть рациональный момент: когда западноевропейская наука рассуждает об обществе, она исходит из того, что общество – это сложносочиненный организм, состоящий из отдельных индивидуумов, групп, слоев, страт. Эта логика кажется мне более правдоподобной. Даже на обыденном уровне не может быть так, чтобы такой сложный субъект, как Россия, мог исчерпывающе описываться языком

органических антропоморфных метафор. Все гораздо сложнее устроено и надо искать слова для описания, адекватные этой сложности.

Мне кажется более оправданным и разумным осторожное пользование языком западноевропейской социальной науки, чем создание собственного языка. Мне, правда, это упражнение не очень близко. Я занимаюсь иным: наблюдаю за языком, на котором и с помощью которого люди осмысливали происходившие события. Так действительно можно кое-что понять, хотя и эта методика ограничена.

В конечном счете, если мы говорим о россиеведении, т.е. об изучении этого социума, следует признать: есть проблема языка описания и она реальна.

И.И. Глебова: Есть еще желающие выступить?



И.Б. Чубайс:

У меня реплика в дополнение предыдущего выступления. Все дело в том, что та социальная (точнее, псевдосоциальная) социологическая теория, которая была создана в СССР, совершенна ненаучна. И это закономерно: у нее была только одна задача – доказать победу коммунизма. Но когда Советский Союз рухнул, никто в ней не разочаровался.

Ю.С. Пивоваров: Уточняю. Не было задачи доказывать. Они же вещали от «лица» только им известной истины.



И.Б. Чубайс:

Не буду спорить, но суть в том, что исходная установка была абсолютно лжива, иллюзорна. Однако когда система рухнула, никто не прибежал со своим академическим дипломом и не сказал: все, мол, я ничего не понимал. Наоборот, сейчас все больше рассказывают, какие были успехи у советской философии и т.д. Конечно, нужна совершенно новая теория, новый подход. Кстати, в одной из последних моих статей я показываю, что в СССР не было социальной науки, а потому сложившиеся представления о нашей стране в XX в. совершенно неправильны.



Ю.С. Пивоваров:

Смотрите, что сказал Игорь Борисович <Чубайс>: государство рухнуло, была лживая социальная наука. А ведь большевики предупреждали: государство отомрет. К слову сказать, не надо, господа, недооценивать большевиков. Они как раз выполнили все, что обещали: обещали разрушить церкви – и разрушили, обещали, что государство рухнет...

Я думаю, что и доклад Владимира Прохоровича <Булдакова>, и то, что сказала Ольга Юрьевна <Малинова> по поводу метафор, – все это вещи действительно очень серьезные. Ведь когда мы говорим о революции, нас переполняют эмоции, и эта избыточная эмоциональность нам мешает. Конечно, это естественно: революция всех нас так или иначе затронула.

Ольга Юрьевна <Малинова> ставит чрезвычайно важный вопрос: а как в самом деле это изучать? Вообще-то мы можем все загубить метафорами. Сказал же Владимир Прохорович <Булдаков>: для понимания революции читайте Волошина. Ну, будем мы читать Волошина – и ничего не узнаем о происходившем на самом деле.

Ольга Юрьевна <Малинова> предлагает изучать с помощью западных понятий. Но они ведь возникли не просто так. С их помощью описывается реальность, которую видят у себя западные ученые. Представим, что здесь, в России, такой реальности нет. Владимир Прохорович <Булдаков> сегодня рассказывал, что у нас не было (и нет) общества. Т.е., по его мнению, характерной чертой русской истории является отсутствие общества. Кстати, странный путь: мы пытаемся понять нечто, констатируя его отсутствие, вместо того, чтобы говорить о том, что есть.

Мой тезис таков: нам нужен язык. Владимир Прохорович <Булдаков> написал совершенно восхитительную книгу «Красная смута». Все, наверное, читали. Но там, где он начинает строить концепцию, – там не получается. Ведь если в России все так циклично, идет по кругу, в чем тогда проблема? Видимо, как-то иначе все происходит. Но для понимания этого «иначе» у нас нет инструментария. Здесь еще раз подчеркну: мы также не можем описывать наше общество через констатацию того, чего у нас нет. Или заявляя: все другие общества меняются, а русское – нет. Я – бывший германист и могу вам ответственно сказать, что Германия на протяжении только XX в. очень сильно изменилась. Что же, с Россией все иначе?

Теперь к революционной теме. Да нет ничего общего между революциями 1917 и 1991 гг.! Там правящий слой гибнет, а здесь, наоборот, побеждает; он жертвует системой ради своего дальнейшего процветания. Не буду дальше говорить об этом, это совершенно другая тема.

Вернемся к началу XX в. Нам вменяли, что революция 1905 г. была неудачной. А ведь все как раз наоборот. Но дело даже не в этом. Между той революцией и революциями 1917 г. нет почти ничего общего. Это различные типы социальных, ментальных и прочих событий. И Октябрь из Февраля прямо не вычитывается. У них различные исторические «биографии». А.И. Солженицын, кстати, не понял этого. Февраль стал громадной неудачей, всю вину за которую свалили на Временное правительство. А ведь в него вошли представители самого делового поколения русских интеллектуалов и интеллигентов – самого умелого, прошедшего

все эти Земские и Городские союзы, партии и т.п. Это были люди практики и дела. Но и они не сумели удержать вал «почвенной революции». Их задавил «век масс».

Все это нужно понять. А для этого необходимы адекватные язык, теория. Без этого мы постоянно будем оперировать метафорами. Игорь Борисович <Чубайс>, например, говорит о классах, пользуясь западным языком. Ну, не было у нас классов в западном смысле, не сложились они в России!

У нас другой тип сознания и реальность иная. Для нее нужен свой язык. На мой взгляд, задача центров, которыми руководят И.Б. Чубайс, И.И. Глебова и др.: попытаться найти, выработать свой научный язык, свой понятийный аппарат. Они будут приняты при условии, что сообщество с их помощью сможет что-то анализировать. Только те лекарства используются, которые приносят пользу.



О. Ю. Малинова:

Юрий Сергеевич <Пивоваров>, Вы говорите, что понятие «класс» в России неприменимо. А ведь люди в России его использовали для описания нашей социальной реальности и, оперируя им, меняли эту реальность. Это социальный факт. Потому-то мне и кажется возможным анализ языка, которым современники описывают свою реальность. Акцент делается на то, какой смысл люди того времени вкладывали в определенные понятия и, пользуясь ими, означивали реальность.

И еще несколько слов по поводу того, как приживается изобретаемый нами язык. Я не разделяю оптимизма Юрия Сергеевича <Пивоварова>. Наука – это тоже сообщество людей, определенным образом устроенное. Уважаемый докладчик говорил, что у нас не было и нет общества. Я, конечно, полностью этого мнения не разделяю, но, безусловно, некий дефицит социальности, о котором еще П.Н. Милоков писал, имеется.

Это сказывается на организации и активности научного сообщества. Поэтому так актуальна задача выстраивания сообщества, налаживания необходимых для этого коммуникаций. Эту задачу мы все корпоративно должны решать. Без этого ничего не получится, какой бы язык мы ни изобрели.



И.И. Глебова:

Меня наше обсуждение наводит на довольно простую мысль: революция – чрезвычайно сложный объект исследования. Стратегии его освоения должны быть адекватны его сложности. Чем больше точек зрения, ракурсов описания мы находим, тем объемнее (стереоскопичнее) наше представление об объекте. И наличие разных, конкурентных языков описания объекта – это, скорее, плюс, чем минус. *Наша проблема – не в из-*

быточности, а в недостаточности и упрощенности познавательных подходов.

Революция остается проблемой и истории, и историков, и общества – в том смысле, что она остается непонятой и потому непонятной. На нее не выработан какой-то солидарный взгляд, отличный от советского. И дело здесь вовсе не в метафоризации языка описания революции, а в ее продолжающейся идеологизации. Социальная заданность исследовательской позиции приводит к тому, что процесс «добывания смысла» (т.е. понимания) этого сложного события превращается в процесс «убывания» (и даже «убивания») смысла. Порочны сами исследовательские стратегии, нацеленные не на понимание, а на упрощенную идеологизованную оценку революции. Это, с одной стороны. С другой – *взгляд на революционные события остается государственно- (или, скорее, власти-) центричным – в противоположность антропоцентричному.* Наше понимание революции не центрируется на человеке. Мы почти не задаемся вопросом: способствовала ли революция свободному и позитивному самоосуществлению человека и гуманизации общества.

Революция – это в конечном счете не история неудачного, слабого царя и безответственных интеллигентов, падения доверия к власти и роста общественного активизма и претензий, история не «самораспада» монархии и «саморазвала» имперской системы. Это история того, как удержаться от всеобщего насилия, анархического торжества всех над одним и не допустить насилия над социумом, деспотического торжества одного над всеми. Т.е. *проблема русских революций (то, что их объединяет) состоит в том, как совместить порядок со свободой, не разрушив социальную организацию, культурные нормы и балансировки и не ушибив при этом человека, не «умалив» личность.*

Давайте попробуем с таких позиций взглянуть на пред- и постреволюционную Россию. Тогда николаевское самодержавие следует характеризовать не столько как аутичную («глухую», «слепую» и безнадежно тупую) власть, но как власть, вписанную в социальный порядок, который, по крайней мере, не мешал свободной самореализации и культурному росту личности. Это не насильничающая, не ломающая через колено, не культивирующая худшее в человеке власть. Доказательство тому – явление общественников: на закате эпохи Грозного или Петра I, не говоря уже о Сталине, реформаторы (как и заговорщики) не рождаются – это продукт либеральных порядков. И в этом смысле пугающим выглядит наше агрессивное (и какое-то даже брезгливое) неприятие Николая II на фоне возвеличивания Сталина. *Любовь к власти-насилию – это вырожденческий социальный проект.* Мы не способны отдать должное власти, «которой нет», – а ведь только с ней возможны диалог и компромисс, а на этой основе – рост общества в России. Этого и общественники не поняли, за что и были

наказаны: они сбросили слабую николаевскую власть, а им «ответили» большевики с освобожденным народом (так декабристы восстали против «мягкой» власти Александра I, а рассчитался с ними Николай I).

Кстати, и на общественников (т.е. в широком смысле – на интеллигенцию) можно по-разному смотреть: как на «смутный» (антисистемный) элемент и основной культурный, модернизационный потенциал системы. Ведь главный отрицательный итог революции – не «спад» государства и ужатие пространства, а уничтожение важнейшего традиционного слоя и образа жизни – системы ориентиров, норм, опыта и культурного запаса, которые нес в себе просвещенный, европеизированный, интеллигентный элемент. Следствием этого стал цивилизационный откат и закрытие многих прошлых социальных перспектив. Однако такой смысловой ракурс высвечивается, только если смотреть на революцию с антропоцентричной точки зрения.

Скажу несколько слов об иных ракурсах понимания революции и типологизации революционного процесса XX в.

Во-первых, очень сложно сравнивать позднесоветскую и позднесоветскую эпохи. Ситуация в России накануне 1917 г. была прямо противоположна той, что сложилась в СССР к середине 1980-х годов. В начале XX в. речь шла о сохранении равновесия в рамках системы, признавшей универсалии западной социальной модели (рынок, частная собственность, ограничение власти, права и свободы человека) и осознававшей сложность, плюральность, противоречивость собственной социальности. Системным недостатком были неразвитость, незрелость общесовременных форм и процессов (иначе говоря, элементарная отсталость, бедность, культурная ограниченность). Из-за этого перспективы стабильности системы были чрезвычайно ограничены: внутренние конфликты или внешние угрозы могли легко разрушить новые и еще не очень эффективные институциональные рамки. В конце XX столетия СССР был поставлен перед необходимостью создания (а не воссоздания) таких форм и процессов, причем на качественно ином, более сложном цивилизационном уровне. Историческую рамку для инновационных задач создавало советское наследие: долгий опыт беспрецедентного для западного мира авторитаризма, подавлявшего все источники цивилизованного развития и требовавшего от населения только пассивной адаптации к заданным условиям существования.

Поэтому и революции начала и конца XX в. – плохообъединяемые явления, хотя в них, безусловно, были (формально и по существу) сходные тенденции. Одна из внешних, бросающихся в глаза – определенная цикличность революций по типу социальный кризис/взрыв – компенсаторный откат (в политическом отношении проявляется как революция/реставрация). Отсюда – цикличность в прочтении революции: от хаотизации

власти (властесмуты) – к социальному взрыву и анархии (общей смуте) – к стабилизации власти (властепорядку) – к социальному упорядочиванию.

Кстати говоря, между революциями возможна и такая смысловая перекличка. В начале XX в. за счет немногих были расширены социальные перспективы подавляющего большинства. Оно затем расплатилось за захват и передел многомиллионными жертвами, фактически утратой себя (собственной идентичности). Ответом на революцию большинства стала революция подавляющего меньшинства конца XX столетия, обогатившегося за счет всех. В этом смысле революция «верхов», снявшая всякие ограничения с их эгоистической самореализации, обесмыслила революцию «низов», похоронив ее основные завоевания.

Во-вторых, при помещении русских революций в общеевропейский контекст в них высвечивается «европейский фактор». Так, в феврале 1917 г. явно сработала общая для России и Европы тенденция – эмансипационная, требовавшая осовременивания, либерализации всех сфер жизни, демократизации политики. В большевистской же революции победили тоталитарная тенденция к торжеству массы над культурным меньшинством, над личностью и социалистический тренд (большевики – действительно авангард мирового социалистического движения, нашедший точки соприкосновения с примитивным «почвенным», общинно-социалистическим мировоззрением).

И наконец, последнее. *Специфика вполне современной (по времени прохождения) русской революции – в том, что она против современности, ее достижений и ее людей.* Отсюда, кстати, ее антиевропейскость. Она – антиинституциональна, антикультурна. Она низвергла социум в дикость, раскрыла в людях все худшее, что сдерживалось культурой и государственным насилием, вывела на поверхность худшие, т.е. наиболее отвязные человеческие типы. Русская революция современной эпохи привела к такому торжеству архаики, которого не заметно в более ранней, Французской, т.е. к Смуте. Поэтому вполне адекватным кажется ее прочтение как выход в хаос, торжество русской аморфности, массовых хаотических движений. Расплавляются все и всякие структуры, срываются нормы, происходит обвал культуры. О чем «Красная смута»? Об этом расковыивании, расплавлении. Поэтому основные сценарии будущего во многом оказались обращены в прошлое. Отсюда, как мне кажется, – аналогии со Смутой начала XVII в., европейскими средневековыми народными движениями.

Но это не вся правда о революциях 1917 г. Народная смута – это только часть большого революционного процесса, в котором действовали разные социальные силы, работали разные смыслы.

И.И. Глебова: Уважаемые коллеги, свое время мы практически исчерпали. Может быть, будем завершать? Владимир Прохорович <Булдаков>, Ваше последнее слово сегодня.



В. П. Булдаков:

Я не собираюсь много говорить. Разумеется, на высказанные замечания у меня есть контрдоводы, но приводить их – значило бы пустить дискуссию по второму кругу. Для меня важно другое. Я сам имею обыкновение вольно или невольно (обычно невольно) провоцировать ученое сообщество. И если в ответ слышу нечто провоцирующее меня самого – это считаю полезным. Смута в России – это своего рода «открытый текст», допускающий множество инверсий и толкований. Хотелось бы в связи с этим особо подчеркнуть согласие с неоднократно прозвучавшим здесь тезисом: для российской смуты (и не только для нее) мы все еще не имеем адекватного языка описания. Ну и, как всегда, страдаем от того, что наши эмоции готовы в очередной раз превратиться в «теории».

Благодаря нашей дискуссии я понял, что, прежде чем говорить о смуте в России, следовало бы сочинить трактат на тему: «Стабильность по-русски». Насколько комфортно изнутри это состояние?

Надеюсь, что присутствующим было сегодня не скучно – это уже хорошо. Мне самому скучно не было. За это – спасибо.

И.И. Глебова: Спасибо, уважаемые коллеги, за участие в сегодняшнем семинаре. Он был, как мне кажется, весьма небесполезным.

Материалы семинара подготовлены к публикации *И.И. Глебовой* и *Е.Ю. Тесловой*

**СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ:
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКАЯ
МОЗАИКА**

АЛЕКСАНДР ЦИПКО
Back in the USSR?

О ПРИЧИНАХ ЖИВУЧЕСТИ КОММУНИЗМА В РОССИИ¹

Психопатия «красных гвоздик»

Зачем мы все – интеллигенция и так называемые простые советские люди – так страстно желали другой, несветской жизни, так легко отказались от того, что Михаил Горбачев называл «социалистическим выбором» нашего народа? Зачем? Очередной русский абсурд! На самом деле, как сейчас выясняется, к другой, несветской жизни мы оказались не готовы ни душой, ни умом. Сейчас, через без малого 20 лет после распада СССР, для подавляющей части российского народа, и российской интеллигенции в частности – и старой, и новой, – все самое ценное и значимое все же заключено именно в 70-летней советской истории и в ее достижениях. Своими мыслями, чувствами в массе мы так и остались в поле притяжения советской идеологии, советской пропаганды.

Наши соседи – поляки, чехи, немцы ГДР – уходили от «развитого социализма» для того, чтобы вернуться в свою собственную, полноценную национальную историю, на протоптанную десятками предшествующих поколений европейскую дорогу. Мы же с утра до вечера с наслаждением смотрим старые советские фильмы, где подпольщики-революционеры ведут неравный бой с царскими жандармами, а лихие красноармейцы шашками рубят кадетов и юнкеров. Мы до сих пор даже в официальных выступлениях с гордостью говорим о Ленинграде не как о столице Российской империи, а как о городе «трех славных революций». Если дело революции – это славное, благородное дело, – то зачем вы, господа, разрушили его детище, – созданное Лениным и Сталиным первое социалистическое государство на земле. Вся героика российской истории сегодня свелась к героике борьбы с фашистскими захватчиками. Эта героика дос-

¹ Печатается по изданию: Независимая газ. – М., 2009. – 24 марта. А.С. Ципко – доктор философских наук, главный научный сотрудник Института экономики РАН.

тойна памяти и уважения, но все же нельзя сводить все богатство русских побед и русского мужества к торжеству в одной из многих войн. Мыслей и чувств о будущем у нас нет. Это медицинский факт. А российское дореволюционное прошлое после нашей якобы антикоммунистической революции стало для нас еще дальше, чем оно было в эпоху развитого социализма. В мое сталинское детство, как это ни покажется странным, куда больше говорилось, ставилось фильмов о достижениях дореволюционной царской России, об открытиях Попова и Менделеева, о победах Суворова, Ушакова, Нахимова, чем сейчас, в эпоху ускоренного строительства капитализма. Сейчас с утра до вечера со всех экранов мы ведем рассказ о победах Сталина и продолжаем настаивать на том, что только сталинскими методами, через неисчислимые страдания, через горы трупов мы умеем двигаться к победам.

Самое интересное состоит в том, что сейчас, почти через 20 лет после распада советской системы, на телевидении куда больше и куда более странно, чем в советское время, «говорящие головы» вещают нам о достоинствах «социалистического выбора» или «красного проекта». Тогда, в советское время, даже в 60-е, я уже не говорю о 70-х – начале 80-х, интеллигентному, совестливому человеку было как-то стыдно вслух, на людях говорить о несомненных преимуществах социализма над капитализмом, о том, что железный занавес является благом. А сейчас один популярный телеведущий с восторгом говорит об освободительной миссии Красной Армии под руководством Льва Троцкого, другой популярный телеведущий с таким же восторгом рассказывает о созданной Сталиным мировой социалистической системе. Еще более усердствуют в пропаганде сталинизма и красной идеи вновь обращенные государственники. К примеру, Михаил Юрьев без тени стыда и смущения даже на страницах якобы respectable «Известий» доказывает, что без изоляции от загнивающего Запада, без возвращения к сталинским страхам мы не выживем. Коммунизма в мыслях и в чувствах – правда, не в реальной жизни – у нас куда больше, чем во времена Брежнева. Конечно прекрасно, когда расцветают все идеологии. Это действительно достижение демократии. Но почему-то у нас в стране, якобы порвавшей с коммунистическим прошлым, ярче всех цветут ядовитые цветы марксистского морализма. Когда «красных гвоздик» так много, почему-то на душе становится жутко.

Власть без преемства

Конечно, находятся и у нас смельчаки, которые идут против коммунистических ветров и пытаются напомнить, что социализм – это не только ДнепроГЭС, Сталинград и Гагарин, но и громадные, невосполнимые человеческие и культурные утраты. И правда, ведь на самом деле о будущем

мы говорим мало, ибо нет никаких гарантий, что после 70 лет коммунистического эксперимента Россия и россияне смогут вернуться к нормальной жизни, создать полноценную демократию и конкурентоспособную экономику, стать частью европейской христианской цивилизации. Наверное, от утраты этой веры в себя, в нашу способность жить и творить, как все европейские народы, и возникла нынешняя – новая и одновременно старая – мода на особый русский путь. Но все же не могу не вспомнить, что еще восемь лет назад и в обществе, и у новой властной элиты сохранялась вера, что мы в состоянии расстаться с пустыми коммунистическими идеалами и встать на дорогу европейской цивилизации. На заре своей пропагандистской молодости таким смельчаком и оптимистом был Владимир Путин, настаивающий на том, что коммунистический маршрут «был тупиковым», что в советское время мы не только многое приобрели, но и многое потеряли. Интересно, что наш новый президент Дмитрий Медведев, который якобы является гарантом нашей победы над коммунистической системой, нигде и никогда, насколько я помню, не выразил свое личное отношение ни к Октябрю, ни к коммунистической идеологии, ни к нашему 70-летнему коммунистическому эксперименту. Он старается остаться над схваткой белых и красных.

Абсурдность всей нашей идеологической ситуации состоит в том, что ведет борьбу с наследием коммунизма в умах людей не наша, якобы антикоммунистическая власть, а ее политические противники, непримиримые либералы. Лично я согласен с Григорием Явлинским, что уже пора «публично рассмотреть и дать на государственном уровне ясную и недвусмысленную правовую политическую и нравственную оценку насильственного захвата власти, совершенного большевиками в 1917–1918 гг., характера и природы созданного ими политического режима и его последующей деятельности, в частности, террористической политике тогдашних руководителей страны...». Согласен и с теми, кто утверждает, что наша новая власть, не заявившая о правопреемственности современного Российского государства, на самом деле висит в воздухе.

Драматизм нашей идеологической ситуации состоит в том, что у российской нации, в отличие от стран Восточной Европы, условий (объективных и субъективных) для живучести коммунистических иллюзий и мифов куда больше, чем побудительных мотивов к духовному отрезвлению. Честно говоря, на самом деле у нас не было и нет подлинного субъекта декоммунизации России. У нас не было и не могло быть по-настоящему правой, консервативной и в этом смысле «белой» интеллигенции, которая, к примеру, сохранилась не столько в социалистической, сколько в католической Польше. Подавляющая часть лидеров нашей якобы антикоммунистической революции были яркими представителями номенклатуры КПСС, к примеру, членами редколлегии журнала «Коммунист». Так

было и не могло быть иначе. Духовные лидеры перестройки были и, пока живы, остаются верны социалистической идее.

В отличие от других стран Восточной Европы, к примеру, наша творческая интеллигенция боится сказать, что все же существует разница между героизмом Чапаева и героизмом Деникина, что все же красивые герои, при всех их духовных достоинствах, сражались и умирали во имя утопии, во имя грядущего рабства. Гражданская война – всегда драма, и человеческие, личные аспекты противостояния людей в это время вне дихотомии добра и зла.

Но при всем этом есть и национальные и всечеловеческие, цивилизационные аспекты этого столкновения двух человеческих правд, и тут уже не может быть ничего относительного. Правда состоит в том, что коммунистическая идея, во имя которой храбро и достойно сражался Чапаев, была утопией, красивой ложью, а строй, который возник благодаря доблести Чапаева, принес много страданий российскому народу, разрушил многое из того, на чем держалась человеческая жизнь. Но в массе даже интеллигенция не научилась, не может отличить мужество и героизм, добродетели людей, которые жили, строили в рамках системы, от исходного утопизма, противостоестественности системы, которая возникла благодаря красоте подвигов Чапаева.

Для ухода от коммунизма в сознании, в идеологии надо признать, что не может быть альтернативы тем ценностям, на которых основана Европа и которые к Октябрю уже в значительной мере были реализованы в России – на ценностях права, частной собственности, свободы совести, свободы предпринимательства и т.д. Чтобы уйти от коммунизма, надо осознать, что на самом деле он был направлен против всех духовных оснований человеческой цивилизации. Демократизация в сознании, в душах людей происходит в России медленно, ибо в стране, которая начала этот эксперимент и которая благодаря ему приобрела всемирную известность и действительно влияла на ход мировой истории, трудно признать, что по большому счету с точки зрения жизнеспособности нации, ее перспектив на будущее мы потеряли куда больше, чем приобрели.

Капкан социалистической избранности

Нам очень трудно выбраться (о чем, кстати, предупреждал еще Иван Ильин) из ловушки своего самолюбования, преодолеть советскую иллюзию, что мы якобы творили чудо. Не знаю той нации, у которой хватило бы на самом деле мужества признать страшную правду своих катастрофических поражений, ложность своих исторических иллюзий. Но российская нация никогда не сможет всерьез расстаться с коммунизмом, пока мы честно не скажем себе, что на самом деле свой XX век мы потеряли, что на

самом деле биологических, духовных ресурсов для полноценного развития у нас сейчас куда меньше, чем было 100 лет назад.

Куда ни глянь, источники коммунистических иллюзий и коммунистического самодовольства более мощны и полноводны, чем мелеющие с каждым годом ручейки здравого смысла и совести. И нельзя не признать, что многие причины живучести в России коммунистических иллюзий порождены уже новой Россией – нашей провальной, прежде всего в моральном отношении, практикой как всегда «ускоренных» рыночных реформ.

Трудно рассчитывать на декоммунизацию сознания людей, когда новая, некоммунистическая жизнь отняла у них и личную безопасность, и скромный, гарантированный достаток, и гарантию занятости, и т.д. Декоммунизация в сознании происходит медленно, ибо преимущества новой, свободной жизни для значительной части населения не видны. Драма, наверное, состоит и в том, что и новое поколение, которое очень много получило от демократии – и свободу передвижения, и право на свободу мнений, и т.д., – идеализирует советское прошлое, о котором оно знает понаслышке.

В странах Восточной Европы борьба за независимость соединилась с борьбой со всем советским наследством, и прежде всего с коммунистической идеологией, с коммунистическими мифами и идеалами. А наша беда состоит в том, что большевизм – это и детище русской истории, и выбор российского большинства, выбор российского народа. А от своего, родного трудно отказаться. В начале 90-х не принималось во внимание, что для того, чтобы уйти от коммунизма не только умом, но и душой, надо к чему-то прийти, прислониться к чему-то устойчивому. Не меньшей утопией, чем коммунизм, был призыв идеологов «Демократической России» порвать со всяким прошлым – как с коммунистическим, так и с царским – и строить новую Россию с нуля, на основе идеалов свободы и прав человека. Кстати, сама эта установка на полное и окончательное расставание со всем русским прошлым еще раз убеждает в том, что у нас действительно не было ни «либералов», ни «демократов», а поводыри, которые вели в начале 90-х «слепых», на самом деле были наследниками большевизма – большевистских методов достижения поставленных целей, революционной идеологии.

Тупики великой победы

И здесь я подхожу к самой трудной и в моральном, и в идеологическом отношениях проблеме. Речь идет об унаследованной еще со времен Брежнева практике созидания фундамента национального оптимизма целиком и исключительно на победе СССР в войне с фашистской Германией. Конечно, оснований и причин (и моральных, и политических) для по-

добной идеологической практики более чем достаточно. Сегодня в новой России единственной общепризнанной, объединяющей все общество ценностью является победа 9 мая. Я лично не знаю, кого собирается судить Сергей Шойгу за попытки поставить под сомнение победу СССР над фашистской Германией в составе антигитлеровской коалиции. Таких людей нет ни в России, ни в мире.

Даже лидеры Прибалтийских республик, которых хочет посадить за решетку Сергей Шойгу, не ставят под сомнение факт победы Советской Армии в войне с Гитлером. Они говорят о другом: вместе с нашей победой к ним в Прибалтику вернулись сталинские репрессии, начавшиеся в 1940 г. И с этим фактом, будучи в здравом уме и трезвой памяти, так же трудно спорить, как и с фактом нашей победы. Русская драма, кстати, тоже состоит в том, что великая победа советского народа в войне с фашистской Германией придала легитимность античеловеческому сталинскому режиму и, как говорил Николай Бердяев, снова на десятилетия привела к замораживанию духовной жизни в России. Солдаты войны 1941–1945 гг., как и солдаты войны 1812 г., надеялись, что им, победителям, дадут больше прав и больше свобод.

Привязывая целиком и полностью процесс духовной консолидации российской нации к победе 9 мая, мы неизбежно сохраняем в позитиве и советскую систему, и советскую историю. Согласен с мнением некоторых российских историков, что память о войне без памяти о ее страшной человеческой цене не только неполноценна, но и аморальна, ибо снимает вопрос о стратегических ошибках Сталина – к примеру, о его преступной расправе с руководством Красной Армии, подорвавшей ее боеспособность накануне неизбежной войны с Гитлером.

Если самые важные и главные русские победы были достигнуты в рамках советской системы, то зачем мы убили курицу, которая приносила золотые яйца? Вот вопрос, который возникает у молодой России в результате нынешней идеологической практики, сводящей весь русский позитив к завоеваниям советской эпохи. Воспоминания о победах в Великой Отечественной войне неизбежно возвращают национальное сознание в систему ценностей советской эпохи. Актуализация побед над фашистами превращается в актуализацию марксистского учения о революции как празднике истории. Но ведь декоммунизация предполагает выработку прямо противоположного подхода к Октябрю – как к национальной катастрофе.

Что мешает нам отделить подвиг людей, которые вопреки всему, вопреки кричащим абсурдам советской системы совершали ежедневный подвиг труда, созидания, служения Отчизне? Ведь это так просто – конечно, при определенной культуре мысли и чувств. И не надо во имя принципов, в данном случае уже антикоммунистических, покушаться на реальные

достижения системы. Но нам при оценке советской истории не хватает ни светлого ума, ни добротного патриотизма.

Все это говорит еще и о том, что для декоммунизации нужна и пропаганда исторических знаний, воссоздание полной картины всех российских побед и свершений. Что мешает нам говорить правду: перелом в войне произошел только тогда, когда она из сражения за судьбу нового строя превратилась в отечественную войну во имя спасения России?

И последнее. Конечно, для полной и окончательной декоммунизации нужно определенное мужество. Сегодня для обретения духовной свободы мало сказать себе, что красивые идеалы коммунизма на поверку оказались пустыми. Сегодня нужно еще мужество, чтобы увидеть во всей полноте урон, нанесенный коммунистическим экспериментом, и согласиться на страшный, тяжелый труд доводки до ума нашей жизни. Декоммунизация невозможна без преодоления соблазна русской оsobости, без признания того, что мы действительно в цивилизационном, культурном отношении отстаем от старой Европы.

ИГОРЬ ЧУБАЙС***ПО ПУТИ «РУССКОГО НЮРНБЕРГА»¹***

На дворе весна, подмосковный снег уже растаял, и у читателя, размышляющего о российской политике и истории, возникают ассоциации со светлым временем хрущевской оттепели. Да, считают некоторые, были преступления сталинизма, были даже «массовые нарушения социалистической законности», но ведь сама партия их осудила, а XX съезд решительно разоблачил и осудил... В общем – «народ и партия – едины». Представляется, что сегодня из исторической точки «XX съезд» намечается два перпендикулярных маршрута. Один называется «нам необходим русский Нюрнберг», другой – «имя России – Сталин». Автор идет по пути «русско-Нюрнберга».

Почему история про XX съезд – это советская мифология

Итак, мысленно вернемся в середину 50-х, увы, уже прошлого века и зададимся вопросом: как же партия, единодушно поддерживавшая великого вождя столько лет, в один прекрасный день так же единодушно его осудила? И если народ это отречение одобрил, то почему главный доклад Никита Хрущев делал тайно, ночью, а первая публикация текста, т.е. ознакомление народа с тем, что он поддержал, произошло спустя 30 с лишним лет? Почему сам Никита Сергеевич, слывший ближайшим подручным «отца народов», неожиданно изменил взгляды и предал учителя анафеме? Решая острейшие вопросы, которые вообще не замечены советско-постсоветской социальной псевдонаукой, мы обнаруживаем три варианта ответа.

Подходя формально, можно предположить, что нового партийного лидера замучила совесть, и он, преодолевая себя, встал на путь покаяния.

¹ Впервые опубликовано под заголовком «Реформатор поневоле» в изд.: Независимая газ. – М., 2009. – 21 апр. И. Чубайс – директор Центра по изучению России РУДН, доктор философских наук.

(Что-то подобное происходило в Венгрии, когда народную революцию возглавил бывший номенклатурный чиновник Имре Надь.) Увы, к Хрущеву такое объяснение не подходит. Пройди он действительно через внутреннее покаяние, страна освободилась бы от цензуры, колхозов, Компартии, КГБ, да и венгерскую революцию не давили бы советские танки...

А может быть, радикальный разворот Персека объясняет мощное давление извне? Увы, после Второй мировой международный авторитет родины Сталина резко вырос. Народы многих капиталистических стран с интересом прислушивались к советской пропаганде, а их власти соответственно прислушивались к голосу своего народа.

Остается последний, третий вариант – в СССР возникло мощное внутреннее давление на власть. И хотя об этом не пишут учебники и не информирует телевидение, сорвать покров тайны ой как пора...

Горячее лето-53: О чем сказано шепотом, а о чем не сказано вовсе

После восстания сотни заключенных в лагере Усть-Усинска в 1942 г. разного рода бунты и протесты случались в ГУЛАГе нередко. Но с уходом Сталина они быстро приобрели новый размах и масштаб. 25 мая 1953 г. в шести лагерях под Норильском начался бунт, который продолжался 72 дня. В забастовке участвовали не менее 20 тыс. человек. Больше половины из них – активисты антикоммунистического, национально-освободительного движения на западе Украины, в советско-постсоветской печати их обычно называют бандеровцами. Молодые ребята имели военную выучку, хорошую физическую подготовку, доверяли друг другу. Они и организовали первый массовый протест. Среди руководителей бунта был бывший лидер молодежной патриотической организации запада Украины, ныне здравствующий Евгений Грицак. Заключенные предъявили администрации как бытовые, экономические, так и политические требования.

Не успел закончиться Норильск, как в августе 1953 г. в районе Воркуты поднялось новое, еще более мощное восстание. Протест был отлично организован, поэтому сведения о нем получить крайне сложно, документы по сей день засекречены. Но мне повезло, я слушал и запомнил выступление одного из руководителей воркутинцев – Игоря Доброштанга на первой конференции «Мемориала» в Москве, в октябре 1989 г. В сочетании с другими источниками вырисовывается следующая картина этого восстания. Ядро бунтарей составили бывшие власовцы вместе с украинскими патриотами-антикоммунистами. Такой союз оказался не по зубам ни лагерной администрации, ни вора в законе. Тайно изготовив колющие предметы, заключенные напали на охрану, уничтожили ее и завладели автоматами вохровцев. Одна за другой были освобождены все бригады. Власовцы

приняли решение двигаться на Воркуту, чтобы захватить мощную городскую радиостанцию и обратиться к стране. По дороге 10 тыс. эзков освободили еще несколько лагерей. Посланные на перехват отряды НКВД остановить 100-тысячную колонну уже не могли. Направленные против повстанцев танки завязли в тундре. И только военной авиации удалось остановить и разметать восставших в 20 километрах от города. К этому времени весь воркутинский партгосактив бежал или был срочно эвакуирован. По словам И. Доброштанга, на первом этапе операции, по требованию штаба, часть руководителей самолетом возили в Москву на переговоры с высшим партруководством.

Третье по времени и значению – Кенгирское восстание – началось в мае 1954 г. и продолжалось 40 дней. Сведения о нем получили большее распространение, поскольку Кенгир описан Солженицыным в «Архипелаге ГУЛАГ». Почти половина восставших были членами ОУН и УПА (руководитель – Михаил Келлер, еврей из УПА), участвовали также бывшие «лесные братья» из Балтии и власовцы.

Нетрудно понять, что Никите Хрущеву, получавшему соответствующую информацию от КГБ и, возможно, от самого штаба, было от чего впасть в отчаяние. Машина власти рассыпалась прямо у него на глазах. Становилось понятно: еще одно-два восстания, и режим попадает в коллапс. Ни вохры, ни тайга, ни кремлевские стены номенклатуру не спасут. Власть была вынуждена немедленно останавливать машину репрессий – прекратились новые аресты, ряд лагерных строек спешно остановили, начался роспуск и демонтаж ГУЛАГа.

Именно этот процесс разворачивался летом и осенью 1953 г. Подчеркну, значение восстаний, руководимых Грицаком и Доброштаном, состояло не просто в роспуске двух звеньев ГУЛАГа. Революция узников вынудила власть пойти на демонтаж всей системы террора, создававшейся с октября 1917 г. А ко времени открытия XX съезда, когда номенклатуре впервые предложили официально осудить сталинские преступления, сохраняя неприкосновенным имя Ленина, почти все политзаключенные уже находились на свободе.

Революция в ГУЛАГе – что было после

Анализ решений, принимавшихся Кремлем после Норильска и Воркуты, дополнительно подтверждает вывод о роли этих восстаний.

Почему весной 54-го года началось освоение целинных и залежных земель, а 2 млн. молодых, наиболее активных людей было брошено в полунепригодные для земледелия казахские степи (а были в стране и Черноземье, и даже субтропики)? Это не экономический, а политический проект. Освоение целины стало запуском изобретенного номенклатурой ме-

ханизма косвенных репрессий. Хрущев спокойно отнесся к тому, что его первоначальные иллюзии – целина решит советскую продовольственную проблему и позволит наладить экспорт зерна – не были реализованы. Успешно решалась другая, самая важная и необъявленная задача: вытолкнув под пропагандистские фанфары в тяжелейшие бытовые условия, в отдаленные районы самую активную часть общества, партаппарат умело изолировал потенциальных молодых бунтарей, предупредил и трансформировал возможный политический протест в безопасный массовый сизифов труд. (Пожелай власть действительно решить сельхозпроблему, она вернула бы землю в частную собственность и продолжила столыпинскую реформу.)

А почему во второй половине 50-х годов в СССР началось массовое жилищное строительство, появились хрущевские пятиэтажки – потому, что миллионы людей вернулись из лагерей. В и без того перенаселенные коммуналках жить было уже невозможно. Остановив массовые репрессии, в 1957 г. партия приняла вынужденное решение о начале массового жилищного строительства.

Восстания в лагерях существенно изменили внешнюю политику Советского Союза. В 1956 г. были отпущены на родину последние немецкие и японские военнопленные, а в 55-м СССР неожиданно подписал с явно некоммунистической страной – Австрией – договор о нейтралитете и вернул свои войска на родину (чтобы не разбежались). Первое перенаселенное десятилетие финны постоянно опасались, что их вот-вот отправят в соцлагерь и обяжут строить светлое будущее. Но с середины 50-х заботливые советы Кремля прекратились, миролюбивый СССР даже отказался от использования военно-морской базы на финском полуострове Порккала-Удд. (Договор об аренде, подписанный в 1947 г. на 50 лет, был денонсирован в 1955 г.). Наконец, добавлю, что ограниченная либерализация и критика сталинизма, проводившаяся по команде Москвы в постсталинские годы в Польше и Венгрии, в меньшей степени – в ГДР, Чехословакии, Болгарии, Румынии (до Чаушеску) и Монголии, – это тоже страх перед потенциальными и реальными доброштанами и грицаками.

С другой стороны, именно после XX съезда Москва потеряла поддержку братской китайской Компартии. Каяться и «самолиберализоваться» Пекину было незачем – тамошний КГБ, увы, справлялся с любыми бунтами. От портретов и культа Мао КНР по сей день не отказался не в силу «политической мудрости», как уверяют постсоветские политтехнологи-чудаки, просто пока еще не припекло... Те же факторы привели во второй половине 50-х к конфликту между Москвой и Тираной. Коммунистические диктаторы Э. Ходжа и Х. Лешу и без того опасались усиления влияния югославского либерального социализма на суверенную албанскую демократию. Когда же оттепель протрубили из Кремля, маленький

балканский народ оказался под еще более жестокой тиранией своих вождей, естественным образом блокировавшихся с Пекином против Хрущева.

Картина происходившего останется неполной, если в нее не добавить еще несколько штрихов. Восстания в ГУЛАГе надломали тоталитарный режим, но не доломали его. Политбюро было вынуждено навсегда отказаться от физического террора как своей главной стратегии. На короткое время политическая атмосфера в стране стала чище и свободней. Но непродолжительная и опасная для власти оттепель вскоре была остановлена, начался переход к новому способу контроля. Главным элементом подавления сделалось не физическое, а информационное цензурирование. Общество лишилось возможности получать и формировать какую-либо независимую информацию; рот открыть было можно, но сказать разрешалось только «слава КПСС»... Цензурные тиски разрушали родной язык. 30 лет непрерывного комидеологического витка привели к тому, что бесконечное разнообразие человеческой жизни свелось в СССР к пяти-шести проявлениям: все советские люди «с честью несли», «достоинно встречали», боролись за мир, крепили оборону и беспрерывно все теснее сплывались вокруг родного ленинского ЦК. От борьбы за мировую революцию обществу предписывалось перейти к не менее неистовому укреплению мира во всем мире.

Выходя за рамки объявленной темы, замечу, что индикатором «достижения дна» в идеологическом разрушении языка можно считать запрет постановки в Театре на Таганке Юрием Любимовым в 1983 г. драмы А. Пушкина «Борис Годунов». Комидеология превратила Александра Сергеевича в антисоветчика. Тогда вынужденный отказ от убивающей советчины начали Горбачев, Перестройка и отмена цензуры. Последнее обстоятельство и разрушило Советский Союз, но это уже другая история...

Здесь и сейчас

Итак, покинув повстанцев 53-го г., минув оттепель и перестройку, вернемся в сегодня. Что из сказанного вытекает для нас, что надо делать здесь и сейчас? Тот, кого посадили на миф «а что я могу, от меня ничего не зависит», должен поскорее выдавить из себя эту идеологическую инфекцию. Мы видим – даже в самые жестокие времена красного тоталитаризма историю вершил народ!

Тот, кто считал, что летопись России в XX в. – это хроника съездов и пятiletок, должен осознать, что наша история еще не написана. Ее предстоит собирать. Пока делать это почти невозможно ни на гуманитарных факультетах университетов, ни в гуманитарных институтах РАН. Необходимые условия надо создать, принуждая консерваторов к диску-

сии, осуществляя гражданское давление, выявляя новые формы и методы интеллектуальной консолидации.

Тот, кто твердил – россиянам не свойственна демократия, пусть задумается: так ли много народов, прошедших через нечеловеческие испытания, смогло сохранить себя и самостоятельно разрушить машину угнетения?! Выросшие из исторической России – русские, украинцы, балты, другие народы – сделали это.

История страны в версии «Мемориала» как увековечение памяти о погибших и уничтоженных – вещь необходимая, но явно недостаточная. История России в XX в. – это история Сопротивления. Ее и надо написать, дополняя актуальными выводами и злободневными заключениями. Что же касается воркутинского восстания, утаивание документов на руку тем, кто причастен к преступлениям. Мы должны требовать скорейшего открытия и свободного доступа ко всем подобным свидетельствам! Это предметы нашей национальной гордости!

СССР давно распался, произошедший процесс необратим. Историю не обманешь, в ней за все приходится платить. Но задача интеллигенции, гражданского общества – не превращать развод в конфронтацию. Добро соседство скрепляется правдой. В нашем недавнем прошлом есть важнейшая связующая нить – многоликое – от анекдотов до восстаний – народное сопротивление тоталитаризму. Нам нужна его история. Эта тема сближает и делает тоталитарный рецидив невозможным. Я не очень понимаю, зачем нужны музеи оккупации, открытые в некоторых соседних столицах. Кто кого оккупировал – Дыбенко, Крыленко и Антонов-Овсеенко Грузию или Джугашвили, Орджоникидзе, Сванидзе и Микоян – Украину? В Праге и Вильнюсе, Киеве и Варшаве, в Москве нужен музей Сопротивления, а в каждой школе, вузе, воинской части – комната истории Сопротивления!

Украина еще не закончила обсуждать Голодомор, но, увы, в информационном плане война с Голодомором выиграна российской пропагандой, т.е. теми, кто, со слов президента, кого-то и где-то лижет. Мы знаем: предвоенные депортации эстонцев, катынский расстрел, Голодомор, разрушение Церкви, ГУЛАГ, Бутовский полигон под Москвой – это преступления сталинизма. Но после того, как телеканал «Россия» изо всех сил старался присвоить нашей стране имя палача, получается, что Катень, депортации, искусственный голод, Бутово – это дело... самого русского народа?! Какая беспрецедентная ложь! Пропанганда мракобесия лишила Россию друзей и союзников. Но кто-то за экраном довольно улыбается: образ врага очень нужен и «самому неэффективному менеджеру» и продолжателям его дела. Запомним: Сталин – имя номенклатуры, но никак не нашей страны. С этим надо что-то делать. Поэтому, поднимая вслед за Голодомором тему восстаний в ГУЛАГе, описать это надо так, чтобы ни при каких обстоятельствах не сталкивать народы, но заставить власть признать

преступления сталинщины. Нам всем сообща надо готовить Суд над советской системой...

В заключение – несколько слов о героях ГУЛАГа. Недавно украинские друзья помогли отыскать телефонный номер одного из них; я разговаривал по телефону с 82-летним Евгением Грицаком. Голос бодрый, ни на что не жалуется. На 30 сотках самолично сажает картошку; надо, как поясняет, помогать внучке и немного дочке, пенсия-то небольшая – около тысячи гривен (меньше 200 долл. – *И.Ч.*). В 56-м Грицак был реабилитирован, однако спустя два года по настоянию КГБ был вновь осужден и провел в заключении еще несколько лет. Игоря Доброштана уже нет с нами. Но осталась рукопись книги, которую пока никто не опубликовал. Помню, как захлеб читал «Партизанскую войну» и «Боливийский дневник» Че Гевары. Миру еще предстоит узнать о Доброштане...

Вечная слава героям Норильска, Воркуты, Кенгира!

А. БЕССМЕРТНЫЙ

ЗАПИСКА ПОСТОРОННЕГО¹

...Ты прав, коммунизма больше нет как системы... В моей жизни было три цели: 1) ликвидация коммунизма как системы; 2) ликвидация СССР как империи зла и пародии на подлинную империю; 3) свобода совести и свободная Церковь.

По этим пунктам – к счастью и на удивление – все исполнено. И это дает мне надежду и на дальнейшие улучшения.

Конечно, в умах людей коммунизма и большевизма еще очень много и будет много. Ты очень точно все определил: «агрессия, идеологичность, нетерпимость к иному, патологическая зависть и ложь, халтура во всем и полное обесценение человека, его достоинства, его личности». Увы, даже слишком точно. Несмотря на то что я там не живу, у меня точно такие же впечатления – от посещений, от статей и форумов в Интернете, от телепрограмм.

Здесь много причин.

1. Коммунизм разлагал людей 70 лет. Это очень долго. В целом общество аморально. Твой диагноз: «Те, кто согласился сотрудничать с коммунистическим режимом, испорчены, увы, очень глубоко», – исчерпывает проблему. Боюсь, что их не переделать. Как ты пишешь, «самое большее, можно надеяться чуть-чуть вправить мозги».

2. Нынешняя власть делает сознательную ставку на сплав неосталинизма и псевдоимперскости. Как в том старом анекдоте: «А сейчас на параде марширует Четвертый ордена Ленина Его Императорского Величества Александра III имени Сергея Мироновича Кирова Преображенский Дроздовский гвардейский полк! Красиво вышагивают кировцы!» Надо ли говорить, что попытки власти сочетать подлинную Россию со сталинизмом – профанация всего. Это все равно, что, сказав «А», замолчать после

¹ Из личной переписки профессора А. Зубова и профессора А. Бессмертного. Печатается с их любезного разрешения. Текст снабжен редакционным заголовком; опущена информация личного характера.

этого на сто лет. Все равно, что реабилитация Гитлера немцами – нет, много-много хуже, потому что Гитлер не уничтожал собственный народ, да и у власти пробыл только 12 лет. Попытка обелить Сталина и его систему – не просто ложь. Это – преступление. Уголовное и моральное. И это издевательство над массовым сознанием русских людей делается осознанно и целенаправленно.

3. В нынешней России абсолютно подавляющая часть общества – потомки палачей и коллаборационистов, тех, кто сажал, охранял и расстреливал, а не тех, кого сажали, охраняли и расстреливали. В каком-то смысле крушение Российской империи и ее завоевание большевизмом можно сравнить с исчезновением Византии. И большевизм был внутренним злом, и «византизм» с его идеей «лучше под мусульман, чем под Рим», тоже был внутренним злом. Конечно, я сгущаю и упрощаю, но и в том и в другом случае сотни тысяч носителей подлинного духа бежали, эмигрировали или погибли. Не забывая также, что Сталин действительно ПОЛНОСТЬЮ ликвидировал все классы и слои общества. Русское общество сегодня – это море потомков бывших крепостных рабов, в котором там и сям плавают случайные «полупарализованные» обломки прочих слоев.

Ключевский писал: «В России нет средних талантов, простых мастеров, а есть одинокие гении и миллионы никуда не годных людей. Гении ничего не могут сделать, потому что не имеют подмастерьев, а с миллионом ничего нельзя сделать, потому что у них нет мастеров. Первые бесполезны, потому что их слишком мало; вторые беспомощны, потому что их слишком много». Тем более это наблюдение работает сегодня...

4. Проблема с православием... Как редко наше духовенство учит людей просто религии и нравственности, а не какой-либо очередной помпезной православной идеологии! Православный Интернет просто кишит идеологизацией, какую только чушь там не пишут! Еще святитель Тихон Задонский писал, что мы в первую очередь должны быть ХРИСТИАНАМИ, а лишь потом – православными. За всеми идеологиями Святой Руси, Третьего Рима, самой-самой духовной страны в мире, растленного Запада и так далее не видно одного – Христа. И еще меньше видно Иисуса, т.е. человеческую сторону Богочеловека. Отсюда и тотальное неуважение к человеку вообще. А видно только дикую спесь, зависть и злобу.

Прав был Розанов: «Православие в высшей степени отвечает гармоническому духу, но в высшей степени не отвечает потревоженному духу». А русский дух весь XX в. и сегодня – весьма и весьма «потревоженный».

5. В отличие от ситуации с германским нацизмом, ситуация с русским коммунизмом сложнее и трагичнее. И не только потому, что длилась намного-намного дольше. В Германии вся администрация, весь контроль за обществом перешел к победившим союзникам. Страна была оккупиро-

вана открытыми противниками и даже жертвами нацизма. Общество оказалось более свободным в обличении тоталитаризма. Россию способны оккупировать только сами русские. И эта-то оккупация оказывается самой гибельной!

6. За все время истории России в ней никогда не были доведены до конца никакие реформы. Буквально. Сделав два шага вперед, всегда делают шаг назад. Даже в период Империи, хотя, конечно, его не сравнить с советчиной. Но игры со Сталиным – особое кошунство. Потому что самое страшное, это если Россия так и не извлечет урока из своего трагического опыта 1917–1987 и не покается. Без этого, без покаяния, – конец. Без покаяния, как в Германии, – никакого обновления и движения вперед. Вечный порочный круг...

А как покаяться, если крайне-левый бред из извечной русской любви к крайностям заменяется на крайне-правый бред? А здравого смысла и нравственного очищения не было и нет. А откуда ему взяться, если мы и так «самые духовные»?

7. В России всегда подлинный консерватизм был неоформлен и слаб. Потому что подлинный консерватизм основан на христианской морали и связанных с ней традиционно-патриархальных ценностях, а не на идеологиях национальной святости или избранности, противостояния остальному миру и примату государства над личностью. Государственник – не значит сторонник тоталитарного государства. Государственник – сторонник государства, способного обеспечить лучшую жизнь и оптимальное самораскрытие личности своим гражданам и быть партнером общества, а не его кукловодом. Подлинный консерватизм сам проводит реформы, не дожидаясь, пока они будут вырваны из его рук радикалами. Реальный консерватизм вообще очень труден – я все больше убеждаюсь в этом здесь, в США, где быть либеральным консерватором или консервативным либералом все труднее. Просто реально, повседневно труднее (но не невозможно).

Отцы левого и крайне-левого либерализма (не радикализма) в США – соответственно Вудро Вильсон и Ф. Рузвельт, чей вице-президент Генри Уоллес был убежденным коммунистом и сталинистом. Трумен был тоже очень левый, оттого и прижал маккартизм, все-таки успевший нанести смертельный удар всей сталинско-большевистской пятой колонне в США. Из последующих консерваторов успешными были только Рейган и отчасти Буш-старший. Наиболее привлекательные (для меня) фигуры не совсем давнего прошлого – генерал Макартур и Барри Голдуотер. Оба в свое время проиграли на выборах. Макартур – уже на уровне внутрипартийных выборов, а ведь по сравнению с ним выигравший у него Эйзенхауэр был просто нулем и республиканцем только по названию. Ему было все равно, от какой партии баллотироваться.

Теперь о характеристике современного русского общества. Я думаю, что ты в ней целиком и полностью прав.

Но вот посмотри цитаты только из Гоголя:

«Лучше ли мы других народов? Ближе ли жизнью ко Христу, чем они? Никого мы не лучше, а жизнь еще неустроенней и беспорядочней всех их. “Хуже мы всех прочих”, – вот что мы должны всегда говорить о себе».

«Право, у нас душа человеческая все равно, что пареная репа».

«Русского человека испугала его ничтожность более, чем все его пороки и недостатки».

И его предсмертный вопль, от которого у меня до сих пор поднимаются волосы на голове: «Соотечественники! Страшно! Замирает от ужаса душа при одном только предслышании загробного величия /.../ Стонет весь умирающий состав мой, чуя исполинские возрастания и плоды, которых семена мы сеяли в жизни, не прозревая и не слыша, какие страшилища из них подымутся...»

А вот историк М. Погодин:

«Терпимости у нас никакой... Осуждать, бранить, насмехаться – чем скандальнее, тем приятнее».

«Деспотизм и подобострастие – в духе русского человека нашего времени. Он пропитан ими до глубочайших фибров своего организма. Протяните веревку и поставьте солдата, которому велите не пропускать никого. Из него возникнет деспот, которому и черт не брат. Мало того, что он никого впускать не будет за веревку – он будет рад никого не пускать, он будет рад толкнуть вас пошибче в грудь... Чем нужнее вам перебраться за веревку, чем ошутительнее видны ваши желания, тем ему слаще вам отказывать».

«Удивителен русский народ, но удивителен только еще в возможности. В действительности он низок, ужасен и скотен».

Князь П.А. Вяземский:

«Мы все рождены под каким-то бедственным созвездием. Не только общественное благо, но и частное не дается нам. Черт знает, как живем, к чему живем! На плахе какой-то роковой необходимости приносим на жертву друзей своих, себя, бытие наше».

«Мы все изгнанники и на родине».

Ф. Тютчев:

«У меня не тоска по родине, а тоска по чужбине».

Н. Лесков:

«Здесь ничто хорошее не годится, потому что здесь живет народ, который дик и зол... Этот народ зол; но и это еще ничего, а всего-то хуже, что ему говорят ложь и внушают ему, что дурное хорошо, а хорошее дур».

но. Вспомни мои слова: за это придет наказание, когда его не будете ждать».

И ведь все консерваторы или правые либералы, неподдельно любившие Россию.

Еще пара цитат: «Только в России люди родственные по духу никогда не встречаются» (А. Фет).

«Как будто приставлен к нам какой-то лукавый бес, который старается опоганить все чистое и святое» (Ф. Сологуб).

А вот тебе XVII в. (Г. Котошихин):

«Российского государства люди пороною своею спесивы и необычайные ко всякому делу, понеже в государстве своем научения никакого доброго не имеют и не приемлют, кроме спесивства и бесстыдства и ненависти и неправды».

«Московских людей натура не богобоязливая».

«Русские для науки и обычая в иные государства детей своих не посылают, страшась того: узнав тамошних государств веры и обычай, и вольность благую, начали б свою веру отменять и приставать к иным, и о возвращении к домам своим и к сродичам никакого бы попечения не имели и не мыслили».

И так далее. Сердце кровью обливается. С другой стороны, есть объективные причины для всего этого, которые уходят корнями в особенности истории и географии, влиявших на народную психологию и религию. Тот же Ключевский писал, что русский человек лучше русского общества.

Я все больше склоняюсь к мысли, что особенный корень всех зол в России – крепостное право (хотя и не только). Рабское положение одной части общества при привилегированности другой оставляет в национальной душе раны, которые невероятно трудно залечить, и шрамы, которые остаются навсегда. Это, опять же, хорошо видно по Америке. Какая-то часть черного населения постоянно и с успехом интегрируется в средний и даже высший класс, дает нации мудрецов, специалистов, интеллектуалов, творческие круги, духовенство. Но большинство по-прежнему предпочитает считать (а иные и прямо верят), что все белые им должны. И оправдывают этим свою пассивность, бедность или иную несостоятельность. А ведь в США это было по расовому признаку. Хотя бы! А в России? И рабовладельцы, и рабы – все русские. Это уже не расовые, а чисто классовые и социальные ненависть, злоба и жажда мести – понадобится столетие (а то и больше), чтобы нация оправилась от них и вошла в колено. «Грех на крепостном праве, много развратившем высокую природу русского человека, – писал Аполлон Григорьев. – Рабы становятся непременно деспотами при малейшей возможности, но и деспотизм их не есть проявление их личности, а невольное подражание деспотизму старых господ».

Чтобы Франция стала демократической страной, понадобились три революции, две империи и одна коммуна. Чего же мы хотим от России! Англия, Америка, Швейцария – это все исключения из правил.

Я думаю, что панацея тут одна, тройственная – уповать на Бога, иметь трезвый взгляд и говорить ПРАВДУ. Вот почему мне очень нравится твое предисловие к книге «История России. XX век». А принцип авторов и составителей книги – «высшей ценностью является не земля, не государство, а человек, живая личность» – незнаком и даже чужд обыденному русскому сознанию до такой степени, что нередко воспринимается носителями оногo сознания как страшная ересь, подрывающая сами основы России... В этом смысле меня поразил вынужденный вывод молодого Ивана Аксакова в его «Письмах из провинции»: он заметил, что русский человек тем больше благоденствует материально и тем больше счастлив и ответственен социально, чем больше он свободен внутренне и внешне от государственной опеки.

И отличная – по сути – мысль Г. Шпета: «Россия должна отказаться от мировой политики, перейти на роль второстепенного и даже третьестепенного государства, заняться внутренним устройением и культурой, культурой, культурой, тогда она не погибнет вовсе, даст новых людей и новый “патриотизм”. Если Россия не смирится с этим, она будет стерта с лица земли. Всякий иной патриотизм я считаю теперь ложным»...

8 июля 2009 г.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

БУЛДАКОВ Владимир Прохорович – доктор исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории (ИРИ) РАН.

ГЛЕБОВА Ирина Игоревна – доктор политических наук, руководитель Центра россиеведения Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН, профессор РГГУ.

МАЛИНОВА Ольга Юрьевна – доктор философских наук, ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН, профессор МГИМО, президент Российской ассоциации политических наук (РАПН).

ОРЛОВ Борис Сергеевич – доктор исторических наук, главный научный сотрудник ИНИОН РАН.

ПИВОВАРОВ Юрий Сергеевич – академик РАН, директор ИНИОН РАН.

СЕНИН Александр Сергеевич – доктор исторических наук, профессор РГГУ.

ХОРХОРДИНА Татьяна Иннокентьевна – доктор исторических наук, профессор РГГУ.

ШЕВЫРИН Виктор Михайлович – кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН.

**Труды по руссиеведению
Выпуск 1**

Художник обложки И.А. Михеев

Техническое редактирование
и компьютерная верстка В.Б. Сумерова

Корректор В.И. Чеботарева

Гигиеническое заключение
№77.99.6.953.П.5008.8.99 от 23.08.1999г.

Подписано к печати 16/ХП – 2009 г.

Формат 60x84/16 Бум.офсетная № 1

Печать офсетная Цена свободная

Усл.печ.л. 26,75 Уч.-изд.л. 26,4

Тираж 950 экз. Заказ № 213

**Институт научной информации по общественным наукам РАН,
Нахимовский пр-кт, д. 51/21 Москва, В-418, ГСП-7, 117997
Отдел маркетинга и распространения информационных изданий:
Тел. /Факс 8(499) 120–4514
E-mail: market@INION.ru**

**E-mail: ani-2000@list.ru
(по вопросам распространения изданий)**

Отпечатано в типографии ИНИОН РАН
Нахимовский пр-кт, д. 51/21,
Москва, В-418, ГСП-7, 117997
042(02)9

